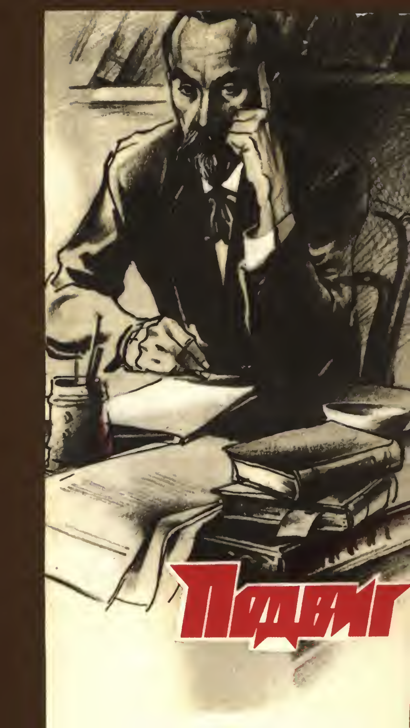

Подвиг

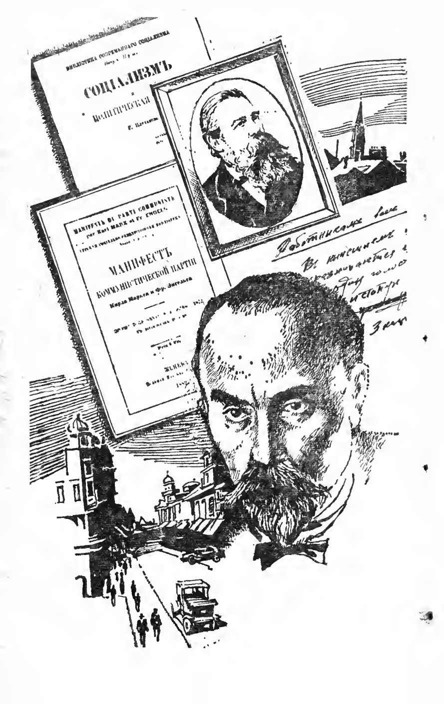
БИБЛИОТЕКА ГЕРОИКИ И ПРИКЛЮЧЕНИЙ

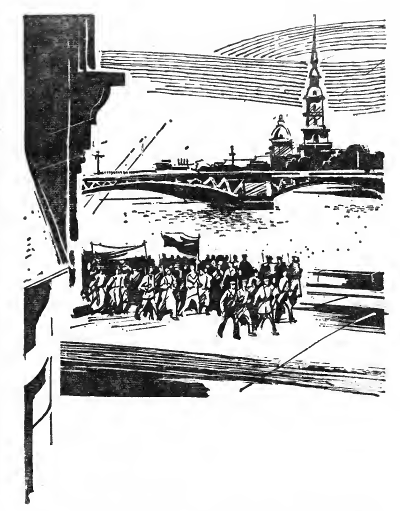
ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ
"СЕЛЬСКАЯ МОЛОДЕЖЬ"

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ "МОЛОДАЯ

В. ОСИПОВ
Б. МОЖАЕВ
С. ВЫСОЦКИЙ

„МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ" МОСКВА 1984


СОЦІАЛИЗМЪ
МАНИФЕСТЪ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Карла Маркса и Фр. Энгельса



В. ОСИПОВ

ПОДСНЕЖНИК

РОМАН

Глава первая

Брюссель. Июль 1903 года. Над островерхими крышами старинных средиевековых домов, над пиками игольчатых готических храмов веет прохладой фламандское лето. Дыхание близкой Атлантики приносит на город порывистые быстрые ветры, короткие дожди, клочковатый туман. Рваные тучи тревожно плывут через низкое небо от горизонта к горизонту.

Иногда, словно обещание перемены к лучшему, над городом проглянет и тут же скроется веселое желтое солнце.

И снова натягивает с океана серую хмарь, моросит мелкий надоедливый дождик, серебристо пузырятся лужи на тротуарах и мостовых, одиноко вонзаются в свинцовое небо черные иглы готических храмов.

В июле 1903 года среди высших полицейских чинов Брюсселя утвердилось убеждение в том, что в городе готовится крупная террористическая акция. В районе гостиницы «Золотой петух» наблюдалось тайное скопление анархистов славянской наружности.

О, эти славяне! От них можно было ожидать всего. Двадцать два года назад в Санкт-Петербурге русские, например, ухлопали бомбой собственного царя. Очень мило, не правда ли? Повелевать огромной империей и быть разорванным на куски в двух шагах от собственного дворца.

Наблюдение показывало, что подозрительные лица, группировавшиеся вокруг «Золотого петуха» — матерь божья! — были именно русскими. Теперь их насчитывалось уже около пятидесяти человек.

Что же они задумали на этот раз, для чего собираются? Лишить жизни ныне здравствующую коронованную особу бельгийского королевства? Или какое-нибудь свое, сугубо российское дело?

Брюссельская полиция напрягалась в розыскном усердии, терялась в догадках.

Вдруг русские анархисты, все, как один одновременно, неожиданно исчезли из поля зрения бельгийского королевского сыска. (Не без помощи местных социалистов, как выяснилось в дальнейшем.) Во всех полицейских частях Брюсселя была объявлена тревога.

Однако предосудительные личности из «Золотого петуха» обнаружились весьма быстро — сидят себе в помещении бывшего мучного склада, занавесили окно красной материей, что-то обсуждают (и на анархистов вроде бы не похожи), иногда покрикивают друг на друга, но в общем-то все идет тихо-мирно, в рамках, так сказать, гарантированной конституцией свободы собраний.

Так что же все-таки там происходит, за этим подозрительно занавешенным окном старого мучного склада?

А за окном бывшего мучного склада происходило в это время событие, подлинный смысл и далекую перспективу которого не дано было, конечно, понять высшим чинам бельгийской королевской полиции.

Среднего роста, изящный, худощавый мужчина с густыми, подвижными черными бровями, из-под которых светились необыкновенно живые, пристальные, темно-карие глаза, поднялся с места, провел рукой по небольшой, клинообразной бородке и стрельчатым вразлет усам, слегка насупился и обвел энергичным взглядом напряженно устремленные к нему лица.

— Товарищи! — торжественным, дрогнувшим от волнения голосом сказал он. — Организационный комитет поручил мне открыть второй очередной съезд Российской социал-демократической рабочей партии...

Это был Георгий Валентинович Плеханов.

Почетная миссия объявить начало работы съезда партии была доверена ему по праву.

Ровно двадцать лет назад, в 1883 году, в Женеве, в кафе на берегу Роны он провозгласил создание первой заграничной организации русских марксистов социал-демократической группы «Освобождение труда».

Тогда в Женеве их было всего пятеро — он сам, Вера Засулич, Павел Аксельрод, Лев Дейч, Василий Игнатов.

Теперь, в Брюсселе, перед ним сидели пятьдесят семь убежденных марксистов, делегатов съезда РСДРП, представлявших двадцать шесть действующих социал-демократических групп. Теперь партия насчитывала в своих рядах несколько тысяч активных членов и влияла идейно на сотни тысяч рабочих.

Много больших событий, навсегда вошедших в историю возникновения и развития марксизма в России, произошло в жизни Георгия Плеханова за эти двадцать лет.

В 1883 году в своей брошюре «Социализм и политическая борьба» он впервые нанес удар по идеологии народничества с его мелкобуржуазными утопическими теориями и первым в России высказал мысль о том, что русская революция победит, опираясь только на марксизм.

В 1884 году в книге «Наши разногласия», получившей высокую оценку Фридриха Энгельса, он впервые доказал неизбежность прихода капитализма в России и обосновал необходимость создания российской рабочей партии, как единственного средства разрешить все экономические и политические противоречия русской жизни.

В 1889 году, выступая на первом конгрессе II Интернационала в Париже, он впервые вывел русскую социал-демократию на международную арену, заявив, что революционное движение в России может восторжествовать только как революционное движение рабочих.

— Другого выхода у нас нет и быть не может! — сказал он, заканчивая свою речь.

Слова его были покрыты громом аплодисментов сотен делегатов конгресса Интернационала.

— Я объясняю себе эту великую честь, — продолжал Георгий Плеханов, открывая второй съезд РСДРП, — только тем, что в моем лице Организационный комитет хотел выразить свое товарищеское сочувствие той группе ветеранов русской социал-демократии, которая двадцать лет назад впервые начала пропаганду социал-демократических идей в русской революционной литературе. За это товарищеское сочувствие я от лица этих ветеранов приношу Организационному комитету искреннюю товарищескую благодарность. Мне хочется верить, что по крайней мере некоторым из нас суждено еще долгое время сражаться под красным знаменем, рука об руку с новыми, молодыми, все более и более многочисленными борцами...

Взгляд его упал на сидевшего неподалеку от него тридцатилетнего светловолосого мужчину. Восемь лет назад он впервые встретился с ним в Женеве в кафе Ландольта. Тогда ему передали, что приехавший из Петербурга молодой человек марксистского направления просит о свидании.

Тот разговор в кафе был коротким — сидевший за соседним столиком человек явно прислушивался к их словам.

Условились повторить встречу в Цюрихе. Прощаясь, он вспомнил: человек, устроивший их свидание, сказал, что молодой марксист — родной брат казненного народовольца Александра Ульянова.

Конечно, восемь лет назад ни в Женеве, ни в Цюрихе Геор-

гий Плеханов не мог думать о том, что знакомством с Владимиром Ульяновым начнется новая эпоха его, плехановской, жизни.

Отбыв сибирскую ссылку, Ульянов появился в Швейцарии второй раз летом девятисотого года. Он привез с собой план издания общерусской социал-демократической газеты, твердо веря в то, что газета послужит основой создания российской марксистской рабочей партии.

И надежды Ульянова блестяще оправдались — «Искра» сыграла решающую роль в подготовке съезда партии.

За время издания газеты бывало всякое — разногласия, споры и даже размолвки. Последняя, наиболее серьезная, произошла год назад — по поводу аграрной программы. Тогда он высказал Ульянову, пожалуй, слишком резкие замечания. В ответ Ульянов заявил, что разрывает с ним все отношения.

Пауза длилась целый месяц. Она доставила много волнений им обоим и всем членам редакции «Искры».

Он первым не выдержал напряжения и написал Ульянову письмо, в котором предложил мир ради общего дела. Чрезвычайно дорожа сотрудничеством с ним, он сообщил, что глубоко уважает его и что они на три четверти ближе друг к другу, чем ко всем другим членам редакции «Искры», а разногласия в одну четверть следует забыть во имя втрое большего единомыслия.

Ульянов ответил сразу, — кажется, через три дня. Со свойственной ему непосредственностью выражения он писал, что большой камень свалился у него с плеч, что всем мыслям о «междоусобии» — конец и что при встрече они обязательно без обид поговорят обо всем этом, но не для того, чтобы «ковырять старое», а чтобы выяснить все до конца.

И вот теперь они пришли к съезду почти единомышленниками.

— Двадцать лет назад мы были ничто, — сказал Георгий Плеханов, заканчивая свое выступление на открытии второго съезда РСДРП, — теперь мы уже большая общественная сила... Мы должны дать этой стихийной силе сознательное выражение в нашей программе, в нашей тактике, в нашей организации. Это и есть задача нашего съезда, которому предстоит, как видите, много серьезной и трудной работы. Но я уверен, что эта серьезная и трудная работа будет счастливо приведена к концу и что этот съезд составит эпоху в истории нашей партии.

Все делегаты в едином порыве поднялись со своих мест. Торжественно и взволнованно под сводами бывшего мучного склада возникла мелодия «Интернационала».

Пели самозабвенно, горячо, страстно, у многих в глазах стояли слезы. Не в силах сдерживать чувства, обменивались счастливыми взглядами, сжимали друг другу руки. Сбывалось, сбывалось, сбывалось! Несмотря на преследования, гонения, тюрьмы и ссылки, партия поднималась, вставала на ноги, расправляла плечи, пробовала голос в могучих раскатах «Интернационала».

Особенно выделялся бас одного из самых моложавых на вид делегатов съезда — необыкновенно жизнерадостного и подвижного молодого человека в студенческой тужурке и «пьербезуховских» очках с очень сильными линзами без оправы. Красная материя, которой было занавешено окно бывшего мучного склада, слегка колебалась и покачивалась, когда он брал низкие ноты.

А что же брюссельская полиция? Чины бельгийского королевского сыска, озабоченно прислушиваясь к пению, по-прежнему терялись в догадках относительно намерений собравшихся, продолжая в неведении своем называть их анархистами.

Дальнейшее наблюдение за русскими не давало ничего определенного в смысле выявления их конечных целей.

Зато о том, как проводят анархисты свое время по вечерам, брюссельские филеры могли бы рассказать много интересного.

Например, о веселом студенте в очках без оправы, обладателе красивого и сильного голоса.

Возвращаясь из мучного склада, «студент» (делегат съезда Сергей Гусев) любил выпить в буфете гостиницы «Золотой петух» рюмку коньяку, потом поднимался к себе в номер, распахивал окна и громогласно оглашал округу варварскими словами славянской песни непонятного содержания: «Нас венчали не в це-ркви!..»

Иногда ему аккомпанировал на скрипке еще один участник собраний (член президиума съезда Петр Красиков).

Оба русских оказались на редкость музыкально образованными людьми. От песен они переходили к оперным ариям, и тогда под окнами собиралась каждый раз толпа местных жителей, шумно аплодировавшая после окончания каждой арии.

Однажды, когда импровизированный концерт начался не в номере «студента», а прямо в ресторане «Золотого петуха», несколько филеров рискнули войти в гостиницу. Взору их представилось необычное для европейского глаза зрелище.

Между столиками, зажав в зубах ножи и раскинув в стороны руки, метались в какой-то чудовищной, неистовой пляске два молодых человека восточного типа (делегаты съезда Кнунянц и Зурабов). Скрипка издавала пронзительные, огненные звуки. Посетители ресторана (все из мучного склада), сидя за столами, в такт музыке громко топали ногами и хлопали в ладоши. Возбуждение было всеобщим.

Ножи в зубах — это, конечно, не случайно. Это подтверждало первоначальную догадку высших чинов брюссельской полиции о террористических планах русских анархистов.

Нужно было принимать меры. Тем более что русские уже обнаружили слежку за собой. И не только обнаружили, но и весьма ловко уходили от нее.

Например, идет агент за одним из посетителей мучного склада. Тот проходит мимо нескольких стоянок извозчиков, на которых полным-полно экипажей, и вдруг неожиданно вскакивает

в одноко стоящее на углу ландо. Непривычный к таким ситуациям, шпик растерянно выбегает на мостовую, пробует остановить какой-нибудь экипаж, чтобы преследовать русского революционера, но опытный русский, обернувшись в ландо, машет агенту шляпой, шлет воздушные поцелуи и благополучно скрывается в неизвестном направлении. (А «студент», знаток оперных арий, проделывавший подобные штучки с брюссельскими филерами чаще других, еще и оглушительно хохотал при этом на всю улицу.)

Честь бельгийского королевского сыска была задета наисильнейшим образом. Высшие чины брюссельской полиции решили действовать.

Полиция нагрянула в «Золотой петух» ранним утром, перед самым выходом русских на их ежедневные собрания в мучном складе. Войдя в один из номеров, полицейские предложили его обитателям заполнить опросные листы — кто они? откуда приехали? с какой целью? (Прописки паспортов в Брюсселе не существовало.)

Русские анархисты, обменявшись на своем непонятном языке несколькими репликами, написали в опросных листах абсолютно одинаковые сведения — все они якобы являются шведскими студентами, приехавшими в Бельгию по своей надобности.

Однако доставленные в полицейский участок и допрошенные на шведском языке «шведские студенты» смогли неуверенно произнести всего лишь несколько шведских слов.

Все было ясно, обман зафиксирован документально. Начальник полиции Брюсселя принял решение — выслать российских анархистов за пределы Бельгийского королевства. Причем четверым из них (Гусеву, Зурабову, Кнунянцу и Землячке) предписывалось покинуть Бельгию в течение двадцати четырех часов.

Работу II съезда РСДРП перенесли в Лондон.

Избранный председателем президиума (двумя вице-председателями были Красиков и Ленин), Георгий Валентинович Плеханов по нескольку раз выступал на каждом заседании съезда.

В течение всего съезда Плеханов чувствовал глубокую идейную близость с Лениным. Яркие теоретические знания Владимира Ульянова, убедительность аргументации, ясное понимание задач партии и то особое, высокое наслаждение и упоение, с которыми он отдавался работе съезда, не считаясь ни с какими личными связями и симпатиями, — все это вызывало у Георгия Плеханова искреннее уважение к Ленину, рождало общность отношения почти ко всем обсуждавшимся на съезде вопросам, убеждало в необходимости твердо поддерживать линию искровцев большинства.

Его неоднократно пытались столкнуть и поссорить на съезде с Лениным. Отвечая одному из делегатов, сильнее других жаждавшему сделать это, Георгий Валентинович, посмеиваясь, сказал:

— У Наполеона была страстишка разводить своих маршалов с их женами. Иные маршалы уступали ему, хотя и любили своих жен. Некоторые товарищи в этом отношении похожи на Наполеона — они во что бы то ни стало хотят здесь развести меня с Лениным. Но я проявлю больше характера, чем наполеоновские маршалы; я не стану разводиться с Лениным и надеюсь, что и он не намерен разводиться со мной.

Горячие споры на съезде вызвал проект программы партии. В основе его лежали положения, совместно выдвинутые Лениным и Плехановым. Особым нападкам проект программы подвергся со стороны делегата Мартынова. Выступая против Ленина и Плеханова, он прибегнул к демагогическому приему: критиковал не программу, а книгу Ленина «Что делать?». Возражения Мартынова были нескончаемо длинны и утомительны. Он непрерывно цитировал в подлиннике английские, французские и немецкие источники.

Разноязыкие мартыновские «трели» вызвали у Георгия Валентиновича саркастическую усмешку.

— Наш интернациональный соловей рискует сорвать себе голос и произношение, — заметил Плеханов.

По праву председателя он сразу же взял слово после Мартынова и дал ему резкую и хорошо аргументированную отповедь.

— Товарищ Мартынов, — сказал Плеханов, — приводит слова Энгельса: «Современный социализм есть теоретическое выражение современного рабочего движения». Товарищ Ленин согласен с Энгельсом... Но ведь слова Энгельса — общее положение. Вопрос в том, кто же формулирует впервые это теоретическое выражение. Ленин писал не трактат по философии истории, а полемическую статью против экономистов, которые говорили: мы должны ждать, к чему придет рабочий класс сам, без помощи «революционной бациллы». Последней запрещено было говорить что-либо рабочим именно потому, что она «революционная бацилла», то есть у нее есть теоретическое сознание. Но если вы устраните «бациллу», то останется одна бессознательная масса, в которую сознание должно быть внесено извне. Если бы вы хотели быть справедливым к Ленину и внимательно прочитали всю его книгу, то вы увидели бы, что именно это он и говорит. Так, размышляя о профессиональной борьбе, Ленин развивает ту же самую мысль, что широкое социалистическое сознание может быть внесено только из-за пределов непосредственной борьбы за улучшение условий продажи рабочей силы.

Наверное, никто из делегатов, захваченных живыми перипетиями съездовской дискуссии, не обратил внимания на один тонкий нюанс в этом выступлении Плеханова против Мартынова. Но он, этот нюанс, несомненно, присутствует здесь.

Не осознавая тогда еще, может быть, в полной мере глубинного смысла своих слов, Георгий Валентинович Плеханов, следуя логике союза с Лениным, подсознательно увлекаемый воз-

растающей ролью его в развитии русской социал-демократии, ставит Ленина на следующую после Энгельса позицию.

Слова Энгельса — общее положение. Ленин же писал не общий трактат по философии истории, а «рабочую» полемическую статью.

Ситуацию (не переоценивая ее) трудно и недооценить. Георгий Плеханов, теоретически обосновавший русскую социал-демократию, невольно двигает фигуру Ленина (сильнейшего практика и теоретика русской социал-демократии последних лет) на новую ступень развития социал-демократии.

Плеханов ставит на съезде имя Ленина рядом с Энгельсом.

На четырнадцатом (первом лондонском) заседании съезда началось напряженное, жаркое обсуждение первого параграфа Устава партии. Делегаты, получив благодаря брюссельской полиции несколько дней отдыха, пересекли Ла-Манш, подышали морским воздухом и с новыми силами ринулись в бой.

Докладчик по первому параграфу — Владимир Ульянов. Его формула: членом РСДРП может быть всякий, признающий ее программу и поддерживающий партию как материальными средствами, так и личным участием в одной из партийных организаций.

Доводы Мартова: членом РСДРП считается каждый, кто принимает ее программу и оказывает партии регулярное личное содействие под руководством одной из партийных организаций.

Слово за Георгием Валентиновичем Плехановым.

Авторитет Плеханова в партии необычайно высок. Годы, предшествовавшие съезду, были временем наибольшего расцвета его творческой личности как теоретика марксизма и деятеля международного рабочего движения.

Его заслуги перед русским освободительным движением признаны повсеместно. Двадцать семь лет назад, 6 декабря 1876 года, во время первой революционной демонстрации в России, происшедшей в Петербурге на площади Казанского собора, он впервые в России произнес публичную политическую речь, направленную против самодержавия.

С тех пор популярность его росла с каждым годом. Он написал первые русские марксистские книги. Переведя «Манифест Коммунистической партии», создал русскую марксистскую терминологию. Он был властителем дум целого поколения русских революционеров. В России не было более или менее прогрессивно настроенного общественного деятеля, который не уважал бы и не почитал Плеханова. А в социал-демократических кругах бывали порой времена, когда имя Плеханова боготворили — не только его мнение, но и каждая мимоходом брошенная фраза получала силу незыблемой закономерности.

— Я не имел предвзятого взгляда, — сказал Георгий Плеханов, — на обсуждаемый пункт Устава. Еще сегодня утром, слушая сторонников противоположных мнений, я находил, что «то

сей, то оный набок гнется». Но чем больше говорилось об этом предмете и чем внимательнее вдумывался я в речи ораторов, тем прочнее складывалось во мне убеждение в том, что правда на стороне Ленина. Весь вопрос сводится к тому, какие элементы могут быть включены в нашу партию. По проекту Ленина, членом партии может считаться лишь человек, вошедший в ту или другую организацию. Противники этого проекта утверждают, что этим создаются какие-то излишние трудности... Говорилось о лицах, которые не захотят или не смогут вступить в одну из наших организаций. Но почему не смогут? Как человек, сам участвовавший в русских революционных организациях, я скажу, что не допускаю существования объективных условий, составляющих непреодолимое препятствие для такого вступления. А что касается тех господ, которые не захотят, то их нам и не надо... Говорить же о контроле партии над людьми, стоящими вне организации, значит играть словами. Фактически такой контроль неосуществим. Аксельрод был не прав в своей ссылке на семидесятые годы. Тогда существовал хорошо организованный и прекрасно дисциплинированный центр, существовали вокруг него созданные им организации разных разрядов, а что было вне этих организаций, было хаосом, анархией. Составные элементы этого хаоса называли себя членами партии, но дело не выигрывало, а теряло от этого. Нам нужно не подражать анархии семидесятых годов, а избегать ее... Когда Желябов заявил на суде, что он не член Исполнительного комитета, а только его агент четвертой степени доверия, то это не умаляло, а увеличивало обаяние знаменитого комитета. То же будет и теперь. Если тот или иной подсудимый скажет, что он сочувствовал нашей партии, но не принадлежал к ней, потому что не мог удовлетворить всем ее требованиям, то авторитет партии только возрастет... Не понимаю я также, почему думают, что проект Ленина, будучи принят, закрыл бы двери нашей партии множеству рабочих. Рабочие, желающие вступить в партию, не побоятся войти в организацию. Им не страшна дисциплина. Побоятся войти в нее многие интеллигенты, насквозь пропитанные буржуазным индивидуализмом. Но это-то и хорошо. Эти буржуазные индивидуалисты являются обыкновенно также представителями всякого рода оппортунизма. Нам надо отдалять их от себя. Проект Ленина может служить оплотом против их вторжений в партию, и уже по одному этому за него должны голосовать все противники оппортунизма.

При голосовании первого параграфа Устава Плеханов поднял руку вместе с Лениным.

Вера Засулич и Павел Аксельрод высказывались за формулировку Мартова.

С этой минуты первой русской марксистской социал-демократической группы «Освобождение труда» как единого целого более не существовало. Она, правда, формально еще числилась среди отдельных организаций партии. Только на двадцать девятом заседании съезда Лев Дейч попросил слова и от имени старых

товарищей по группе заявил, что «Освобождение труда» растворяется в общей партийной организации.

Но фактически группа перестала существовать в день голосования первого параграфа Устава. В тот день она раскололась на два враждебных лагеря. На глазах у всего съезда.

Это были тяжелые часы в жизни Георгия Валентиновича Плеханова. Двадцать лет он шел рука об руку с Верой Засулич и Павлом Аксельродом по тернистой дороге общей борьбы в суровых условиях жизни в эмиграции, полной невзгод и лишений.

И вот теперь пути их расходились.

На заключительных заседаниях съезда Георгий Плеханов был избран председателем Совета партии. Он был вместе с Лениным, но съезд распадался на две части. Зловещее слово «меньшевизм», из которого в дальнейшем вырастет трагедия судьбы Георгия Валентиновича, родилось на белый свет.

Съезд раскололся надвое. Плеханов сидел с Лениным на заседаниях искровцев большинства, а все его старые друзья по группе «Освобождение труда» — на собраниях другой части съезда во главе с Мартовым.

Терять старых друзей больно. Мрачные мысли одолевали Георгия Валентиновича.

На тридцать первом заседании съезда Плеханов на правах председателя пытался лишить слова Мартова. Вера Ивановна Засулич, вскочив с места, яростно кричит Плеханову совершенно немыслимые, чудовищные обвинения.

Слово просит Ленин. Плеханов властью председателя дает ему слово.

У Засулич начинается нечто вроде психического припадка. Она теряет контроль над собой. Рядом с ней Мартов и Троцкий. Их нервные крики не дают Ленину начать свое выступление.

Плеханов растерян. Он долго не может навести порядок. Голос Ленина почти не слышен за выкриками Мартова, Троцкого и Засулич.

В перерыве, глубоко удрученный всем происшедшим, Георгий Валентинович выходит в коридор. Навстречу ему медленно идет Засулич. Лицо ее пылает, глаза лихорадочно блестят.

Плеханов пытается успокоить Веру Ивановну (ведь это же Вера — друг, товарищ, самый близкий человек за два десятка лет, проведенных рядом в эмиграции), но Засулич, перебив его, снова кричит, срывается почти на визг, бросая в лицо ужаснейшие, несправедливейшие упреки, обвиняя в измене и предательстве.

Вокруг толпятся мартовцы. Они чего-то ждут от Плеханова. Чего же именно? Отказа от союза с Лениным?.. Ну уж нет! Никаких личных симпатий, никаких сентиментальных воспоминаний о прошлом!

— Вера Ивановна, — резко обрывает Плеханов Засулич, — вы что-то перепутали! Наверное, вам кажется, что перед вами стою не я, а генерал Трепов, в которого вы стреляли когда-то...

Шутка горька, тяжела и, пожалуй, неуместна. Засулич близка к обмороку. Она держится за сердце. Ей приносят воды.

Кляня себя за то, что не удержался от сомнительной остроты, Плеханов стремительно выходит из помещения.

Все последующие после столкновения с Засулич дни Плеханов не находит себе места. По ночам его мучает бессонница. Радость победы на съезде, достигнутой в союзе с Лениным, отравлена нелепой выходкой Засулич. Неужели она так ничего и не поняла? Неужели Вера не осознает неправильности своей позиции?

Но ведь она всегда верила мне, мучительно думает Георгий Валентинович. Значит, сейчас доверие потеряно. Из-за чего? Почему? Разве Засулич не понимает пагубности раскола именно в это время? Ведь партия создавалась с таким трудом, ведь столько сил ушло на подготовку съезда. Целых двадцать лет ждали они — Аксельрод, Засулич и он — того времени, когда можно будет уверенно сказать: российская социал-демократия существует не только теоретически, но и практически!

И вот теперь, когда эти слова можно было наконец произнести, старых друзей разделяет пропасть. Они, Вера и Павел, больше не верят ему, Жоржу. Они не хотят принять позиции Ленина.

Нет, он, Плеханов, не может разорвать союза с Лениным ради старой дружбы с Аксельродом и Засулич. За Лениным — реальный смысл, практические дела партии. Он остается с Лениным, как бы тяжело ни пришлось осознавать полный разрыв со своим прошлым, со старыми соратниками и друзьями.

Лето 1903 года кончилось. В конце августа, когда над Темзой сгустились туманы, а солнечные лучи на башнях Тауэра и Вестминстерского аббатства играли все реже и реже, когда над городом зарядили первые унылые осенние дожди, участники второго съезда РСДРП начали разъезжаться из Лондона по местам.

Вернулся в Швейцарию и Георгий Валентинович Плеханов. На душе у него было тревожно и грустно. Тяжелые мысли теснили сердце. Было ясно, что происшедший раскол в самом скором времени обернется новыми испытаниями и сложностями в работе и жизни.

Еще выходила «Искра» под его общей редакцией с Лениным. Еще он писал статьи в газету, развивая и пропагандируя решения съезда. Но разногласия с меньшевиками камнем висели на душе. Энергия разума бесплодно расходовалась на тщетные попытки ликвидировать раскол. Несколько раз вместе с Лениным он участвовал в переговорах с мартовцами, которые не шли ни на какие компромиссы, игнорируя все решения съезда по организационным вопросам.

В октябре у Георгия Валентиновича возникла надежда исправить дело на съезде «Заграничной лиги русской революционной

социал-демократни». Съезду лнгн предшествовала сентябрьская встреча лидеров большевнков с лидерами меньшевиков. От большевиков присутствовали Ленин, Плеханов и Ленгник. От меньшевиков — Мартов, Засулич, Аксельрод, Потресов.

— Никакой, абсолютно никакой надежды на мир больше нет, — сказал Плеханову Ленин, когда все разговоры были окончены.

Георгий Валентинович мрачно молчал.

— Война объявлена, — тяжело вздохнул Ленин.

Плеханов стоял насупившись, уткнув бороду и усы в воротник пальто. Глаза его, всегда живые и проницательные, сейчас светились тоской и печалью.

— Впереди у нас съезд лиги, — с трудом сказал он наконец.

— На котором решительно ничего не изменится! — быстро парировал Ленин и сделал исчерпывающий жест рукой.

— Но бой будет дан, — поднял голову Плеханов.

На одном из заседаний съезда «Заграничной лиги русской революционной социал-демократии» Плеханов, поддерживая Ленина, обрушился на Мартова и Троцкого.

Давая выход накопившемуся раздражению против старых друзей, Плеханов резко высмеял Льва Дейча, как только тот позволил себе очередную нападку на Ленина.

— Я не сомневаюсь, что товарищ Дейч умеет читать, хотя он никогда не злоупотреблял этим умением, — усмехнулся Георгий Валентинович. — Но что он умеет читать в сердцах, я этого не знал. Во всяком случае, данные, добытые таким путем, не поддаются проверке, и я не буду даже разбирать, прав он или нет. «Жоресизм» и «анархизм» употреблять неудобно, а «оскорбление величества» и «помпадурство» удобно... Единство должно существовать. Партия должна быть единой и нераздельной, и если эта мысль в моих устах удивляет товарища Дейча, то это свидетельствует о том, что он плохо читает в сердцах. Я настаиваю на принятии резолюции, дабы она еще раз подтвердила наше единство.

Плеханов посмотрел на старого друга. Женька (партийный псевдоним Дейча) сидел около Аксельрода и Засулич растерянный и удрученный, не поднимая головы. Весь скорбный вид его как бы говорил о том, что он никак не может понять — почему Жорж Плеханов выступает против него? Почему он не с ними — Засулич, Аксельродом, Дейчем, то есть с теми, с кем организовывал когда-то, двадцать лет назад, здесь же, в Женеве, в кафе на берегу Роны, первую русскую социал-демократическую группу «Освобождение труда»?

Постепенно становилось ясным, что меньшевики стремятся не к миру, а только к войне, что они хотят сделать «Заграничную лигу» центром фракционной войны против большевиков.

Особенно накалилась атмосфера после выступления Мартова.

— Вы переносите принципиальный спор на почву подозрений и намеков, — сказал от имени большевиков Ленгник, обращаясь к оппозиции. — Вы выработали свой устав, который превращает лигу в независимую от партии организацию. Вы хотите самостоятельно издавать свою литературу и транспортировать ее в Россию без нашего ведома. Ваша цель ясна — вывести лигу из-под контроля партии.

Как член Центрального Комитета, избранного вторым съездом РСДРП, Ленгник объявил съезд «Заграничной лиги русской революционной социал-демократии» незаконным.

Большевики покинули съезд лиги.

Вместе с ними ушел и Плеханов.

Это был последний шаг, сделанный Георгием Валентиновичем после второго съезда РСДРП вместе с большевиками, вместе с Лениным.

Октябрьским вечером 1903 года в Женеве, в кафе Ландольта, собрались большевики, покинувшие заседание «Заграничной лиги русской революционной социал-демократии». Ждали Плеханова.

Он вошел, необычно взволнованный, бледный, непохожий на самого себя. Все тревожно смотрели на него: почувствовали, что Георгий Валентинович находится в каком-то совершенно новом и незнакомом для них состоянии.

Плеханов оглядел собравшихся. Ленин, Бауман, Бонч-Бруевич. Лиза Кнуниянц.

Он вздохнул, откинул назад голову. В черных усах и бороде сверкнула седина.

— Что с вами, Георгий Валентинович? — с тревогой спросил Ленин.

— Надо мириться, — ответил Плеханов. — Необходимо ввести в редакцию «Искры» Засулич, Аксельрода... Я больше не могу стрелять по своим.

Ленин побледнел.

— Но ведь мы же предлагали кооптацию, — тихо сказал он, — они отказались.

— Нужно соглашаться на все их условия, — мрачно сказал Плеханов. — Это лучший способ успокоить и обезвредить мартовцев.

— Вы предлагаете отменить решения съезда партии? — спросил Ленин.

— Если мое предложение не будет принято, я ухожу в отставку, — сказал Плеханов.

Так началась драма судьбы — трагедия политической и общественной биографии Георгия Валентиновича Плеханова.

Ленин, как всегда, энергично, коротко и ярко дает характеристику эволюции Плеханова в то время:

1903, август — большевик;

1903, ноябрь (№ 52 «Искры») — за мир с «оппортунистами» — меньшевиками;
1903, декабрь — меньшевик, и ярый...

В последние месяцы и дни 1903 года Георгий Валентинович много думал о переменах, происшедших в его политической позиции, в его положении в русской социал-демократии.

Иногда перед ним возникала вся его жизнь — длинная череда событий, встреч, городов, стран, человеческих лиц. Ему вспоминалась Россия, от которой он был оторван вот уже целых двадцать три года, далекий городок Липецк и отцовская деревня Гудаловка, в которой он родился...

Воронеж, где прошла его юность в военной гимназии...

Петербург и Горный институт, первые сходки рабочих и студентов на его квартире, с которых все началось.

Потом были кружки, Казанская демонстрация, хождение в народ, Воронежский съезд, разрыв с народовольцами, эмиграция, приход к марксизму...

Собственно говоря, один раз в его жизни события уже сплетались в неимоверно тугой узел, подобный теперешнему. Тогда, более двадцати лет назад, он, молодой и непримиримый, явился из России в Европу, чтобы спустя некоторое время в своих книгах «Социализм и политическая борьба» и «Наши разногласия» навсегда порвать с народничеством и перейти на твердые позиции марксизма.

Тогда он четко размежевался в своих новых взглядах с позицией Лаврова, одного из апостолов народничества. Все было высказано предельно ясно и определенно — русское освободительное движение в лице только что созданной группы «Освобождение труда» выходило на новую историческую дорогу. (Ему запомнился взгляд, который бросил однажды Петр Лаврович Лавров на него, на Плеханова, во время одного из самых горячих их споров. Взгляд старого человека, провожающего в дальнюю дорогу нетерпеливую молодежь, — усталые, слезившиеся глаза Лаврова смотрели поверх очков растерянно и тоскливо.)

Теперь ситуация как бы повторялась. Ленин и ленинцы — молоды и непримиримы. А он и старые друзья (Засулич, Дейч, Аксельрод) уже, к сожалению, совсем немолоды. Да и не только в возрасте было дело. Новая революционная Россия лежала далеко, за двадцать с лишним лет эмиграции все они, «освободители труда», как называл их когда-то Лавров, привыкли в Европе к иной, западной практике социал-демократического строительства в относительно мирных, легальных условиях.

А Россия полыхала отблесками новой, близкой революционной бури. Он, Плеханов, понимал это и хотел бы идти вместе с ленинцами, но как же быть с теми, кто годами стоял рядом, чью поддержку и помощь он всегда ощущал? «Мадам История» склонна к тому, чтобы двигать жизнь вперед по спирали. Конечно, нельзя говорить о том, что эта капризная «мадам» сей-

час поставила его в то же самое положение, в которое некогда был поставлен Лавров. Но что-то общее есть. Диалектика. Все течет, все изменяется. Все имеет свой конец. И то, что когда-то было молодо, теперь устарело. Но что же делать с человеческой природой, которой свойственно упорно сопротивляться времени и порой не замечать его неумолимого движения вперед?

Двадцать девятого ноября 1903 года Георгию Валентиновичу Плеханову исполнилось сорок семь лет.

В тот день, нарушив свою издавна заведенную в эмиграции привычку работать каждый день с самого раннего утра, он долго сидел один у себя в кабинете за письменным столом, разглядывая фотографии отца и матери.

В тот день, он так и не начал работать, хотя дел было много. Напряженная ситуация в партии, кризис отношений с Лениным — все это требовало писать статьи, письма, объяснять, растолковывать, находить теоретические обоснования.

Но не работалось. Он оделся и вышел на улицу.

Сорок семь лет прожил человек на земле. Что там ни говори, какими иллюзиями ни утешай себя — главное уже позади. Стрелка судьбы закончила свой восходящий путь и теперь неуклонно движется вниз, к тому пределу, за которым у всех, как любил говорить Герцен, вход в минерально-химическое царство.

Правда, время еще есть, да и забот хватает. Многое начато и не завершено, многое предстоит сделать в связи с последними событиями. Нужно думать, нужно бороться, нужно напряженно искать выход из создавшегося положения.

И все-таки — сорок семь. Из них половина проведена в изгнании, на чужбине. Подумать только — двадцать три года прожил он в чужих странах и городах. Швейцария, Франция, Англия, Бельгия... Чужая речь, чужие вывески, чужие озера, реки, леса, равнины...

Он снова вспомнил фотографии отца и матери, оставшиеся стоять на его письменном столе. Два этих человека давно уже лежат в могиле, в сырой земле, а он бесконечно далек от этой родной русской земли, он лишен даже возможности прийти на могилу своих предков и дать волю такому необходимому, такому естественному для каждого человека чувству благодарности людям, чей союз вызвал его появление на свет, чьи черты и наклонности он унаследовал.

И с неожиданной глухой болью он вдруг почувствовал огромную, неутолимую сердечную тоску по России, по далекой своей и почти уже забытой родине, по ее желтым пшеничным полям и кудрявым лесам, по белой березе своей юности, зеленой долине отрочества, по реке своего детства, неторопливо журчащей на светлых песчаных перекатах.

И он увидел себя — маленького русского мальчика, идущего через сад от родительского дома по мокрой утренней траве...

Он остановился, закрыл глаза, замер, прислушиваясь к тяжелым ударам сердца...

И Россия, родина, детство неудержимо двинулись к нему навстречу из всех далеких уголков памяти, будто огромное красное солнце взошло над горизонтом его жизни...

Глава вторая

...Март 1874 года в Гудаловке выдался ветреный. Ранним пасхальным утром во дворе господской усадьбы раздался истошный крик:

— Горим!

Шапка искр взметнулась над кровлей помещичьего дома. Из печной трубы на крыше вырвался столб пламени.

Молодой барин, занимавшийся, как обычно, с утра в кабинете покойного отца, выскочил во двор без пальто и шапки. Хмельной с ночи соседский поп, въехавший во двор на тарантасе и увидевший огонь, взревел басом:

— Воды!

И бросился с полупьяну на крышу, крестясь на ходу.

— Стойте, батюшка! — крикнул молодой барин. — Сгорите!

— Воды, воды! — вопил поп. — Одним ведром все потушу!

На крики выбежала из дома барыня, метнулась к сыну, прижала к груди.

— Уйдем, Егорушка, уйдем!

— Маменька, дом же горит!

— Дом старый! — плакала барыня. — Мне твоя жизнь дороже!

Поп, сбитый пламенем, скатился с крыши с обожженной бородой и усами. На пожар сбегались мужики.

— Вещи спасайте! — кричал поп на мужиков.

Мария Федоровна, не распорядившись ни о чем, увела Жоржа в дальний конец двора. Мужики тащили из огня что попало. Вскоре рухнула кровля, и в пламени погибла вся библиотека Валентина Петровича.

— Вон оно как получается, — сказал приехавший на пожар в собственной бричке бывший гудаловский староста Тимофей Уханов по прозвищу Одноглаз. — Помер старый барин, и гнездо его сгорело. Года не прошло.

С помощью Тимофея, одолжив у него денег, Мария Федоровна (после того, как были растасканы головешки с пожарища) приспособила для проживания семьи в деревне несколько хозяйственных построек. Но жить в них было неудобно, а главное — стыдно. И пришлось всем перебираться в Липецк, во флигель городского дома. Дом этот был куплен Валентином Петровичем шесть лет назад, но так получилось, что сами хозяева, круглый год обитая в Гудаловке, почти не жили в нем, сдавая все пять комнат внаем, а когда случалось приезжать в город, останавливались во флигеле.

Перед самым отъездом в Липецк к барыне Марии Федоровне припожаловал Тимофей Уханов, предложил выгодную сделку: на месте пепелища он, Тимофей, ставит новый барский дом (конечно, не такой, как при старом барине, но ничего — жить будет можно, а то ведь как теперь господа живут? — в кладовых да подклетях, одна срамота).

— А что ты хочешь взамен? — прищурившись при слове «срамота», спросил сидевший рядом с Марией Федоровной Жорж.

Тимофей разгладил усы.

— Взамен мне, барин, ваша землица нужна, — сказал он и, не удержавшись, улыбнулся.

— Это как же понимать? — нахмурился Жорж. — За сто десятин всего один дом?

— Ты хочешь купить у нас землю? — удивилась Мария Федоровна. — Все сто десятин?

— Купить сто десятин я, пожалуй, еще не потяну, — озабоченно сказал Тимофей. — А вот взять в аренду на долгий срок — это по мне. Причем плата моя вам за землю будет высокая, а ваш процент мне за дом — умеренный.

— Постой, постой, — перебил его Жорж, — ты, как всегда, все запутал. Ну-ка объясни еще раз свои условия.

— Условия мои, барин, самые простые. Я вам новый дом ставлю. Какой он будет по размеру — это мы опосля обговорим. Во сколько денег этот дом встанет — это ваш долг мне. Скажем, даю я вам его на десять лет. И каждый год вы будете выплачивать мне одну десятую часть, да к этому шесть процентов годовых. Это по-божески, барин, совсем по-божески.

— Из каких же средств мы будем выплачивать этот долг? — спросила Мария Федоровна.

— А вот из каких. Свою землю вы даете в аренду мне али наследникам моим тоже на десять лет. И платить я вам буду за нее в два раза поболее, чем вы теперича за нее получаете. Из этой моей оплаты за аренду вы мне свой долг за дом и возвернете.

— Понятно, — усмехнулся Жорж.

— А можно так все закруглить, — снова заулыбался Тимофей, — что и денег-то нам совать из рук в руки не придется. Вы, скажем, называете свою сумму за землю на все десять лет, а я вам на всю эту сумму огромадный дом и отгрохаю. Еще получше старого, сгоревшего. И будет у вас снова и дом свой, и через десять лет все сто десятин обратно вернутся.

— Тимофей, — спросила Мария Федоровна, — а как же будут мужики?

— Какие мужики? — насторожился Одноглаз.

— Ну те, которые сейчас у нас землю арендуют.

Тимофей посмотрел на барыню кислым взглядом:

— Барыня, матушка, ну сколь они вам сейчас платят, мужики-то? Копейки! А я удвоить цену предлагаю!

— Я не о цене говорю...

— А об чем же?

— Мужикам-то ведь кормиться надо. Где они еще землю возьмут? А наша у них под боком.

— Кормиться! Да нешто они голодные? Им и своих наделов хватает.

— Если бы хватало, — вмешался Жорж, — не арендовали бы у нас.

Тимофей заерзал на табуретке, заговорил удивленно, обиженно, разводя в стороны руки:

— Да какие такие мужики? Откудова они взялись? Сколь их есть, чтобы землицу дробить? Зачем вам, барыня, с ними мелочиться? Одно беспокойство для господ с кажным сиволапым счеты вести, кажную весну и осень себя утруждать...

— Какие мужики? — прищурился Жорж. — А все твои бывшие друзья. Аверьян Козлов, например, севастопольский ратник. Или Парамон с дальнего конца.

— Аверька Козел? — усмехнулся Тимофей. — Да какой же он арендовщик? Ему разве земля нужна? Ему бы только языком чесать, про походы свои рассказывать...

— Земля остается за мужиками, — неожиданно твердо сказал Жорж, вставая. — И всем разговорам об этом конец.

— Да, да, Тимофей, — поспешила подтвердить слова сына Мария Федоровна, — пусть земля за мужиками останется. Она им все-таки нужнее, чем тебе. Ты уж не обижайся.

Одноглаз тоже встал, помял в руках шапку.

— Ну что ж, — вздохнув, сказал он, — дело, конечно, хозяйское. Но только так вам скажу, барыня. Много вы на этом деле потеряете, много неудобства себе наживете. И об моих словах еще жалеть будете. А мужики землю вам запустят, бурьяном землица зарастет. И тогда уже цена на нее будет другая, совсем другая.

Он пошел было к дверям, но на пороге остановился:

— А напоследок будут вам такие мои слова. Ежели землицу вы все же мужикам отдадите, мне ее у них перекупать придется. Земля ваша после старого барина еще хорошая стоит, ухоженная. А мужики вам ее загадят, ежели такие хозяева, как Аверька Козел, на ей управляться станут. Такого дела никак дозволять нельзя, перекупать придется.

И он шагнул за порог.

— Одну минуту, маменька, — сказал Жорж и пошел за бывшим старостой.

Он догнал его уже во дворе.

— Послушай, Тимофей, — сказал молодой барин, — если ты перекупишь аренду у мужиков, я все твои амбары с хлебом сожгу!

— Это как же понимать? — нахмурился Одноглаз.

— А вот так и понимай, как слышишь. Я тебе мужиков разорять не позволю! Рано ты начинаешь со своих же деревенских шкуру драть.

— Ну и ну, — покрутил головой Тимофей. — «Сожгу»! Это что же такое? Это разбой...

— А то́, чем занимаешься ты, разве не разбой?

— Ладно, перекупать не буду, — усмехнулся староста. — А жалко.

Он надел шапку.

— Может, все же уступишь землицу, барин? В одни руки попадет, уход за ней будет справный.

— Нет, — твердо ответил Жорж, — маменька правильно рассудила: мужикам земля нужнее, чем тебе. Они с нее жить будут, а ты — наживаться.

Выгодная сделка не состоялась.

Восемнадцатилетний Георгий Плеханов в первый год своего обучения в Горном институте жил в Петербурге аскетом. Занятия, лекции, книги, лаборатории. В редкие свободные часы любил в одиночестве бродить по городу, иногда навещал сестру Сашу, учившуюся в Елизаветинском институте.

Однажды, зайдя на квартиру к знакомому студенту за книгой, он застал человека, который, увидев Жоржа, быстро встал из-за стола и вышел в соседнюю комнату.

Плеханов с удивлением посмотрел на хозяина.

— Кто это? — спросил он.

— Тихо, никаких вопросов, — ответил хозяин, — ты здесь никого не видел.

Жорж пожал плечами и, взяв книгу, ушел.

Через неделю, возвращая книгу, Плеханов опять увидел в комнате того же человека. Незнакомец стоял у окна и с интересом поглядывал на вошедшего.

— Я никого не вижу, — усмехнулся Жорж, — здесь никого нет.

Незнакомец улыбнулся:

— На этот раз есть.

И, подойдя, протянул руку:

— Митрофанов.

Плеханов назвал себя.

— Почему же не убегаете, как в прошлый раз? — спросил Жорж у Митрофанова.

— Тогда я не знал, кто вы, а теперь знаю, — просто объяснил Митрофанов.

Они сели за стол.

— Внешность у вас приметная, — сказал Митрофанов. — У меня к вам есть один вопрос. Вы что же, и в самом деле родственник Чернышевскому?

— О, господи! — рассмеялся Жорж.

В комнату вошел с самоваром хозяин квартиры.

— Это ты меня родственником Чернышевского сделал? — спросил Плеханов.

— Не Чернышевского, а Белинского, — поправил хозяин.

Тут уже рассмеялся Митрофанов.

— Извинения просим, — сказал он, пощипывая бороду, — малость оговорился. Бывает со мной такое, другой раз путаюсь с именами.

Знакомый студент расставлял на столе стаканы и блюдца.

— Ну а насчет Белинского? Так оно и есть? — допытывался Митрофанов. — Сродствие имеется?

— Весьма и весьма отдаленное по линии матери.

Митрофанов с уважением посмотрел на собеседника.

— Замечательные произведения ваш сродственник писал. За душу берут... Очень правильные слова говорил про помещиков и господ, и особенно про подневольный народ, про крестьянство. Такие писатели, как Белинский да Чернышевский, и заставили царя волю подписать.

— А вы, — засмеялся Жорж, — разве вы, как бы это правильнее сказать, знакомы с книгами Белинского и Чернышевского?

— Статьи ихние в журналах встречались, — прихлебывал чай Митрофанов.

— А вы и журналы читаете?

— Ну а почему нет?

— Собственно говоря, ничего странного в этом, конечно, нет, но...

— Выговор мой неправильный вас, что ли, удивляет? Это от прошлой темной жизни осталось. Я ведь из фабричных. А в город из деревни пришел.

— Из фабричных? То есть вы хотите сказать, что вы... рабочий?

— Был рабочим, пока полиция не стала за мной гоняться.

— И что же, будучи рабочим, вы читали в журналах статьи Белинского и Чернышевского?

— И не только их статьи. Мы и Бакунина читали, и Лаврова.

— И как относитесь к их сочинениям?

— Хорошо отношусь. На правильную дорогу людей зовут. Но только не всегда громко. А надо бы громчее, чтобы каждый подневольный русский человек услышал и голову поднял.

— Простите за нескромный вопрос, а чем вы сейчас занимаетесь?

— Распространяться об этом, конечно, не желательно, но поскольку друзья ваши хорошо об вас отзываются и как вы есть родственник Белинского, то скажу. К бунту народ готовим.

— К бунту? Против кого?

Жорж повернулся к хозяину квартиры. Тот, загадочно улыбаясь, помешивал в стакане ложкой.

— Против властей, — твердо сказал Митрофанов, — против бар и господ.

— А кто же будет бунтовать?

— Народ, крестьянство.

— Но ведь для того, чтобы бунтовать, нужны руководители бунта.

— Они будут.

— Кто же ими будет?

— Революционеры.

— И вы себя присоединяете к их числу?

— Немного есть.

— Каким же способом вы собираетесь поднять народ, и в частности крестьянство, на бунт?

— Способов много. Один из главных — идти в народ, объяснить ему, что воля дадена царем неправильно, без земли. Нужно пустить в крестьянство пропаганду, чтобы мужики требовали волю вместе с землей.

— И мужики послушаются вас?

— А как же? Мужик сейчас зол. Он много лет господ кормил, землю и волю долго ждал, надеялся, что и ему за верную его службу барину все по справедливости будет дадено. А что получилось? Обман.

— Мужики тоже разные бывают...

— Сейчас обида на господ всех равняет.

Плеханов откинулся на спинку стула, внимательно посмотрел на Митрофанова.

— Как странно, — задумчиво сказал Жорж, — когда я увидел вас, я понял, что вы человек из народа. И мне захотелось поговорить с вами, но я решительно не знал, в каких выражениях вести этот разговор. Я думал, что в разговоре с вами я должен употреблять те самые «переряженные» слова, которыми написаны брошюры для простолюдинов. Но оказалось, что вы, человек из народа, решительно не укладываетесь в рамки моего представления о народе. Я вырос в деревне, и мне всегда казалось, что я прекрасно знаю народ. Но вот я познакомился с вами, фабричным человеком, рабочим, и выясняется, что мои представления о народе до неприличия узки и ограниченны...

— Хорошо говорите, — накрыл Митрофанов широкой ладонью лежавшую на столе руку Жоржа, — и человек вы, видать, честный...

— Мой отец был помещиком, небогатым, но все-таки помещиком. Он был человеком, что называется, старого закала, с крепостными своими обращался весьма сурово и даже жестоко, и у меня еще в детстве много раз возникал этакий мальчишеский протест против него, но это все-таки был отец...

— Вы очень искренно сейчас говорили, — сказал Митрофанов, пристально глядя на Жоржа.

— Да наболело, знаете ли, на душе. Сидишь все время один за книгами. Зачем, думаешь иногда, все это? Для будущей карьеры?.. Знания, конечно, дело хорошее, но порой пустота какая-то возникает внутри...

— И ваше желание быть с народом тоже очень похвально. Но рабочие — это не народ. Они развращены городской жизнью и проникнуты буржуазным духом.

— Но вы же сами рабочий!

— Я бывший рабочий, сейчас я революционер. А единственный настоящий народ — это крестьянство. Крестьянство, и только оно одно, может быть интересно для революционной работы. Поэтому надо идти в деревню и там вести пропаганду, там готовить народ к бунту. А что касается рабочих, так я вам сам все о них расскажу. Я эту публику насквозь знаю.

...Жорж возвращался домой в недоумении после всего того, что Митрофанов рассказал ему о себе. Митрофанов, сам рабочий, говорит, что рабочие развращены городом и проникнуты буржуазным духом.

Загадки, загадки...

На масленицу один из приятелей — однокурсников Жоржа по институту, работавший в студенческих кружках, — спросил у него, нельзя ли будет провести в его квартире очередное занятие кружка.

— Отчего же нельзя? Конечно, можно, — ответил Жорж. — Много ли будет народу?

— Человек пятнадцать-двадцать, не больше. Хочу только предупредить тебя, что, помимо наших студентов, будут еще и фабричные.

— Фабричные? — с сомнением переспросил Жорж, помня нелестные отзывы Митрофанова о рабочих. — А разве они вас интересуют?

— Нас интересуют, а тебя нет?

— Да как сказать...

В назначенное время в большую комнату Плеханова, которую он снимал на Петербургской стороне, начали собираться участники кружка. Все пришедшие были интеллигентного вида молодые люди (своих, из Горного института, было всего двое, и когда Жорж спросил у них, будет ли сам устроитель занятия, те ответили, что нет, мол, не будет — он сегодня занят в другом месте).

Потом большой группой пришли фабричные, разделись и все так же, группой, сели в углу.

Интеллигентные молодые люди (никто из них ни разу не представился ни по имени, ни по фамилии — соблюдалась конспирация) называли себя «бунтарями-народниками». Выступая один за другим и обращаясь непосредственно к фабричным, они говорили о том, что сейчас все основные силы русской социалистической партии должны быть направлены на «агитацию на почве существующих народных требований». А за пропаганду, мол, стоят только «лавристы» — люди, как известно, совершенно бездеятельные и поэтому в революционной среде никакой популярностью и никаким влиянием не пользующиеся. (Очень скоро Жорж понял, что все интеллигентные молодые люди принадлежат к какой-то реально существующей революционной организации или, во всяком случае, к какому-то хорошо поставленному

революционному кружку, конкретного названия которого онн не открывают.)

«Буитари-иародники» упорно склоияли фабричных встать именно иа их путь — иа путь агитации, а не иа ошнбочый, «лаврнстский» путь бесперспективной, по их мнению, пропаганды.

Фабричные пока отмалчивалнсь. Было ясно (по их лнцам, неопределеииым жестам н коротким вопросительиым репликам друг другу), что отличнтельные признаки между агитацией и пропагандой они пока улавлнвают очень слабо, но поиять хотят, иапряженио вслушиваясь в каждое выступлеиие.

Наконец фабрнчиые заговорнли. И Жорж сразу поиял, что у иего в комнате собрались очень опытные, иадежные и влиятельные люди из среды петербургских рабочих. Почти все они, как это было видио из их слов, уже подвергалнсь арестам, сидели в тюрьмах, читали там революциоиную литературу и теперь, вернувшись иа волю, готовы продолжать революционную работу.

И тем не менее Жорж все отчетливее и отчетливее уяснял для себя, что на революцноиные рабочие кружки фабричиые смотрят прежде всего как на кружки самообразования.

«Бунтари» горячились, доказывали, разъясняли свои взгляды, старались втолковать рабочим свою мысль о том, что образование не имеет никакого революционного значения.

— Да как вам ие стыдно говорить иам все это! — вдруг с жаром воскликнул, вскочив со своего места, пожилой мастеровой. — Каждого из вас в пяти школах учили, в семи водах мыли, а иной рабочий не знает, как отворяются двери школы! Вам не нужно больше учиться, вы и так много знаете, а рабочим без этого нельзя!

— Да ведь мы ие против самообразоваиия! — так же горячо запротестовал один из «бунтарей». — Мы против пропаганды! Мы за агитацию и вас призываем к этому!

— Ну уж нет! — упрямо иаклонил голову мастеровой. — Пропаганда — это и есть образование. Вы нас не сбивайте! Я только что из дома предварнтельиого заключения вышел, по делу «чайковцев» сидел, так что все ваши слова зиаю!

— Вы просто ие понимаете разницы между этими двумя словами, — вступил в разговор другой «бунтарь». — Ведь это же два совершеиио разиых слова — «пропаганда» и «образование».

— А вот вы и поучите нас, чтобы мы понималн, — сказал еще одии фабричиый. — У иас на Василеостровском патронном заводе не одиа тыща рабочих, а спроси у любого, какая тут разиица, — никто не ответит.

Спор затяиулся иадолго. Постепеино обе стороны начали поиемногу уступать друг другу — решено было ие преиебрегать пропагандой и самообразоваиием, ио в то же время ие упускать удобных случаев и для агитации. Жорж, слушая спорящих, уже полностью был уверен в том, что для фабричных так и осталось неясным — какой именно агитацин добнваются от иих «бунта-

ри». Да и у самих «бунтарей», по-видимому, соединялось с этим злополучным словом (как понял это в тот вечер Жорж) весьма смутное представление.

Но, как бы там ни было, споры в конце концов прекратились и кружок закончился. «Бунтари» оделись, пожали всем руки и разошлись. Ушли вместе с ними и знакомые студенты-однокурсники. А фабричные, посмеиваясь и подмигивая друг другу, почему-то и не думали расходиться.

— Хозяин, — обратился к Жоржу парень в синей косоворотке, — разрешишь пива у тебя выпить? Мы сейчас мигом слетаем. А то какая же сходка без веселья?

— Надо бы промочить глотки, — заулыбались рабочие, — а то все пересохло от этой ругани.

Жорж согласился. Двое фабричных взяли кошелки, сходили в портерную на угол и тут же вернулись с двумя дюжинами пива.

Засиделись за полночь, и, когда расходились, все уже были на «ты» с хозяином комнаты, многие дали свои адреса и просили запросто заходить в гости.

Мрачные отзывы Митрофанова о городских рабочих совершенно не подтверждались. Люди были совсем не пропитанные буржуазным духом, сравнительно развитые, и разговаривать с ними было так же интересно, как и со знакомыми друзьями-студентами.

Глава третья

Еще в первый год своей петербургской жизни Жорж Плеханов был поражен размахом антиправительственных настроений, которые господствовали в столице. Вокруг бурлили студенческие кружки и сходки, повсюду шли разговоры о хождении в народ, поговаривали о том, что где-то на тайных конспиративных квартирах создается настоящая революционная организация.

Слово «народ» было у всех на устах. Народ надо было освобождать, народ надо было просвещать, долг образованных слоев общества перед народом требовал от каждого каких-то решительных действий.

Но что это было такое — народ? Гудаловские мужики, рядом с которыми Жорж вырос, или что-то совершенно другое?

Встреча с Митрофановым, который несомненно был народом, показала, что народ существует в каком-то ином обличье, чем это раньше было известно.

Да, надо было сближаться с «народом» (это была потребность времени — дань, мода, атмосфера эпохи), надо было поддержать завязавшиеся отношения с новыми знакомыми (с «бунтарями» невольно приходилось встречаться каждый день в институте), и вскоре после сходки Жорж отправился в гости к литейщику Перфилию Голованову, жившему тут же на Петербургской стороне, почти по соседству.

Это первое сознательное посещение «народа» (городское, «малое хождение в народ», но предпринятое уже сугубо по личной инициативе) произвело на Жоржа глубокое впечатление, дало ход многим будущим мыслям и настроениям, заставило крепко задуматься над окружающей и своей собственной жизнью.

Прежде всего Перфилий так же, как и Митрофанов, совершенно не укладывался в его, Жоржа, рамки представлений о «народе» и не имел в своем характере и образе жизни ни одной черты, которые любила приписывать «народу» интеллигенция. Это был очень самобытный человек. Несмотря на то, что когда-то он пришел в город из деревни, теперь в нем не было совершенно никакой крестьянской простодушности, никакой деревенской склонности к тому, чтобы жить и думать так, как раньше жили и думали его сельские предки. При очень скромных умственных способностях Перфилий отличался необыкновенной жаждой знаний и поистине удивительной энергией в их приобретении. На своем заводе он работал ежедиевно по десять-одиннадцать часов. (После первого посещения Жорж зачастил к Голованову.) Придя после смены домой, Перфилий сразу же садился за книги и просиживал над ними иногда до двух-трех часов ночи. Читал он очень медленно, многого сразу не понимал, потом требовал объяснений чуть ли не по каждой странице, по нескольку раз переспрашивая значение впервые встретившихся слов, но то, что усваивал, запоминал основательно и навсегда.

Жил Голованов один, в крошечной, тесной комнатке, в которой стояли кровать, стул и стол, вечно заваленный книгами. Познакомившись с ним, Жорж был поражен обилием и разнообразием чисто теоретических вопросов, волновавших Перфилия.

...Подготовка к рабочей демонстрации в разгаре. С утра до ночи бегает Жорж по рабочим кварталам, участвует в занятиях кружков, и везде разговор идет об одном и том же: демонстрация должна состояться как можно скорее.

Четвертого декабря на конспиративном собрании представителей рабочих кружков и революционной интеллигенции принимается решение: демонстрация состоится послезавтра, шестого декабря, в царский день, на Невском, около Казанского собора.

Предлагается во время демонстрации поднять над рядами участников красное знамя с вышитыми на нем словами: «Земля и воля».

— Красное знамя? — удивленно спрашивает кузнец с Васильеостровского патронного Иван Егоров. — Это зачем же такое?

— Красное знамя — цвет крови угнетенного народа, которую он пролил за свое освобождение!

— У Парижской коммуны было красное знамя!

— Понятно, — солидно соглашается Иван Егоров, — теперь понятно.

Но смысл вышитых на знамени слов доходит еще не до всех.

— Стой! — встает с места слесарь с Новой Бумагопрядильни Василий Андреев. — Слова на знамени неправильные. Почему «Земля и воля»? «Земля» — это верно, землю мужику надо дать. А «воля» зачем? Воля мужику уже дадена.

— Нет, не «дадена»! — громко говорит Жорж и, поднявшись, подходит к столу. — Мужику дали волю от крепостной зависимости, его освободили от рабских цепей, которыми он был прикован к своему барину. Мужик теперь может жениться без господского согласия... Но одновременно его освободили и от земли, на которой он прожил всю свою жизнь. Мужик должен выкупить свою землю, а для этого он должен продавать свою рабочую силу, чтобы на заработанные деньги кормить себя и выплачивать за надел. Его только что обретенная воля сразу же заменена неволей от тех, кто покупает у него его рабочие руки. У мужика нет ни земли, ни воли, и поэтому слова на знамени — правильны!

— Верно! — вскочил сидевший около стола Митрофанов. — Все верно про мужика! Об этом и на демонстрации надо сказать, чтоб все знали, что мы хотим. Земли и воли!

Собрание представителей рабочих кружков и революционной интеллигенции поручает студенту Горного института Георгию Плеханову произнести на демонстрации у Казанского собора революционную речь.

6 декабря 1876 года в столице Российской империи Санкт-Петербурге произошла первая в истории России социально-революционная демонстрация.

Известия о предполагаемом скоплении предосудительных лиц распространились по городу задолго до демонстрации. Весь ноябрь ходили слухи о том, что беспорядки должны произойти в один из воскресных дней возле Исаакиевского собора. Но воскресенье сменялось воскресеньем, а обещанного скопления не происходило. Интерес был подогрет. И поэтому, когда в широкие студенческие круги проникли сведения о том, что демонстрация произойдет около Казанского собора, многие решили, что это и есть те самые беспорядки, которых ждали возле Исаакия. Утром шестого декабря революционная молодежь, давно жаждущая сильных впечатлений, отовсюду начала стекаться к Казанскому собору.

Накануне Жорж и товарищи по кружку еще раз обошли несколько рабочих кварталов. Везде было получено подтверждение — фабричные, затронутые «бунтарской» народнической пропагандой, примут участие в демонстрации.

Первой на место сбора явилась группа рабочих из гавани. Их было около сорока человек. Постепенно подтягивался народ с заводов и фабрик. Пришли металлисты и текстильщики. Всего к началу событий собралось не менее трех сотен фабричных.

Студентов и всякой другой пестрой публики было раза в три больше.

Организаторы демонстрации решили подождать еще немного, пока подойдут свои. Текстильщики и металлисты разошлись по ближайшим трактирам, оставив на паперти группы дозорных.

Между тем учащейся молодежи с каждой минутой все прибавлялось и прибавлялось. Некоторые заходили в церковь. Жорж и еще несколько человек из распорядительного совета демонстрации, чтобы предотвратить преждевременную вспышку страстей, тоже вошли в собор. За ними двинулись Митрофанов, Андреев и Голованов.

В соборе шло богослужение. Немногие молящиеся с удивлением оглядывались на необычных богомольцев, заполнявших храм. По их возбужденному виду никак нельзя было подумать о том, что они пришли сюда с желанием смиренно обратиться к богу. Никто ни разу не перекрестился. Появившийся церковный староста с тревогой поглядывал на студентов и рабочих.

Обедня кончилась. Странные богомольцы не расходились. Староста подошел к группе, в которой стояли Жорж и студент-медик Сентянин.

— Что вам угодно, господа? — спросил староста.

Жорж оглянулся. Народ с паперти продолжал прибывать. В основном это по-прежнему были студенты. Число рабочих не увеличивалось.

«Надо выиграть время», — решил Жорж.

— Так что же вам угодно, господа? — повторил свой вопрос церковный староста.

— Хотим отслужить панихиду, — сказал Жорж.

— В чью же память?

— Раба божьего Николая.

— Сегодня панихиду служить нельзя, — ответил староста, — царский день.

— Насколько я знаю, — прищурился Жорж, — сегодня николин день, не правда ли?

— Да, это так, — согласился староста.

— Так почему же в николин день нельзя отслужить панихиду в память раба божьего Николая?

— Панихиду все равно нельзя, — объяснил староста, — можете заказать частный молебен.

Староста отошел.

— Что вы выдумываете? — зашептал Жоржу Сентянин. — Какого еще раба божьего Николая?

— Раба божьего Николая Чернышевского, — улыбнулся Жорж, — и всех других мучеников за народное дело.

— Но ведь Николай Гаврилович еще жив, — удивился Сентянин.

— Как вы не понимаете! — обернулся к нему Жорж. — Это же вынужденная мера. Нужно подождать, пока рабочих станет больше, и тогда начнем!

Митрофанов, Перфилий и Андреев восторженно смотрели на Плеханова.

— Хорошо, я закажу молебен, — согласился Сентянин.

— Вот вам три рубля, — протянул Жорж деньги. — Заплатите попам. И постарайтесь, чтобы молебен прошел по всем правилам.

Сентянин быстро нашел священника, и литургия началась. Служитель зажег новые трескучие свечи. Буйноволосый дьякон, подпевая вполголоса благочинному, позвякивал кадилом. Слабые клубы ладана потянулись к позлащенным окладам икон и хоругвям. В том месте молитвы, где священник сладкоголосо забормотал «за упокой души раба божьего Николая», Жорж неожиданно для всех стоявших рядом вдруг звеняще крикнул:

— Не за упокой, а во здравие!

Благочинный удивленно посмотрел на него.

— Во здравие! — громко и твердо повторил Плеханов.

Весть о том, что в соборе идет служба во здравие Николая Гавриловича Чернышевского, быстро обошла собравшихся на паперти. Толпа заволновалась. Многие стали подтягивать долетавшему из церкви пению, двинулись вовнутрь. Дозорные, оставшиеся около храма, побежали в трактиры за разошедшимися фабричными. Рабочие хлынули к собору.

...Жорж, стоявший у алтаря вместе с Митрофановым, Андреевым и Головановым, увидев, что народ входит в церковь, быстро оценил ситуацию.

— Пошли! — решительно сказал он. — Пока они тут поют, пора действовать. Где знамя?

— У Яшки Потапова, — ответил Митрофанов.

— Потапова? — удивился Жорж. — Да ведь он совсем еще молодой. Сколько ему лет?

— Семнадцать.

— Ну, я же и говорю — мальчишка!

— Мальчишка, да крепкий! — засмеялся Перфилий Голованов. — А ты сам — старик, что ли?

Жорж усмехнулся. Да, стариком его было назвать действительно трудно — через неделю исполнялось двадцать лет. Ну что ж, пускай первая революционная демонстрация в России, как и само их движение, будет делом совсем молодых. Вперед без страха и сомнений!

...Он вышел на ступени собора и остановился. Перед ним колыхалось море голов.

Плеханов поднял руку. Толпа затихла.

— Друзья! — громко, во всю силу легких, крикнул Жорж и почувствовал, как холодок отваги и решимости «зажегся» где-то под сердцем. — Мы только что отслужили молебен во здравие Николая Гавриловича Чернышевского и всех других мучеников за народное дело!.. Вам, собравшимся здесь, давно пора знать, кто такой Чернышевский!.. Это писатель, сосланный двенадцать лет назад на каторгу в Сибирь за то, что волю, данную царем, он назвал обманом!.. Не свободен тот народ, говорил

Черишевский, которому за дорогую цену отдали пески н болота, невыгодные помещикам!.. Не свободен тот иарод, который за эти болота отдает царю и барину больше, чем сам зарабатывает, у которого розгами высекают тяжелые подати, который продает последнюю корову, лошадь, нзбу, у которого лучших работников забирают в солдатскую службу!.. Нельзя иазвать вольным и городского рабочего, который, как вол, работает иа хозяина, который отдает ему все свои силы, здоровье, свой ум, свою плоть и кровь, а от иего получает сырой и холодный угол да несколько грошей!.. За эту святую нстину Николай Гаврилович Черишевский сослаи в каторгу н мучится там и до сих пор!.. Таких людей не один Чернышевский, их было и есть много!.. Это декабрнсты, петрашевцы, нечаевцы, долгушинцы и все иаши мучеиики последиих лет!..

Раздались свистки городовых. Плеханов повернулся в ту сторону, откуда доносились свистки, Перфилий, Сеитяиии н Митрофаиов придвииулись вплотную к нему. Вася Андреев, спустившись со ступеней, искал в толпе мальца, Яшку Потапова, который сразу после окончания речи должен был выкинуть над головами знамя. Иван Егоров, закрывая оратора своими широкими плечами молотобойца, стоял перед Жоржем иа две ступеньки ниже.

— Говори! Говори! — выдохиула толпа. — Пускай говорит!

Жорж взгляиул в толпу и прямо перед собой увидел старых зиакомцев — Семена и Павла Егоровича, приходивших к иему на квартиру в ту памятную, самую первую, встречу с фабричными.

— Давай крой дальше, ие боись! — крикиул Семен. — Обороним!

— Друзья! — снова обериулся Жорж к толпе. — Все наши мучеиики стояли и стоят за иародиое дело!.. Я говорю иародиое, потому что его начал и продолжает сам иарод!.. Вспомиите Степана Разина, Емельяна Пугачева, Антона Петрова!.. Им всем одна судьба, одна участь — тюрьма, каторга, казнь!.. Но чем больше онн выстрадали, тем больше слава и память в иародиом сердце!.. Да здравствуют мученики за народное дело!.. Мы собрались здесь, чтобы перед всем Петербургом, перед всей Россией заявить иашу полиую солидарность с этими людьми!.. Их зиамя — наше зиамя!.. Вот оно!.. На нем иаписаио: «Земля и воля крестьяиииу и рабочему!»... Да здравствует «Земля и воля»!..

— Ура-а! — закричали сиизу Семен и Павел Егорович. — Ура-а-а!!!

— Да здравствует социальная революция! — кричали в толпе. — Да здравствует «Земля и воля»!

Из толпы выныриул Яшка Потапов — лицо красное, картуз на затылке. Взмахиул руками, и красное полотнище с двумя словами «Земля и воля» заполоскалось иад головами.

— Ура-а!! — надсаживаясь, заорал Иван Егоров.

— Ура-а!! — закричали рядом Сентянин, Перфилий и Митрофанов.

— Ура-а-а!! — кричали текстильщики и металлисты.

Студенты захлопали. Рукоплескания были сильные, дружные, громкие. Несколько человек подняло на руках над толпой Яшку Потапова со знаменем в руках. Жорж почувствовал, как все внутри у него восторженно сжалось, вспыхнуло пронзительной молнией счастья. Вот оно! — то желанное мгновение борьбы за народное дело! Вот она! — та прекрасная и высокая минута полной растворенности в деянии для народа, в жизни для народа — для Митрофанова, Перфилия, Семена, Ивана Егорова, Васятки, Аверьяна! Вот он! — возврат народу неоплатного долга всех его дворянских предков — отца, дяди, деда, прадеда, — десятками лет безнаказанно терзавших народ.

Ему захотелось говорить еще, он поднял руку, прося тишины, но в это время стоявший рядом Митрофанов сдернул с него студенческую фуражку, сунул ее к себе в карман, а вместо фуражки надел ему на голову какой-то огромный, потертый меховой треух.

— Откуда он у тебя? — удивился Жорж.

— Заранее припасено! — возбужденно крикнул Митрофанов.

Он выхватил из-за пазухи башлык и начал закутывать им голову Жоржа.

— Зачем, зачем? — недоумевал Жорж.

— Ты уши-то не развешивай! — обозлился Митрофанов. — Видишь, городовые на углу собираются? Это все по твою душу. Пошли!

Почти все участники кружков — студенты и рабочие, разбившись по предварительной договоренности на две большие группы (одна — вокруг оратора, вторая — вокруг знамени), двинулись от Казанского собора по Невскому в разные стороны. Но навстречу им уже шли отряды городовых и околоточных. Полиция, получив подкрепление, бросилась на демонстрантов. Началась свалка.

Жорж, вспомнив деревенские драки в Гудаловке, тоже было полез в общую кучу сражающихся, но Митрофанов тут же оттащил его:

— Стой, нельзя тебе!

— Другим можно, а мне нельзя?

— Дура, приметили тебя! Другим по малости дадут, а тебя сразу в крепость усадят!

Перфилий Голованов подбежал к ним, яростно закричал Митрофанову:

— Тащи его в переулок — и на извозчика!

Семен и Павел Егорович в располосованных пальто и без шапок кинулись на подмогу Перфилию, расчистили проход в переулок. Отплевываясь кровью, к ним присоединился Вася Андреев. Митрофанов, увлекая за собой Жоржа, побежал к переулку. Человек десять дворников и сыскных, поняв, что чело-

век в башлыке — главный, что имеино его хотят вывести из драки, кинулнсь за Жоржем.

— Бей продажную кость! — гаркиул, появляясь откуда-то сбоку, огромиый малый в бараньем полушубке.

Он так страшно ударил в лицо двориику, уже схватившему было Жоржа за воротник, что остальиые иападавшие в ужасе отшатнулись, а малый в бараиьем полушубке (Жорж сразу узнал в ием студента уииверситета Богоявлеиского, человека иебывалой физической силы, сыиа иовгородского дьякона) сокрушающими ударами с обеих рук сшибал с иог одного городового за другим.

— Сюда! Сюда! — кричали сыскиые. — Самый главиый здеся!

Орава околоточных ворвалась в переулок. За ними со своим грозиым кастетом бежал в переулок и кузиец Ваня Егоров. На углу отбивался от наседавших дворников Перфилий.

— Извозчик! Извозчик! — надрывался Митрофанов.

Перфилнй на углу упал. На него навалились. Освободившиеся городовые побежали к Митрофаиову и Жоржу. Но дорогу им преградили Егоров и Богоявлеиский.

— Уводи его, уводи! — крикиул Егоров Митрофанову. — Нас им ие взять!

Митрофанов вытащил упирающегося Жоржа (он попытался еще раз влезть в побоище, когда увидел, что Перфилий упал) иа перекресток. И — о чудо! — в двух шагах от нних горбился на козлах «ванька».

Застоявшийся жеребец взял с места как иа скачках. Вылетели на мост. Несколько мниут бешеиой езды, н оии уже на Васильевском острове. Митрофанов командовал — направо, налево, стой!

Возле деревяниого одноэтажного дома Митрофанов, оглянувшись, постучал.

— Кто там? — спросили за дверью.

— Свои, — ответил Митрофанов. — Оратора с Казанской площади привез.

Так впервые было пронзиесено это слово — «Оратор», ставшее иа иесколько лет революциоииым псевдонимом Жоржа Плехаиова.

В малеиькой комиате (кровать, стол, стул) Митрофанов сказал:

— Здесь подождешь меия до вечера. Место иадежное. На улицу выходить иельзя — ты свое, видать, отгулял. Придется переходить в нелегальиые.

Девушку звали Роза. Была она невысокого роста, с ясиыми н твердыми чертами лица, с увереииой маиерой держаться, веселая, остроумиая, без традициониых женских слабостей — капризов, частой смеиы настроеиий, повышениой экзальтации и вспыльчивой придирчивости. Оиа нмела строгий и очеиь урав-

иовешенный характер, была натурой цельной, прямой, беззаветио преданной революционному делу, что тоже сыграло не последнюю роль в их духовном сближении. Скитальческую, полную опасностей жизнь Жоржа не осуждала, а, наоборот, восторгалась ею. Словом, личная жизнь обещала что-то надежное и счастливое. Учась на высших медико-хирургических курсах, Роза к своей будущей докторской профессии уже сейчас относилась очень серьезно. Она была врачом по призванию, по своей пристальной заинтересованности в людях, по какому-то особому эмоциональному складу души, внимательному и заботливому, постоянно расположенному принять участие в чужих недугах и бедах.

...Умер Некрасов. Оставшиеся на свободе члены общества «Земля и воля» решили принять участие в похоронах поэта. Был приготовлен венок. Речь на похоронах от революционной молодежи было поручено произнести Оратору — кличка эта после Казанской демонстрации прочно закрепилась за Жоржем Плехановым. Несколько землевольцев, вооруженных револьверами, должны были обеспечить безопасность выступления и в случае попытки полиции захватить венок отбить его вооруженным вмешательством.

Народу на кладбище было много. Сильный декабрьский мороз седым инеем оседал на непокрытых головах огромной толпы, собравшейся около раскрытой могилы Некрасова. После нескольких официальных речей вперед вышел Достоевский. Страстная его речь вызвала рыдания. По изможденному, бледному лицу писателя пробегала судорога близкого нервического припадка. Потом говорил кто-то еще — от радикального студенчества, от либеральной профессуры. «Пора», — шепнули сзади Жоржу, стоявшему в двух шагах от гроба и находившемуся в сильном волнении после речи Достоевского.

Жорж шагнул к могиле.

Два молодых человека в наглухо застегнутых пальто поставили рядом с ним венок, расправили ленту. «От социалистов», — прочло сразу несколько голосов. Толпа ахнула, придвинулась ближе. Такая надпись здесь, на Новодевичьем кладбище, на официальных похоронах, была равносильна взрыву бомбы.

Два молодых человека выпрямились около венка, один из них достал револьвер и, опустив глаза, замер, держа револьвер дулом вниз. (Он был виден только стоящим около самой могилы.) Толпа замерла.

— Господа! — громко начал Жорж. — Сегодня мы хороним великого поэта земли русской... В чьем сердце горькой болью за порабощенный и униженный русский народ не отзовется знаменитое стихотворение Некрасова? Кто в юности, однажды прочитав эти стихи, не давал себе клятвы посвятить жизнь борьбе за народное дело?.. Сегодня мы прощаемся с великим писателем, славой и гордостью отечественной литературы, который впервые в легальной русской печати воспел декабристов —

предшественников революционного движения наших дней, предшественников петрашевцев и всех остальных мучеников за освобождение народа!

Краем глаза он увидел, как вздрогнул при слове «петрашевцы» Достоевский, как вскинул он на говорившего обжигающий взгляд своих серых пронзительных глаз.

В толпе шевельнулась личность филерского вида, сделала попытку протиснуться вперед, но те, кто пришел с Оратором, вышли к могиле — руки в карманах сжимают оружие, в глазах твердое выражение дать отпор любому насилию.

— Вечная память Некрасову! — крикнул Жорж. — Вечная память поэту, чья муза была великим примером служения будущему счастью народному!

...Тогда же, в декабре, взрыв пороха на Васильеостровском патронном заводе убил на месте четырех рабочих, страшно искалечил еще полтора десятка человек (двое из них умерли на следующий день). Сильный революционный кружок лавристского направления, существовавший на заводе уже целый год и поддерживавший постоянную связь с землевольцами, решил превратить похороны товарищей в демонстрацию протеста.

Это уже была чисто рабочая демонстрация — первая в Петербурге. Рабочие все сделали сами — оповестили народ, написали воззвание, в котором случай на заводе ставили в связь с общим положением всех петербургских рабочих. Листовка была передана в центральный кружок «Земли и воли» и в тайной типографии, которую удалось сохранить от недавнего разгрома, напечатана за одни сутки.

В назначенный день к девяти часам утра возле здания Васильеостровского патронного завода собралось около двух тысяч рабочих (вовремя напечатанная и распространенная листовка сделала свое дело). Жорж Плеханов, Валериан Осинский и Степан Халтурин подошли к членам заводского кружка. Большинство из них Жорж знал очень хорошо. Впереди всех стоял огромный, плечистый кузнец Ваня Егоров — старый товарищ еще по «Казанке», знакомство с которым началось с разговора о книге Герберта Спенсера «Основания биологии». («Ты уж не думай, господин студент, что все рабочие такие дураки, — сказал ему тогда Иван, — что в биологии разобраться не смогут»). Рядом с Егоровым топтался такой же плечистый, но пониже ростом парень с большой рыжей бородой. (В плечах он был, пожалуй, даже мощнее Егорова, — как говорится, поперек себя шире.)

— Ну как, Ваня, — спросил, здороваясь, Жорж, — разобрался в биологии Спенсера?

— Разбираемся постепенно, — улыбнулся Иван. — Насчет Спенсера точно не скажу, а вот с полицейскими черепушками тогда на Невском разобрались хорошо — целый месяц костяшки на пальцах болели.

Он познакомил Жоржа с рыжебородым парнем — звали того Тимофеем.

— Одиой волости со мной будет, — сказал Егоров. — В Архангельске на верфях клепалой работал, теперь вот сюда, в Петербург, прибег. К грамоте очень охочий, книжки, как семечки, щелкает. Говорить может о чем хошь — от зубов отскакивает. И к начальству злой — во время взрыва самому бороду обожгло. А ежели сказать ему чего надо, кричи громче в самое ухо, он наполовину глухой.

Рыжебородый Тимофей посматривал на Жоржа изучающе, хитровато прищурившись.

— Сейчас подойдет еще одна наша группа, — сказал Егорову Осинский, — человек десять. Все вооружены. Если полиция попробует вмешиваться, будем стрелять. Как ваши, готовы к этому?

— Тоже кое-чего с собой прихватили на всякий случай, — сказал Иван. — У нас народ к оружию привычный, сами его делаем.

— Вот только не нравится мне, — заметил Осинский, — что фабричные опять на похороны вырядились, как на праздник.

— Рабочему человеку только и праздник, что похороны, — горько усмехнулся стоявший рядом Степан Халтурин. — Куда же еще наряжаться? Все остальные дни в рванье замасленном ходим.

— Верна-а! — неожиданным густым басом зычно поддержал Халтурина рыжий Тимофей. — Наши праздники все на кладбище. Других начальство не придумало.

— Ты, Тимоха, больно широко пасть-то не разевай, — одернул земляка Иван Егоров. — Холодно сегодня, кишки простудишь. Да и городовые тебя по глотке твоей медвежьей приметят раньше времени и заметут без всякого дела.

Валериан Осинский взял Халтурина под руку, отвел в сторону.

— Ты неправильно меня понял, — сказал он тихо. — Я не в упрек сказал, что ребята слишком чисто оделись. Ведь мы же хотим не просто похороны провести, а устроить демонстрацию протеста. А у всех фабричных действительно какое-то пасхальное праздничное настроение. Никакой активности не будет.

— А ты наперед не загадывай, — сказал Халтурин. — Насчет активности бабушка еще надвое сказала. Листовку читали, внутри — оно там у всех копится.

Жорж, слышавший этот разговор, был на стороне Осинского. Рабочие по привычке своей надевать на люди все самое лучшее выглядели совсем не траурно. Все оживленно переговаривались, некоторые даже улыбались, шутили.

Но вот вынесли гробы, и все разговоры разом стихли. Двухтысячная толпа как по команде сняла шапки.

Похоронная процессия растянулась на несколько кварталов. Большинство провожавших сразу же, как отошли от завода, надели шапки — мороз усиливался с каждой минутой. «Бунтари» из боевой дружины Валериана Осинского, одетые очень легко, шли сзади Жоржа, растирая носы и уши, похлопывая себя

по бокам и плечам. До слуха долетела брошенная кем-то из них фраза:

— Нет, господа, революцию надо делать летом — в такой холод никого не расшевелишь...

Вот и Смоленское кладбище. В дальнем углу, наискосок от входа, выдолблено в мерзлой земле шесть ям, шесть деревянных крестов прислонено к железной ограде. Полиция, сопровождавшая шествие от самого завода, усиленная отрядом городовых, ожидавших около ворот, окружила могилы. Священник пропел последнюю молитву, забили крышки, подвели веревки, начали опускать гробы в ямы, застучали комья земли по дереву. Двухтысячная толпа, заполнившая кладбище, молча слушала эти звуки. Да, пожалуй, Осинский был прав: сначала все были слишком оживлены, потом замерзли — демонстрации протеста не получалось. Все были как-то угнетены, подавлены видом городовых, кольцом обступивших могилы.

Все кончено. Насыпаны холмики, укреплены кресты. Пора было расходиться, но толпа, несмотря на мороз, неподвижно стояла на кладбище. Чего-то ждали.

Жорж понимал: кто-то вот-вот должен начать говорить, больше молчать нельзя. Но неизвестный этот «кто-то» пока не объявлялся. Может быть, робел, смущался, опасался полиции? Может быть, начать ему? Ведь он же Оратор. Надо бросить искру, надо зажечь революционным словом это заснеженное кладбище, эти опущенные, покрытые инеем головы. Надо поднять эти головы!

Он взглянул на Халтурина. Степан стоял, низко опустив голову. Рядом с ним, также опустив голову, стоял Ваня Егоров. И все рабочие завода, кого только мог видеть Жорж, стояли в таких же позах — без шапок, опустив руки, склонив головы. Все прощались с только что зарытыми в землю, навсегда ушедшими товарищами.

Жорж посмотрел на дружинников Осинского. «Интеллигенты-бунтари», сгрудившись тесной группой, пристально следили за городовыми.

Городовые начали шушукаться, поглядывать по сторонам. Нечего было даже и думать, чтобы предпринять какие-либо действия против такой массы людей. Старший полицейский чин, околоточный надзиратель, растерянно озирался.

«Надо начинать говорить», — решился Жорж.

И вдруг в толпе произошло резкое движение — к могилам вышел рыжебородый Тимофей.

— Братцы! — густым и звонким на морозе басом закричал Тимофей. — Только что, сей минут, закопали мы в землю шестеро невинно погубленных душ!.. А убили их не турки на войне, их убило наше заводское начальство, которому столько раз было говорено, что нельзя порох в таком тесном чулане хранить...

Околоточный, выхватив свисток, пронзительно засвистел. Руки городовых потянулись к Тимофею, схватили его за отвороты по-

лушубка, но Тимофей — даром, что ли, был поперек себя шире — тряхнул круглыми плечами судового «клепалы», и городовые посыпались в стороны.

И неожиданно толпа, еще секунду назад безнадежно неподвижная и аморфная, ожила, заворочалась, преобразилась, пришла в движение как единый организм, прихлынула к могилам. Околоточного оттолкнули в сторону, городовых оттеснили от Тимофея. Мгновенно забыв о том, что на них надето самое лучшее, праздничное, рабочие кинулись по истоптанному в грязь снегу вперед и, обрывая пуговицы, полезли на ограду и деревья, закричали десятками переполненных яростью и ненавистью голосов:

— Не тронь рыжего!.. Пущай говорит!.. Ребята, рой приставу яму рядом с нашими!.. Гони бударей в господа, в душу, в святые хоругвы!

Иван Егоров, выскочив к Тимофею, заслонил его собой. Валериан Осинский, напряженно держа руку за бортом студенческой шинели, где у него лежал тяжелый револьвер, не сводил глаз с околоточного. Все «бунтари», готовые открыть стрельбу по первому знаку, с наиболее разъярившимися рабочими теснили от могил городовых. Степан Халтурин, обхватив сзади какого-то расхристанного малого, выломавшего кол из забора и рвущегося к полицейским, с трудом удерживал его.

— Говори, Тимофей! — не вытерпев, крикнул Жорж. — Продолжай, не молчи!

— Жарь, Тимоха! — гаркнул Ваня Егоров.

— Сколько раз говорено было начальству нашему, — закричал снова упрямый Тимофей, продолжая с того места, на котором его оборвали, — что нельзя было порох в таком тесном чулане держать!.. Одна дверь из чулана в мастерскую — и никто из нее целый не вышел!.. Когда точим мы порох на станках, пыль от него вокруг нас падает, станки покрывает, на стены ложится! Одной искры хватило, чтоб все загорелось!.. Сколько раз мы сами малые пожары тушили, сколько раз жаловались, а начальство все на бога надеялось, все ждало чегойто и дождалось!.. Вот они, шесть крестов стоят, а сколь еще встанет, пока пыль пороховую мести не станут!.. Шестеро вдовых баб возле этих могил стоит, у каждой ребятишки, а сколь отвалили хозяева за каждого кормильца? По сорок рублей за голову — курам на смех! А проедят они эти сорок рублей — чего дальше делать будут? На паперть просить пойдут, руку протягивать?.. Так турки не поступают, как начальство наше над нами измывается!.. Нас жгут живьем в мастерских, а тех, кто живой остался, оштрафовали по полтора целковых!.. За что?.. За то, что обжоги мы получили?.. Хватит руку лизать, которая нас душит, пора за ум браться!.. Чего ждать?.. Других крестов рядом с этими?.. Мужик в деревне ждал от барина помощи, земли ждал, а чего дождался? Песков, да болот, да недоимков сильнее прежних!.. Набили мужику новый хомут

на шею теснее старого — он и воет!.. А не будь дураком, не жди от барина милости, не дождешься!..

Жорж с восторгом смотрел на Тимофея. Вот они — слова из уст простого фабричного! Социалистическая агитация дошла до сердца и до ума рабочего человека, и то, о чем раньше говорили ему они, пропагандисты, теперь говорит он сам, рабочий! Значит, он проснулся, пробудился, воспламенился, рабочий народ! Значит, он готов теперь к бунту и поддержит любое крестьянское движение, если он объединяет свое положение с положением обманутого реформой крестьянства.

На фоне белых, заснеженных кладбищенских деревьев большая рыжая борода Тимофея и такая же рыжая всклокоченная шевелюра (шапку он потерял) горели ярким, огненным пятном. Дружинники Валериана Осинского, взяв Тимофея в кольцо, вели его через кладбище к выходу. Огромная, тысячная толпа разгоряченных рабочих, окружив их со всех сторон, двигалась вместе с ними к воротам. Другая толпа фабричных, прижав полицейских к ограде, не пускала их к той группе, в которой шел Тимофей.

Жорж протиснулся к Тимофею и Ивану Егорову.

— Сбрей ему сегодня же бороду, — шепнул Жорж Ивану, кивая на Тимофея (уроки Митрофанова после Казанской демонстрации были живы в памяти). — И постриги наголо. Одежду достань какую-нибудь другую. На квартиру свою больше не приходите и на завод не являйтесь. Переждите где-нибудь ночь, а завтра я вас найду и устрою на надежную квартиру.

— Трогай! — закричал Степан Халтурин извозчику, и сани понесли Тимофея и Егорова наискосок через площадь.

— Вам это так не пройдет! — грозился околоточный. — Найдется на вас управа. Прошлый год на Невском около Казанского собора тоже бунтовали — все в Сибирь пошли.

— А вот и не все! — подбоченился Халтурин.

— А ты, никак, там был? — вглядывался надзиратель в лицо Степана.

— Обязательно был, ваше благородие!

— То-то, я смотрю, личность мне твоя знакомая.

— И мне твоя личность знакомая, — не унимался Халтурин, потешаясь над околоточным.

К надзирателю подошел Валериан Осинский.

— А теперь марш за ворота, обратно на кладбище! — приказал Валериан полицейскому.

— Да как ты смеешь так разговаривать со мной! — набычился околоточный.

Осинский молча потянул из-за бортов шинели свой тяжелый револьвер-медвежатник. Вплотную к нему придвинулась боевая дружина «бунтарей».

Надзиратель выругался и пошел за ворота, обратно на кладбище, где стояли сбитые с толку, давно уже переставшие что-либо понимать городовые. Ясно было одно — против огромной густой толпы рабочих не попрешь. Тут не помогло бы никакое

оружие. Да и как его было применять, оружие, когда вон эти, длинноволосые в очках, все подряд с револьверами. Тут бы душу христианскую только спасти. Чего и говорить, умыли их сегодня фабричные, как пить дать умыли.

Дружинники-«бунтари» закрыли кладбищенские ворота на засов, навесили замок.

— Будете стоять здесь, за воротами, тридцать минут, — сказал Осинский полицейским. — С места никому не двигаться, свистков не вынимать, оружие не лапать — иначе перестреляем всех, как куропаток.

Потом он повернулся к рабочим.

— Братцы! — крикнул Валериан. — Спокойно расходитесь по домам, никто вас тронуть не посмеет!.. Мы будем следить за бударями и прикроем вас!.. Спасибо вам, братцы, за сегодняшний день!.. Это была наша общая победа!.. Еще раз спасибо!

— Тебе спасибо, мил человек, — все разом заговорили рабочие. — Приструнили вы сегодня бударей, будут помнить!

Жорж Плеханов уезжал со Смоленского кладбища в одних санях с Валерианом Осинским и Степаном Халтуриным, с которыми утром вместе пришел к Патронному заводу. Тогда он еще не мог знать, что всего через несколько лет Халтурина по приговору военно-окружного суда повесят в Одессе, а Валериан кончит свою жизнь на виселице в Киеве и того раньше. Ему, пережившему их обоих почти на сорок лет, в тот день казалось, что все трое они будут жить и вместе бороться за народное дело еще долго-долго.

Глава четвертая

На Обводном канале, на Новой Бумагопрядильне, началась забастовка. Хозяева ввели «новые правила», которые фабричные читали, читали, да так толком ничего и не разобрали. Две руки раньше стоили, к примеру, полтора целковых в день, а теперь будто бы, по «новым правилам», целую полтину с этих полутора целковых снимают. А куда же она девается? Две руки вроде бы остаются, а цена им уже другая. Дела-а...

Иван Егоров и рыжий Тимофей (на Патронный завод по совету Жоржа они больше не явились, Степан Халтурин устроил их на Бумагопрядильню) кинулись на подпольную квартиру, расположенную в двух кварталах от фабрики, где собирался местный рабочий кружок. Хозяином квартиры был отставной унтер-офицер Гоббст. Он находился на нелегальном положении и усердно разыскивался полицией по делу о пропаганде среди войск Одесского округа. Под фамилией Сорокина Гоббст содержал около Прядильни сапожную мастерскую.

— Жоржу надо искать! — крикнул Егоров с порога Сорокину. — Хозяева опять руку на горло положили!

— Затягивают петлю-то, затягивают, — качал головой Ти-

мофей (бороды он больше не носил, голову брил наголо). — Это надо же — цельную полтину из кармана выхватывают. Ах, сукины дети!

Сразу же за ними пришло еще несколько ткачей вместе с Василием Андреевым («бабьим агитатором» звали его рабочие между собой за попытку организовать женский кружок среди работниц табачной фабрики Шапшала).

— Совсем рехнулись наши хозяева, рубаху с плеч сымают, жрать скоро станет нечего, — вразнобой заговорили мастеровые, рассаживаясь по углам мастерской. — И так баба дома в голос воет, копейки считает, а теперя что будет? Ложись да помирай.

— Погоди помирать-то, — закуривая, сказал Василий Андреев, — помереть всегда успеем. Сперва хозяевам острастку надо дать за ихние великие к нам милости.

— Степана бы Халтурина сейчас сюда, — добавил он через минуту, — или Жоржу, чтоб обмозговать вместе, чего дальше делать.

Сорокин оделся и пошел к знакомому студенту — узнать, где можно найти Халтурина или Жоржа.

— К приставу надо идти жаловаться, — сказал один из фабричных, работавший на Бумагопрядильне всего несколько месяцев. — Нешто управы на них нету, на мастеров?

— А ты, серый, до сих пор думаешь, что мастера тебе полтинник срубили? — спросил Андреев.

— Иди, иди — жалься, — усмехнулся Тимофей. — Он тебя удоволит, пристав... Хозяева с тебя шкуру дерут, а пристав всю мясу соскоблит дочиста и кости обглодает, не поперхнется.

— Что ж он, совсем разбойник, пристав-то? — удивился «серый».

— Не к приставу надо идти, а к самому градоначальнику, — сказал сидевший за верстаком хозяина квартиры мастеровой. — Пущай переговорит с управляющим насчет новых правил. Разве это правила? Чистый грабеж, а не правила.

— Разбойничать ноне никому не велено, — не унимался «серый».

— А чего там к градоначальнику, — прищурился Вася Андреев. — При сразу выше!

— Это куда же выше?

— К наследнику!

— Али к самому царю! — вступил в разговор Иван Егоров. — Он самовар поставит, чайком тебя угостит, про житье-бытье расспросит: как тебе спится на нарах, лапти не жмут ли?

— Но, но, ты царя не замай, — насупился «серый». — Посуду бей, а самовар не трогай!

— Эх, дурачье же вы горькое! — вскочил с места рыжий Тимофей. — Неужто думаете, что царю, да наследнику, да градоначальнику с приставом до вас дело есть? Они нас за насекомых считают, от которых одно беспокойство. Придавить бы к ногтю, да и дело с концом — вот какое им до нас дело.

— Ладно, погодь, не шуми, — поднял руку мастеровой за верстаком. — Ну хорошо, придут твои Жоржа со Степкой Халтуриным, — чего делать будем?

— А вот придут, тогда и рассудим.

...Жорж Плеханов сидел в городской Публичной библиотеке, в читальном зале, обложенный книгами и конспектами. Совсем недавно его, Оратора, уже много раз четко формулировавшего программу и цели народнического движения в своих устных публичных выступлениях, автора нескольких листовок и прокламаций, ввели в редакцию подпольного издания «Земля и воля». Его считали теоретиком движения и неоднократно говорили ему о том, что он со своей эрудицией, стремлением к научной работе, знанием социалистической литературы (как отечественной, так и европейской), умением логически точно и доходчиво излагать сложные общественные вопросы, — что он, обладая всеми этими качествами, не может больше уклоняться от участия в печатных органах «Земли и воли». Ему необходимо принять личное участие в теоретическом обосновании целей народничества и от листовок и прокламаций перейти к большим программным статьям. «По всей вероятности, — пошутил Жорж, — вы хотите, чтобы моя старая кличка Оратор была бы заменена новой кличкой — Теоретик». Товарищи посмеялись вместе с ним, и он был избран одним из редакторов журнала «Земля и воля».

Ну что ж, думал Жорж, начиная работать над первой статьей для журнала («Закон экономического развития общества и задачи социализма в России»), если раньше я был Оратором, кстати, одним из немногих в нашей студенческой бунтарской среде, то теперь и среди рабочих появилось много прекрасных ораторов — Степан Халтурин, например, или тот же Тимофей. Пора, может быть, действительно попробовать свои силы в теории. Пора, наконец, оправдать давнее предположение многих о том, что я унаследовал от Виссариона Григорьевича Белинского склонность к литературе. Пора осмыслить накопленный опыт и жизненные впечатления. Разве сейчас, наблюдая, как активность рабочих иногда опережает бакунинскую формулу о всеобщем крестьянском бунте, можно забыть о том, что, собственно говоря, именно из сочинений Бакунина впервые было вынесено величайшее уважение к материалистическому пониманию истории? Нет, забывать этого решительно нельзя! Бакунин-то был первый, чье влияние наполнило жизнь смыслом и помогло прийти в революцию.

Начав работать над статьей, он прежде всего хотел найти новые доводы к обоснованию деятельности народников в среде фабричных и заводских рабочих, делал для себя самого многочисленные выписки о том, что рабочие — недавние выходцы из деревенской среды — проникнуты в первую очередь крестьянскими идеалами, и поэтому деятельность в их среде революционеров-народников является продолжением пропаганды в деревне.

Вот и теперь, сидя в Публичной библиотеке, он набрасывал на отдельных листках бумаги (и тут же прятал их в карманы) свои размышления о законах экономического развития общества и задачах социализма в России. «У автора «Капитала» социализм является сам собою из хода экономического развития западноевропейских обществ, — писал Жорж. — Маркс указывает нам, как сама жизнь намечает необходимые реформы общественной кооперации страны, как сама форма производства предрасполагает умы масс к принятию социалистических учений, которые до тех пор, пока не существовало этой необходимой подготовки, были бессильны не только совершить переворот, но и создать более или менее значительную партию. Он показывает нам, когда, в каких формах и в каких пределах социалистическая пропаганда может считаться производительною тратою сил. «Когда какое-нибудь общество напало на след естественного закона своего развития, — говорит он, — оно не в состоянии ни перескочить через естественные формы своего развития, ни отменить их при помощи декрета; но оно может облегчить и сократить мучения родов». Влиянию пропаганды он указывает таким образом пределы в экономической истории общества. Дюринг, признавая вполне влияние личностей на ход общественного развития, прибавляет, что деятельность личности должна иметь «широкую подкладку в настроении масс...».

«...Было время, когда творить социальные перевороты считалось делом сравнительно нетрудным. Стоило устроить заговор, захватить в свои руки власть и затем обрушиться на головы своих подданных рядом благодетельных декретов. Человечество считали способным «позиать по приказанию начальства» и провести в жизнь любую истину. Такое воззрение свойственно было, впрочем, не одним революционерам... Когда убедились, что история создается взаимодействием народа и правительства, причем за народом остается гораздо большая доля влияния, — большинство революционеров перестало мечтать о захвате власти. Они поняли, что перевороты бывают гораздо более прочными, когда они идут снизу...»

Жорж задумался. Может быть, в этом и заключается смысл крестьянской реформы 1861 года в России? Была ли она взаимодействием народа и правительства? Народ волновался и бунтовал, сотни крестьянских выступлений накануне реформы, расправа с ненавистными помещиками — все это толкало Александра II на подписание манифеста об отмене крепостного права. Но ведь манифест — это и был типичный переворот сверху, буржуазный переворот. Следовательно, непрочность этого переворота исторически обусловлена?.. Нет, нет, обратимся-ка лучше к Марксу.

Перо опять заскользило по бумаге. «Посмотрим же, к чему обязывает нас учение Маркса... Общество не может перескочить через естественные фазы «своего развития, *когда оно напало на след естественного закона этого развития»,* — говорит Маркс. Значит, покуда общество не нападало еще на след этого за-

кона, обусловливаемая этим последним смена экономических фазисов для него не обязательна. Естественно возникает вопрос: когда же западно-европейские общества, — служившие объектом наблюдения для Маркса, — напали на этот роковой след? Нам кажется, что это случилось именно тогда, когда пала западно-европейская община...»

Он снова остановился и задумался. А Россия? Взять тех же донских казаков. У них земля находится во владении отдельных общин, но каждый член их считается в то же время членом всей казацкой области. Он может переходить из общины в общину, в каждой из них имея право на надел... Итак, в принципе первобытной общины, как она существует, положим, в России, мы не видим никаких противоречий, которые осуждали бы ее на гибель.

Следовательно? Пока за земельную общину держится большинство нашего крестьянства, — быстро записал Жорж, — мы не можем считать наше отечество ступившим на путь того закона, по которому капиталистическая продукция была бы необходимою станцией на пути его прогресса... Итак, мы не видим основательности в тех соображениях, в силу которых заключают, что Россия *не может* миновать капиталистической продукции.

Поэтому социалистическую агитацию в России мы не можем считать преждевременной. Напротив, мы думаем, что теперь она своевременнее, чем когда-либо, только ее исходная точка и практические задачи не те, что на Западе. Основания для этой разницы в революционных приемах при поверхностном взгляде могут показаться не заслуживающими особенно внимания, но мы думаем, что много «разочарований» было бы избегнуто, много напрасно затраченных сил получило бы должное приложение, если бы это различие в задачах русских и западноевропейских социалистов было выяснено раньше. В чем же дело? Задачи социально-революционной партии не могут быть тождественны в двух обществах, экономическая история и современные формы общественных отношений которых представляют очень резкую разницу... Россия — страна, в которой земледельческое население составляет громадное большинство. Промышленных рабочих в ней едва ли можно насчитать даже один миллион, да и из этого сравнительно ничтожного числа большинство — земледельцы по симпатиям и положению... Таким образом, мы пришли к тем же практическим задачам, которые ставили перед собой титаны народно-революционной обороны: Болотников, Булавин, Разин, Пугачев и другие. Мы пришли к «Земле и воле». Но тем самым центр тяжести нашей деятельности переносится из сферы пропаганды лучших идеалов общественности на создание боевой народно-революционной организации для осуществления народно-революционного переворота в возможно недалеком будущем... Ипполит Мышкин перед особым присутствием правительствующего сената сказал: «Наша практическая задача должна состоять в сплочении, в объедине-

нии революционных сил и революционных стремлений, в слиянии двух главных революционных потоков: одного, недавно возникшего и проявившего уже достаточную силу, — в интеллигенции, и другого, более глубокого и более широкого, никогда не иссякавшего потока — народно-революционного».

...Кто-то остановился около его стола. Плеханов поднял голову. Это был Гоббст-Сорокин. (Он нашел Жоржа по «цепочке», переходя с одной студенческой квартиры на другую.) Гоббст сделал едва уловимое движение головой и двинулся к выходу. Жорж встал, спрятал в карман бумаги и пошел за ним.

В курительной комнате никого не было.

— На Новой Бумагопрядильне понизили штучную оплату, — тихо сказал Сорокин, — ввели новые правила. Рабочие бросили работу. Сейчас у меня сидит человек десять, самые активные из кружка.

— Немедленно иду, — так же тихо, но четко ответил Жорж.

— А где сейчас можно найти Степана?

— Вы Петра Моисеенко знаете?

— Знаю.

— Халтурин сегодня должен быть у него.

Подойдя к сапожной мастерской (она располагалась на первом этаже ветхого двухэтажного деревянного дома на набережной Обводного канала и состояла всего из двух комнат — большой, где Гоббст принимал клиентов и чинил ботинки, и маленькой, в которой он спал), Жорж оглянулся и, убедившись, что слежки не было, вошел в квартиру.

— Ну, наконец-то! — радостно вырвалось у Ивана Егорова. — А то мы ждали, ждали, да и ждать устали, чуть было не переругались все друг с дружкой.

Жорж быстро поздоровался со всеми мастеровыми за руку, сел на маленькую табуретку хозяина около окна и, обведя всех пристальным взглядом, спросил:

— Ну, что тут произошло, рассказывайте.

— Полтину цельную хозяева из нашего кармана хапанули, вот что произошло! — горячо выкрикнул Иван Егоров. — За шестнадцать вершков платить, говорит, теперь будем тридцать пять копеек вместо сорока...

— Кто говорит?

— Как кто? Мастер из ткацкого отделения.

— А в прядильной мастер по десяти копеечек с пудика скинул! — крикнул Тимофей.

— И загодя не упредили. Становись, мол, сразу к машине и работай дешевле, чем вчера.

— А по правилам фабричных за две недели должны упреждать.

— Так, ну и что же дальше?

— Ну мы, конечно, машину остановили и на двор пошли, — рассказывал Иван Егоров. — Все шумят, руками размахивают,

начальство требуют. Приходит управляющий и говорит — идите обратио, в обед мы все объясим.

— И что же в обед?

— А ничего. Вывешивают правила. Новые. А чего в их нового? Прижим новый.

— У кого-нибудь есть эти правила?

— У меня есть, — протяиул Жоржу бумагу молодой фабричный (тот самый, которого иазывали «серый»).

Жорж взял бумагу. Типографским шрифтом на ией было напечатаио: «С 27 февраля сего года вводятся иовые расценки по ткацкому отделению. Расчет впредь будет производиться по следующей таксе: за кусок миткаля шириною в восемиадцать вершков — тридцать семь копеек...»

Жорж посмотрел на мастеровых, быстро спросил:

— А раньше сколько платили?

— Сорок три!

— «Шириною в двадцать вершков, — вслух прочитал Жорж, — тридцать девять копеек...»

— А раньше сорок четыре было!

— «Двадцать два вершка — сорок одна копейка».

— А было сорок шесть.

— «Двадцать четыре — сорок три копейки».

— Вместо сорока восьми!

— «Двадцать шесть, — прочитал Жорж, — пятьдесят девять копеек...» А было, вероятно, шестьдесят четыре?

— Правильно!

— Ну и, естественно, за двадцать восемь вершков — по шестьдесят одной копейке за кусок против шестидесяти шести прежних, не так ли?

— А ведь верно, — заулыбался рыжий Тимофей, — откудова ты догадался?

— Здесь все очень просто, — объяснил Жорж, — увеличивая ширину куска, хозяева каждые два иовых вершка удешевляют на пять копеек.

— Ну, Жоржа, голова! — восхищенно сказал Тимофей. — Важно рассудил.

— Одну миıуту, — подиял Жорж руку. — Это только на первый взгляд так выглядит, что с каждого куска у вас отбирают пять копеек. А на самом деле вы теряете пять копеек только на первом куске, шириною в шестнадцать вершков. На всех же остальиых кусках вы теряете гораздо больше. И чем больше шириıа, тем больше вы теряете!

Мастеровые притихли.

— Это почему же больше? — спросил Иван Егоров.

— Сейчас объясню.

Жорж встал и вышел на середину сапожной мастерской.

— Вот вы утром приходите на фабрику, — начал он, — разводите пары, включаете машину... Во сколько у вас рабочий день начинается?

— В пять утра.

— А кончается?
— В восемь вечера.
— Пятнадцать часов, значит...
— Час с четвертью клади на обед.
— Почти четырнадцать часов. Да-а... Ну, ладно, займемся анализом... Итак, вы включаете машину и начинаете работу. Через четыре с половиной часа готовы первые шестнадцать вершков, вы заработали свои сорок копеек. Еще через четыре с половиной — еще шестнадцать вершков, восемьдесят копеек. Девять часов простояли вы у машины. Теперь вопрос: успеете ли вы за оставшиеся до конца смены четыре с половиной часа соткать еще шестнадцать вершков?
— Оно как управляться...
— Чего там говорить, — конечно, не успеем. К концу смены глаза всегда слабже делаются.
— И рука уже не та...
— Вот, вот, как раз об этом я и хочу спросить: когда легче работать — утром или вечером?
— Знамо дело, утром.
— Вечор намотаешься вокруг машины, еле на ногах стоишь, а она, то есть машина, все ткет и ткет, ткет и ткет...
— Таким образом, что же получается? — обвел Жорж взглядом мастеровых. — Утром вы продаете хозяину только две руки. Голова у вас со сна еще свежая, глаза не устали. А к вечеру только двумя руками уже не обойдешься — надо напрягать зрение, увеличивать усилия всего организма, чтобы успеть до конца смены выполнить норму. Следовательно, каждый последующий час рабочего дня стоит вам, рабочим, гораздо дороже, чем предыдущий. Вы, рабочие, продаете хозяину свою рабочую силу, а при смене в четырнадцать часов вы в конце дня достигаете предела выносливости человеческой натуры — никаких сил у вас уже не остается. Но вы продолжаете стоять у ткацкого станка через силу, расходуя свое здоровье, укорачивая свой век. На каждый новый вершок ткани вы тратите неодинаковое количество усилий, вы тратите все больше и больше своих сил на каждый новый вершок. А хозяин прибавляет вам за каждый вершок одинаковое количество денег — только пять копеек. А он должен прибавлять на каждый новый вершок уже не пять, а семь копеек — в соответствии с израсходованными вами усилиями, в соответствии с потраченной вами рабочей силой, в соответствии с купленной у вас рабочей силой. А он этого не делает. Он покупает у вас больше рабочей силы, чем платит за нее. Купил на девяносто копеек, а заплатил вам только шестьдесят. Куда же делись тридцать копеек? Хозяин положил их к себе в карман.
Мастеровые напряженно молчали.
Жорж повернулся к Ивану Егорову и Тимофею.
— А что было на Патронном заводе? Там хозяин, не желая тратиться на уборку пороховой мастерской, не желая улучшать условия труда рабочих, то есть усиливая тем самым эксплуа-

тацию рабочих, довел дело до того, что от взрыва погибло шесть человек. Хозяин Патронного завода не отнимал здоровье у рабочих постепенно, не укорачивал их век день ото дня, а просто взял сразу и отнял у них жизнь, просто взял и проглотил сразу шесть человеческих душ. Это было самое настоящее убийство! Прямое душегубство! И он совершил это убийство, твердо зная, что наказать его будет некому. И не ошибся, потому что высшее начальство ни в грош не ставит рабочих интересов, для него жизнь рабочего дешевле собачьей жизни! Оно даже и не подумало наказывать виновников гибели шестерых человек. Они, как волы, по пятнадцать часов в сутки, как и вы, работали в этой мастерской на хозяина, и за это он их изжарил живыми!.. А сам продолжает воровать у рабочих сотни тысяч рублей, бросая рабочим копейки!.. Тогда на Патронном заводе не забастовали, сил не хватило на стачку. Теперь настала ваша очередь, теперь руку запустили к вам в карман... Так неужели вы согласитесь с этими новыми грабительскими правилами? Неужели по-прежнему будете стоять по четырнадцать часов у станков, дожидаясь, пока кто-нибудь свалится от усталости в паровую машину и ему оторвет голову приводными ремнями?

Мастеровые молчали. Тимофей нервно перебирал инструменты на хозяйском верстаке. Вася Андреев что-то сказал Ивану Егорову, тот кивнул головой, выпрямился во весь рост.

— Про стоимость... ну, эту самую, прибавочную, надо еще обсказать, — с натугой произнес Иван, — про главное воровство, которое хозяева у нас производят.

Все разом повернулись к нему. Слова «главное воровство» укололи всех, как электрическим током.

— Давай, Жоржа, объясни про стоимость, — попросил Егоров, — чтобы уж до конца знали все, сколько хозяева у нас воруют.

— А ты сам можешь объяснить? — спросил Жорж и неожиданно вспомнил, как упорно читал Иван когда-то «Основания биологии» Герберта Спенсера.

— Смочь-то смогу, да неладно получится, — застеснялся Егоров.

— Давай как получится, — загудели мастеровые, — чего надо поймем, не все «серые».

— Оно, значит, так получается, ребята, — начал Иван. — Сделали мы хозяину, на приклад, миллион штук сукна. Он нам отвалил миллион рублей, то есть расчет произвел за работу за все годы, пока мы этот миллион ему ткали. Еще один миллион за товар отдал, из которого сукно вышло, то есть за шерсть, за пряжу. Еще один миллион за фабрику заплатил, — чтоб, значит, машины крутились, мастерам, управляющему, всей конторе за все годы... Теперь идем дальше. Выкинул хозяин миллион штук сукна на рынок и взял за каждую штуку по пяти рублев. Потратил три миллиона, а выручил пять. Два миллиона чистыми к своему капиталу прибавил. А почему? А по-

тому, что махнул я, скажем, молотком — хозяин мне три копейки платит. А сделал я тем молотком за один удар работу на пять копеек. Вот хозяин наш со всех нас за все годы по две копеечки собрал, и вышло ему два миллиона прибавочной стоимости, то есть барыша.

Жорж улыбнулся, но рабочие как зачарованные смотрели на Ивана, и Жорж понял, что Егоров поразил их счетом «на миллионы». «Ну, что ж, — подумал он, — пускай сначала будет такое объяснение — оно убедительно, а потом разберемся глубже».

С улицы засвистели. Это был условный знак — приближался кто-то из своих.

Дверь открылась, и в квартиру вошли Гоббст-Сорокин, Степан Халтурин и Петр Моисеенко.

— Бунтуете? — поздоровавшись, спросил Халтурин. — Кончилось терпение? То-то и оно. Терпеливые теперь не в почете. Терпеливых теперь на Смоленское кладбище относят и под крестом зарывают.

Он быстро нашел себе место, усевшись прямо на пол, дождался, пока разместятся Моисеенко и Гоббст, и так же, как и Жорж, но более обстоятельно (как свой брат мастеровой) начал расспрашивать все подробности — с чего началось, как было дальше, на чем порешили пока хозяева. Когда разговор дошел до того, что расценки снизили без предварительного оповещения, Халтурин резко поднял голову.

— Не упредили, говоришь, загодя о сбавке? — спросил он.

— Не упредили, — подтвердил Тимофей.

— Тогда, значит, управляющий первым нарушил закон, то есть фабричные правила, — радостно заметил Степан.

— Ну и что теперь, ежели первый? — спросил Вася Андреев. — Нам с этого какая польза?

— Во, во, — заговорили все разом, — нам какая с этого корысть?

— А вот какая, — вступил в разговор Моисеенко. — Если фабричное правление первое нарушает закон, то рабочие могут считать себя больше не связанными прежними условиями с фабрикой.

— Ну и чего?

— А того, что теперь за каждый день забастовки хозяева должны заплатить вам среднюю задельную * плату, так как закон первыми нарушили не вы.

— Важно! — пробасил Тимофей. — Вот это важно!

Халтурин о чем-то сосредоточенно думал.

— Слышь, Василий, — спросил он у Андреева, — какие у вас штрафы за поломку инструмента берут?

— За щетку — четвертак, — ответил Василий, — за иголку — тоже четвертак, за валки — по пятнадцать копеек за каждый.

* Сдельную.

— А за неуважение штрафуют?

— Обязательно. Восемь гривен. Не поздоровался со старшим мастером — рупь отдай без двадцати копеек.

— А за плохое поведение?

— Тоже рупь без двугривенного.

— За прогулы?

— День прогулял — плати за два.

Халтурин поднялся с пола, подошел к верстаку.

— Бумагу надо писать, — решительно сказал он. — А название такое: «Наши требования по общему согласию со всеми рабочими». Кто у вас тут самый грамотный?

— Все вроде грамотные, — неуверенно сказал Тимофей, — а вот чтобы писать...

— Ладно, давай я... — сел к верстаку Петр Моисеенко. — Бумага, чернила есть?

Гоббст-Сорокин принес бумагу и чернила. Все сгрудились вокруг верстака.

— Значит, первое, — начал Халтурин. — Рабочие фабрики Новая Бумагопрядильня не согласны работать не только на новых условиях, предъявленных им администрацией, но и на старых, грабительских. Рабочие выйдут на работу только тогда, когда будут удовлетворены следующие их требования...

— Справедливые требования, — добавил Жорж.

— Правильно! — подхватил Моисеенко. — Справедливые требования!

— Верно, верно, — зашумели мастеровые, — чтобы все по-божески было.

— Согласен, — кивнул Халтурин. — Второе: рабочий день сокращается с четырнадцати часов до двенадцати. Не с пяти утра до восьми вечера, а с шести утра до семи вечера.

— А может, десять часов попросим? — вмешался Иван Егоров. — Волы и те в ярме больше не ходят, в борозду ложатся. А мы что, хуже волов? Воевать так воевать!

— Хозяева на это никогда не пойдут, — возразил Моисеенко. — Надо реальные требования выставлять.

— Пиши двенадцать, — сказал Василий Андреев. — Хоть бы на это согласились. Ведь никаких силов нету по четырнадцать часов около машины стоять. Самые сильные мужики и те к вечеру с ног валятся, а сколько баб да ребятишек на фабрике работает?

— Дальше, — продолжал Халтурин. — Поштучная плата для ткачей остается прежняя, а длина кусков миткаля уменьшается так, чтобы ежедневный заработок, несмотря на сокращение рабочих часов, остался без изменения. Если же длина кусков не может быть уменьшена, то поштучная плата должна быть соответственно увеличена.

— Верно,—заговорили мастеровые,—вот это верно. Чтобы все, значит, по справедливости было.

— Все виды штрафов отменяются, — предложил Моисеенко, — в том числе и за поломку инструментов. Штрафы за про-

гульные дни уменьшаются: за прогул одного дня берется штраф в размере не более цены одного рабочего дня.

— Неужто так будет? — заблестел глазами Тимофей.

— Должно быть, — уверенно сказал Степан Халтурин.

— Про кипяток бы не забыть, — вставил слово «серый». — А то что делают? По копейке в день с человека за кипяток вычитают.

— Про кипяток надо, — поддержали все. — Да и воду пущай на кипяток берут не вонючую, не с Обводного канала, а с Невы.

— Значит, так и пишу, — сказал Моисеенко.

Рабочие кучей стояли вокруг верстака и все время заглядывали через плечо Петра Моисеенко.

— А которые копейки с нас шесть лет за кипяток брали, пущай назад возвернут, — неожиданно подал голос мастеровой, предлагавший в самом начале сходки идти жаловаться не к приставу, как хотел того «серый», а к самому градоначальнику. — Их ведь много, копеечек-то наших кровных, за эти годы поднакопилось.

— Каждый год — три рубля. За шесть лет, считай, восемнадцать рублей с человека за тухлую воду слупили, — послышались голоса со всех сторон. — Да и всегда ли она кипятком-то была? Сделают теплую — и ладно. А мы животами маялись. Пущай возвертают восемнадцать рублей каждому за то, что брюхо страдало. Об этом тоже записать надо.

— Запишу, запишу, — пообещал Моисеенко, — обязательно запишу.

«Все идет так, как хотел Халтурин, — думал Жорж, внимательно наблюдавший за фабричными во время обсуждения требований. — Все главные пункты сформулированы рабочим, Степаном Халтуриным. Сами требования записываются «фабричной» рукой — рабочего Петра Моисеенко в привычных, очевидно, для фабричной среды выражениях, с характерными для нее словами. Может быть, это и есть реальное осуществление формулы Маркса — освобождение рабочего класса должно стать делом рук самого рабочего класса? Может быть, прав Степан, который в последнее время все больше и больше начинает говорить о своем желании создать в Петербурге революционную организацию, состоящую только из одних рабочих?»

Наконец требования были готовы. Моисеенко сказал, что возьмет их с собой, набело перепишет и утром принесет на фабрику.

Прошло несколько дней. Однажды утром в Публичную библиотеку, где Плеханов старался по возможности заниматься теперь каждый день, пришел незнакомый рабочий — посыльный от Петра Моисеенко.

— Что случилось? — спросил Жорж, выйдя за посыльным в коридор.

— Петруха велел передать, — сказал рабочий, — чтобы скорее быть на Прядильне. Вчерашний день у сапожника на квар-

тире бумагу какую-то новую читали. Вроде бы к наследнику идти собираются. Петруха и Степка Халтурин супротив, конечно, были, да они не слушаются их. «Серых» больно много на фабрике развелось, а они как телята — их гонят в закут, они и бегут.

«Значит, к наследнику, — думал Жорж, шагая вместе с посыльным на Обводный канал. — Ну, что ж, видно, вера в царя будет разрушаться все-таки не словами, а опытом».

Во дворе Новой Бумагопрядильни стояла огромная толпа рабочих. Кто-то, забравшись на кучу угля, читал прошение на имя наследника, цесаревича Александра. Дребезжащий голос слабо долетал до задних рядов толпы, где остановился Жорж.

— «Мы, обманутые рабочие бумагопрядильной фабрики, обращаемся к вашему высочеству с жалобой на притеснения со стороны наших хозяев и полиции. Вашему императорскому высочеству должно быть известно, какие плохие наделы были отведены нам и как сильно страдаем мы от малоземелья...»

— Верно, верно! — зашумели в толпе. — Одно только звание, что земля, а пользы от нее никакой нету!

— «Вашему императорскому высочеству должно быть также известно, — продолжал читавший, — что за эти плохие наделы мы платим тяжелые подати...»

— И это верно! — крикнули в толпе. — Совсем вздохнуть не дают с податями!

— «Вашему императорскому высочеству должно быть известно, наконец, с какой жестокостью с нас взыскивают эти тяжелые подати, и поэтому нужда гонит нас на заработки в город, а здесь нас на каждом шагу притесняют фабриканты и полиция. Нам объявили новые расценки, которые сильно снижали нашу и без того низкую плату. Мы не согласились на эти расценки и от себя, по полному согласию всех рабочих между собой, выставили вполне справедливые требования. Управляющий нашей мануфактурой обещал выполнить эти требования и просил дать ему для роздыху несколько дней, чтобы уладить дело с акционерами, а пока просил всех встать на работу. В том же клялся нам и помощник градоначальника генерал Козлов. «Наплюйте мне на эполеты, — говорил Козлов, — если я обману вас. Тогда всю вину можете свалить на полицию. Принимайтесь за работу! До этих пор вы были правы, но если завтра не встанете к станкам, все будете виноватые». И мы решили проверить правдивость обещаний полицейского генерала. Мы вышли на работу по новым хозяйским расценкам. И вот прошли обещанные дни, и что же получилось? Хозяева вывесили свои уступки, которые нам нисколько не подходят. Нам уступили в мелочах, а в главном нас обманули. Хозяева не приняли наши требования о сокращении рабочего дня. Он остается длинным, в целых четырнадцать часов, и это будет убивать наше здоровье, так как никому не по силам целый день проводить на ногах. С нас по-прежнему собираются брать штрафы. Выходит, полицейский генерал господин помощник градоначальника Козлов тоже обманул нас.

Что же нам остается делать? Плевать ему иа погоны?.. Ваше императорское высочество, мы слезно просим вас заступиться за нас и употребить все ваше влияние на то, чтобы наши условия были приняты. Если понадобится создать комиссию для расследования дела, то мы просим позвать в нее выборных от рабочих... Мы обращаемся к вам, как дети к отцу, не видя больше ниоткуда защиты. Если же наши справедливые требования не будут удовлетворены, то мы будем знать, что нам не на кого надеяться, что никто не заступится за нас, и нам тогда остается положиться только на самих себя да на свои собственные руки».

— Хор-рошая бумага! — крикнули в толпе. — Должон наследник пособить! Куды же от такой бумаги денешься?

— А ну как не пособит? — спросил кто-то рядом.

— Ну, уж если не пособит, тогда самим надо будет как-нибудь поправляться.

Жоржа тронули сзади за рукав. Он обернулся. Около него стояли Халтурин и Моисеенко.

— Ну, как бумага? — спросил Степан.

— Кто составлял? — поинтересовался Плеханов.

— Студенты какие-то из радикалов приходили. Университет или Технологический — точно не знаю.

— Упускаем мы забастовку из своих рук, — нахмурился Жорж.

— За всем сразу не уследишь, — посетовал Халтурин. — Сейчас по всему городу либералы да радикалы деньги на эту стачку собирают. Адвокаты услуги свои предлагают, чтобы защищать фабричных от властей. Вчера двоих из ткацкого отделения затащили к какому-то профессору, вином, говорят, угощали, целый вечер разглядывали, как диковины какие-то.

— Что будем делать? — спросил Жорж.

— Пускай пока идут к наследнику, — сказал Халтурин. — Теперь их уже не удержишь. Пускай на опыте изживают веру в царские милости.

Жорж незаметно пожал Халтурину руку.

— Я тоже так думал, когда шел сюда, — тихо сказал он.

— Мы вот для чего за тобой посылали, — встал рядом с Плехановым Моисеенко. — Листовку надо написать, обращение к другим заводам. Чтобы собрали денег для семейных. Пускай ребята знают, что помощь не только от интеллигенции идет, но и от своего брата, от рабочих. Нужно, чтобы здесь поддержку от других фабрик почувствовали. Тогда и писем таких читать не будут, и к наследнику не пойдут.

...Вечером того же дня Жорж пришел на квартиру к Халтурину. Степан и Петр Моисеенко уже ждали его.

— Готово? — спросил Халтурин.

— Написал, — ответил Плеханов.

— Давай читай, — с нетерпением попросил Моисеенко.

— «К рабочим всех заводов и фабрик, — начал Жорж, достав из кармана написанную в Публичной библиотеке прокламацию. — Братья рабочие! Горькая нужда и тяжелые подати гонят

вас из деревень на фабрики и заводы. Вы ищете в городе работы, чтобы удоволить из своих городских заработков деревенского старшину и сельского станового, которые с розгами требуют от ваших семей податей. И вот, когда вы поступаете к хозяевам, они мало того, что выдумывают безбожные штрафы, мало того, что вычитают за каждую поломку в станке, они что ни дальше, то все меньше и меньше норовят платить и постоянно уменьшают заработную плату. Рабочему человеку защиты искать негде. Полиция всегда заступается за хозяина, а рабочего чуть что — волокут в кутузку! Хозяева рады, что рабочие недружно стоят друг за дружку: нынче прибавили плату на одной фабрике, завтра убавят на другой — вот дело хозяйское и в шляпе! Покуда рабочие не поймут, что они должны помогать друг другу, покуда они будут действовать врозь, до тех пор они будут в кабале у хозяев. А когда они будут стоять друг за дружку, когда во время стачки на одной фабрике рабочие других фабрик станут помогать им, тогда не страшен им будет ни хозяин, ни полиция. Вместе вы — сила, а в одиночку вас обидит каждый городовой...»

— Очень хорошо! — возбужденно сказал Моисеенко. — В самую точку попал, в самую середку!

— Вот оно, Петро, дворянское воспитание, — усмехнулся Халтурин, — не Жорж, а чистый Маркс. Все слова на месте стоят, как гвоздями сколоченные. Так и надо писать для рабочих — просто и сильно, чтобы за душу брало.

— У меня в военной гимназии хороший учитель русского языка был, — сказал Жорж.

— А меня столяр топорищем по хребтине учил, — вздохнул Степан. — Спасибо студентам в Вятке, вовремя книгу в руки дали, а то до сих пор в темноте бы сидел.

— Вот видишь, — подхватил Жорж, — студенты тебя к книге приобщили, а ты интеллигенцию не любишь.

— Да люблю я интеллигенцию, люблю! — махнул рукой Халтурин. — Но только мудрено вы в своих журналах да газетах пишете. О программах своих все время спорите, о долге образованных классов народу. Нет, ваши журналы не для нас... Ну, скажи, зачем рабочему знать все это?

— Таким рабочим, как ты и Петро, это знать надо, — убежденно сказал Плеханов.

— Давай, читай дальше, — попросил Моисеенко, — время теряем.

— «Братья рабочие! — продолжал Жорж. — Вот теперь рабочие с Новой Бумагопрядильни стакнулись и держатся все время дружно. Вам нужно поддержать их. Ведь их кругом обманули: сам Козлов божился уважить их требования, а вместо того вышло, что их только заманивали. Никаких уступок им не объявили, а вывесили старые правила, которые они уже восемь лет знают. Неужели давать издеваться над рабочими всякому жулику? Нет, вы соберете в их пользу деньги — нынче вы им поможете, а завтра они вам. Ведь и вы не в раю живете, и вам,

может быть, придется считаться с хозяином. Двугривенный — небольшие деньги, а им между тем, если побольше таких двугривенных соберете, большая польза будет, особливо семейным, у кого дети. Всякий, кто не продает своего брата рабочего за деньги, должен помочь стачечникам. Устройте у себя сборы (чтобы только фискалов-то поменьше вокруг терлось, покуда будете собирать) и отправьте собранное на Новую Бумагопрядильню с тем, чтобы и ткачи когда-нибудь отдали эти деньги, когда случится стачка у вас либо на какой другой фабрике. Так и помогайте друг дружке — на миру и смерть красна!»

Он положил черновик прокламации на стол и устало опустился на стул.

— Когда можно будет напечатать листовку? — спросил Халтурин.

— Дня через два, — ответил Жорж, — не раньше.

— Не задержаться бы, — с опаской сказал Степан. — Ее ведь надо будет по заводам и фабрикам раскидать, чтобы как можно больше людей узнало о забастовке.

— О забастовке узнают из газет, — сказал Жорж.

— Каким образом?

— Кроме прокламации, я написал сегодня еще две статьи в «Начало» и в «Новости» и через верных людей уже передал их в редакции.

— Вот это молодец! — сжал руку Плеханова Халтурин. — Вот за это спасибо! Газетенки известные: народ прочтет!

— За всех рабочих спасибо! — поблагодарил Жоржа и Моисеенко.

— Признаешь теперь, — улыбаясь, посмотрел Жорж на Степана, — что интеллигенция — и даже из дворянских детей — может быть полезной для рабочих?

— Да как уж тут не признать, — развел руками Халтурин. — Кабы все интеллигенты были такие, как ты, мы бы тогда, мастеровые, и забот никаких не знали.

— А если бы все рабочие были такие, как вы с Петром, — в тон ему ответил Плеханов, — мы, интеллигенты, и подавно ни о чем бы не беспокоились.

Глава пятая

Небо — ослепительно голубое. Деревья — строгие, сосредоточенные. Трава — зеленая, река — извилистая. Все вроде было таким же, как совсем недавно. И в то же время все было уже совсем другим, все изменилось. В небе несутся рваные серые облака, деревья податливо гнутся на ветру, в зеленой траве виднеются жухлые проплешины, река рвется выпрямить пружину своих петель.

Да, что-то произошло, что-то уже изменилось. Круг завершился, замкнулся. Первый полный круг его жизни. Сколько их еще будет, этих кругов бытия на его веку?

— Я ухожу, — сказал Жорж, пристально глядя на Александра Михайлова.

Михайлов молчал. Молчали все — Желябов, Тихомиров, Квятковский, Ошанина, Перовская, Баранников, Морозов, Вера Фигнер. Молчал даже Попов.

— Я ухожу, — повторил Жорж и медленно двинулся в сторону.

Никто не остановил его. Никто не пошел за ним.

И город был таким же, как и раньше. Дома, улицы, церкви, городовой на перекрестке... Два молодых парня в суконных картузах и косоворотках прошли наискосок через площадь. На кого-то оба они были очень похожи... На кого?

Интересно, кто они? Крестьяне? По-городскому одеты. Приказчики? Не те лица. Городские мещане? Может быть... Парни вошли в низкий деревянный сарай, откуда долетело характерное постукивание железа о железо: динь-динь-дон! динь-динь-дон! Жорж подошел ближе. Это была кузница. Парни скинули рубахи, обнажив мускулистые руки и плечи, надели кожаные фартуки, взяли клещи, кувалду и молоток, выхватили из горна раскаленную докрасна болванку и начали оковывать ее: динь-динь-дон! динь-динь-дон! Вот, оказывается, кто они — кузнецы, мастеровые...

Жорж усмехнулся. Выходит, он совсем не думал о том, что произошло там, за городом, в роще, где под видом участников пикника остались лежать и сидеть на траве, когда он ушел, все съехавшиеся в Воронеж члены тайного общества «Земля и воля». Значит, он совершенно не думал о том, что там, в роще, он ушел от товарищей по обществу, сказав, что ему здесь больше нечего делать? Значит, спустя всего несколько часов он уже не думал о своем уходе, если вдруг ни с того ни с сего заинтересовался какими-то совершенно незнакомыми, случайно встретившимися ему мастеровыми?

Так ли это?

Там, в роще, все началось с того, что Александр Михайлов читал последнее, прощальное письмо Валериана Осинского, написанное из тюрьмы, перед казнью: «Не поминайте лихом, желаю умереть производительнее нас... Ваша деятельность будет направлена в одну сторону, но, чтобы взяться за террор, необходимы люди и средства...»

— Валериан должен быть отомщен, — глухо сказал Желябов, когда Михайлов кончил читать.

— И Соловьев тоже, — тихо добавил Морозов.

Молчаливое и почти общее согласие.

Жорж вопросительно и тревожно посмотрел на Попова. Собственно говоря, вопрос о съезде (после неудачного покушения на Александра II и казни Соловьева) поставили именно они, Плеханов и Попов, чтобы пресечь гибельную, с их точки зре-

ния, для организации тактику террора. А что же получается здесь, на съезде? Большинство за террор?

Он стоял около кузницы уже минут десять. Знакомо, как на фабричном дворе у «Шавы», пахло углем и металлом. Искры сыпались с наковальни. Под ударами ручника и кувалды поковка постепенно принимала вид готового изделия... На кого же все-таки были так похожи эти ребята в кузнечных кожаных фартуках, которых он встретил на площади?

И вдруг он понял... На литейщика Перфилия Голованова — давнего его петербургского знакомого, одного из первых городских рабочих, с которым судьба когда-то свела его еще в студенческие годы. Такие же покатые, сутулые плечи, длинные, сильные руки и непроизнесенный, но постоянно и молча задаваемый общим выражением лица вопрос — ну что, барин? долго еще такая жизнь продолжаться будет?

Один из кузнецов поднял голову, и Жорж вздрогнул. Нет, нет, это был не Перфилий, это был Иван Егоров — могучий молотобоец с Патронного завода, устроенный Халтуриным на Бумагопрядильню после похорон на Смоленском кладбище шестерых убитых в пороховой мастерской рабочих. Ваня Егоров, как и Перфилий, был с ним еще на Казанской демонстрации... Зимой Иван умер в больнице пересыльной тюрьмы... А Вася Андреев — сторонник пропаганды среди женщин-работниц? Следы его затерялись в камерах пересылки... Сидят за решеткой Моисеенко, Обнорский, Лука Иванов... А Степан? Что с ним сейчас? Какие мысли будоражат его голову? Какие новые планы возникают у него?

После прощального письма Осинского начали обсуждать программу «Земли и воли». И здесь Плеханов успокоился. Главное направление было прежним — работа в народе. Правда, тут же слова попросил Николай Морозов и предложил дополнение к программе в виде следующей резолюции: «Так как русская народно-революционная партия с самого возникновения и во все время своего развития встречала ожесточенного врага в русском правительстве, так как в последнее время репрессии правительства дошли до своего апогея...»

— Что, барин, не лошаденку ли надо подковать? — бойко спросил кузнец, подойдя к распахнутым настежь воротам кузни.

— Нет, нет, мне ковать не надо, — поспешил ответить Жорж.

— Али какие другие работы по железу — ножи точить али топоры, серпы отбивать, косы?

— Да нет, не требуется...

«...съезд находит необходимым дать особое развитие дезорганизационной группе в смысле борьбы с правительством...»

— Продолжая в то же время работу в народе! — крикнул Михаил Попов.

— Да, да, продолжая, — вроде бы нехотя согласился Морозов.

— Тише, господа, тише, — сказал, оглядываясь по сторонам, Александр Михайлов.

И тут Плеханов не выдержал: Морозов, который...

— А мы смотрим — давно уже барин около кузни стоит, — подошел к воротам второй кузнец, — а ничего вроде бы не спрашивает.

— Я просто запах металла люблю, — улыбнувшись, объяснил Жорж, — и звук кузнечный, потому что...

...напечатал в «Листке «Земли и воли», одним из редакторов которого он был, воинственную статью под названием «По поводу политических убийств», не сочтя нужным уведомить об этом его, Плеханова, тоже редактора «Земли и воли», и поэтому...

— ...от него на душе иногда веселее становится.

— Это верно, — улыбнулся первый кузнец. — Металл, он другой раз душу хорошо веселит, особливо когда работаешь его правильно, с горна аккуратно сымешь и окалину вовремя собьешь. Тогда он себя скажет по всем статьям и служить будет верно, до полного износа, потому как...

...поднявшись и достав из кармана номер «Листка «Земли и воли», Жорж сказал, обращаясь к Морозову:

— Я прошу автора прочитать вслух свою статью о политических убийствах для всеобщего сведения. Как редактор того же издания, я даже не знал о том, что эта статья должна появиться в редактируемом мной органе. И это говорит не о лучшей подоплеке истории ее опубликования.

Морозов, как бы не расслышав последних слов Плеханова, достал свой экземпляр «Листка «Земли и воли» и начал читать:

— «Политическое убийство — это прежде всего акт мести. Только отомстив за погубленных товарищей, революционная организация может прямо взглянуть в глаза своим врагам; только тогда она поднимется на ту нравственную высоту, которая необходима деятелю свободы для того, чтобы увлечь за собой массы. Политическое убийство — это единственное средство самозащиты при настоящих условиях и один из лучших агитационных приемов. Нанося удар в самый центр правительственной организации, оно со страшной силой заставляет содрогаться всю систему. Как электрическим током, мгновенно разносится этот удар по всему государству и производит неурядицу во всех функциях...»

— ...железо тоже свой срок имеет. Оно навроде человека — уважишь его, и оно тебя уважит, а не захотишь его понять — и оно тебя никогда не поймет.

— А еще мы, барин, ружья в ремонт берем — кремневые, нарезные, — сказал второй кузнец, — штуцера, берданы...

А ежели пистоль какая-никакая неисправная имеется или, скажем, левольверт — неси и пистоль и левольверт. Мы все исправим, все починим.

— Да откуда у меня пистоль? — рассмеялся Жорж и на всякий случай добавил: — Разве я похож на человека, который имеет оружие?

— Сказать прямо — не похож, — согласился первый кузнец, — видать, больше по ученой части.

— «Когда приверженцев свободы бывает мало, — продолжал не без пафоса читать Морозов, — они всегда замыкаются в тайные общества. Эта тайна дает им огромную силу. Она давала горсти смелых людей возможность бороться с миллионами организованных, но явных врагов... Но когда к этой тайне присоединится политическое убийство как систематический прием борьбы — такие люди сделаются действительно страшными для врагов. Последние должны будут каждую минуту дрожать за свою жизнь, не зная, откуда и когда придет к ним месть. Политическое убийство — это осуществление революции в настоящем...»

— Господа! — снова не выдержал Плеханов. — И это наша программа?.. Да очнитесь же вы наконец! Кто же мы такие, позвольте вас спросить? Гимназическое общество юношей-мстителей или серьезная революционная организация?

— Пусть дочитает до конца, — твердо сказал Александр Михайлов.

Коля Морозов, обиженно спрятав «Листок «Земли и воли» за спину, продолжал говорить дальше уже от себя. По-видимому, он знал всю свою «карбонарскую» статью наизусть.

— «Неведомая никому» подпольная сила политических убийств вызывает на свой суд высокопоставленных преступников, выносит им смертные приговоры — и сильные мира сего чувствуют, что почва теряется у них под ногами, и они с высоты своего могущества валятся в мрачную и неведомую пропасть...

— Ну, прощайте, рад был с вами познакомиться, — сказал Жорж, пожимая руки мастеровым и ощущая на своей руке их шершавые, жесткие ладони.

— И ты прощай, барин, — сказал первый кузнец. — Будет какая надобность по нашей части — милости просим.

— Чудно, — покачал головой второй, — из господ, а кузней интересуетесь...

— ...С кем бороться? От кого защищаться? На ком выместить свою бешеную ярость? Миллионы штыков, миллионы рабов ждут одного приказания, одного движения руки. По одному жесту они готовы задушить, уничтожить целые тысячи своих собратьев. Но на кого направить эту страшную своей дисциплиной, созданную веками силу?.. Кругом никого. Неизвестно откуда явилась карающая рука и, совершив казнь, исчезла туда же,

откуда пришла... Политическое убийство — это самое страшное оружие для наших врагов, оружие, против которого не помогают им ни грозные армии, ни легионы шпионов. Вот почему наши враги так боятся его. Вот почему три-четыре удачных политических убийства заставили наше правительство вводить военные законы, увеличить жандармские дивизионы, расставлять казаков по улицам, назначать урядников по деревням, — одним словом, выкидывать такие сальто-мортале, к каким не принудили его ни годы пропаганды, ни века недовольства в России, ни волнения молодежи, ни проклятия тысяч жертв, замученных на каторге и в ссылке. Вот почему мы признаем политическое убийство за одно из главных средств борьбы с деспотизмом!

Наступило молчание. Никто не поднимал головы. Плеханов обвел взглядом лица Попова, Преображенского, Щедрина. Все они держались его ориентации, все были «деревенщиками», выступали против террора, стояли за продолжение работы в народе, в городе и деревне. Но сейчас молчали и «деревенщики».

— Я повторяю свой вопрос, господа, — громко сказал Плеханов, — это ли наша программа?

Молчание.

— Что ж будет результатом этого метода? — спросил Жорж, конкретно ни к кому не обращаясь.

— Конституция! — почти выкрикнул Желябов.

— Для российских буржуа? — усмехнулся Плеханов.

— Для представителей народа! — теперь уже громко крикнул Желябов. — Дезорганизованное нашими действиями правительство вынуждено будет созвать учредительное собрание!

— У меня вопрос к Морозову, — поднял руку Попов. — Считаете ли вы, что мы все должны будем действовать в духе вашей статьи?

— Террор — временный метод, сугубо исключительная мера, — глухо заговорил Морозов, — он допускается только в периоды политических гонений. После свержения деспотизма мы перейдем к методу убеждений.

— Короче говоря, — резко сказал Плеханов, — «Земля и воля» приступает к действиям в интересах наследника престола!

Все удивленно посмотрели на него.

— Если вы собираетесь продолжать дело Соловьева, — в голосе Жоржа зазвучали гневные нотки, — или, как вы говорите, действовать способом Вильгельма Телля и Шарлотты Кордэ, то единственным итогом ваших усилий будет смена на российском троне Александра II Александром III!.. Борьба за конституцию — измена народному делу!.. Это иллюзия борьбы!.. Террор ослабит не правительство, а революционную организацию, потому что ответные удары правительства будут убийственны для нас!.. Политические убийства — это самоубийство «Земли и воли»!

— Что же ты предлагаешь? — вмешался Александр Михайлов.

— Сосредоточить все усилия на революционной деятельности в народе под нашим старым знаменем, забыв о терроре!

— Необходимо новое знамя! — поднялся во весь рост Желябов. — Ваши «деревенщики» не революционеры, а всего лишь «культурники»! При отсутствии политических свобод всякая работа в народе бесплодна!

— Вы подменяете народную революцию энергией одиночек! — шагнул к Желябову Плеханов. — Вы заменяете исторические действия общественных классов субъективной волей революционеров!

— Убийство царя послужит сигналом для политического переворота! — встал рядом с Желябовым Александр Михайлов. — А переворот освободит не только какой-то один класс, а весь русский народ!

— Кто же совершит этот переворот?

— Народно-революционная партия!

— Бланкистская идея?

— Партия должна уметь создать для себя благоприятный момент для захвата власти, — сказал Желябов.

— Мы переходим в прямое наступление на самодержавие! — сказал Михайлов.

— Знаменосцы без батальонов никогда не выигрывали сражений, — сказал Плеханов. — Вы хотите перепрыгнуть через историю.

— Мы хотим остановить наступление капитализма на Россию, — присоединился к Желябову и Михайлову Николай Морозов. — Если, пренебрегая политической деятельностью, мы допустим существование современного государства еще на несколько поколений, то это затормозит революцию на целые столетия. Царь должен быть убит. Теперь или никогда!

— В таком случае мне здесь делать больше нечего, — твердо сказал Плеханов.

Молчание.

— Я ухожу, — сказал Жорж, пристально глядя на Александра Михайлова.

Молчание.

Он отошел от кузницы. Сделал несколько шагов. Динь-диньдон! динь-динь-дон! Железо заговорило, запело в руках мастеровых за его спиной. Динь-динь-дон! динь-динь-дон!.. Нет, нет, он ни на минуту не забывал о том, что произошло несколько часов назад там, в роще за городом. Разговаривая с кузнецами, он непрерывно думал об этом. Но странное дело, какая-то раздвоенность, разорванность сознания владела им все это время. Он вроде бы видел всех их...

...Михайлова, Желябова, Перовскую, Морозова, Квятковского, Веру Фигнер...

...и в то же время нечто совершенно иное вставало перед ним — набережная Обводного канала, темные корпуса Бумагопрядильни, густая толпа фабричных перед воротами, искаженное судорогой лицо Степана, бородатый Виктор Обнорский что-то кричит в толпе, подняв руку...

...а Желябов, облокотившись на руку, лежит на траве — там, в роще, и Соня Перовская стоит на фоне высокого серого неба...

...дин-динь-дон! динь-диинь-дон...

...и где-то пляшет, пляшет, отбрасывая назад свои светлые волосы, Лука Иванов, и синеглазый Петр Моисеенко, пощипывая свою редкую бороденку, грустно сидит около окна в полутемном зале «новоканавинской» портерной, поджидая его, Жоржа...

...а вот уже сидят рядом на жухлой осенней траве там, за городом, в роще Морозов и Александр Михайлов, и ветер гнет податливые деревья, и несутся по низкому небу серые, рваные облака...

...динь-динь-дон! динь-динь-дон...

...и свинцовая река рвется распрямить пружину своих петель, а они закручиваются все сильнее, все туже сжимают свои змеиные изгибы и кольца...

...и уже видны воронежские соборы, церкви, колокола, звонницы, и мимо них по огромному белому, покрытому снегами полю медленно бредут вереницей Михайлов, Халтурин, Желябов, Перовская, Моисеенко, Фигнер, Обнорский, Морозов, Лука Иванов... И он, Жорж, словно видит их всех в последний раз.

...а на высоком обрыве реки стоит Ваня Егоров — и машет, машет рукой, зовет их к себе...

...чья-то рука, высунувшись из обшитого золотом рукава, ложится ему, Жоржу, на сердце и больно сжимает его...

...но вырвавшись, он бежит по огромному, белому, пустынному, покрытому снегами полю с ярко пылающим факелом в руке и, добежав до края, останавливается и, обернувшись и вздохнув всей грудью, подносит факел к снегам...

...Динь-динь-дон! Динь-дон!..

...и факел гаснет, а снега загораются, и медленно бегут пока еще тонкие струйки огня по белому полю — вспыхнули, разгорелись, заполыхали, и уже зажглись снега по всему огромному полю, багровым заревом осветив все небо — и горят, горят, полыхают белые снега...

...Дон! Дон! Дон! Дон! Дон! Дон!

Из Воронежа Плеханов уехал в Киев. Ему не хотелось видеть никого, кроме одного человека. Роза была в Киеве. И он ехал к ней. Он искал успокоения, отдыха, заботы, ласки, ему нужна была пауза, перерыв между двумя действиями напряженной и многолюдной драмы, он должен был восстановить силы после многих испытаний и потерь, заново открыть для себя цвет неба, запах травы, пение птиц.

И все это он нашел в Киеве, рядом с Розой и вместе с Розой.

Они ходили вдвоем по городу, в котором его никто не знал, гуляли в тенистых аллеях парков, подолгу стояли, глядя на Днепр, на Владимирской горке, заходили иногда в маленькие кондитерские лавочки и ресторанчики и разговаривали, разговаривали, разговаривали. Казалось, они переговорили в те дни о всей своей прошлой, настоящей и будущей жизни, рассказали друг другу обо всех своих мыслях, мечтах и желаниях, высказали все свои взгляды и убеждения, объяснили симпатии и антипатии, поняли наклонности и привязанности.

Бывает такое время, единственное и неповторимое в жизни двоих людей, когда она и он испытывают состояние полнейшего доверия друг к другу, распахиваются друг перед другом до конца, проникают в общие чувства до последнего предела, находят друг в друге новые качества и возможности, открывают новые миры, горизонты и созвездия, и улетают вдвоем в эти миры и созвездия, к этим новым горизонтам, и долго-долго парят там, в этом неземном и безвоздушном пространстве, свободные от обыденных правил и норм, счастливые от разгадки великой тайны бытия — тайны любви.

И тогда возникает их нерасторжимый на многие годы союз. И тогда приходит ясность и мудрое понимание сложностей. И тогда снова входит в свои берега потревоженное внезапно налетевшим ураганом житейское море, и река жизни, стиснутая было неожиданным поворотом судьбы, снова продолжает свое естественное и безостановочное течение.

...В Петербург они вернулись вместе. Друзья по подполью изготовили им фальшивые паспорта на имя дворян Семашко (фамилия сестры Жоржа, Марии Валентиновны, которая жила с мужем в Тамбовской губернии, — это помогло бы при случайном аресте), и они поселились в доме номер шесть по Графскому переулку.

В Петербурге было много новостей. «Земля и воля» организационно уже разделилась на два новых общества — «Народную волю» и «Черный передел». В «Народную волю» вошли почти все участники Воронежского съезда, кроме Попова, Преображенского и Щедрина. Они-то вместе с известными землевольцами Стефановичем, Дейчем, Аксельродом, Игнатовым и еще несколькими «деревенщиками» стали ядром «Черного передела».

И что было самое удивительное — к чернопередельцам присоединилась Вера Засулич, которая своим выстрелом в петербургского градоначальника Трепова открыла страницу индивидуаль-

ного террора народнического движения еще за полтора года до Воронежского съезда. Вера Засулич, кумир революционной молодежи, осудила террористическое направление и высказалась за продолжение пропагандистской деятельности в народе во имя будущей аграрной революции. Значение этого факта трудно было переоценить.

«Черный передел» своим главным требованием выставил новый передел земли между крестьянами. Необходимо было составить четкую программу, выработать устав, сплотить соратников, организовать типографию. Плеханов с головой ушел в новые дела и заботы.

Как-то в один из семейных вечеров в доме номер шесть по Графскому переулку он усадил за стол Розу и, расхаживая по комнате, начал диктовать ей манифест тайного братства «Черный передел».

— Крестьяне! — с пафосом произнес Жорж и сделал рукой выразительный жест, будто перед ним не жена сидела, а стояла большая толпа мужиков. — Крестьяне, мещане и весь трудящийся люд Земли Русской! Вы слышали, как недавно по церквам и волостям читали царский указ о том, что никакого общего передела земли и никаких дополнительных нарезок к крестьянским участкам не будет и быть не может. Крестьяне! Восемнадцать лет, со времени объявления вам воли, вы безнадежно ждали от царя раздела земли и льгот от податей, налогов и всякого рода повинностей. Сколько раз вы посылали к нему ходоков, умоляя его облегчить вашу горькую долю, но напрасно: ходоков ваших он никогда не выслушивал, а приказывал ссылать в Сибирь. Теперь вы видите, что царь не за вас, а за помещиков и чиновников. Остается еще надежда на наследника, пока господа не перетянут его на свою сторону. А поэтому, крестьяне, сейчас же собирайте сходы и постановляйте всем миром посылать ходоков к наследнику с таким приговором...

— Ты серьезно насчет наследника? — оторвалась от бумаги Роза. — Разве он может что-нибудь изменить?

— Как ты не понимаешь! — удивился Жорж. — Это же агитационный прием. Если в деревнях соберутся сходы и только будут обсуждать эту листовку — цель уже достигнута. Пиши дальше... Крестьяне, ваш приговор должен быть таким: чтобы все земли, луга и леса, как помещичьи, так и казенные, были переделены между всеми поровну, без всяких платежей за них. Чтобы всякий промысел — соляной, рыбный, горный и иной — производился свободно и беспошлинно. Чтобы всякие подати и повинности были уменьшены, а старые недоимки сложены. Чтобы не было больше исправников, урядников и становых. Чтобы не было больше паспортов. Чтобы в солдатах служить меньше теперешнего срока. Чтобы каждая волость, уезд и губерния свободно управляла своими делами миром через выборных и сменяемых должностных людей... Вот этих-то льгот и вольностей добивалось наше братство много лет для всего трудящегося люда. Но много врагов у нас, много сил наших угнало начальство на

каторгу, погубило в тюрьмах и казнило смертью. Несмотря на все эти гонения, мы порешили до последнего дыхания стоять за крестьянскую Землю и Волю. Присоединяйтесь же к нам, и будем вместе добиваться того, что вы постановите в своих приговорах... А до тех пор, пока царь не исполнит приговоров, отказывайтесь от присяги, не признавайте его царем, не платите никаких податей, не давайте рекрутов, не пускайте к себе никакого начальства. Если же начальство будет силою вас принуждать, стойте против него дружно. Не слушайте подкупных попов, учиняйте сговор село с селом, волость с волостью, и будем отражать насилие единодушной силой!

...В середине ноября народовольцы взорвали царский поезд, шедший из Ливадии, но Александр II остался жив. Жандармские репрессии вспыхнули с небывалой силой. Было разгромлено несколько конспиративных квартир, арестованы десятки людей. Сбывались, сбывались предсказания Плеханова в Воронеже о том, что террор ослабит не правительство, а прежде всего самих революционеров.

Однажды, случайно встретив на сходке Халтурина, Жорж с удивлением узнал, что Степан примкнул к народовольцам.

— А как же рабочий союз? — спросил Жорж. — Или ты уже разочаровался в нем?

— Нисколько. Просто пришло новое время, и поэтому встали новые задачи.

— Какие?

— Царь должен быть убит. Смерть его принесет политическую свободу.

Разговор этот сильно огорчил Плеханова. Рабочего союза практически уже не было. С уходом Халтурина в террор не было уже и самого Степана — логика событий, логика избранного способа действий, безусловно, оттеснит теперь на задний план все его заботы о рабочем союзе. Сознавать это было горько.

Почему так изменились взгляды Халтурина? Что повлияло на него? Где былая убежденность их долгих разговоров, которая для него, для Плеханова, была шагом вперед в развитии, а Степан вроде бы даже забыл об этом?

Случайный отрывочный разговор не мог дать ответа на эти вопросы, а увидеть Степана в ближайшие дни не довелось.

Плеханов продолжал активно заниматься делами «Черного передела», написал несколько небольших статей для вновь создаваемого одноименного печатного органа, и ему уже виделась большая, общая, обзорная статья, которая должна была рассказать о том, что слух о предстоящем в скором времени переделе земли облетел уже всю Россию и везде перешел в непоколебимую уверенность относительно приближения «слушного часа» и что русский народ положил ожидание этого передела в основу своего примирения с тяжелым существующим положением.

Да, он много писал в те дни для «Черного передела», но в душе у него происходило нечто странное — он ощущал необычный наплыв каких-то новых противоречий. События последнего

года требовали подведения итогов, какого-то длительного и обстоятельного раздумья. «Земля и воля» раскололась, «Северный союз русских рабочих» распался на глазах. Обнорский и Моисеенко — в тюрьме, Степан втягивается в террор. Почему все это происходит? Только ли из-за ударов властей? Или есть и другие причины, внутри движения?.. Надо думать, думать, размышлять, читать новую революционную литературу, изучать последние книги социалистических писателей.

Но разве возможно было делать это в тех условиях, в которых он жил? Нелегальное положение, постоянное беспокойство за Розу, которая в случае его ареста тоже могла оказаться в тюрьме (а она сказала ему недавно, что у них будет ребенок), — все это взвинчивало нервы до предела, лишало покоя и сна, мешало работать. Новое направление — террор — вовлекало в свои ряды все больше и больше прежних единомышлёнников, уводило за собой романтически настроенную революционную молодежь.

Нужно было срочно что-то делать, нужно было срочно на что-то решаться, нужно было срочно предпринимать нечто такое, что в корне изменило бы все вокруг.

Разговор с Халтуриным и собственные мысли о печальной судьбе «Северного союза русских рабочих» вернули его снова ко всем старым размышлениям о крестьянских делах. В своей большой обзорной статье ему хотелось бы еще рассказать и о том, что вся внутренняя история России, собственно говоря, была и есть не что иное, как длинное, полное трагизма повествование о борьбе не на жизнь, а на смерть между полярно противоположными принципами народно-общинного и государственно-индивидуалистического общежития.

Кровавая и шумная, как ураган, в минуты крупных массовых движений, вроде бунтов Разина и Пугачева, борьба эта не прекращалась никогда, принимая самые разнообразные формы. Откупаясь от государственного вмешательства в его жизнь во времена Ивана Грозного, разбредаясь и заселяя окраинные степи и леса Сибири, образуя шайки понизовой вольницы, оплакивая «древнее благочестие» в глухих раскольничьих скитах, народ всегда и везде отстаивал одни и те же стремления, боролся за одни и те же идеалы.

Какие же это были идеалы?

Прежде всего свободное общинное самоустройство и самоуправление. Предоставление всем членам общины сначала права свободного занятия земли — «куда топор, соха и коса ходят», а потом, с ростом народонаселения, предоставление равных земельных участков с единственной обязанностью участвовать в общественных «разметах и разрубах». Труд — как единственный источник права собственности на движимость. Равное для всех право на участие в обсуждении общественных вопросов и свободное, только реальными потребностями народа определяемое соединение общин в более крупные единицы.

Вот те начала и идеалы, те принципы общежития, которые так ревниво оберегал народ и которые, кратко формулируясь в боевом девизе «Земли и Воли», обладали магическим свойством волновать массы от Астрахани до Соловецкого монастыря.

Но государство с самых ранних времен своего существования вступило в противоречие с этими принципами. Оно начало отдавать свободные общины в «кормление» боярам, которые вмешивались в народную жизнь и постепенно лишили общину ее неоспоримого права на самостоятельное решение возникавших внутри ее вопросов. Государство произвольно обложило общины податями для непонятных и чуждых народу целей. Государство захватило общинные земли и начало раздавать их в виде вотчин и поместий представителям высших классов, предоставив им одновременно и право на присвоение крестьянского труда, окончательно закрепостив этим крестьян.

Насилие, насилие и еще раз насилие — от насильственного «спаивания» народа при тишайшем Алексее Михайловиче до насильственного введения картошки с помощью военных экзекуций при незабвенном Николае Павловиче — вот те «блага», которые принесло народу самодержавное государство, те приемы, которых оно неуклонно держалось на протяжении всей своей истории.

И напрасно наши российские историки стремятся убедить русское общество в том, что народ не только добровольно призывал к себе князей, но и всегда охотно подчинялся государственным порядкам. Это подчинение было настолько же добровольно, насколько добровольно, например, подчинились англичанам индийцы.

Все это было насильственным вторжением в народную жизнь, все это было непониманием и игнорированием ее склада и особенностей, попранием народных прав...

Да, русское государство до сих пор оставалось победителем в его борьбе с народом, но кто возьмется высчитать шансы этой борьбы в будущем? До сих пор государство сдавливало народ железным кольцом своей организации. Пользуясь ее преимуществами, оно с успехом подавляло не только мелкие и крупные народные движения, но и все проявления самостоятельной народной жизни и мысли. Государство наложило свою тяжелую руку на казачество, исказило земельную общину. Оно заставило народ заплатить за его исконное достояние — землю — выкуп, превышающий стоимость самой земли.

И тем не менее, когда государство уже немало не сомневалось в гибели самобытной народной жизни, народ с ничем не разрушаемой уверенностью заявляет (слухи и толки о переделе), что далее так продолжаться не может, что необходимо перестроить общественные отношения в духе исконных народных идеалов.

Влияние этой непоколебимой уверенности простирается даже на сферу коммерческих отношений — во многих местностях крестьяне отказываются от покупки земель и воздерживаются от

долгосрочных арендных контрактов. По своему влиянию на народные умы слух о переделе земли можно сравнить только со слухами об уничтожении крепостного права, которые послужили поводом ко множеству мелких волнений, с каждым годом все расширявшихся и возраставших в числе, и которые убедили наконец правительство в том, что лучше освободить народ «сверху», нежели ждать, пока это освобождение будет предпринято им «снизу».

И это, безусловно, говорит о том, что влияние государственности было и остается до сих пор поверхностным, что оно не простирается на умы и воззрения широких народных масс. Вот почему правительство забило тревогу и публично, чтением в церквах и волостях, объявило, что ходящие в крестьянстве толки о переделе земли нужно целиком отнести на счет социалистической пропаганды. Оно приписало социалистам такое громадное влияние на народные умы, о котором они до сих пор не всегда позволяли себе даже мечтать.

Мудрено ли после этого, что наше правительство, не имеющее никаких понятий о правовых воззрениях народа, с удивлением услышавшее о живущих в крестьянстве ожиданиях полного аграрного переворота, — мудрено ли после этого, что такое правительство со страхом узнало, что народ не признает за высшими классами права собственности на землю, что он требует не только экспроприации земли у высших классов, но и установления совершенно иных форм отношения к земле? Мудрено ли, что правительство обвинило во всем этом социалистов?

В данном случае следствие принято за причину. Народные воззрения на землю не потому противоречат воззрениям высших классов, что в России появилась социально-революционная партия. Напротив, эта партия потеряла бы всякий смысл своего существования и навсегда осталась бы экзотическим растением, пересаженным на русскую почву из других стран, если бы не существовало противоречий между народом и государством, если бы эти противоречия не наложили своего отпечатка на всю историю внутренних отношений в нашей стране, если бы эти противоречия не проникали во все сферы человеческих отношений в нашем благословенном отечестве.

Этими противоречиями между народными чаяниями и существующими государственными законами и вызвана к жизни социально-революционная партия. В этих противоречиях и заключаются все надежды партии, в них мы видим залог своего успеха. Эти противоречия мы считаем исходным пунктом, операционным базисом всей нашей революционной работы в народе.

Задачи нашей партии составляются из общих указаний науки и специальных условий русской истории и современной действительности. Мы признаем социализм последним словом науки о человеческом обществе и в силу этого считаем коллективизм в области труда и владения общественными богатствами альфой и омегой прогресса в экономическом строе общества.

...Он отложил в сторону исписанные листы бумаги. Если ког-

да-нибудь все эти мысли найдут себе место на страницах какого-либо периодического издания, то, безусловно, можно будет считать, что теоретический фундамент партии «Черный передел» в основном заложен правильно. Вернее сказать, он, Георгий Плеханов, только еще приступил к закладке этого фундамента, уложил первый ряд кирпичей будущего здания, строительство которого он продолжит вместе со своими товарищами по новому обществу — Верой Засулич, Павлом Аксельродом, Львом Дейчем, Василием Игнатовым и другими.

Собственно говоря, все эти записанные сейчас на бумаге мысли применительны к русским условиям. Сознательно или бессознательно следуя или противореча им на практике, с ними считались все революционеры и общественные деятели от Будды до Маркса, от великого Ликурга до ничтожного Тьера. Но для осуществления намеченных задач на русской почве социально-революционной партии в России необходимо в первую очередь сломать существующий в нашем отечестве государственный строй. Только на этом пути нашу революционную интеллигенцию ожидает славное историческое будущее, только на этом пути встретит она мост для перехода той огромной пропасти, которая все еще отделяет интеллигенцию от народа.

Но все это в будущем. А что сейчас? Как работать в нынешних условиях, когда в революционной среде царят хаос и разброд, когда противоречия в его собственных рассуждениях (и в первую очередь противоречие между крестьянскими делами и движением городских рабочих) не дают покоя ни днем ни ночью, когда ежедневно, ежечасно, ежеминутно необходимо пополнять свой багаж новыми достижениями социалистических знаний, а жандармские сети здесь, в Петербурге, окружают со всех сторон все плотнее и гуще...

Такие мысли одолевали его в те дни, когда новое общество «Черный передел» делало свои первые шаги, а «Народная воля», мобилизовав все силы партии на подготовку цареубийства, рыла подкопы, изготовляла динамит, закладывала мины, с нетерпением ожидая, что сразу же после гибели императора произойдет долгожданная народная революция, соберется учредительное собрание, появится всеобщее избирательное право, возникнут свободы слова, печати, совести, собраний, сходок.

Взрыв царского поезда сгустил все краски времени до предела. Начались повальные аресты в обеих столицах и во всех крупных губернских городах.

С каждым днем Жорж чувствовал, что жандармское кольцо стягивается вокруг него все туже и туже. Его искали буквально по всему Петербургу. По полицейским сведениям, он был одним из самых закоренелых социалистов. Во время одной из сходок на студенческую квартиру, где незадолго до этого побывал Жорж, ворвалась вооруженная облава. «Где Плеханов? Где Пле-

ханов?» — потрясая револьвером перед лицами девушек-курсисток, кричал жандармский чин.

Однажды кто-то из чернопередельцев сказал ему, что в это насыщенное арестами и сыском время он, Плеханов, поступил бы правильно, если бы в интересах дальнейшего развития революционного дела временно уехал за границу.

Зерно упало на взрыхленную почву. Роза, несмотря на свое положение, тоже была за то, чтобы он скрылся из Петербурга и вообще из России. Жорж задумался. Некоторое время он был решительно против эмиграции. Но события (аресты, аресты, аресты) неудержимо склоняли чашу весов в сторону отъезда. Несколько раз шпики появлялись уже в самом Графском переулке. Дворник дома, в котором он жил по фальшивому паспорту, стал проявлять подозрительный интерес к дворянину Семашко.

Сыскные в конце концов напали на след типографии «Черного передела». Начались аресты среди ее организаторов. На собрании оставшихся на свободе участников «Черного передела» было твердо решено — наиболее известные полиции чернопередельцы, и прежде всего Жорж, должны немедленно выехать за границу.

Роза была отправлена ночевать к подруге, студентке женских курсов медико-хирургической академии Теофилии Полляк. Плеханов, не вернувшийся в Графский переулок после принятого собранием решения, несколько дней скрывался у друзей, переходя с квартиры на квартиру. Теперь вся его жизнь была сосредоточена только на одной-единственной цели — уйти из рук полиции.

Наконец все было готово. Ночью он пришел проститься с Розой на ее новую квартиру. Роза плакала. «Временно, временно», — непрерывно и с каким-то нервическим оттенком то и дело повторял Жорж.

Друзья тайно вывезли его из города. На одной из промежуточных станций Варшавской железной дороги он должен был сесть в поезд.

Прощание было невеселым. Все молчали. «Временно, временно», — снова нервно повторял Жорж. Он надеялся, что эмиграция его будет недолгой, и рассчитывал вернуться в Россию в самом недалеком будущем.

Увы, надеждам этим не суждено было исполниться. Он вернулся на родину только через тридцать шесть лет, всего за тринадцать месяцев до своей смерти. И эта долгая жизнь вдали от России была причиной многих напряженных и скорбных обстоятельств его дальнейшей судьбы.

...Границу он перешел нелегально. Несколько дней пришлось ждать, живя в пограничном городе, в корчме, пока «откроется» налаженное землевольцами еще несколько лет назад «окно».

Получив условный сигнал, он вышел ночью из городка, прошел несколько километров по лесу, спустился к реке, перешел ее вброд и поднялся на противоположный берег.

Россия оставалась позади, лежала за спиной огромным, покрытым мраком ночи, неразбуженным, сонным пространством.

Сначала он оказался в Швейцарии, в Женеве. Здесь было много эмигрантов из России. Вскоре приехала Вера Ивановна Засулич, к которой Жорж после ее решительного отхода от терроризма и присоединения к «Черному переделу» испытывал самые искренние дружеские чувства.

Появился Лев Дейч. Ждали Стефановича и еще нескольких чернопередельцев. Жорж, близко сойдясь с группой польских социал-демократов, издававших журнал «Равенство» (особенно хорошие дружеские отношения сложились у него с одним из первых польских марксистов Людвигом Варыньским), предлагает поселиться коммуной вместе с поляками в маленькой деревушке под Женевой. Так и было сделано.

Часто после напряженных занятий в читальных залах он долго гуляет по городу, выходит на берег Женевского озера, садится на скамейку и, глядя на проходящую мимо публику, вспоминает Петербург — бесконечные разводы войск из Манежа на посты и караулы к дворцам великих князей, зеленые потоки чиновничьих шинелей, наводняющие улицы два раза в день с механической аккуратностью заводного механизма, испуганные лица пригородных крестьян, стоящих возле распряженных саней на Сенном рынке и на Калашниковской набережной.

И сразу же за этими испуганными лицами вставала вся Россия, серые деревни, нескладные маленькие города, тихие безответные слободки, мертвый простор полей, глухие леса, необитаемые степи, продутые безжалостными ветрами.

Надо разбудить эту страну, надо растолкать от сна ее города и деревни, осветить кислые сумерки ее пространств энергией новой жизни. Надо, надо, надо! Но как это сделать, как?

...Наконец приехала из России Роза. Вопреки ожиданиям Жоржа, она была грустна, находилась в крайне подавленном состоянии. Дочь Вера, родившаяся в Петербурге, была оставлена на руках у подруги Теофилии Полляк. Роза долго колебалась перед отъездом. Девочка была ее первым ребенком. Материнские чувства не отпускали молодую женщину от колыбели. Но, глядя на Верочку, угадывая в ее лице черты любимого человека, Роза рвалась в Швейцарию. Видя ее страдания, Теофилия уговорила подругу поручить ребенка на время ей, а самой ехать в Женеву. И Роза, наняв девочке кормилицу, тронулась в путь.

О жизни в коммуне теперь, после приезда Розы, не могло быть и речи. Он снял отдельную комнату, но отношений с друзьями не прерывал ни на один день, проводя в коммуне каждую свободную минуту. Чернопередельцы и поляки-социалисты заключили между собой негласный союз — постоянно объединяли усилия в совместных выступлениях на эмигрантских собраниях, помогали друг другу в перевозке нелегальных изданий, подписывали общие декларации.

Постепенно налаживался новый быт. Жорж продолжал усиленно заниматься, Роза помогала ему во всех делах, вела хозяйство. Они жили надеждами на скорое возвращение на родину, мечтали о том, как увидят свою Верочку.

Страшное известие из России оборвало все планы и надежды. Теофилия прислала письмо — девочка умерла от приступа глотошной болезни.

Роза слегла. Состояние ее было близко к нервному потрясению.

— Я предала ее, понимаешь? Предала! — шептала она по ночам. — Она лежала там, у чужих людей, задыхаясь, — маленькая, беззащитная, и не было рядом родной души, чтобы помочь, чтобы облегчить страдания. Она умерла не от болезни, она умерла от одиночества, от тоски по мне, от отсутствия материнской ласки. Я знаю это... Я предала ее, предала!

Жорж похудел и осунулся.

Возвращение в Петербург отпадало. Роза сказала, что не смогла бы жить в городе, где умер оставленный ею ребенок. (Да оно, это возвращение, было бы невозможно и по многим другим причинам. Социалисту Плеханову ни одна из легальных форм жизни в России не была доступна — его сразу бы отправили в Петропавловскую крепость.)

Но и оставаться в Женеве тоже было нельзя. Розе с каждым днем становилось все хуже. Она плакала по ночам, звала девочку, металась во сне, утром подолгу не хотела вставать, сторонилась людей, отказывалась от еды. Знакомые настойчиво советовали переменить обстановку.

Жорж списался с друзьями, взял несколько авансов в журналах под будущие статьи, и в конце 1880 года они уехали из Швейцарии во Францию.

Париж удивил их необычным и всеобщим возбуждением — здесь ожидалась и уже была частично объявлена полная амнистия почти всем участникам Парижской коммуны. Из Новой Каледонии, из Алжира, из далеких заморских колоний в Париж возвращались коммунары, уцелевшие от кровавой майской недели и тропической лихорадки. Город встречал их цветами, улыбками, песнями, флагами. Изменчивость судьбы, легкомыслие фортуны: тех, кого десять лет назад расстреливали во всех переулках от площади Бастилии до площади Республики, тех, кого сбрасывали во рвы у стен Пер-Лашеза, сегодня обнимали и носили на руках.

Везде шли митинги в честь возвращающихся героев Коммуны. После Женевы, где только и веселья было, что яростные схватки с украинским националистом Драгомановым на сходках русской и польской эмиграции, Жорж впервые почувствовал, что действительно находится в свободной стране. Политические страсти бушевали здесь почти в общегосударственном масштабе, а в со-

ной Швейцарии политикой, кроме эмигрантов, никто и не интересовался.

Седые, покрытые шрамами и колониальным загаром коммунары поднимались на сколоченные наспех деревянные трибуны, бросали в толпу пламенные лозунги Коммуны. Слушатели отвечали восторженными криками, взлетали над головами цветы и шапки.

Первое время Жорж почти непрерывно с утра до ночи проводил на улицах. Он был поражен и просто ошеломлен накалом общественных страстей, бурливших на площадях и бульварах. Париж, словно очнувшись от десятилетнего сна, торопился высказать свое отношение к событиям семьдесят первого года.

Во всех кафе вокруг площади Пер-Лашез только и разговоров было, что о Коммуне.

Жорж смотрел на говоривших. Свободные блузы, кепи с лаковыми козырьками, худощавые лица, крупные, привыкшие к физической работе кисти рук. По виду — ремесленники, мастеровые, а по разговору — политики, парламентарии... И вспомнился почему-то Степан Халтурин. Его бы сейчас сюда — он не ударил бы лицом в грязь ни перед какой аудиторией. Вот уж у кого действительно был врожденный инстинкт политика, настоящего рабочего парламентария.

Через несколько дней Роза и Жорж нанесли визит Петру Лавровичу Лаврову.

— Хотите пойти вместе со мной встречать Луизу Мишель, «Красную деву Монмартра»? — сразу же, в первые минуты встречи спросил Петр Лаврович. — Она возвращается из ссылки из Новой Каледонии. Плывет на корабле через два океана. Ее будет встречать весь Париж.

Это был один из немногих дней, проведенных во Франции и запомнившихся на всю жизнь. Жорж как бы воочию, спустя десять лет, увидел то, что называлось Парижской коммуной.

Гигантская площадь. Море человеческих голов. Десятки тысяч людей с красными гвоздиками в руках. Взрыв, гром, горный обвал аплодисментов, когда маленькая женская фигура, как искра, взметнулась на возвышение. Сверкают слезы на глазах людей. Цветы, поднятые над головами, превращают площадь в неправдоподобно сказочный луг, красный луг Коммуны. Он колышется, переливается всеми оттенками — бордовым, розовым, багровым, кумачовым.

— Эта легендарная женщина, — тихо сказал стоявший рядом Лавров, — сама Франция, сама революция, сама Коммуна. Она стреляла на баррикаде на площади Бланш до последнего патрона. В хаосе майской недели ей удалось ускользнуть из рук версальцев, но, когда она узнала, что арестована ее мать, она сама явилась в тюрьму, сама вошла в камеру, и ее мать была освобождена. На суде она требовала для себя только смертной казни и умоляла судей расстрелять ее на том самом поле в Сатори, где были казнены ее товарищи и руководители Коммуны Ферре и Россель.

Роза и Жорж, блестя глазами, восторженно смотрели на Лаврова.

— Но ее не расстреляли, — закончил Петр Лаврович, — а отправили иа каторгу в Новую Каледоиию, на вулканический остров в шестистах милях от берегов Австралии. И там оиа провела целых семь лет.

В толпе на площади возиикло какое-то всеобщее продвижеиие к тому месту, где Луиза Мишель стояла с группой вериувшихся вместе с ней из ссылки коммуиаров. Начали выкрикивать какие-то одинаковые слова, скандируя их.

— Петр Лаврович, о чем оии? Не разберу... — спросил Жорж у Лаврова.

— Они просят, чтобы Луиза прочитала стихи, которые она написала в день свержения империи Наполеоиа III и провозглашения республики, — взволнованно объясиил Лавров. — «Красиые гвоздики»... Но слышите? — вся площадь помиит их... Нет, нет, французы — удивительный народ.

Луиза Мишель подняла руку — и площадь мгиовенно затихла. Луиза начала читать:

Тогда настал предел народному терпенью.
Сходились по ночам, толкуя меж собой,
И рвались из оков, дрожа от возмущенья,
Как скот, влекомый на убой...

Над площадью серебряной песней птицы («ле шансон де росиньоль» — песня соловья, вспомнилось Жоржу), высоко и свободно парящей в голубом небе, звенел голос Луизы Мишель.

И постепенно, один за другим десятки, сотни, тысячи голосов стали вторить ей. И вот уже вся огромная человеческая масса гулко выдыхала вслед за Луизой Мишель строки ее стихотворения:

Империи пришел конец! Напрасно
Тиран безумствовал, воинствен и жесток —
Уже вокруг гремела Марсельеза,
И красным заревом пылал восток!

Жорж проглотил подошедший к горлу комок. Какие-то новые, необыкновенно свежие и энергичные чувства переполияли его сердце. Ои ощущал себя высоко подиятым над землей, парящим вместе с голосом Луизы Мишель...

Роза обернулась к иему — в глазах у иее стояли слезы.

— Господи, как хорошо! — прошептала она.

А площадь, уже не дожидаясь Луизы, сама гремела тысячами голосов:

У каждого из нас алели на груди
Гвоздики красные. Цветите пышно снова!
Ведь если мы падем, то дети победят!
Украсьте грудь потомства молодого!

...Домой возвращались медленно, взволнованные только что пережитым.

И еще была грандиозная манифестация, в которую вылились похороны Огюста Бланки. Лавров, Жорж, Роза и еще несколько десятков русских политических эмигрантов, знакомых и незнакомых, шли в рядах многотысячной процессии, направляющейся к Пер-Лашез. Все округа и предместья Парижа прислали свои делегации ремесленников и рабочих. Бланки, выдающегося французского коммуниста-утописта, хоронил весь социалистический Париж.

Жить в Париже приходилось трудно — не хватало денег. Твердого заработка не было — мешала постоянная занятость в библиотеках, встречи с французскими социалистами, участие в рабочих собраниях, в диспутах марксистов с прудонистами. Случай свел с Жюлем Гедом, руководителем (вместе с Полем Лафаргом) недавно созданной Рабочей партии Франции. Жюль Гед просто влюбился в молодого русского социалиста. Они проводили вместе очень много времени. Жорж мог часами слушать рассказы Геда о встречах с Марксом и Энгельсом, а новый товарищ, в свою очередь, бесконечно расспрашивал Плеханова о России — о декабристах, петрашевцах, Чернышевском, Добролюбове, Писареве.

Роза, кажется, уже начинала отходить душой и сердцем после полученного в Швейцарии страшного известия о смерти дочери. Перемена обстановки, новые впечатления, новые люди — все это делало свое дело. Она постепенно выправлялась: снова стала помогать мужу в его научных занятиях, вела переписку с оставшимися в Женеве членами общества «Черный передел». Молодость брала свое — рождались новые планы, зрели и укрупнялись замыслы. С находившимися во Франции и группировавшимися вокруг Лаврова народовольцами велись переговоры о возможном в будущем объединении в единую заграничную группу. Было достигнуто даже (на чужбине противоречия во взглядах иногда выглядели и не такими уж непримиримыми) соглашение о совместном издании серии брошюр под общим названием «Русская социально-революционная библиотека». Для этого Жорж скрепя сердце согласился обсудить с чернопередельцами вопрос о внесении в их программу пункта «О важном значении террора для борьбы с русским правительством».

В эти месяцы парижской жизни давние связи с Петром Лавровичем Лавровым переросли в доверительную дружбу. Накал политических страстей в общественной жизни Франции, вызванный образованием Рабочей партии и амнистией коммунаров, общее участие в нескольких собраниях и диспутах по этому поводу тесно сблизили их, хотя Лавров на тридцать три года был старше своего молодого друга. В отношениях с Жоржем и его женой Петр Лаврович, ветеран русской народнической колонии в Париже, добровольно принял на себя обязанности некоего покровителя и опекуна. Видя повышенный интерес Жор-

жа к работам Гегеля, Фейербаха, Маркса, Энгельса, Лассаля, он предоставил в его распоряжение всю богатейшую свою библиотеку, в которой особенно тщательно были подобраны сочинения именно этих немецких ученых.

И Жорж иногда пропадал в квартире Лаврова целыми днями. Зная, что Петр Лаврович состоит в близких отношениях с организаторами «Международного товарищества рабочих», он при каждом удобном случае задавал ему, как и Жюлю Геду, вопросы о Марксе и Энгельсе.

— Скажите, Петр Лаврович, — спросил однажды Жорж во время одного из таких разговоров, — вы считаете себя последователем идей Энгельса и Маркса?

— Я считаю для себя честью называться последователем Маркса, — ответил Лавров. — Я признаю себя учеником Маркса с тех пор, как познакомился с его экономической теорией. Нас связывают годы деловых отношений и с ним, и с Фридрихом. И объясняется это многими причинами. Во-первых, мы почти сверстники. Я младше Карла на пять лет, а Энгельса — всего на три года. А во-вторых, они считают меня — очевидно, по возрастному признаку — своеобразным дипломатическим представителем революционной России в Западной Европе, неким старейшиной русской эмиграции в Париже. Не скрою, мне доставляет удовлетворение быть их посредником в делах нашего нелепого и многострадального отечества. Россия, насколько я знаю, занимает в их интересах в последние годы весьма значительное место. Ведь они даже выучили в зрелом возрасте русский язык, чтобы иметь возможность в подлинниках читать нашу легальную и нелегальную литературу.

— Я знаю, — кивнул Жорж.

— И, несмотря на все это, у меня есть много расхождений с Карлом и Фридрихом в теоретических построениях. Я ведь, знаете ли, в общем-то не экономист и никогда специальных работ по экономическим вопросам не писал. Но тем не менее воздействие Интернационала на свою деятельность здесь, за рубежом, безусловно, ощущал и ощущаю. И, кроме того, считаю формулу товарного обращения (товар — деньги — товар) и всеобщую формулу капитала (деньги — товар — деньги) одним из величайших открытий нашего века.

— А вот я, Петр Лаврович, — сказал Жорж, — учеником Маркса себя назвать не могу.

— Да почему же? — улыбнулся Лавров. — Это очень легко. Сейчас весьма модно называть себя марксистом. Прочтет какой-нибудь чересчур подвижный юноша две-три брошюрки похожего направления, и готово дело — объявляет себя сторонником диктатуры пролетариата.

— А мне что-то мешает еще называться марксистом. Хотя прочитал я, конечно, не две-три брошюрки...

— Помилуйте, Жорж, да я вовсе не по вашему адресу!

— ...а почти всего изданного Маркса и Энгельса, а вот не могу. Какая-то старая бакунинская закваска внутри бродит

и нет-нет да и выскочит наружу, как пузырек от слишком старых дрожжей.

— Бакунизм цепок, — согласился Лавров. — Цепок и навязчив. Там ведь все очень просто — бунт, переворот, разрушение! Михаил был абсолютно уверен в том, что народ уже давно готов к революции — хоть завтра начинай! И народ и демократическая интеллигенция. А ведь дело обстоит далеко не так. Необходимо длительное подготовление социальной революции путем развития научной социалистической мысли в интеллигенции и путем пропаганды социалистических идей в народе.

— Совершенно согласен с вами, Петр Лаврович.

— Для победы революции в России — крестьянской, отсталой стране — нужен большой отряд пропагандистов, которые должны приобрести высокую научную подготовку, прежде чем вступят на арену революционной борьбы.

— Собственно говоря, именно этот пункт отчасти и вызвал мое расхождение с новым террористическим направлением в нашем движении, — сказал Жорж.

— Ваше расхождение с «Народной волей» стоит лично для меня под большим вопросом. Я в последнее время все больше и больше склоняюсь к идее прямой политической борьбы с царизмом. По самодержавию надо наносить непосредственные и сильные удары. Нашему движению необходимо придать боевой дух. Уроки Парижской Коммуны — лучший пример. Да и Маркс с Энгельсом не устают постоянно говорить об этом.

— Вы знаете, Петр Лаврович, — начал Жорж, — когда я впервые прочитал «Манифест Коммунистической партии», меня прямо-таки обожгла беспощадная правда этой суровой книги. Тогда же я подумал о том, что с такой беспощадностью пишутся, наверное, только самые главные документы эпохи.

— Эта беспощадность, о которой вы говорите, на мой взгляд, ощущается только тогда, когда читаешь «Манифест» в подлиннике, то есть по-немецки.

— Да, я согласен с вами. Для широкой читающей публики в России «Манифест» по-настоящему еще не прозвучал. Может быть, это объясняется тем, что не существует пока настоящей марксистской терминологии в русском языке. Было бы, конечно, в высшей степени полезно создать такую терминологию и познакомить молодую Россию с «Манифестом» в новом, современном переводе.

— Кстати сказать, не взялись бы вы за это полезное дельце? Читающая русская публика была бы весьма благодарна вам за это.

— Мне переводить «Манифест»? — удивился Жорж.

— А почему бы и нет? Нашей социально-революционной библиотеке такое издание весьма пригодилось бы.

— Из всех русских, живущих здесь и пишущих на социалистические темы, такая работа, как мне кажется, по плечу только вам, Петр Лаврович, автору «Исторических писем». Вы

с вашим опытом и личным знакомством с Марксом и Энгельсом...

— Э-э, батенька, нет! Я человек уже в преклонных годах, а если уж затеваться с «Манифестом», то нужен молодой ум и абсолютно свежие мозги.

— Я, может быть, и взялся бы когда-нибудь за эту работу, — задумчиво сказал Плеханов, — но только не сейчас. Во-первых, не хватает еще достаточно знаний. У меня ведь образования систематического нет. Два курса Горного института да четыре месяца Константиновского ариллерийского училища...

— Так, так... Значит, во-первых, вы ощущаете нехватку образования. Весьма похвальное критическое отношение к себе для человека с такой широкой популярностью в социалистической среде, как у вас. Считаю, что для вашего возраста это дело поправимое... Ну-с, а какая же вторая причина?

— Вторая причина самая банальная. И даже, я бы сказал, тривиальная. Как говорит мой украинский «друг» в Женеве пан Драгоманов — «нема грошей для жизни хорошей». Очень много времени уходит на поденщину, Петр Лаврович. Сейчас я, например, занят составлением биографии историка Мишле. Одновременно пытаюсь переводить роман. А когда становится совсем туго, беру в одной аптеке конверты, надписываю на них адреса ее клиентов.

— Ничего, и это дело тоже поправимое, — бодро сказал Лавров. — Что вы скажете, если я вам предложу написать серию статей экономического характера, но, разумеется, в легальном плане, в журнале «Отечественные записки»? Кстати, я там вашу статью о новом направлении в политической экономии читал. Неплохая работа, хотя, конечно, есть и возражения, но дело сейчас не в этом.

— Я готов выслушать ваши замечания, Петр Лаврович. Вы же знаете, как я дорожу вашим мнением.

— Потом, когда-нибудь потом... Так что же, беретесь за серию?

— О чем она должна быть?

— Есть такой немецкий экономический писатель Карл Родбертус-Ягецов. Надеюсь, приходилось слышать? Так вот, «Отечественные записки» давно уже просят меня написать о нем. Но вы же знаете, я с экономикой не совсем в ладах. Грешен, но что поделаешь... Теперь я хочу передать этот заказ вам. Публикация гарантирована. По всей вероятности, возможен даже аванс.

— Петр Лаврович, я бесконечно благодарен вам за это предложение, но сразу согласиться не могу. Нужно, наверное, хотя бы немного полистать этого Родбертуса, прежде чем садиться за серию о нем.

— А зачем же сразу соглашаться? Листайте себе на здоровье, а я тем временем напишу в Петербург. А когда придет ответ, вы, смотришь, уже и полюбите нашего Родбертуса.

Да, жизнь в Париже была нелегкой. Роза, оплакав в последний раз погибшую в Петербурге без материнской заботы Верочку, решилась на второго ребенка. Этого же хотелось и самому Жоржу, но неожиданно все их семейные планы оказались под угрозой. Внезапно и, как это всегда бывает, одновременно исчезли все источники доходов: потребность в переводном романе отпала, печатать биографию Мишле издатели отказались и в довершение всего перестал давать конверты для надписи адресов аптекарь, сославшись на неразборчивый почерк русских.

Некоторое время удавалось получать в кредит в ближайшей молочной лавочке сыр и яйца, но не было денег на спиртовку, и яйца приходилось глотать сырыми. Хозяин молочной лавочки навел справки о финансовых возможностях молодой четы и кредит закрыл.

В конце концов они перебрались из гостиницы в более дешевые меблированные комнаты, потом еще в более дешевые, и еще, и еще. Пришлось снимать даже такое помещение, где мебелью служили пустые ящики из-под продуктов.

— Зато теперь не нужно думать о еде, — смеялся Жорж. — Ящики очень вкусно пахнут ветчиной.

Но Розе было уже не до смеха — она ждала второго ребенка. Положение стало угрожающим для ее здоровья.

Было принято решение переехать из Парижа в пригород, в деревню Мольер. Поселились в обыкновенном крестьянском доме, и хозяева, набожные католические крестьяне, памятуя о заповеди Христовой — люби ближнего своего, открыли им временный кредит.

В этих условиях, тратя каждый день несколько часов на дорогу в город и обратно, где он продолжал заниматься в библиотеке Святой Женевьевы, Жорж и написал серию статей об экономической теории Карла Родбертуса-Ягецова. Иногда, шагая к зданию библиотеки по бульвару Сен-Жермен от Бурбонского дворца, Жорж явственно ощущал все признаки голодного головокружения. Приходилось садиться на скамейки под могучими старыми платанами и ждать, пока пройдет полуобморочное состояние.

Он похудел и осунулся в эти месяцы. Ежедневные пешие путешествия отнимали силы, но никто не слышал от него никаких жалоб — он писал по ночам статьи о Родбертусе, днем читал у Святой Женевьевы и ухитрялся даже иногда посещать вольнослушателем некоторые лекции в Сорбонне. Как ему удавалось все это делать — оставалось загадкой, тайной. Он жил в те дни исключительно на волевом напряжении и ни за что не хотел бросать статьи о Родбертусе. Позже врачи определили, что именно в этот период произошла первая скрытая вспышка туберкулеза. Плохая наследственность — и мать, и отец Плеханова умерли от болезни легких — и тяжелейшие житейские условия нанесли тогда впервые сильный удар по его здоровью, от

последствий которого он уже не мог освободиться потом всю жизнь.

При таких невеселых обстоятельствах у Плехановых родилась дочь. Ее назвали Лидией.

Наконец пришли долгожданные деньги из России — аванс за статьи в «Отечественных записках». Оставаться во Франции практически было невозможно. В Швейцарии жизнь была в два раза дешевле. Не раздумывая больше ни одной минуты, Жорж на скорую руку собрал жену и дочку и вместе с провожатым отправил их в Кларан.

В течение нескольких дней он оплатил все долги и, простившись с Петром Лавровичем Лавровым и французскими друзьями-социалистами (целый день они провели вместе с Гедом), отправился за Розой и Лидочкой в Швейцарию.

Здесь, в Кларане, он и приступил к переводу «Манифеста Коммунистической партии». Впоследствии он напишет о том, что работа над переводом «Манифеста» составила целую эпоху в его жизни, что теория Маркса, подобно ариадниной нити, вывела его из лабиринта противоречий, в которых долго, слишком долго билась его мысль под влиянием Бакунина, и что в этой теории стало совершенно понятным, почему революционная пропаганда встречала у рабочих гораздо более сочувственный прием, чем у крестьян.

В течение многих лет революционная Россия будет знакомиться с «Манифестом Коммунистической партии» по переводу, сделанному Плехановым. Несколько поколений русских революционеров выйдут на путь борьбы с самодержавием, осененные высоким смыслом марксистского мировоззрения, главные формулы которого на русском языке впервые были выведены рукой Георгия Валентиновича Плеханова.

Глава шестая

Итак, маленькая, тоненькая книжка лежала перед ним. На ее желтой обложке черными, строгими буквами было напечатано: «Манифест дер Коммунистишен Партай. Февруар 1848. Лондон. Пролетарнер аллер Лендер ферейнигт ойх!».

Плеханов перевернул обложку. Первая строчка вступления ударила образной точностью широкой и динамичной мысли: «Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма».

Вот она, та категорическая, бескомпромиссная и беспощадная интонация, которая произвела на него такое сильное впечатление при первом же чтении. Интонация генерального документа эпохи. Дающая точную картину своего времени. Определяющая тенденцию его развития.

«Все силы старой Европы объединились для священной травли этого призрака: папа и царь, Меттерних и Гизо, французские радикалы и немецкие полицейские».

Какая фраза! Залп картечью, а не фраза. Залп по всей ре-

акционной Европе двумя бортами одновременно. От опереточного папы римского до Николая Павловича Романова. Французские радикалы поставлены в затылок немецким полицейским в один жандармский ранжир. А Меттерних, главный инициатор репрессий против австрийских рабочих, свергнутый революцией 1848 года, навсегда пригвожденный этой фразой к позорному столбу истории? А Гизо, французский премьер, по распоряжению которого когда-то был выслан из Парижа Маркс, тот самый Франсуа Гизо, которого революция 1848 года вышвырнула на задворки истории?

«Манифест» вышел в феврале 1848 года, а революция началась летом. Значит, «Манифест» как бы предугадал падение и Меттерниха и Гизо? Значит, он был направлен против политического могущества обоих и способствовал их ниспровержению? Вот она, сила предвидения боевого революционного документа. Сила предвидения и сила прямого революционного действия.

И еще одно. Главное в этой фразе — слова «священная травля». Простым соединением двух понятий обозначена общая классовая позиция реакционеров всех видов.

Вот как надо писать! Вот у кого надо учиться оружию слова — прямого, беспощадного, емкого. Всего один абзац, а какое огромное, почти необъятное поле для работы мысли, какое мощное излучение исторической энергии, какая неопровержимая классовая правота, фактическая достоверность, эмоциональная насыщенность, точная направленность, перспективная устремленность!

Коммунизм признается уже всеми. Пора коммунистам открыто изложить свои взгляды. Пора сказкам о призраке коммунизма противопоставить «Манифест Коммунистической партии».

Переводить такие фразы хочется без конца. Это не только перевод. Это — школа, академия социалистических знаний. (Не об этом ли он мечтал в Петербурге в последние дни перед отъездом, когда полиция замыкала кольцо вокруг него?)

И не только социалистических знаний. Это еще и школа литературного вкуса, школа революционной стилистики. Тонкая игра на нюансах, на обратном значении понятия «призрак» дает необходимый и убедительный эффект. Не призрак, а крепчайшая реальность! Цепко заземленная реальность. В крови и плоти.

Реальность, полная реальность. Вот какой результ достигается изящной иронией в словах «пора сказкам о призраке противопоставить манифест самой партии».

Не призрак-бродяга, а МАНИФЕСТ (обоснование реальности, заявленное во всеуслышание) появляется из туманной перспективы на арену истории.

Глава первая. Буржуа и пролетарии. Как следует понимать само это слово — «буржуа»? Что подразумевается под этим

словом? Из каких коренных и в то же время самых простых и доходчивых понятий оно складывается?

Очевидно, буржуа — это класс современных капиталистов, собственников средств общественного производства, применяющих наемный труд. Очевидно, буржуа — это...

Да что там долго думать! Буржуа — это Кениг, Мальцев, Максвелл, Шау, братья Шапшал, Беккер, Мичри, акционеры Новой Бумагопрядильни.

И тогда, следовательно, пролетарии — это Степан, Моисеенко, Обнорский, Митрофанов, Лука Иванов, Вася Андреев, Тимофей, Иван Егоров.

И если «история всех до сих пор существовавших обществ была историей борьбы классов», то все происходившее в Петербурге на «Новой Канаве», и у «Шавы», и у Максвелла, и у Мальцева, и у Кенига — все это было страницами истории, «прошелестевшими» в его собственной жизни, все это было страницами истории, «написанными» ею на его глазах. Значит, он был прямым свидетелем «шагов» истории, которые гулко прозвучали на набережной Обводного канала, на мостовых Нарвской заставы и Невской заставы, около Патронного завода и между крестами Смоленского кладбища.

История гремела пушками Парижской Коммуны на берегах Сены, на бульваре Вольтера, на склонах Монмартра, где сражались батальоны генерала Коммуны Валерия Врублевского, где стреляли на баррикадах до последнего патрона Луиза Мишель и Теофиль Ферре, где упали Варлен, Делеклюз и прокурор Коммуны Рауль Риго.

Значит, историей были и Казанская демонстрация, и «Северный союз русских рабочих», и все кружки «Земли и воли», в которых он вел пропаганду среди рабочих.

А хождение в народ, поселения в деревне, выстрелы Каракозова и Соловьева, взрыв царского поезда, бомбы Рысакова и Гриневицкого, покончившие с Александром II, — это тоже было историей?

Было, безусловно, было. Но гром пушек Коммуны и треск револьверных выстрелов Каракозова и Соловьева, стрелявших в Александра II, — это были разные страницы истории. Как были, наверное, разными страницами программа «Северного союза русских рабочих» и программа «Народной воли».

Обо всем этом — писать, писать и еще раз писать! Немедленно взяться за анализ всех этих событий и документов, как только будет закончен перевод «Манифеста». Именно «Манифест» дает теперь ему, русскому социалисту Георгию Плеханову, твердое понимание причин его ухода с Воронежского съезда.

Он, Георгий Плеханов, делает второй перевод «Манифеста» на русский язык. Первый перевод был выполнен Бакуниным. Может быть, в этом тоже есть некий смысл? Бакунин долго влиял на его взгляды. Но сейчас он уже окончательно освободился от бакунинского влияния. И как прямое выражение этого

освобождения и преодоления — новый перевод «Манифеста», который делает он, Плеханов. Впрочем, не следует перегружать слишком большим смыслом собственные поступки и действия. Главное, быстрее закончить перевод и взяться за русские дела.

Бакунизм вытеснен из его мировоззрения именно «Манифестом». Но было бы это возможно без петербургских кружков, без знакомства с Халтуриным, Обнорским, Моисеенко, Лукой Ивановым, без стачек на Новой Бумагопрядильне, у Кенига, Мальцева, «Шавы», Максвелла? Без приезда в Париж именно в те дни, когда возвращались из ссылок амнистированные коммунары? Без знакомства и разговоров с Жюлем Гедом? Без долгих-долгих часов, проведенных на бульваре Менильмонтан у стен Пер-Лашеза? И на круглой площади Бастилии с ее колонной и ангелом Свободы? И на крутых монмартрских улицах, откуда всего лишь десять лет назад версальцы хотели увезти пушки национальной гвардии, а рабочие батальоны отбили их, спустились с Монмартра вниз, заняли Вандомскую площадь — и с этого и началась Парижская Коммуна. Всего лишь десять лет назад это было.

...Итак, буржуа и пролетарии. Свободный и раб, патриций и плебей, помещик и крепостной, мастер и подмастерье, короче, угнетающий и угнетаемый всегда находились в вечном антагонизме друг к другу, вели непрерывную, то скрытую, то явную борьбу, всегда кончавшуюся революционным переустройством всего общественного здания или общею гибелью борющихся классов... (А детство в Гудаловке? Отец и мужики? Господская усадьба и деревня? Жестокие его предки и безответные, безропотные плехановские крестьяне, покорно сносившие все издевательства дяди Михаила, деда Петра и прадеда Семена? И разве не первым шагом к «Манифесту» было прочитанное когда-то в юности, в военной Воронежской гимназии знаменитое письмо к Гоголю маменькиного родственника неистового Виссариона Белинского?)

В предшествующие исторические эпохи почти повсюду наблюдается расчленение общества на различные сословия — целая лестница общественных положений. В Древнем Риме — патриции, всадники, плебеи, рабы, в средние века — феодальные господа, вассалы, цеховые мастера, подмастерья, крепостные. Да где же еще, как не в России, можно наблюдать это расчленение общества? Такой крутой лестницы различных общественных положений, как в огромной романовской вотчине, не сыскать, пожалуй, во всем мире. В этом смысле «Манифест» словно для самой многострадальной матушки России и писан-то.

Вышедшее из недр погибшего феодального общества современное буржуазное общество не уничтожило классовых противоречий. Оно только поставило новые классы, новые условия угнетения и новые формы борьбы на место старых. (И после этого могут еще находиться люди, которые утверждают, что

учение Маркса неприменимо для России? Вот еще подтверждение правоты Степана Халтурина, когда он полностью перенес свои революционные интересы с крестьянства на рабочий класс. Реформа! — вот потрясающая иллюстрация правильности всех этих положений «Манифеста» для России. Реформа 1861 года словно нарочно проводилась в крепостной России для того, чтобы подтвердить верность всего духа «Коммунистического манифеста», изданного в 1848 году в Лондоне.)

Он устало откинулся на спинку кресла. Необходимо сделать перерыв. Надо встать из-за стола и немного пройтись по комнате. Несколько шагов наискосок из угла в угол. Интересно, что поделывает сейчас Вера Ивановна Засулич? Что пишет Павел Аксельрод, чем занимается Дейч? Он, Жорж, как-то устранился от всего, с головой уйдя в перевод «Манифеста».

Впрочем, товарищи по «Черному переделу», кажется, не очень осуждают его, Жоржа, за отрыв от коллективных дел. Все понимают огромную важность взятой им на себя работы. Революционной России нужен новый перевод «Коммунистического манифеста». Старый, бакунинский перевод, как и сам бакунизм, — вчерашний день новой революционной России.

Итак, к столу!

...Эпоха буржуазии упростила все классовые противоречия человеческого общества до предела. Человеческое общество все больше и больше раскалывается на два больших и предельно враждебных друг другу лагеря, на два больших и стоящих (как два вражеских войска) друг против друга класса — буржуазию и пролетариат. (Взять, например, микроскопически уменьшенную ячейку человеческого общества, в данном случае петербургского общества — район Обводного канала. Какие главные противоречия жизни можно было наблюдать здесь даже невооруженным глазом, скажем, весной семьдесят восьмого года? Желание новоканавинских ткачей изменить условия своей жизни и труда в лучшую сторону и нежелание акционеров Бумагопрядильни принять требования рабочих. Вот тебе и классический пример тезиса о предельном упрощении классовых противоречий. А через год к забастовавшей Бумагопрядильне присоединились и «шавинские» прядильщики, и мальцевские, и максвелловские.)

...Открытие Америки и морского пути вокруг Африки создало для подымающейся буржуазии новое поле деятельности. Обмен с колониями, увеличение количества средств обмена и товаров вообще дали невиданный до тех пор толчок к развитию промышленности, торговле и мореплаванию и тем самым вызвали к жизни в распадавшемся феодальном обществе революционный буржуазный элемент. Прежняя феодальная, или цеховая, организация промышленности не могла больше удовлетворять спрос, возраставший вместе с увеличением новых рынков. Место феодальной, цеховой организации промышленности заняла ману-

фактура. Цеховые мастера были вытеснены промышленным средним сословием. (Ах, как чешутся руки разобрать все эти положения на российской истории!)

Но рынки все росли, спрос все увеличивался. Удовлетворить его не могла уже и мануфактура. Тогда пар и машина произвели революцию в промышленности. Место мануфактуры заняла современная крупная промышленность, место промышленного среднего сословия заняли миллионеры-фабриканты, предводители целых промышленных армий, современные буржуа.

Крупная промышленность создала всемирный рынок, подготовленный открытием Америки. Всемирный рынок вызвал новое колоссальное развитие торговли, мореплавания и средств сухопутного сообщения. А это, в свою очередь, оказало воздействие на расширение промышленности. И в той же мере, в какой росли промышленность, торговля, железные дороги, развивалась и буржуазия. Она непрерывно увеличивала свои капиталы и оттесняла на задний план все классы, унаследованные от средневековья.

Таким образом, совершенно наглядно видно, что современная буржуазия сама является продуктом длительного процесса развития производительных сил в недрах феодального общества (а в России — дореформенной эпохи). Таким образом, нельзя не убедиться в том, что появление современной буржуазии является прямым результатом целого ряда длительных переворотов в способах производства и обмена.

Буржуазия сыграла чрезвычайно революционную роль в истории человечества. Она разрушила все феодальные, патриархальные отношения. Она безжалостно разорвала все феодальные путы, привязывавшие человека к его «естественным повелителям», и не оставила между людьми никакой другой связи, кроме голого денежного интереса, бессердечного «чистогана». (Как поднял голову когда-то у них в Гудаловке одноглазый староста Тимоха Ухаков! Ведь он еще при батюшке чувствовал себя почти независимым — власть уворованных у барина и нажитых от мужиков денег была уже сильнее личной крепостной власти над ним строгого помещика Валентина Петровича Плеханова. А после смерти старого барина Тимоха развернулся уже вовсю — открыл лавку в Гудаловке, наладил производство и торговлю кирпичами в Липецке, арендовал землю и даже хотел «облагодетельствовать» своих бывших господ постройкой для них нового дома вместо сгоревшего в обмен на аренду земли. Не эти ли шустрые шаги экзотического российского первоначального накопителя Одноглаза являются великолепным подтверждением разрушения феодальных патриархальных, идиллических отношений между помещиком и крестьянином? О любви между которыми так приторно и лживо говорилось в Манифесте Александра II? О действительных, реальных, происшедших в жизни изменениях, в отношениях между которыми так четко и достоверно повествует «Коммунистический манифест» в словах о бессердечном чистогане, о ледяной воде

эгоистического расчета? И уж, конечно, в словах о том, что буржуазия превратила личное достоинство человека в меновую стоимость и заменила все пожалованные и благоприобретенные свободы одной бессовестной свободой торговли?)

Каждую из ступеней своего развития буржуазия сопровождала соответствующими политическими успехами. Она была угнетенным сословием при господстве феодалов... (И опять одноглазый гудаловский староста Тимоха Уханов не уходит из памяти. До освобождения, до объявления реформы он был формально угнетаемым феодальным рабом помещика Валентина Петровича Плеханова. Но как рвался Тимоха к должности старосты! Какие унижения терпел он от батюшки, чтобы только удержаться в старостах! Как он боролся за свою «политическую» власть над мужиками! И эта политическая власть в деревне способствовала его первоначальному накопительству. А после реформы, когда феодальная зависимость была устранена, Тимоха развернулся уже во всю ивановскую — лавка, кирпичи, аренда земли.)

Итак, мы видим, что средства производства и обмена, на основе которых сложилась буржуазия, были созданы еще в феодальном обществе. Но на определенной ступени развития этих средств производства и обмена феодальная организация земледелия и промышленности уже перестала соответствовать развившимся производительным силам. Она уже начала тормозить производство вместо того, чтобы его развивать, и таким образом превратилась в его оковы. Их необходимо было разбить, и они были разбиты. Место их заняла свободная конкуренция с соответствующим ей общественным и политическим строем, с экономическим и политическим господством класса буржуазии.

Современное буржуазное общество, создавшее столь могущественные средства производства, уже не в состоянии справиться с вызванными ею к жизни производительными силами. Вот уже несколько десятилетий история промышленности и торговли представляет собой лишь историю возмущения современных производительных сил против современных производственных отношений, против тех отношений собственности, которые являются необходимым условием существования буржуазии и ее господства. Во время кризисов разражается общественная эпидемия, которая всем предшествующим эпохам показалась бы нелепостью, — эпидемия перепроизводства... Почему это происходит? Потому что общество располагает слишком большой промышленностью. Производительные силы, находящиеся в распоряжении буржуазного общества, не служат больше развитию буржуазных отношений собственности — они стали непомерно велики для этих отношений. Буржуазные отношения стали слишком узкими, чтобы вместить созданное ими богатство.

Оружие, которым буржуазия ниспровергла феодализм, направлено теперь против самой буржуазии.

Но буржуазия не только выковала оружие, несущее ей

смерть. Буржуазия породила и людей, которые направят против нее это оружие, — современных рабочих, пролетариев.

Может быть, прерваться? Отдохнуть? Переключить внимание? Заглянуть к Засулич, навестить Дейча?.. Нет, нет, делать этого не следует. Все чернопередельцы сидят сейчас над книгами Энгельса, Фейербаха, Гегеля, «грызут» экономическую теорию Маркса, восполняют пробелы своего российского социалистического образования. Отрывать друзей от занятий не стоит — пусть усваивают «символ» новой веры. Старые народнические воззрения пора сдавать в утиль.

Собственно говоря, «Черный передел» хотя и продолжает формально еще существовать, дни его, по всей вероятности, уже сочтены. Здесь, в Европе, на фоне практической деятельности социал-демократических партий Германии и Франции теоретические концепции «Черного передела» выглядят архаизмами. Для современного уровня развития социализма на Западе «Черный передел» (осколок мощного русского народничества середины семидесятых годов) с его явными анархистскими рудиментами (отказ от политической борьбы) является, очевидно, таким же символом отсталости (в освободительном движении), каким до реформы была сама феодальная Россия на фоне капиталистической Европы, победившей крепостническую державу Николая I в Крымской войне.

Другое дело «Народная воля» с ее высоко поднятым знаменем политической борьбы, с ее прямым нападением на царизм...

Нет, нет, не нужно торопиться. Сначала перевести «Манифест» немецких коммунистов, а уж потом приниматься за наши русские дела. Но как хочется поскорее объяснить тем же западным социал-демократам, что, хотя «Народная воля» и убила царя, хотя она и...

Стоп! Снова за «Манифест»! Эта маленькая книжка с черными готическими буквами на желтой обложке, будучи переведенной на русский язык и дойдя до революционной молодежи в России, произведет на нее не меньшее впечатление, чем бомбы Рысакова и Гриневицкого, чем весь динамит «Народной воли».

Да, это будет наша «взрывчатка» — «динамит» маленькой группы русских социалистов (Вера, Павел, Дейч — кто еще? — наверное, Игнатов, ближе всех стоящий к нам по убеждениям), разошедшихся с «Народной волей», образовавших «Черный передел», но теперь, оказавшись на Западе и убедившись в несостоятельности «Черного передела», стоящих уже на пороге марксизма, в преддверии русской социал-демократии.

Один безусловный вывод: народничество — это утопический «слепок» с крепостной России, народничество — это философский уровень освободительного движения, соответствующий дореформенной России. После освобождения крестьян, после первых буржуазных реформ, после начала строительства желез-

иых дорог, после стачек иа Обводном канале, у Кеинга, Мальцева, Шау, Максвелла — после всего этого освободительиому движеиию в Россни нужен новый, более высокий уровень — уровень социал-демократии, уровень марксизма... Ах, как не хватает ему здесь, в Швейцарии, Степана, Обнорского, Моисеенко, Луки Иваиова! Вот уж они-то сразу стали бы здесь, в Европе, настоящими марксистами, истинными социал-демократами. И не только по убеждеииям, ие только «из головы», а по своему реальному положению пролетарнев. Ах, как жалко, что Обнорский, Монсеенко, Лука Иванов, Василий Андреев находятся в тюрьме, как жалко, что исчез с горизонта рыжебородый Тимофей, что погиб в тюремной больнице Иван Егоров! Как жалко, что ушел в террор Степан — дорогой, иезабываемый человек, так сильно «качнувший» иекогда в Петербурге его собственные, плехановские, иароднические землевольческие убеждения. Не под влияннем ли Степаиа он ушел летом семьдесят девятого года с Вороиежского съезда? Он ушел тогда ие к Степаиу, не в рабочий союз, ио он сделал, иавериое, тогда уже свой первый шаг навстречу «Манифесту». И может быть, именно влиянию Степана, его яростным иападкам на него, Жоржа, во время второй стачки на Обводном канале обязан он своим теперешним поворотом к марксизму. Да, это абсолютно правильио — не Петр Лавровнч Лавров придвинул его, Плеханова, к «Маиифесту». Лавров сделал это чисто внешие, фактически. Виутреннее движение его к «Манифесту» — результат знакомства с Халтуриным, плод его собственного участня в забастовках петербургских пролетариев. Это самая главная мысль. Не Лавров, не Парнж, ие Жюль Гед, не встреча Лунзы Мишель, не похороны Бланки, а сначала — Новая Канава, Смоленское кладбище, Обводный канал, события у Кеиига, «Шавы», Максвелла, Патроиииый завод на Васильевском острове, — вот что привело его к марксизму. А еслн уж говорить по-марксистски, диалектическн, то и Новая Бумагопрядильня, и Степан, и Монсеенко, и Лавров, н Жюль Гед, н Воронежский съезд, и Лунза Мишель, и Коммуна — все это, вместе взятое, взаимодействуя, вело и двигало его к марксизму. Такова была диалектика его собственного пути к марксизму. Но самой главной вехой на этом пути все-таки было знакомство со Степаном. Может быть, это очень личиое, чисто эмоциональное и субъективиое объяснение, но тем не менее это так. Пока он, Жорж, не может найти точные доводы для этого, ио иадеется иайти. Это самый главный и безусловный сейчас вывод.

Итак, иа чем он остаиовился? На фразе — «буржуазия не только выковала оружие, несущее ей смерть; она породила и людей, которые направят против иее это оружие, — современных рабочих, пролетариев».

Что же дальше?

В той же самой степени, в какой развивается буржуазия, то есть капитал, развнвается и пролетариат, класс современных

рабочих, которые только тогда и могут существовать, когда находят себе работу, а находят они ее лишь до тех пор, пока их труд увеличивает капитал. Эти рабочие, вынужденные продавать себя поштучно, представляют собой такой же товар, как и всякий другой предмет торговли, а потому в равной степени подвержены всем случайностям конкуренции, всем колебаниям рынка.

Вследствие возрастающего применения машин и разделения труда труд пролетариев утратил всякий самостоятельный характер, а вместе с тем и всякую привлекательность для рабочего. Рабочий становится простым придатком машины, от него требуются только самые простые, однообразные, легче всего усваиваемые приемы. Издержки на рабочего сводятся поэтому почти исключительно к средствам, необходимым для его содержания и продолжения его рода.

Пролетариат проходит разные ступени развития. Его борьба против буржуазии начинается вместе с его существованием. Сначала борьбу ведут отдельные рабочие, потом рабочие одной фабрики, затем рабочие одной отрасли труда в одной местности против отдельного буржуа (Кениг, Мальцев, Шау).

На этой ступени рабочие образуют рассеянную и раздробленную массу. Сплочение рабочих масс пока является еще не следствием их собственного объединения, а лишь следствием объединения буржуазии, которая для достижения своих политических целей должна, и пока еще может, приводить в движение весь пролетариат.

Но с развитием промышленности пролетариат возрастает не только численно. Он скопляется в большие массы, сила его растет, и он все более ее ощущает. Интересы и условия жизни пролетариата все более и более уравниваются по мере того, как машины все более стирают различия между отдельными видами труда и почти всюду низводят заработную плату до одинаково низкого уровня. Кризисы ведут к тому, что заработная плата рабочих становится все неустойчивее. Непрерывное совершенствование машин делает жизненное положение пролетариев все менее обеспеченным. Столкновения между отдельными рабочими и отдельными буржуа все более принимают характер столкновений между двумя классами. Рабочие начинают с того, что образовывают коалиции против буржуа — они выступают сообща для защиты своей заработной платы. Они основывают даже постоянные ассоциации для того, чтобы обеспечить себя средствами на случай столкновений. Местами борьба переходит в открытые восстания. (Вторая стачка на Обводном, а?)

Рабочие время от времени побеждают, но эти победы лишь преходящи. Действительным результатом их борьбы является не непосредственный успех, а все более широкое объединение рабочих. Ему способствуют растущие средства сообщения, создаваемые крупной промышленностью и устанавливающие связь между рабочими различных местностей. Лишь эта связь и требуется для того, чтобы централизовать многие местные очаги

борьбы, носящей повсюду одинаковый характер, и слить их воедино, в классовую борьбу. А всякая классовая борьба есть борьба политическая. (Вот это фраза! Та самая неопровержимая формулировка. Математическая формула, а не фраза. Как фарадеевские уравнения электричества. Как ньютоновская формула всемирного тяготения. Эту фразу, пожалуй, следует вывешивать везде, где будут собираться русские социалисты.)

Эта организация пролетариев в класс и тем самым — в политическую партию возникает снова и снова, становясь каждый раз сильнее, крепче, могущественнее. Она заставляет признать отдельные интересы рабочих в законодательном порядке. Например, закон о десятичасовом рабочем дне в Англии. (Будет ли когда-нибудь на святой и нищей Руси такое времечко?)

Столкновения внутри старого общества способствуют процессу развития пролетариата. В битвах за свои интересы буржуазия вынуждена обращаться к пролетариату, призывать его на помощь и вовлекать его таким образом в политическое движение. Она, следовательно, сама передает пролетариату своею собственною рукой политическое образование, то есть оружие против самой себя.

Когда классовая борьба приближается к развязке, процесс разложения внутри всего старого общества принимает такой бурный и резкий характер, что небольшая часть господствующего класса отрекается от него и примыкает к революционному классу, к тому классу, которому принадлежит будущее. Вот почему, как прежде часть дворянства переходила к буржуазии, так теперь часть буржуазии переходит к пролетариату. Именно та часть буржуа-идеологов, которые возвысились до теоретического понимания всего хода исторического процесса.

Из всех классов, которые противостоят буржуазии, только пролетариат представляет собой действительно революционный класс. Все прочие классы приходят в упадок и уничтожаются с развитием крупной промышленности, пролетариат же есть ее собственный продукт. (Может быть, в этих словах кроется объяснение роли Халтурина в его собственном, плехановском, движении к марксизму? Степан всегда, везде и во всем был до конца революционен, то есть действительно, реально, естественно, органически революционен, не признавая никаких полумер и компромиссов в борьбе с хозяевами.)

Жизненные условия старого общества уже уничтожены в жизненных условиях пролетариата. У пролетария нет собственности — его отношение к жене и детям не имеет ничего общего с буржуазными семейными отношениями. Закон, мораль, религия — все это для него не более как буржуазные предрассудки, за которыми скрываются буржуазные интересы.

Все прежние классы, завоевав себе господство, стремились упрочить уже приобретенное ими положение в жизни, подчиняя все общество условиям, обеспечивающим господствующим классам их способ присвоения. Пролетарии же могут завоевать об-

щественные производительные силы, лишь уничтожив свой собственный нынешний способ присвоения, а тем самым и весь существовавший до сих пор способ присвоения в целом. У пролетариев нет ничего своего, что надо было бы им охранять, они должны разрушить все, что до сих пор охраняло и обеспечивало частную собственность. (Что нужно было охранять Степану? Кровать, книги, сапоги, пальто с оторванной пуговицей? А Луке Иванову? Гармонь, чтобы завоевывать сердца молодух?)

Все до сих пор происходившие движения были движениями меньшинства или совершались в интересах меньшинства. Пролетарское же движение есть самостоятельное движение огромного большинства в интересах огромного большинства.

Фазы развития пролетариата — это более или менее прикрытая гражданская война внутри существующего общества вплоть до того пункта, когда она превращается в открытую революцию, и пролетариат основывает свое господство посредством насильственного ниспровержения буржуазии.

Все существовавшие общества основывались на антагонизме между классами угнетающими и угнетенными. Но чтобы возможно было угнетать какой-либо класс, необходимо обеспечить условия, при которых он мог бы влачить свое рабское существование. Современный рабочий с прогрессом промышленности не поднимается, а все более опускается ниже условий существования собственного класса. И это говорит о том, что буржуазия не способна долее оставаться господствующим классом общества и навязывать всему обществу условия существования своего класса в качестве регулирующего закона. Она не способна господствовать, потому что не способна обеспечить своему рабу даже рабского уровня существования, потому что вынуждена дать ему опуститься до такого положения, когда она сама должна его кормить, вместо того чтобы кормиться за его счет. Общество не может более жить под властью буржуазии, то есть жизнь буржуазии несовместима более с обществом.

Основным условием существования и господства класса буржуазии является накопление богатства в руках частных лиц, образование и увеличение капитала. Условием существования капитала является наемный труд. Наемный труд держится исключительно на конкуренции рабочих между собой. (Поэтому не побоялся петербургский буржуа Кениг уволить сразу всех своих бастующих ткачей — за воротами стояла голодная толпа «конкурентов», готовая идти на фабрику на любых условиях.) Прогресс промышленности, невольным носителем которого является буржуазия, бессильная ему сопротивляться, ставит на место разъединения рабочих конкуренцией революционное объединение их посредством ассоциаций. Таким образом, из-под ног буржуазии вырывается сама основа, на которой она производит и присваивает продукты. Буржуазия производит прежде всего своих собственных могильщиков. Гибель буржуазии и победа пролетариата одинаково неизбежны.

— Доброе утро, Вера Ивановна.

— Доброе утро, Жорж. Как ваш перевод?

— Готов черновик первой главы.

— Когда думаете закончить?

— Трудно сказать. Работа увлекательнейшая. Собственные мысли так и носятся поперек каждой страницы.

— Дадите почитать, когда закончите?

— Обязательно. Кстати, мне хотелось бы посоветоваться с вами, Вера Ивановна, об одном дельце, связанном с изданием перевода. Мелькнула совершенно сумасшедшая мыслишка...

— У вас — сумасшедшая? Вы же стали здесь таким рационалистом...

— Госпожа Засулич, вам ли упрекать кого-либо в рационализме? Быть рационалистом, поддерживая дружбу с вами, все равно что стараться сделаться святее самого папы римского.

— Господин Плеханов, вы, кажется, забываете, что я женщина. Хотя и социалистка, но все-таки женщина.

— Ну, простите, Верочка. Приношу свои извинения.

— Извинения принимаются. Так какая у вас мелькнула мыслишка? Не стесняйтесь, выкладывайте.

— Попросить Маркса и Энгельса написать предисловие к «Манифесту».

— У Маркса недавно умерла жена...

— Да, я знаю. Это безутешное горе...

— Там была огромная любовь. Женни была идеальной женой революционера.

— Может быть, и не следует сейчас говорить о предисловии. Не то время — неподходящая минута. Может быть, сейчас нужно просто разделить скорбь Маркса, но все-таки главную причину я вижу не в его теперешнем состоянии.

— А в чем же?

— Маркс, как мне кажется, вообще отрицательно относится к «Черному переделу».

— Откуда у вас такие сведения?

— Интуиция. Насколько я теперь знаю и понимаю Маркса, он наверняка осудил наше чернопередельское доктринерство в духе покойного Бакунина.

— Да, Маркс не любил Бакунина. Наш знаменитый землячок попортил Марксу много крови.

— И ведь что обидно? Сейчас здесь, в Европе, мы все уже бесконечно далеки от бунтарства, и от анархизма, и даже от своего «Черного передела». Мы все уже вплотную приблизились к социал-демократии. А тень Бакунина все еще витает над нами!

— Естественное и, я бы даже сказала, диалектическое противоречие.

— Я абсолютно уверен в том, что Маркс откажет. Его симпатии определенно на стороне «Народной воли». Он не любит «Черного передела», а заодно и всех нас, чернопередельцев.

— Это заблуждение, Жорж. Вы же знаете, Маркс дал согла-

сие участвовать в «Нигилисте», главным редактором которого (или уже скорее редакторшей) прочили меня, а вас намечали в члены редакции. К сожалению, из этого замысла ничего не вышло.

— И все-таки согласитесь, Вера, что статья Иоганна Моста в «Черном переделе» с нападками на тактику немецкой социал-демократии не могла не вызвать раздражения Маркса. А в сочетании с нашими нудными, старомодными реверансами в сторону бакунизма — сильнейшего раздражения.

— Но почему предполагаемое раздражение Маркса вы относите лично к себе?

— Я же был одним из редакторов «Черного передела».

— И что же вы собираетесь теперь делать?

— Ума не приложу.

— Может быть, вообще отказаться от идеи предисловия?

— Не могу... Вы только представьте себе, Вера, сколько пользы могло бы принести такое предисловие. Как набросилась бы на «Манифест» передовая мыслящая молодежь в России, когда узнала бы, что Маркс и Энгельс специально написали несколько слов именно для этого русского издания.

— Да, польза была бы огромная.

— Может быть, попросить Лаврова быть посредником? Он ведь в переписке с Лондоном, насколько я знаю.

— Жорж — золотая голова! — считайте, что дело уже сделано. Участие Лаврова — полная гарантия успеха.

— Верочка, не хвалите меня раньше времени. Я могу зазнаться и снова начать ухаживать за вами.

— Господи, до чего пылкий молодой человек!

— Какой уж там молодой! Скоро тридцать.

— Тридцать? Вам же совсем недавно исполнилось только двадцать пять.

— Все равно старый хрыч.

— Но я разрешаю вам начать ухаживать за мной.

— Верочка, всегда готов начать.

— Вы сказали это очень невеселым голосом. Впрочем, это и неудивительно. Я на целых семь лет старше вас. Вот уж действительно старуха.

— Вера, вы никогда не будете старухой. Ореол первой русской женщины-террористки, ореол основоположницы русского терроризма всегда будет озарять вас нимбом вечной молодости.

— Слишком красиво.

— Как умею. Но считаю, что даже в этих словах я не сумел передать и сотой части моего восхищения.

— Скажите, Жорж... Только серьезно. Вы часто вспоминаете первомартовцев?

— Каждый день.

— Иногда все они как живые встают передо мною. Особенно Соня и Геся... Пристально смотрят на меня, и в их взглядах я вижу некий упрек. И этот упрек персонально мне. Я слышу в нем безмолвный вопрос: как же могла ты, Вера Засулич,

стрелявшая в Трепова, оставить нас накануне убийства царя? Ведь ты же испытала восторг мести палачу, ведь ты же ощущала счастье не принадлежать себе, прошла через суд...

— Кстати сказать, о суде над вами я написал прокламацию.

— Вот как? Какую же? Их было несколько.

— Она называлась «Два заседания комитета министров».

— Так это вы были автором? А я и не знала.

— Это лишний раз говорит о моей неподдельной скромности.

— Ах, Жорж, вы неисправимый насмешник!

— Эта прокламация начиналась действительно с очень смешного эпизода. Когда праздновался двадцатипятилетний юбилей царствования Николая I, один из самых именитых сановников того времени граф Клейнмихель...

— Господи, какая смешная фамилия! Клейнмихель — Мишкин.

— Так вот этот самый граф Мишкин, — кстати, один из самых ловких министров Николая, пересидевший в министерском кресле почти всех своих коллег, — произнес на юбилейном торжестве речь, в которой очень убедительно доказал, что русский народ был бы счастлив, если бы Россию в честь юбилея обожаемого монарха переименовали бы в Николаевку... «В Николаевку? — переспросил царь и задумался. — Нет, нужно обождать», — сказал он... С этого эпизода я и начал свою листовку.

— Жорж, да ведь это шедевр. Вы нигде, кроме прокламации, не использовали эту историю в своих работах?

— Нет, нигде. Дарю ее вам.

— Спасибо... А что же там было еще, в этой листовке?

— Она была довольно пространна. Кстати, вы знали тогда о том, что ровно через четыре часа после того, как присяжные оправдали вас, собрался комитет министров Российской империи?

— Наверное, знала, но сейчас уже не помню.

— Министр юстиции Пален, величайший из русских негодяев, предложил на этом заседании уничтожить суд присяжных. А министр внутренних дел Тимашев внес на рассмотрение комитета министров проект закона о том, что начиная с этого дня каждое должностное лицо в Российском государстве при отправлении служебных обязанностей по своей неприкосновенности приравнивается к часовому. И, следовательно, всякое нападение на должностное лицо подлежит ведению уже не суда присяжных, а военного трибунала. Кто-то из министров, не выдержав, назвал Тимашева в сердцах подлецом. На этом первое заседание комитета по поводу вашего, Вера Ивановна, оправдания и закончилось. А на втором заседании, кажется, присутствовал уже сам царь-освободитель и со свойственным ему монаршим лаконизмом продиктовал свое решение: «Повелеваю: печать — обуздать. Учащуюся молодежь — обуздать. Пускай Третье отделение само решает — кого судить с присяжными, а кого и без них».

— Какая прелесть!

— На том и разошлись господа министры и во второй раз. Не солоно хлебавши.

— Вы развеселили меня, Жорж. Хотя в те времена мне было, конечно, не до веселья... Помню, сидела на процессе и ждала для себя непременно виселицу.

— Ваше имя, Верочка, тогда было на устах у всей молодежи.

— Да, шуму было много.

— Все газеты писали о вас. Считалось, что выстрел Веры Засулич разбудил русскую общественную совесть, и это пробуждение впервые конкретно выразилось в оправдательном вердикте присяжных по вашему делу.

— Жорж, смотрите, что получается... Мы давно уже связаны с вами одной, если так можно сказать, сюжетной нитью. Я стреляла в Трепова из-за Боголюбова, который был осужден за участие в Казанской демонстрации.

— Боголюбов не был участником демонстрации. Его арестовали случайно.

— Но он был вооружен.

— На допросе он показал, что шел в тир.

— Однако Боголюбов выстрелил в полицейского. Правда, уже в участке. После ареста.

— Нервная экзальтация. Этот выстрел абсолютно был никому не нужен.

— В те времена, Жорж, всякий выстрел в представителя власти имел общественное значение. Но вам не кажется, что наш разговор приобретает какой-то странный оттенок? Я чувствую, что Боголюбов вам чем-то неприятен.

Действительно, мы ведем весьма абстрактный спор о давно минувших событиях... А Боголюбов был просто вздорный человек. Впрочем, как вы понимаете, Вера, к вашему выстрелу из-за Боголюбова в Трепова это никакого отношения не имеет.

— Хорошо, не будем больше спорить о прошлом. Перейдем к нашим сегодняшним делам... Что вы думаете о дальнейшей судьбе «Черного передела»? Организация дышит на ладан. Практически никакого централизованного общества уже не существует. Типография в Минске разгромлена, связи с оставшимися в России людьми нет. Нужна какая-то новая идея.

— У меня те же самые мысли, что и у вас. Работая над переводом «Манифеста», я особенно остро ощутил необходимость перемен. Мы до сих пор называем себя чернопередельцами, но это чисто формальная принадлежность. Многие из нас по своим взглядам давно уже никакого отношения к «Черному переделу» не имеют.

— Вы предлагаете изменить название организации?

— Конечно. Хотя бы из уважения к Марксу. Причем это будет не формальное уважение, а по существу. Если Маркс так не любит Бакунина, то, следовательно, и нам, теперь уже убежденным его последователям, надо решительно освобождаться

от всего того, что так или иначе связано с бакунизмом даже чисто внешие. Зачем же раздражать человека, которому мы обязаны переменой своего мировоззрения, уже самим названием нашей группы?

— Необходимо, наверное, собрать вместе всех думающих в новом направлении.

— Двое из них уже собрались.

— Вы и я?

— Безусловно, Вера Ивановна.

— Кто же еще?

— Павел?

— Несомненно.

— Дейч?

— Конечно.

— Игнатов?

— Само собой разумеется.

— А еще?

— Надо думать, думать и думать.

— Вы знаете, Вера, я очень сожалею, что не пришлось побывать на лекции Лаврова о капитализме в России. Собственно говоря, для меня это дело решенное. Благословенное наше отечество уже вступило на естественный путь своего развития. Все остальные дороги для него теперь закрыты.

— Для меня это сейчас тоже вполне очевидно.

— Именно поэтому русскому промышленному пролетариату суждено стать главной силой революционной борьбы в России.

— А политические свободы?

— Завоевание их существенно необходимо.

— Жорж, а ведь совсем еще недавно мы думали совершенно наоборот.

— Время изменило наши убеждения. Время и новая обстановка. Здесь, в эмиграции, мы как бы освежили воздух в легких, вздохнули свободнее, и смысл пережитых событий открылся перед нами в новом свете, более ясном и глубоком.

— Удивительное дело. Уехав из России, мы засели за книги, чтобы доказать народовольцам пагубность их тактики. Мы хотели укрепиться в наших старых народнических взглядах, а на самом деле разуверились в них и пришли к марксизму.

— Диалектика, Вера Ивановна, диалектика.

— А само слово «политика»? Когда-то мы отмахивались от нее как от чумы, а теперь даже ищем союза с народовольцами на почве общего признания необходимости борьбы за политические свободы.

— Раньше, Вера Ивановна, для нас «политика» была синонимом «буржуазности». А ведь в своем народническом «детстве» мы отрицали капитализм для России. Прудон и Бакунин вели нас за руку как слепых. А ведь еще каких-то три года назад, Вера, я весьма пылко верил в то, что пропаганду среди городских рабочих надо вести только для того, чтобы из их среды выходили пропагандисты для деревни.

— Наша тогдашняя постановка городского вопроса была насквозь ложна. В городских рабочих мы видели не единое целое, не новый общественный класс, единственно способный возглавить общенародную революционную борьбу, а лишь наиболее активную и легко возбудимую прослойку угнетенного народа, только материал для вербовки отдельных личностей. Однако, Жорж, наша прогулка заканчивается. Пора возвращаться восвояси.

— Да, прошлись сегодня весьма недурно. И поговорили о многом.

— Как чувствует себя Роза?

— Относительно хорошо.

— Передавайте от меня привет.

— Спасибо, Верочка, обязательно передам.

— И не забудьте сегодня же написать Лаврову в Париж о предисловии. «Манифест» обязательно должен выйти с напутственным словом Маркса и Энгельса к русской революционной молодежи.

— Верочка, вы мой добрый ангел.

Глава седьмая

Петр Лаврович Лавров выполнил просьбу Жоржа Плеханова. Он написал из Парижа Марксу в Лондон: «Вам, очевидно, известно, что мы издаем «Русскую социально-революционную библиотеку». Следующий выпуск должен содержать перевод «Манифеста» немецких коммунистов 1848 года с примечаниями некоего молодого человека (Плеханова), одного из самых ревностных Ваших учеников... Перехожу теперь к просьбе, с которой мы, редакторы «Русской социально-революционной библиотеки», обращаемся к авторам «Манифеста», то есть к Вам и Энгельсу. Не будете ли Вы так добры написать несколько строк нового предисловия специально для нашего издания».

Ответ не заставил себя долго ждать. Маркс и Энгельс прислали предисловие.

— Вера Ивановна! Верочка! — размахивал Жорж полученным из Парижа от Лаврова письмом, радостно врываясь к Вере Засулич. — Получено! Получено! Получено! Вы только послушайте, какие прекрасные слова они написали: «Во время революции 1848—1849 годов не только европейские монархи, но и европейские буржуа видели в русском вмешательстве единственное спасение против пролетариата, который только что начал пробуждаться. Царя провозгласили главой европейской реакции. Теперь он — содержащийся в Гатчине военнопленный революции, и Россия представляет собой передовой отряд революционного движения в Европе...» Вера, вы понимаете, что означают эти слова Маркса и Энгельса для нашего движения — «Россия представляет собой передовой отряд революционного движения в Европе»?!

Засулич давно уже не видела Плеханова в таком возбужденном состоянии.

— Успокойтесь, Жорж, успокойтесь, — улыбалась Вера Ивановна, глядя на его сияющее лицо, — возьмите стул и садитесь.

— Нет, нет, Верочка, я решительно не могу быть спокойным в такую минуту! — продолжал быстро ходить по комнате Жорж. — Письмо от Маркса и Энгельса со словами о том, что Россия представляет собой передовой отряд революционного движения в Европе! Нет, нет, смысл этих слов трудно даже переоценить. В них — целая программа жизни для нескольких поколений русских революционеров. Какая огромная работа предстоит всем нам, Вера! Какой прекрасной рисуется мне наша будущая жизнь — работа, работа, работа! И тогда, значит, все было правильно, все было оправданно — лишения, испытания, сомнения по поводу старых приемов борьбы, разрыв с теми, кто не чувствовал необходимости поиска новых революционных методов... Вы знаете, Верочка, я необыкновенно счастлив сейчас, в эту высшую и лучшую минуту своей жизни!

Вера Ивановна, по-прежнему улыбаясь, слегка прищурясь уголками искрящихся глаз, смотрела на порывисто расхаживающего перед ней Плеханова.

— Скажите, Жорж, — спросила она наконец, — а что еще написали Маркс и Энгельс в предисловии к «Манифесту»? Ведь то, что вы прочитали, наверное, еще не все предисловие, а только часть его.

— Конечно! Вот послушайте, что пишут Маркс и Энгельс дальше. «Задачей «Коммунистического манифеста» было провозгласить неизбежно предстоящую гибель современной буржуазной собственности. Но рядом с быстро развивающейся капиталистической горячкой и только теперь образующейся буржуазной земельной собственностью мы находим в России бо́льшую половину земли в общинном владении крестьян. Спрашивается теперь: может ли русская община — эта, правда, сильно уже разрушенная форма первобытного общего владения землей — непосредственно перейти в высшую, коммунистическую форму общего владения? Или, напротив, она должна пережить сначала тот же процесс разложения, который присущ историческому развитию Запада?»

— Так, так, — напряженно подалась вперед Засулич. — И каков же ответ на этот вопрос?

— Слушайте, Вера, внимательно, — сказал Жорж. — То, что вы сейчас услышите, возможно, является грандиозным историческим предвидением — вершиной марксистского анализа современной революционной ситуации и одновременно исчерпывающей программой всей нашей рабо́ты в будущем. И это делает предисловие великим историческим документом научного социализма вообще и русской революции в частности.

— Читайте же, Жорж, не томите!

— Итак, слушайте: «Единственно возможный в настоящее

время ответ на этот вопрос заключается в следующем. Если русская революция послужит сигналом пролетарской революции на Западе, так что обе они дополнят друг друга, то современная русская общинная собственность на землю может явиться исходным пунктом коммунистического развития».

— Прочтите последнюю фразу еще раз! — почти крикнула Вера Засулич. — Но только медленнее!

— «Если русская революция послужит сигналом пролетарской революции на Западе, так что обе они дополнят друг друга, то современная русская общинная собственность на землю может явиться исходным пунктом коммунистического развития».

— Жорж, запомните тот день и минуту, когда к вам пришла мысль обратиться к Марксу и Энгельсу за предисловием.

— Запомню, Верочка, запомню.

— Запомните и благословите. Кстати, а что происходит сейчас с вашими собственными мыслями?

— Что вы имеете в виду, Вера?

— Помните, вы сказали мне фразу, когда закончили перевод первой главы «Манифеста»: собственные мысли так и носятся поперек каждой переведенной страницы.

— Вы так хорошо запомнили эту фразу?

— Конечно. Я запомнила ее потому, что сейчас, как мне кажется, для вас настало очень благоприятное время для того, чтобы собрать все эти собственные мысли воедино.

Собственные мысли... Их действительно нужно было собрать воедино. И прежде всего для того, чтобы до конца выяснить отношения с народничеством. Потребность поставить все точки над «и» остро начала ощущаться сразу же после окончания работы над переводом «Манифеста».

Собственно говоря, в первую очередь необходимо было показать возможность применения главных положений марксизма к российской действительности, чтобы расчистить в умах русских революционеров путь к социал-демократическому направлению сквозь «заросли» народнических заблуждений, а тем самым и ответить с марксистских позиций на все злободневные вопросы, поставленные развитием революционного движения в России.

Итак, что самое главное? Над чем больше всего билась русская революционная мысль в последние годы? Отношение социализма к политической борьбе — вот главная нить всех рассуждений. Опираясь на опыт борьбы Маркса и Энгельса с анархистами, вскрыть причины политического «воздержания» народников, показать их идейную связь с мелкобуржуазными взглядами Прудона. Обосновать несостоятельность анархистского противопоставления социализма политике. Политическая борьба есть орудие экономических преобразований в обществе. Государство после победы революции трудящихся масс будет играть большую созидательную роль. И поэтому, как говорят Маркс и Энгельс в

«Манифесте», всякая классовая борьба есть борьба прежде всего политическая.

Революционная по своему внутреннему содержанию идея есть своего рода динамит, которого не заменят никакие взрывчатые вещества в мире. Пока русское революционное движение будет находиться во власти догм старой народнической теории, у него не будет никаких перспектив, потому что, как сказал еще Гейне, «новому времени новый костюм потребен для нового дела». А ведь оно настает наконец, это действительно новое время и для нашего отечества. И знакомство с литературой марксизма должно показать русским социалистам, какого могучего оружия лишают они себя, отказываясь понять и усвоить теорию Маркса.

Исходя из экономического учения Маркса, противопоставлять Россию Западу ошибочно. Развитие капитализма в России не остановить. И поэтому будущее революционной России связано только с рабочим классом. На рабочий класс должна опираться революционная интеллигенция. С ее помощью рабочий класс может понять свои политические и экономические интересы и подготовиться к авангардной роли в общественной жизни. Политическая самостоятельность пролетариата есть важнейший фактор борьбы за социализм.

Какова, с точки зрения Маркса и Энгельса, должна быть тактика классовой борьбы пролетариата? Социал-демократы, стремясь осуществить ближайшие цели пролетариата, связывают эту борьбу с достижением конечной цели — победой коммунизма. В противоположность народовольческому, бланкистскому положению о захвате власти кучкой заговорщиков марксизм выдвигает теорию о завоевании политической власти пролетариатом как о высшей форме классовой борьбы. Бланкистскому лозунгу «диктатуры меньшинства» марксизм противопоставляет учение о диктатуре пролетариата. Диктатура класса, как небо от земли, далека от диктатуры группы революционеров-разночинцев. Это в особенности можно сказать о диктатуре рабочего класса, задачей которого является в настоящее время не только разрушение политического господства непроизводительных классов общества, но и устранение существующей ныне анархии производства, сознательная организация всех функций социально-экономической жизни. Поэтому первостепенными задачами рабочего движения с точки зрения марксистских позиций должны стать политическое воспитание и организация пролетариата, подготовка марксистской партии в России.

Какой характер будет носить предстоящая революция в России? Народники считали и по-прежнему считают, что Россия находится накануне крестьянской социалистической революции. Это положение в корне неверно. Марксистский анализ общественных отношений в стране позволяет сделать вывод о неизбежности буржуазно-демократического переворота в России. Народники, будучи утопистами, не допускают мысли о том, что в России стоит на очереди не социалистическая революция, а революция буржуазно-демократическая. Именно поэтому революционная пар-

тия, не увлекаясь фантастическими планами немедленного захвата власти, должна важнейшей своей задачей поставить борьбу за политическую свободу и демократическую конституцию, чтобы в ходе этой борьбы пролетариат подготовил бы себя к осуществлению своего политического господства — диктатуре рабочего класса в будущей социалистической революции. Непременным условием для этого является выработка уже сейчас элементов для образования в будущем самостоятельной рабочей партии.

Каковы будут движущие силы русской революции? Самая передовая революционная сила, безусловно, пролетариат. А крестьянство? Пересмотр аграрных отношений в России необходим. Следовательно, упрек народников в том, что марксисты будто бы игнорируют крестьянство и не признают возможностей поддержки крестьянством социалистического движения, лишен всякого основания. А надежды народовольцев на содействие либералов в будущих социалистических преобразованиях действительно, кроме улыбки, ничего другого вызвать не могут.

Русское революционное движение должно неизбежно прийти к слиянию социализма и политической борьбы, к соединению стихийного движения рабочих масс с революционным движением, к полному и безоговорочному срастанию классовой борьбы с борьбой политической.

И еще одно соображение... Вся история человеческого общества свидетельствует о том, что всегда и везде столкновение противоречивых интересов разных общественных классов неизбежно приводило их к борьбе за политическое господство. Политическая борьба с оружием ли в руках или путем мирных соглашений с феодалами, поскольку этому способствовало усиление экономических позиций буржуазии, неизменно служила ей средством достижения политической власти, являющейся главным рычагом общественного переворота и окончательного утверждения господства подымающегося класса.

Равным образом и пролетариат, как самый передовой класс современного общества, не сможет осуществить социалистическую революцию, отстраиясь от политической борьбы, от захвата власти. Буржуазное государство — это крепость, служащая оплотом и защитой для господствующего класса. Обойти эту крепость или надеяться на ее нейтралитет невозможно. Ею можно и должно овладеть. Только диктатура пролетариата, только диктатура рабочего класса является подлинной гарантией торжества дела пролетариата и его окончательной победы над буржуазией. Социалистическая революция есть только последний акт в длинной драме революционной классовой борьбы, которая становится созидательной лишь постольку, поскольку она делается борьбой политической.

...Вот такая группа собственных мыслей, «носившихся и поперек и вдоль» уже переведенных и еще переводимых страниц «Манифеста», набирается для первого раза. Спасибо, дорогая Вера Ивановна, за вовремя поданный совет собрать эти мысли воедино. Но учтите, что это пока еще только прикидка на скорую

руку. Это пока еще только конспект рассуждеиий. Главный «сбор» собственных мыслей еще впереди. И вам, уважаемая Вера Ивановна, по-видимому, тоже придется принять участие в собираиии этих мыслей.

— Господии Аксельрод, что такое, по-вашему, научный социализм?

— Жорж, во-первых, здравствуйте, а во-вторых, что случилось? Почему вы прямо с порога кидаетесь на меня с вопросом, ответ на который человечество искало не одно десятилетие, если не сказать не одио столетие?

— Необходимо обменяться мнениями, Павел. Нужно срочно возбудить воображеиие, дать работу мозгу. И не спорить, не драть горло с противниками, а проверить кое-какие умозаключения вместе с единомышленником. В некотором роде коллективная, групповая работа над историческим материалом — вот что мне сейчас нужно.

— Хорошо, изволь.

— Мне надо в некотором роде «размять» и «прощупать» мыслью некоторые общеизвестиые факты и положения. И найти для них как бы некое «образиое», новое звучание, поиимаешь?

— Понимаю. Кстати, помнишь, что сказал когда-то Гайм о философии Гегеля?

— Нет, сейчас ие помню.

— По образному выражению Гайма, философия Гегеля привязывала к своей триумфальиой колеснице каждое побеждениое им миеиие. То же самое, на мой взгляд, можно сказать и о научиом социализме по отиошеиию ко всем существовавшим до него социалистическим учеииям.

— Блестяще! Это как раз имеиио то, что мне теперь иужио... Павел, да я просто расцелую тебя сейчас за эту триумфальиую колесницу! Даришь ее мие?

— Пожалуйста.

— Теперь аниматедьио послушай меия. Сегодня утром я записал такую фразу: «Как Дарвин обогатил биологию поразительно простой и аместе с тем строго научной теорией происхождения видов, так и основатели научного социализма, Карл Маркс и Фридрих Энгельс, показали нам в развитии производительных сил и в борьбе этих сил против отсталых общественных условий производства великий принцип изменения видов общественной оргаиизации».

— Очень хорошая фраза.

— Нет в ней нарочитости?

— Совершенно никакой.

— Тогда слушай дальше. «Учение Маркса и Энгельса — это голова современного революционного движения, а пролетариат — его сердце. Но само собой разумеется, что развитие научного социализма еще не закончеио н так же мало может остановиться на трудах Энгельса и Маркса, как теория происхождения видов

могла считаться окончательно выработанной с выходом в свет главных сочинений английского биолога. За установлением основных положений нового учения Маркса и Энгельса должна последовать детальная разработка многих относящихся к нему вопросов, разработка, дополняющая и завершающая переворот, совершенный в науке авторами «Коммунистического манифеста».

— Жорж, а теперь я должен сказать, что все твои формулировки совпадают с моими мыслями по этому поводу.

— Спасибо, Павел, огромное тебе спасибо за эти слова. Ты очень помог мне сегодня.

— Разрешите?

— Заходите, Василий Николаевич, очень рад вас видеть.

— И я очень рад вас видеть, Георгий Валентинович.

— Давненько мы с вами не виделись, давненько.

— Болезнь совсем меня замучила, Георгий Валентинович. Легкие — ни к черту. Десять ступенек подъема, и уже задыхаюсь.

— Необходимо лечиться, Василий Николаевич, серьезно лечиться.

— Стараюсь, Георгий Валентинович, но ведь времени совершенно нету.

— Время нужно найти, потом будет поздно.

— Все правильно, но только не приучены мы, русские, за собой следить. Да и когда — аресты, тюрьмы...

— И это верно.

— Георгий Валентинович, я зашел поговорить относительно типографских дел. Вы, конечно, знаете, что деньги, которые мой брат, сестра и я получили после смерти нашего отца, в значительной степени уже истрачены для нужд движения. Но некоторые суммы еще остались. На мой взгляд, их нужно использовать наиболее рационально. Один из местных эмигрантов, некто Трусов, продает печатный станок и шрифт. Я уже почти договорился с ним о покупке. Цена недорогая. Думаю, нужно брать.

— Василий Николаевич, я в таких делах не специалист. К сожалению, абсолютно лишен практической жилки. Теория заела.

— Тогда я оформлю эту сделку на свой страх и риск. Станок, безусловно, пригодится. Да и шрифт не помешает. Тем более, насколько я понимаю, разрыв с народовольцами не за горами. Лев Григорьевич Дейч рассказывал мне, что с «Вестником «Народной воли» у вас дело не ладится.

— Да, все идет к этому. Собственно говоря, стать одним из редакторов «Вестника» я согласился в какой-то степени из-за личных симпатий к Лаврову и Кравчинскому, когда узнал, что они тоже будут редакторами. Кроме того, была сильная надежда при помощи нового журнала склонить остатки «Народной воли» к марксизму или хотя бы приобрести в их среде как можно больше наших сторонников. Но Кравчинский, как вы, очевидно,

знаете, уехал, а на его месте оказался Тихомиров — пренеприятнейшая личность, должен вам сказать... Интересно, какого вы о нем мнения, Василий Николаевич?

— Меня всегда удивляла, Георгий Валентинович, та популярность, которой Тихомиров пользуется в революционной среде.

— Когда мы обсуждали мою рецензию на книгу Аристова о профессоре Щапове, которую я специально написал для «Вестника» и которая заканчивалась утверждением, что революционной России предстоит пережить социал-демократический период, Тихомиров все время зевал. Причем зевота его не только превышала все рамки приличия, принятые в интеллигентном обществе, но и была, так сказать, прямым фигуральным выражением его отношения к предмету обсуждения и главным образом к моему заключительному утверждению. А когда я сказал, что готов сделать из «Капитала» прокрустово ложе для всех сотрудников редакции «Вестника «Народной воли», Тихомиров откровенно рассмеялся. Дальше идти уже некуда.

Вера Ивановна Засулич рассказывала мне о каком-то смешном случае, связанном с Тихомировым и немецкими социал-демократами.

— Ну это был изумительный перл! Мы с Верой Ивановной посоветовали Тихомирову, как одному из членов Исполнительного Комитета «Народной воли» и его представителю за границей, познакомиться и сблизиться с руководителями немецкой социал-демократии, считая, что такое знакомство пойдет на пользу «Народной воле» в смысле приобщения ее к марксизму. И знаете, что ответил нам Тихомиров? Что с «немцами» он сближаться не намерен. Немец, мол, он и есть «немец». У них-де в партии слишком много народу, несколько сот тысяч человек, и среди них, мол, наверняка много негодных, ненадежных людей. Следовательно, ни в какие деловые отношения с немецкой социал-демократией вступать невозможно. Вот если бы они, «немцы», согласились распустить всю свою партию и взамен набрали несколько сотен боевых, решительных, на все готовых людей, в стиле «Народной воли», тогда он, Тихомиров, еще подумал бы. Каково, а? И смешно, и, главным образом, грустно.

— Тихомиров относится к немецким социал-демократам как охотнорядец к соседу — купцу с немецкой фамилией. А ведь именно они, «немцы», дали мировому революционному движению Маркса, Энгельса, Либкнехта, Бебеля!.. Я сейчас уже полностью считаю себя марксистом, но даже тогда, когда я начинал с «Земли и воли», всякий шовинизм был мне органически чужд и я всегда чувствовал себя интернационалистом. Поведение Тихомирова и смешно, и грустно, и просто противно!

— Вот именно, Василий Николаевич, вот именно! Мне, знаете ли, все эти тихомировские зевки и почесыванья при малейшем упоминании о марксизме так надоели, что я в конце концов взял да и забрал свою рецензию о Щапове из редакции «Вестника «Народной воли».

— Господин Дейч, руки вверх!

— Жорж, что за шутки!

— Никаких шуток, господин Дейч. Вы разыскиваетесь русской тайной полицией. Это ведь вы в преступном сговоре с известными бунтовщиками Стефановичем и Бохановским, используя подложную царскую грамоту, устроили беспорядки среди крестьян Чигиринского уезда?

— Жорж, перестаньте дурачиться!

— А будучи арестованным и справедливо посаженным в киевскую тюрьму, совершили дерзкий побег из этого неприступного государственного острога?

— Жорж, что с вами сегодня?

— У меня родилась дочь!

— В самом деле? Так это же прекрасно! Поздравляю, Жорж, от души поздравляю со второй дочкой!

— Спасибо, спасибо, спасибо!

— Как себя чувствует Роза?

— Вроде бы хорошо, но ведь женщины — это же загадка и тайна, особенно для нас, мужчин, и особенно в такое время. Там сейчас около нее Вера, а меня, счастливого отца, видите ли, прогнали, чтобы я не мешал своей бестолковой суетливостью. И я отправился шутить, петь, бегать, смеяться и радоваться прибавлению своего семейства, которое, откровенно говоря, кормить совершенно нечем, но не беда. Где наша не пропадала!.. Кстати, не хотите ли выпить по случаю рождения еще одной госпожи Плехановой? Достанем у кого-нибудь несколько франков и налижемся от души назло всем нашим врагам, как в былые студенческие времена.

— Эти несколько франков как раз есть у меня.

— Так ведь это, наверное, последние?

— Какие могут быть расчеты, Жорж, в такой день? Идемте скорее!

— Куда направим мы свои будущие пьяные ноги?

— Конечно, в Бразери де ла Террасьер. Куда же еще?

— Отлично, Лева, идемте!

— Пусть все наши эмигранты, а заодно и царские сыщики, которые сейчас, безусловно, уже там сидят, знают, что у грозного русского революционера Жоржа Плеханова родилась еще одна дочь и что он, несмотря на все невзгоды и преследования, чувствует себя необыкновенно хорошо и плюет с самой высокой женевской колокольни на все полицейские заграничные ведомства господина Александра Третьего!

— А вы знаете, Лева, у меня сейчас действительно очень хорошее настроение. Во-первых, родилась дочь. Во-вторых, ту самую статью для «Вестника «Народной воли» о политической борьбе и социализме, конспект которой я вам когда-то читал, я уже почти закончил. А что еще нужно человеку? Деньги? Их никогда ни у кого из нас не будет...

— Жорж, при написании статьи вы строго придерживались того конспекта, который мне читали?

— И да, и нет.

— Получились большие отклонения?

— Не очень большие, но получились.

— Каких же именно сторон они касаются?

— Я вчера как раз разбирал отношения «Народной воли» и либералов. Если вы помните, в народовольческой программе есть такое место, где говорится о том, что при современной постановке партийных задач интересы русского либерализма сходятся с интересами русской социально-революционной партии. Помните? Ну, так вот: как, спрашивается, социально-революционная партия, то есть «Народная воля», вселяет в сознание русских либералов понимание общности их интересов?.. Слушайте внимательно. Во-первых, «Народная воля» заявляет в программе Исполнительного Комитета, что воля русского народа была бы достаточно высказана и проведена в жизнь Учредительным собранием. В известном письме к Александру III Исполнительный Комитет опять же требует созыва представителей всего русского народа для пересмотра существующих форм государственной и общественной жизни и переделки их сообразно с народными желаниями.

Дейч. Но это действительно совпадает с интересами русских либералов в данный момент, и для их осуществления они, пожалуй, примирились бы со всеобщим избирательным правом.

Плеханов. Вот именно. Что же получается? Исполнительный Комитет требует от Александра III всеобщего избирательного права. Одновременно Исполнительный Комитет требует свободы сходок, слова и печати в виде временной меры. Эта «временность» — уже крупнейший промах «Народной воли». А дальше? Народовольцы спешат убедить читающую публику в том, что большинство депутатов Учредительного собрания будет состоять из сторонников радикального экономического переворота в России. Спрашивается, разве экономический переворот входит в интересы русского либерализма? Разве наше либеральное общество сочувствует аграрной революции, которой, по словам «Народной воли», будут добиваться крестьянские депутаты Учредительного собрания?

Дейч. Конечно, не сочувствует.

Плеханов. Вся западноевропейская история весьма убедительно говорит нам о том, что там, где «красный призрак» начинал принимать хоть сколько-нибудь реальные и грозные формы, либералы тут же готовы искать защиты в объятиях самой бесцеремонной военной диктатуры. Думал ли Исполнительный Комитет, что наши русские либералы составят исключение из этого общего правила? Думал ли он также о том, что современное «общественное» мнение Европы до такой степени проникнуто социалистическими идеями, что будет сочувствовать созыву революционного российского Учредительного собрания? Или Исполнительный Комитет надеялся, что, трепеща от «красного призрака» у себя дома, европейская буржуазия будет аплодировать появлению его в России?

Дейч. Жорж, я готов подписаться под каждым словом этих рассуждеиий. Надеюсь, они войдут в вашу статью о политической борьбе и социализме?

Плеханов. Конечно, войдут.

Дейч. Я думаю, что средн народовольцев она произведет впечатление разорвавшейся бомбы.

Плеханов. Там есть одно место, где я характеризую народовольчество как направление, у которого отсутствуют принципы. Лаврову это, естественно, не должно понравиться.

Дейч. Но только не соглашайтесь ни на какие существенные исправления.

— Конечно, не соглашусь. Это исключается.

— В крайнем случае мы иайдем возможиость издать вашу статью отдельиой брошюрой.

— Каким же образом?

— Игиатов, кажется, уже сторговал типографию.

— У Трусова?

— Да.

— Насколько я знаю, там есть только шрифт н наборный станок.

— А это уже полдела.

— А кто же будет набнрать текст и печатать?

— Мы, ваши единомышленники. Сами и наберем и напечатаем.

— Лев Григорьевич, по-моему, вы переоцениваете наши возможиости.

— Когда заходит речь о том, чтобы нанести по народничеству удар такой силы, который содержит ваша статья, а я помню ее конспект, лучше переоцеиить свои возможиости, чем иедооценить их.

— Опасно и то и другое. Лучше оставаться на реалистической позиции.

— Посмотрим, посмотрнм... А вот, кстати, и Бразери де ла Террасьер!

— Мне что-то уже даже и не хочется осуществлять иашу большую студеическую программу.

— Жорж, а юиая госпожа Плеханова?

— Ваше участие вдохнуло в меня новую энергию. Захотелось вернуться домой и поработать.

— Как вы назвали дочь?

— Евгенией. В вашу честь.

— По одной рюмке за малеиькую Жеию, а?

— Ну, если только по одной...

— И по второй за Розу. Она у вас молодец.

— За Розу отказаться не могу. Вообще, если бы не оиа...

— Вперед, и горе Тихомирову!

— Павел, я взял статью обратио.

— Какую, Жорж?

— «Социализм и политическая борьба». Из «Вестника «Народной воли».

— Как было дело?

— Ты помнишь историю с заметкой о Щапове?

— Помню.

— Я сказал тогда Тихомирову, что пришла пора резкой критической оценки всех теоретических элементов нашего народничества, что старые формы нашей «народной жизни» и «народного миросозерцания» слишком тесны для того, чтобы воплотить в себе теорию и практику нового русского социалистического движения, что наша социально-революционная партия должна начать новый период освободительной борьбы — социал-демократический.

— Да, я все это помню.

— Так вот, получив статью «Социализм и политическая борьба», Тихомиров тут же переслал ее Лаврову, и оба они обвинили меня в отступничестве и чуть ли не в предательстве идеалов народничества. Особо возмутило их то положение статьи, где я указал на отсутствие у «Народной воли» принципов современного научного социализма. Короче говоря, печатать статью они отказались в самой категорической форме.

— Ну, что ж, пожалуй, пришло время расставаться с ними навсегда.

— К сожалению, из нашей попытки повернуть их к марксизму ничего не получилось.

— Мы сделали все, что смогли, и даже больше того.

Плеханов. Твою статью о социализме и мелкой буржуазии они печатать, по всей вероятности, тоже не будут.

Аксельрод. Это немудрено. Статья насквозь пропитана неприемлемым для них духом марксизма.

Плеханов. Чего же ждать еще? Нужно делать практические выводы. Они созрели у каждого из нас уже давно. Сейчас необходимо придать им наиболее законченное организационное выражение.

Аксельрод. Мы говорим об этом уже давно. Наступила пора действовать.

Плеханов. Решительный разрыв с народовольством?

Аксельрод. Да, решительный.

Плеханов. О Тихомирове я совершенно не сожалею. Он человек вчерашнего дня. Сложнее будет порвать с Лавровым. Все-таки Петр Лаврович был для меня духовно очень близким человеком. В определенной степени именно он пробудил во мне так называемую «критическую мысль». Не скрою, в свое время я испытал очень сильное влияние взглядов Лаврова на свои убеждения. А если уж говорить совсем откровенно, то именно Лавров, Чернышевский и Маркс были моими самыми любимыми социалистическими авторами. Они развили и воспитали мой ум во всех отношениях.

Аксельрод. Я понимаю тебя, Жорж. Очень тяжело идти

на духовный разрыв с людьми, которым ты по-человечески симпатизируешь.

Плеханов. Но ничего не поделаешь. Нельзя стоять на месте даже в личных симпатиях. Тем более что и общественные наши симпатии разошлись довольно круто. Петр Лаврович человек милый, умный, благородный. Он поддерживает отношения с Марксом и Энгельсом, но, по существу, марксистом никогда не был. А прославленные критические свойства его ума сейчас как бы окостенели, утратили свою былую эластичность и способность живо воспринимать изменения действительности. Он устарел, наш уважаемый и любимый Петр Лаврович Лавров, и, к сожалению, нам больше с ним не по пути. Он остается в прошлом, а нам нужно идти вперед.

— Верочка, час пробил!

— Жорж, вы, как всегда, с неожиданностями.

— На этот раз с приятными.

— Что случилось? Объяснитесь.

— Мы порываем все наши организационные отношения с «Вестником «Народной воли» и со всей группой лиц народовольческого толка, объединяющихся вокруг него.

— И образуем новую группу?

— Да. Пришла пора сказать «последнее прости» во всем печальном смысле этих слов и «Земле и воле», и «Черному переделу», и «Народной воле». Жизнь движется вперед. Выше голову, Вера Ивановна!

— Жорж, как будет называться новая группа?

— Вы, как всегда, очень практичны, Вера Ивановна, но названия группы еще не существует. Вас устроило бы, например, такое: «Русская социал-демократическая группа»?

Засулич. Нет, не устроило бы.

Плеханов. Почему?

Засулич. Неопределенно, расплывчато.

Плеханов. Может быть, может быть...

Засулич. Да и по тактическим соображениям не подходит...

Плеханов. Теперь вы должны объясниться.

Засулич. Вы же не станете отрицать, что русская революционная молодежь до сих пор еще проникнута народническим духом и слова «социал-демократическая группа» могут оттолкнуть от нас эту молодежь на первых порах?

Плеханов. Нет, не стану. Мы, марксисты, должны ориентироваться на реальные факты, а ваше соображение — абсолютно реальный факт.

Засулич. Следовательно, необходимо продолжить поиски названия новой группы, не так ли?

Плеханов. Ну, что ж, будем продолжать поиски. Очевидно, в поисках находится, как в спорах рождается, истина.

Дейч. Все готово?

Плеханов. Да, все готово.

Дейч. Наборные кассы, шрифты, станок?

Плеханов. Василий Николаевич сказал, что все уже куплено.

Дейч. Игнатов вложил большие деньги в наши будущие издательские дела, а сам практически остается с очень ограниченными средствами. А ведь ему надо усиленно лечиться...

Плеханов. Василий Николаевич святой человек.

Дейч. Эта святость граничит с полным самоотречением. Я разговаривал с его врачом — состояние здоровья Василия Николаевича катастрофически ухудшается. Жизнь его висит на волоске. Туберкулез в самой последней стадии.

Плеханов. Это ужасно, просто ужасно. Я уговаривал его уехать куда-нибудь на юг. Ведь ездил же он несколько лет назад в Египет. И там ему стало лучше. Но сейчас он даже слышать не хочет об отъезде.

Дейч. Накануне таких событий я бы тоже, будь я в его положении, никуда не уехал.

Плеханов. Я понимаю, но, вообще-то говоря, здоровье наших товарищей по группе оставляет желать много лучшего и серьезно волнует меня. Вера и Павел тоже больны.

Дейч. А вы, Жорж? Разве вы чувствуете себя геркулесом?

Плеханов. Я чувствую себя вполне здоровым.

Дейч. Но мне приходилось слышать, что ваш отец умер от туберкулеза легких. Простите, конечно, за неуместное напоминание, но вам тоже надо беречь себя.

Плеханов. Лев Григорьевич, а что же с названием группы? Его пока не существует.

Дейч. Я думаю, что, когда соберемся все вместе, название появится.

Их было пятеро.
Вера Засулич.
Василий Игнатов.
Павел Аксельрод.
Лев Дейч.
Георгий Плеханов.

25 сентября 1883 года они собрались в Женеве. После долгого обсуждения было найдено наконец название группы — «Освобождение труда», — с которым согласились все.

— Друзья, — сказал, поднявшись с места, Георгий Плеханов, — позвольте огласить текст заявления первой русской марксистской социал-демократической группы «Освобождение труда» об издании «Библиотеки современного социализма».

Он сделал паузу. Все смотрели на него с напряженным вниманием.

— «Борьба с абсолютизмом, — начал читать Плеханов, — историческая задача, общая русским социалистам с другими прогрессивными партиями в России — не принесет им возмож-

ного влияния в будущем, если падение абсолютной монархии застанет русский рабочий класс в неразвитом состоянии, индифферентным к общественным вопросам или не имеющим понятия о правильном решении этих вопросов в своих интересах.

Поэтому социалистическая пропаганда в среде наиболее восприимчивых к ней слоев трудящегося населения России и организация, по крайней мере, наиболее выдающихся представителей этих слоев составляет одну из серьезнейших обязанностей русской социалистической интеллигенции.

Необходимым условием такой пропаганды является создание рабочей литературы, представляющей собой простое, сжатое и толковое изложение научного социализма, и выяснение важнейших социально-политических задач современной русской жизни, с точки зрения интересов рабочего класса.

Но, прежде чем взяться за создание такой литературы, наша революционная интеллигенция должна сама усвоить современное социалистическое миросозерцание, отказавшись от несогласуемых с ним старых традиций. Поэтому критика господствующих в ее среде программ и учений должна занять важное место в нашей социалистической литературе.

Всякий, знакомый с современным состоянием нашей социалистической литературы, знает, как мало удовлетворяет она обоим вышеуказанным требованиям. Члены группы, впервые приступившие к изданию «Черного передела» (1879—1880 гг.), решились всеми зависящими от них средствами способствовать пополнению этих пробелов и с этой целью приступают теперь к изданию «Библиотеки современного социализма».

Вполне признавая необходимость и важность борьбы с абсолютизмом, они полагают в то же время, что русская революционная интеллигенция слишком игнорировала до сих пор вышеуказанные задачи организации рабочего класса и пропаганды социализма в его среде; они думают, что борьба ее с правительством не сопровождалась в достаточной мере подготовлением русского рабочего класса к сознательному участию в политической жизни страны. Разрушительная работа наших революционеров не дополнялась созданием элементов для будущей рабочей социалистической партии в России.

Изменяя ныне свою программу в смысле борьбы с абсолютизмом и организации русского рабочего класса в особую партию с определенной социально-политической программой, бывшие члены группы «Черного передела» образуют ныне новую группу — «Освобождение труда» — и окончательно разрывают со старыми анархическими тенденциями...»

— Господа, — прервал чтение Лев Дейч, — я считаю, что в этом месте из тактических соображений нужно сделать необходимое добавление.

Все повернулись к нему.

Аксельрод. Какое именно?

Дейч. Я полагаю, что ввиду неоднократно повторявшихся слухов о состоявшемся будто бы соединении старой группы

«Черного передела» с «Народной волей» мы должны сказать несколько слов по этому поводу.

Засулич. Конкретно. У вас есть текст вашего добавления?

Дейч. Да, конечно.

Он вынул из кармана лист бумаги, развернул его и начал читать:

— «В последние два года между «Черным переделом» и «Народной волей» действительно велись переговоры о соединении. Но хотя некоторые члены «Черного передела» вполне примкнули к «Народной воле»...»

Засулич. Фамилии? Называйте фамилии.

Дейч. Я имею в виду Стефановича и Булановых.

Засулич. Надо вставить в текст.

Дейч. «...вполне примкнули к «Народной воле», полного слияния состояться не могло. Оно затрудняется нашими разногласиями с «Народной волей» по вопросу о так называемом «захвате» власти, а также некоторых практических приемах тактики революционной деятельности. Однако обе группы имеют так много общего, что могут действовать в огромном большинстве случаев рядом, пополняя и поддерживая друг друга».

Игнатов. Последнюю фразу я предлагаю снять.

Засулич. А по-моему, можно оставить.

Аксельрод. Добавление выросло до размеров совершенно самостоятельного заявления.

Игнатов. Господа, необходимы ли нам вообще столь изысканные реверансы в адрес «Народной воли»?

Засулич. Это не реверансы.

Дейч. Там осталось много старых товарищей.

Плеханов. И будущих теоретических врагов.

Аксельрод. О чем мы спорим? Я предлагаю поручить Льву Григорьевичу отредактировать его добавление с учетом наших мнений.

Дейч. Прошу принять извинения за то, что вызвал такие страсти.

Аксельрод. Хотелось бы выслушать Жоржа до конца без перерывов на дебаты. Сначала текст, а потом обсуждение.

Дейч. У меня добавлений больше не будет.

Игнатов. Георгий Валентинович, пожалуйста, просим вас.

— «Успех первого предприятия группы «Освобождение труда», — продолжил Плеханов, — зависит, конечно, от сочувствия и поддержки действующих в России революционеров. Поэтому она и обращается ко всем кружкам и лицам в России и за границей, сочувствующим вышеизложенным взглядам, с предложением обмена услуг, организации взаимных сношений и совместной выработки более полной программы для работы на пользу общего дела. Группа «Освобождение труда» смотрит на «Библиотеку современного социализма» как на первый опыт, удача которого дала бы ей возможность расширить свое дело и приступить к изданию социалистических сборников или даже периодического обозрения.

Задача, поставленная себе издателями «Библиотеки современного социализма», едва ли нуждается, после всего сказанного, в более подробном объяснении. Она сводится к двум главным пунктам.

1. Распространению идей научного социализма путем перевода на русский язык важнейших произведений школы Маркса и Энгельса и оригинальных сочинений, имеющих в виду читателей различных степеней подготовки.

2. Критике господствующих в среде наших революционеров учений и разработке важнейших вопросов русской общественной жизни, с точки зрения научного социализма и интересов трудящегося населения России.

Женева, 25 сентября 1883 года».

Все молчали. Слова были вроде бы обыкновенные, но в то же время содержали огромный смысл. За простыми фразами о распространении идей марксизма в России и о критике народнических взглядов вставали годы борьбы, годы надежд и разочарований, побед и поражений, сбывшихся предчувствий и недостигнутых вершин.

Так родилась первая русская марксистская, социал-демократическая группа. В будущем Ленин назовет ее «и основательницей и представительницей и вернейшей хранительницей» идей научного социализма в революционном движении России.

В конце сентября 1883 года заявление об издании «Библиотеки современного социализма», провозгласившее создание первой русской марксистской группы, было напечатано отдельной листовкой.

Первым выпуском «Библиотеки» станет книга Георгия Валентиновича Плеханова «Социализм и политическая борьба».

Эпиграфом к ней Плеханов возьмет слова из «Манифеста Коммунистической партии»: «Всякая классовая борьба есть борьба политическая».

Владимир Ильич Ленин назовет эту книгу первым исповеданием веры русского социализма.

Глава восьмая

Энгельс написал Вере Засулич: «Вы спрашивали мое мнение о книге Плеханова «Наши разногласия»... И того немногого, что я прочел в этой книге, достаточно, как мне кажется, чтобы более или менее ознакомиться с разногласиями, о которых идет речь. Прежде всего, повторяю, я горжусь тем, что среди русской молодежи существует партия, которая искренне и без оговорок приняла великое экономическое и исторические теории Маркса и решительно порвала со всеми анархистскими и несколько славянофильскими традициями своих предшественников. И сам Маркс был бы также горд этим, если бы прожил немного дольше. Это

прогресс, который будет иметь огромное значение для развития революционного движения в России. Для меня историческая теория Маркса — основное условие всякой *выдержанной и последовательной* революционной тактики; чтобы найти эту тактику, нужно только приложить теорию к экономическим и политическим условиям данной страны».

Это были лучшие годы его жизни. «Наши разногласия» будоражили революционную Россию. Книга попала в точку — она объяснила положение вещей, предъявила правду о тупике, в который зашло народничество вообще и «Народная воля» в частности.

Ореол «лавризма» (историю делают критически мыслящие личности, герои-интеллигенты) померк. Марксистская истина — двигателем истории являются народные массы, и только они, — настойчиво проникала в умы русских революционеров. Концепции лидера народовольчества Тихомирова о самобытных путях развития русского общества, о том, что марксизм якобы «навязывает» России следовать капитализму, были поколеблены до основания.

В кругу «старых» друзей народнического толка «Разногласия» вызвали смерч возмущения. Жоржа Плеханова обвиняли в предательстве, ренегатстве, в измене священной памяти героев «Народной воли», погибших на эшафоте.

И по этому накалу страстей он понимал, что направление взято правильно — верность памяти павших героев требовала, отказавшись от их приемов борьбы, от старых методов движения, идти дальше, брать новую, более высокую ступень.

Он испытывал в эти годы необыкновенную удовлетворенность от сделанного им решительного шага — крутого поворота к марксизму и социал-демократии, который теоретически и литературно удалось четко зафиксировать в «Наших разногласиях». Он совершенно отчетливо ощущал, что этим резким, публичным, официальным отказом от народничества он прежде всего ответил себе самому на мучительно терзающий душу вопрос — что делать? как жить и бороться дальше?

Отказ от прежних взглядов, от мировоззрения молодости внутрение произошел в нем давно, но он долго страдал от невозможности сделать это внешне, и вот теперь, когда это выстраданное выплеснулось наружу, случилось открыто, на миру, перед лицом всей революционной России, он почувствовал огромное нравственное облегчение и личное, почти физическое освобождение от давившей душу и сердце тяжести.

Да, теперь, когда «волны», поднятые «Разногласиями», грозно шумели в умах русской социалистической молодежи, повсемест-

ио образуя новые споры и дискуссии (в Петербурге, Москве, Поволжье, в эмиграции), он невольно, иным зрением начал смотреть на свою прежнюю жизнь и увидел ее как бы заново, в другом свете.

Собственно говоря, вся она и раньше, еще с самой ранней юности, была отмечена крутыми поворотами, резкими переходами из одного состояния в другое, неожиданными превращениями устоявшегося бытия в прямо противоположное качество.

...Юнкер Константиновского артиллерийского училища вдруг подает прошение об отставке, навсегда уходит из армии и поступает в Горный институт, с головой погружается в естественные науки — химию, физику, минералогию.

Почему? Что заставило его тогда столь внезапно изменить свою судьбу? Смерть отца? Протест против отцовской традиции, в которой замашки фанфаронистого николаевского офицера дополнялись жестоким нравом помещика-крепостника?

Наверное, не только это. Вокруг казарм Константиновского училища бурлила жизнь столицы огромного государства, недавно пережившего величайшее событие своей истории — освобождение крестьян. (Подумать только! Всего четверть века назад Россия была еще рабовладельческой страной, а он сам, Жорж Плеханов, — сыном рабовладельца, целых пять первых лет своей жизни имевшим возможность на правах наследника владеть живыми людьми как своей личной собственностью.)

Вокруг казарм Константиновского училища шумела новая жизнь новой России, открывались горизонты широкой общественной деятельности, возникали неизвестные ранее направления бытия, создавались новые экономические, духовные и правовые отношения между людьми, а он, семнадцатилетний юнкер Жорж Плеханов, сидел в своей «мертвой» казарме, под колпаком палочного устава и армейской муштры.

А она, новая жизнь, ежедневно посылала сквозь стены казармы свои сигналы, она накапливала в его душе новые впечатления и знания, и однажды наступил такой день, когда он понял, что больше так продолжаться не может, что ему обязательно нужно что-то изменить в своем положении — привести внешнее в соответствие внутреннему, иначе он мог взорваться изнутри — такая уж у него была натура. Он не переносил разрыва между внешним и внутренним. Душа требовала крутого поворота, резкого перехода в иное качество, скачка в новое измерение. (Другие могли терпеть, могли жить с «разрывом», а он —органически не мог.)

«Копилка» души — «копилка» наблюдений, ощущений, впечатлений и переживаний — была переполнена, плескалась через край. И тогда он подал прошение об отставке, совершив первый, крутой и резкий поворот своей судьбы.

Спустя некоторое время все повторилось... Студент Горного института Жорж Плеханов поражал профессоров своими блестящими способностями. Ему прочили большое научное будущее. Но одновременно студент Плеханов все глубже и глубже втя-

гивался в работу народнических кружков Петербурга. Непрерывно пополняющийся запас социалистических знаний одного из самых искусных и умелых агитаторов-землевольцев и опыт, полученный в рабочей среде, с каждым днем все больше и больше развивали его сознание. Постепенно он становится человеком уникальнейшей революционной эрудиции, равной которой, по всей вероятности, в то время не было в русской революционной среде.

Он блестяще ориентируется в точных науках — математике, физике, химии; он знаком с высшими достижениями французской социалистической мысли, английской политэкономии, немецкой философии, с сочинениями Белинского, Герцена, Чернышевского, Добролюбова, Писарева; он прочитал уже первые книги новой немецкой экономической школы Маркса и Энгельса; он один из лучших знатоков литературы столпов народничества — Бакунина, Лаврова, Ткачева.

И что самое главное — он еще и наиболее осведомленный практик рабочего движения, постоянно печатающий в легальных и нелегальных изданиях статьи и заметки о новых процессах, происходящих в среде фабричного населения Петербурга.

Пожалуй, поставить в те годы рядом с ним в русских революционных кругах действительно некого — равной фигуры нет. Но сам он по молодости лет еще не осознал до конца всей масштабности своей личности. Это даже ощущается в его внешнем облике — ходит в рабочей блузе, в простых сапогах, ночует где придется, спит на вокзалах, у случайных знакомых. Он только еще приближается к тому счастливому мгновению, когда его богато одаренная натура под напором идущей вперед жизни потребует от своего хозяина нового, внешне качественного изменения. Да, жизнь вокруг него непрерывно изменяется, неудержимо движется вперед. И он сам постоянно изменяется и движется вперед вместе с жизнью. Душа требует поступка, практического деяния, метаморфозы, превращения — перехода на более высокую ступень. И (как промежуточный этап в этом восхождении вверх) он соглашается произнести публичную политическую речь против самодержавия на демонстрации возле Казанского собора.

Он знает (вернее — догадывается), что после демонстрации судьба его может совершить поворот, и на этот раз очень резкий. Но молодость дает ему уверенность и силы, чтобы сделать этот решительный и на том этапе его жизни самый значительный шаг в своей судьбе. Молодость и та особая, уникальная теоретическая и «практическая» революционная эрудиция, равной которой в то время нет в русском освободительном движении.

И вот речь произнесена — первая в истории России публичная (на миру) политическая речь против самодержавия. Его разыскивает полиция. Он переходит на нелегальное положение и становится профессиональным революционером.

Новое качественное превращение произошло на пути еще неведомого ему самому его будущего жизненного предназначения.

Первая эмиграция (1877 год). Берлин. Париж. Лавров. Европейские социал-демократии.

Возвращение. Саратов, хождение в народ. Поездка на Дон. Попытка реализовать бакунинский тезис — поднять на восстание казаков. Неудача.

Он не приходит от нее в отчаяние, как многие его товарищи-землевольцы. Количество неудач, сколько бы их ни было, обязательно перейдет потом в одну качественно новую удачу. Житейская эта формула прочно входит в его обиход и мироощущение.

В те времена (до окончательного отъезда за границу) накопление однородных обстоятельств внутри очередного периода его жизни идет с ожидаемой и уже знакомой ему последовательностью, и он, как естествоиспытатель-экспериментатор, с интересом ведет наблюдения за самим собой, будучи абсолютно уверенным в том, что переживаемый период должен обязательно закончиться взрывом.

И этот взрыв происходит на Воронежском съезде. (На миру!) Объективная закономерность новой метаморфозы для него бесспорна и очевидна, и поэтому сам он однажды, напав на след и закон естественного и органичного развития своей жизни, субъективно всячески способствует ходу событий, не препятствуя их развертыванию, а, наоборот, сокращая, облегчая и ускоряя «муки родов» каждого своего нового состояния, каждого очередного периода своей судьбы.

В Швейцарии, Франции и снова в Швейцарии, получив наконец возможность заняться своим образованием и теоретической работой (без учащенного дыхания российского городового в затылок), он настойчиво посещает на правах вольнослушателя университетские лекции по естественным наукам — физике, химии, биологии, зоологии, жадно поглощает одну за другой книги Гегеля, Фейербаха, Маркса, Энгельса, которых не было в России, но о которых он уже знал и немедленное знакомство с которыми стало для него необходимо, как сон, еда и воздух.

И, как всегда, неожиданное и счастливое откровение день ото дня все отчетливее проступает перед ним со страниц прочитанных книг и законспектированных лекций. С непрерывно увеличивающейся верой в свои возможности он медленно начинает осознавать уже наметившееся когда-то понимание всеобщей и неразрывной связи событий своей собственной жизни с процессами, происходящими в общественных отношениях между людьми.

Душа снова требует поступка, деяния, метаморфозы. Впереди вырисовывается новая, более высокая ступень жизненного предназначения. И его человеческая натура, его смелый, острый, самостоятельный характер (это отчасти и черты отцовского нрава — резкого и решительного), закалившийся на крутых поворотах судьбы, испытывает настоятельную потребность в переходе в иное качество. Он просто органически уже не может жить по-другому. (Другие могут, а он не может.)

Ему необходим взрыв, скачок, разрыв с прошлым. Ему обязательно надо освободиться от груза прежних противоречий. И, пройдя через это, испытать нравственное удовлетворение. Именно нравственное. Потому что присутствие в сознании отжившего, ненужного, бесполезного для него безнравственно. Прошлое должно быть сброшено с плеч. Иначе жизнь невозможна.

И опять ему хочется сделать это открыто, публично, на миру. (Может быть, из далекого детства, проведенного в тамбовской деревне, запала в его натуру эта крестьянская русская черта — потребность совершать главные в жизни поступки на миру.)

Так появляются на свет написанные одна за другой две его знаменитые книги, первенцы научного социализма в России — «Социализм и политическая борьба» и «Наши разногласия», взорвавшие идеологию народничества, воздвигшие водораздел русского освободительного движения, по одну сторону которого осталось все прошлое и ненужное для движения, а по другую — начиналась его новая и широкая дорога.

С некоторых пор многие знавшие Плеханова по Петербургу русские эмигранты (в Женеве их было хоть пруд пруди) стали замечать во внешнем облике Жоржа — в манерах, жестах, выражении лица — нечто совершенно новое и ранее будто бы незнакомое, какую-то полускрытую, вежливую и немного искусственную ироничность, некую предупредительно-изысканную и натянуто-утонченную насмешливость.

Казалось, что Жорж, быстро усвоив в эмиграции снисходительно-легкий, европейский стиль поведения в повседневном житейском обиходе, как бы заново возвращается в те времена своей юности, когда он впервые появился в петербургской революционной среде — недавний юнкер, блестяще одаренный студент, слегка надменный, но в общем-то доброжелательный юноша, эдакий быстрокрылый дворянский птенец, стремительно выпорхнувший в жизнь из родительского усадебного гнезда.

Тогда, в первые годы жизни в Петербурге, он заметно отличался от окружавших его длинноволосых, буйно бородатых нигилистов своей военной выправкой, подтянутостью, корректностью. Он был подчеркнуто сдержан и вежлив в обращении с людьми, одевался всегда скромно и чисто, русые волосы аккуратно зачесывал назад, часто стриг небольшую бородку. На его запоминающемся, аскетически выразительном лице особенно выделялись темно-карие глаза, смотревшие из-под густых бровей и длинных ресниц иногда с проницательной, жесткой суровостью, но чаще с веселой и насмешливо-снисходительной иронией. (Это было наиболее характерное для него выражение в те годы.)

Потом, после перехода на нелегальное положение, его внешний облик первых петербургских лет как бы смазался для окружающих, определенность личности растворилась, исчезла в бесконечном конспирировании, переодеваниях и маскировках под заурядного, неприметного столичного обывателя. Он вроде бы за-

терялся в общей массе земледельческих нелегалов, появляясь то в блузе мастерового, то в крестьянской поддевке, то в потертом пальто городского разночинца. Свои усы и бороду брил, подклеивая чужие, очень коротко стригся — для парика. Кочевая, неопределенная жизнь народнического агитатора, помимо конспиративных соображений, требовала еще и постоянной «идеологической» смены портретного, представительского обличья для разных аудиторий — рабочей, студенческой, крестьянской, казачьей, старообрядческой. И в этом калейдоскопе внешних масок он нередко ощущал и путаницу своих внутренних позиций, чувствовал, как колеблются, размываются границы его теоретических, идейных построений. Единая система твердых, неопровержимых убеждений сделалась не только духовной, но и психологической потребностью, превратилась в органическую необходимость. И утолить эту естественную жажду можно было только таким же естественным, единственно правильным объяснением современной жизни, а также прошлого и будущего русской истории — марксистским мировоззрением.

И вот теперь, когда жребий был брошен и Рубикон перейден, когда его книги стали «властителями дум» нового поколения русской революционной молодежи, когда имя его привлекло к себе пристальный интерес всей передовой, читающей России, когда к каждому его слову прислушивались сотни и тысячи людей в надежде узнать правду о русской жизни и о возможностях ее изменения, — теперь, когда произошло все это, он снова почувствовал себя необыкновенно молодым (как в первые годы жизни в Петербурге, после ухода из юнкерского училища), вновь обрел интонации и состояние юности, к нему вернулась ясная убежденность в прозорливой правильности сделанного выбора. В характере обозначались черты некоей душевной упорядоченности, осознанности своего жизненного предназначения.

Многолетняя, напряженнейшая работа мысли распахнула перед ним самую ясную и четкую перспективу: мир может быть не только познан, но и должен быть изменен. И это, как ничто другое, давало возможность осознать в себе предельно густую концентрацию конкретной, человеческой определенности и цельности. Став марксистом, впервые за всю жизнь Жорж Плеханов ощутил себя в те годы человеком в том высоком смысле слова, который некогда он поставил перед собой как идеал, как цель, достижение которой он считал оправданием всей своей судьбы.

Устойчивая система неопровержимых взглядов была выработана во всей широте и глубине ее новой, научной масштабности, и человеческая натура Плеханова как бы заново начала наполняться неким новым, значительным содержанием, которое не спешит раскрываться и как бы замкнуто на ощущениях важности происходящих в его глубинах процессов, скрытый смысл которых доступен не каждому и не сразу.

И все это отчетливо запечатлелось и в перемене его внешнего облика, в котором одновременно появилось и это новое омоло-

жение, н новая солидиость, и уверенность в себе, в котором, как и в первые годы жизни в Петербурге, после разрыва с армейской средой, укрепилась в качестве самоутверждающего н даже защнтительиого свойства утеряниая им было иа время утоичеиио-насмешливая, корректная нроиичность и подчеркиуто вежлнвая, сдержанная снисходнтельность.

По сути дела, эта ироничность отчасти была иевольным проявлеиием естественно воспрниятого им из кииг и сочннеиий Маркса его, Марксова, стиля сомиения. «Сомиевайся!» — это любимое изречение Маркса было хорошо известио Жоржу и стало одним из главиых его жизнениых правил. Диалектическая формула «отрнцание отрнцаиия», как и миогие другие рацнональные категорнн, почти матернально переходившие у него нз сферы разума в эмоциональиый строй душн, трансформировалась в характере Плеханова именно в виде этой утоичеиной насмешлнвости, которая проявлялась каждый раз, когда кто-ннбудь пытался представнть те илн иные события, факты или явлеиия как иечто неподвнжное и застывшее, как неизменную даииость.

Но дело было не только в этом.

С некоторых пор друзья и близкие иачали отмечать, что в рассуждеииях, разговорах и даже в дискуссиях и спорах ои с какой-то тяжелой тоской и печалью стал часто вспоминать о родиие, о далекой Россин, о тех местах, где прошли его детство и юность. Ои теперь нередко иазывал себя «тамбовскнм дворянином» — ииогда шутливо, а ииогда и всерьез. Казалось, что из всего лнчного российского прошлого в памяти его осталось только это — факт рождения в усадьбе потомственного тамбовского дворянииа. Ни петербургские годы, ии скитания агитатора-народника по России, ни что-либо другое, а столбовое тамбовское дворянство по непоиятиой для миогих, ио, очевидно, по естественной закоиомерностн жило в памяти этого человека, первым начавшего пропагаиду марксизма в России, впервые в русском освободительном движенин иазвавшего главной силой русской революции противоположный своему происхождеиию класс — пролетариат.

И вот в такие мииуты, когда эти слова — «я, зиаете ли, господа, все-таки тамбовский дворяиии» — произиосились вполие серьезно, иа лице у иего возникало выражеиие хотя и вежливой, сдержаииой, ио тем ие меиее явиой снисходительности, а глаза холодили, остужалн, отчуждали слишком уж пылкого собеседника, пытавшегося по искоииой российской традиции «влезть в душу» уже весьма и весьма европеизировавшегося лидера молодой русской социал-демократии Георгия Валеитииовича Плехаиова.

Но, в общем-то, это происходило довольио редко, а когда и случалось, то Жорж, побыв в образе «старого» тамбовского барииа всего иесколько мииут (руки величествеиио скрещеиы иа груди, голова иадмеиио откииута иазад, профессорские усы грозио топорщатся), первым иачииал посмеиваться иад собой.

Собствеиио говоря, отчасти и отсюда рождалась оиа, зиамеии-

тая плехановская насмешливость, — из привычки иронизировать сначала над самим собой, а потом уже и над другими. В годы поисков нового мировоззрения он всегда сомневался прежде всего в себе самом, он постоянно брал под сомнение свои собственные взгляды и, найдя их устаревшими, быстро и насмешливо, как бы защищаясь тем самым от их цепкой власти, от вообще присущей людям слабости к прошлому, расставался с недавними убеждениями, еще вчера казавшимися абсолютно незыблемыми.

Да, скрытый дух сомнения и снисходительности (все-таки более тайный, чем явный) стал в те годы как бы его второй натурой, он проявлял его, забывая о своей традиционной сдержанности и корректности, порой чересчур резко и бесцеремонно даже в отношениях с друзьями и близкими. Это не всем нравилось, многие упрекали его за острый язык и любовь к язвительной словесной эквилибристике, больно ранившей некоторых мнительных людей, но Жорж, принося извинения и обещая в дальнейшем не шутить так обидно и вообще изжить свое едкое острословие, конечно, быстро забывал эти скоропалительные клятвы. В отличие от мировоззренческих категорий, необходимость комбинировать которыми в прежнее время зачастую диктовала логика идейной борьбы, он, как правило, почти никогда не менял в те годы однажды приобретенных привычек и житейских манер. Характер и натура его развивались тогда только по восходящей линии, не упрощаясь, а, изоборот, бесконечно усложняясь и разветвляясь. Такой уж он был человек. Естественность почти всегда преобладала в нем над искусственностью и условностями.

Одно веселое занятие — розыгрыши приятелей и знакомых — было в те времена его характерной особенностью, проявлением его изобретательного и постоянно активного нрава.

Встречает, например, Жорж на улице Каруж около кафе Ландольта (постоянного места сборов русских эмигрантов в Женеве) какого-нибудь отчаянного «нигилиста» в прошлом, бывшего петербургского студента, а ныне начинающего социал-демократа, и говорит ему:

— Вы знаете, милейший, я вчера получил письмо от начальства.

— От начальства? — охотно ввязывается в разговор с «самим» Плехановым бывший студент. — От какого же начальства?

— От генерала.

— Позвольте, от какого генерала?

— Ну, разве вы не догадываетесь? — разводит руками Жорж. — От Фридриха Карловича — какое теперь у нас еще может быть начальство.

— Фридрих Карлович... Фридрих Карлович, — жует губами начинающий. — Да кто же это такой?

— Энгельс! — громким шепотом говорит Жорж.

— От самого Энгельса? — искренне изумляется юный социал-демократ. — И что же он вам пишет?

— Между прочим, спрашивает о вас...

— Обо мне?!

Начинающий марксист поражен до глубины души.

— Позвольте, но откуда же Энгельс может знать что-нибудь обо мне?

— Знает, — делает Жорж уверенный жест рукой, — он все знает.

Бывший студент неподдельно озадачен и даже слегка напуган своей популярностью на таком высочайшем уровне.

— Георгий Валентинович, — робко говорит он, — а что же спрашивает обо мне Энгельс?

Плеханов оглядывается по сторонам.

— Что мы тут стоим, на улице? — пожимает он плечами. — Давайте зайдем к Ландольту, возьмем себе кофе или пива...

Студент забегает вперед, открывает дверь в кафе, быстро находит свободный столик, зовет официанта, заказывает пиво... Ему уже не терпится как можно скорее узнать, чем же привлекла его скромная персона внимание самого Энгельса. Он уже необыкновенно возвысился в своих собственных глазах.

А Жорж, сделав большой глоток, вдруг начинает смотреть на своего собеседника с улыбкой, а потом, не выдержав, громко смеется.

Студент недоумевает.

— Вы уж извините меня, дорогой мой, — кладет Жорж ему руку на плечо, — но я пошутил над вами. Никакого письма я от Энгельса не получал.

Начинающий социал-демократ подавленно молчит. Он, конечно, наслышан об этой странной склонности Георгия Валентиновича к розыгрышам. Но чтобы шутить такими именами...

— А я, знаете ли, работал сегодня целый день с утра, — пытается смягчить ситуацию Жорж, — голова стала чугунной — Гельвеций, Гольбах, Фихте, Кант, Ницше, Фейербах... И захотелось чего-то легкого, веселого... Вы уж простите за экспромт с Энгельсом, но это было первое, что пришло на ум... Я сейчас пишу новую большую работу о нем, вернее, об Энгельсе и Марксе, о возникновении их учения в перспективе истории философии...

Студент забыл уже все обиды. С нескрываемым восторгом смотрит он Плеханову прямо в рот. Какие имена! Какой масштаб мысли!

Плеханов встает, расплачивается с официантом.

— Пойду продолжать, — жмет он руку студенту. — Дел, знаете ли, очень много. Спасибо за компанию. И еще раз простите за неуместную, может быть, шутку.

— Жорж, — сказал однажды Лев Григорьевич Дейч, — если мне не изменяет память — вы провели детство в деревне, не так ли?

— До двенадцати лет безвыездно проживал в имении отца

своего, потомственного тамбовского дворянина, — с достоинством ответил Плеханов.

— В таком случае, — продолжал Дейч, — вам хорошо должны быть знакомы русские народные пляски.

— Конечно, — кивнул Жорж.

— А если так, — улыбнулся Лев Григорьевич, — то мы, я и Вера Ивановна, попросили бы вас немедленно исполнить русскую народную пляску «Барыня».

Засулич, пришедшая к Плехановым вместе с Дейчем, наклонила в знак согласия голову.

— «Барыню»? — удивленно переспросил Георгий Валентинович. — А в чем, собственно говоря, дело?

— У нас для вас феноменальное известие! — почти выкрикнул Дейч.

— Потрясающая новость, — подтвердила Засулич.

— Пляшите! — потребовал Дейч.

Жорж вышел на середину комнаты, сделал несколько движений руками и ногами.

— А вприсядку? — настаивал Лев Григорьевич.

— Вприсядку не умею, увольте, — отмахнулся Плеханов. — Ну, что у вас за новость?

Дейч сделал шаг вперед.

— Жорж, — громко сказал он, — только не падайте в обморок. Сегодня к нам в Кларан приезжает Карл Маркс!

В комнате повисла тишина. Рука Плеханова, лежавшая на спинке стула, мелко задрожала.

— Ну, что же вы молчите? — нарушил паузу Дейч. — Вы, кажется, совершенно не рады этому сообщению.

Георгий Валентинович долгим, затяжным, пристальным взглядом посмотрел на него и тихо сказал:

— Повторите...

— Сегодня к нам, сюда в Кларан, приезжает Карл Маркс.

— Этого не может быть...

— Да почему же не может?

— Зачем Марксу ехать в Швейцарию?

— Отдыхать и лечиться. Вера Ивановна, подтверждаете?

— Подтверждаю, — сказала Засулич.

Жорж сделал несколько нервных шагов по комнате, судорожно сцепил пальцы рук, откинул назад голову.

— Роза!!! — закричал он вдруг таким страшным голосом, что Засулич и Дейч невольно вздрогнули.

Розалия Марковна торопливо заглянула в дверь.

— Что такое? — тревожно спросила она.

— Роза, Маркс приезжает сегодня в Кларан!! — радостно обнял жену Георгий Валентинович. — Надо немедленно погладить мой костюм!.. Где ботинки, где вакса?.. У меня есть новая сорочка?

Крутанувшись на каблуках, он впился взглядом в лица Засулич и Дейча.

— Ведь мы же обязательно пойдем его встречать, не правда

ли? Мы должны помочь ему нести вещи, устроиться... Да мало ли какие хлопоты бывают у человека в день приезда?

— Да, да, конечно, — ответили Дейч и Засулич.

Он вышел из дома первым, по дороге то и дело торопил своих спутников, непрерывно, не умолкая ни на секунду, говорил, строил планы, размахивал руками, забегал вперед, отставал, — словом, совершенно был не похож на того Жоржа, каким Засулич и Дейч привыкли видеть его каждый день: спокойным, замкнутым, ироничным.

Он был так откровенно счастлив от предстоящего свидания с Марксом, так лихорадочно возбужден, так по-детски не мог сдержать обуревавших его чувств, что на одном из поворотов Вера Ивановна, пропустив Плеханова вперед и задержав Дейча за руку, тихо сказала:

— Я больше не могу. Сердце обливается кровью, глядя на него...

— Да, да, — согласился Лев Григорьевич, — я тоже больше не могу. Надо сказать...

Они догнали Плеханова.

— Жорж, погодите, — тихо начала Вера Ивановна, — не торопитесь...

— Что, что? — не понял Плеханов. — Что вы сказали?

— Сегодня первое апреля, Жорж...

Он несколько секунд молча смотрел на нее, потом лицо его стало почти серым, в глазах мельнуло что-то жалобное, и они потухли, он сделал слепой шаг в сторону, беспомощно оглянулся и вдруг сел прямо на лежащий на дороге камень, закрыв лицо руками...

— Жорж, извините нас за этот розыгрыш...

Он молчал. Какое-то внутреннее движение тронуло его плечи — они шевельнулись... Волосы на затылке вздрогнули... Чуть помедлив, он опустил руки от лица.

Засулич и Дейч пожалели о своей шутке.

Перед ними на камне посередине дороги сидел какой-то незнакомый Плеханов — осунувшийся, старый, обессилевший, жалкий. В глазах у него стояли слезы.

— Жорж, ради бога...

Голос Веры Ивановны пресекся, она достала платок и отвернулась. Лев Григорьевич Дейч неловко топтался рядом.

— Не надо никаких слов, Лев Григорьевич, — тихо сказал Жорж. — Все правильно. Это называется бумеранг — оружие австрийских туземцев.

Он тряхнул головой и, окончательно овладевая собой, твердо произнес:

— А в общем-то я благодарен вам, друзья...

Засулич и Дейч удивленно переглянулись.

— С той самой секунды, когда я впервые подумал о том, что сегодня увижу Маркса, — продолжал Плеханов, — я пережил, может быть, лучшие минуты своей жизни... Мне трудно объясниться сейчас словами, но со мной произошло нечто вроде оза-

рення... Я уже совершенно отчетливо видел Маркса на улице Кларана.

Лев Григорьевич Дейч облегченно вздохнул. Незаметно нашел он руку Веры Ивановны Засулич, пожал ее и ощутил ответное пожатие. Да, теперь они могли быть спокойны — это был уже прежний, хорошо знакомый Жорж: ироничный, едкий, насмешливый.

— И что самое интересное, — продолжал Плеханов. — Пока я был под впечатлением вашей выдумки о приезде Маркса, я все время репетировал про себя свой первый разговор с ним... Что, собственно говоря, сказать ему?.. И вот пока мы шли, я, кажется, сочинил в уме проект первой русской социал-демократической программы.

— Значит, наш розыгрыш, наша фантазия, — засмеялся Дейч, — пойдет все-таки на пользу русской социал-демократии?

— В каждом розыгрыше, в каждой фантазии есть некоторая доля истины, — сказал Георгий Валентинович. — Люди, как правило, выдумывают то, чего еще не существует, но что им обязательно хочется увидеть в действительности... Помните у Маркса — человечество ставит перед собой только реальные задачи. Сказано, как отрублено!.. То есть такие задачи, решение которых уже существует в жизни.

— Говоря другими словами, — сказала Вера Ивановна, — новый опыт утверждает себя в недрах старого опыта. Вызревает в нем, и только в нем. Вырастает из него.

— Безусловно!

— А что, мальчики, — взяла Вера Ивановна Плеханова и Дейча под руки, — не кажется ли вам, что сегодняшний день, первое апреля, несмотря на всю его отрицательную репутацию, сложился для нас весьма положительно, а? Вспомнили о Марксе, сочинили первый проект программы русской социал-демократии, да еще и прогулялись недурно, не так ли?

В эмиграции у Плехановых родились две дочери — Лида и Женя. Розалия Марковна, воспитывая детей, не оставляла мысли закончить свое медицинское образование, прерванное в Петербурге. Она попробовала сначала учиться в Бернском университете, потом поступила в Женевский. Заветной ее мечтой было получить диплом доктора, найти врачебную практику и освободить наконец мужа от уроков, которые он давал для заработка. Розалии Марковне хотелось, чтобы Плеханов целиком принадлежал только революции, и она не щадила себя, в буквальном смысле этого слова, разрываясь между домашними обязанностями, детьми, работой в больнице и занятиями в университете.

Георгий Валентинович, как мог, помогал жене. Каждый день, несмотря на любую занятость, он уходил гулять с Лидой и Женей. Прогулка всегда длилась ровно час. Одной из главных обязанностей отца в эти обязательные ежедневные шестьдесят минут были занятия с дочерьми русским языком. Во франкоязыч-

ной Женеве вокруг все говорили, естественно, по-французски, но в доме Плехановых был принят только русский.

Они выходили на берег Женевского озера. Георгий Валентинович усаживал Лиду и Женю рядом с собой на скамейку и начинал рассказывать сказку.

— В некотором царстве, в некотором буржуазном государстве, а точнее сказать — в конституционной монархии, жил-был царь...

— Папочка, а что такое царь? — спрашивала младшая Женя.

— Ох уж это мне швейцарское республиканское воспитание! — смеялся отец. — Ну, не царь, а король...

— Английский король? — очень серьезно спрашивала старшая Лида.

— Пожалуй, что и английский, — соглашался рассказчик. — Так вот, однажды в этой конституционной монархии что-то очень уж плохо стали жить люди. Собрались они вместе и говорят: братцы, а что же это мы с вами так плохо живем? Не убить ли нам нашего царя-короля...

— А у царя были детки? — спросила маленькая Женя.

— Ха-ха-ха! — засмеялся счастливый отец. — Молодец, Женька! Сразу видно марксистское происхождение и европейский жизненный опыт!.. В том-то и дело, что у царя полным-полно было деток! И как только его убили, они сразу же сели на его место, и ничего не изменилось — люди по-прежнему жили очень плохо...

— Все равно царь нехороший, — нахмурилась Лида, — он мучает лошадок... Правда, папа?

— Вообще-то говоря, хороших царей не бывает. И мучают они не только лошадок... Но из этого вовсе не следует, что лучшая форма борьбы с царем — убить его. Это, знаете ли, милые дамы, только у нас в России некоторые торопливые и романтично настроенные господа могли позволить себе роскошь так думать.

— Папочка, а Россия большая?

— Очень большая. Настолько большая, что иногда ее невозможно даже понять умом, как сказал один очень хороший русский поэт... Тот же самый поэт писал, что в Россию можно только верить... Но в какую Россию, милостивые государи и милостивые государыни, вы прикажете нам верить? В Россию прошлого? В Россию идеализированной сельской общины с ее кондовой патриархальной самобытностью? Нет, милостивые государи и милостивые государыни, в эту выдуманную вашим воспаленно-субъективным мозгом самобытную Россию мы верить не будем. Мы верим только в Россию будущего, в пролетарскую Россию, в Россию победившего рабочего класса!

— Папочка, а мы поедем когда-нибудь туда?

— Обязательно! Собственно говоря, именно для того-то мы здесь и сидим, и, вызывая нарекания старых друзей, пишем против них свои книги, чтобы непременно поехать когда-нибудь в будущую Россию.

— И возьмем с собой все свои куклы?

— Конечно, возьмем... Но позвольте, милые дамы, вы, кажется, слишком увлеклись политикой. Какой урок вам был задан?

— Сказка о царе Са́лтане.

— Во-первых, не Са́лтане, а Салта́не. А во-вторых, что это мы с вами сегодня только о царях и толкуем?

— Папочка, не сердись. Хочешь, я тебе расскажу сказку о попе и его работнике Балде? Будешь слушать?

— С огромным удовольствием. Эта правдивая и поучительная история всегда вызывала у меня положительные ассоциации. Здесь, кажется, впервые в русской литературе упоминается о наемном труде. И, кроме того, дан замечательно верный образец классового поведения господина Балды — с первого щелчка прыгнул поп до потолка, а? Просто великолепно!

Неожиданно возникло предложение преподавать русский язык и литературу в частной школе в Кларане. Одновременно появилась возможность там же вести занятия с детьми богатого русского промышленника.

Розалия Марковна решительно восстала против этого.

— Ты не имеешь права отрывать себя от теоретической работы, — заявила она. — Для чего же тогда ушла из движения я? Для чего мы уехали из России? Чтобы учить грамоте отпрысков какого-то паршивого фабриканта?

— А что будут есть наши дети? — мрачно спросил Плеханов. — Бульон из моих черновиков?

— Я возьму дополнительное дежурство в больнице, — твердо сказала Розалия Марковна, — а ты должен только писать. В этом твой долг перед революцией. И, если хочешь, мой тоже. Тысячи людей в России ждут от тебя твоих книг, твоего слова о новых путях нашего движения. И ты не имеешь никакого права не оправдать их ожиданий!

(Наверное, это было великое счастье жизни Георгия Валентиновича Плеханова — иметь рядом такую спутницу, единомышленника, любимую женщину, верного друга, бестрепетного товарища в суровых житейских испытаниях, каким была Розалия Марковна Боград.)

— Роза, мой дорогой и единственный человек, — волнуясь, тихо сказал Жорж, — я вечно буду благодарить небо за ту минуту, когда оно подарило мне тебя... Нет таких слов, которыми можно было бы выразить мои чувства... Я... я преклоняюсь перед твоим великим сердцем... Но я должен взять эти уроки, они мне необходимы... для равновесия души, для той же теоретической работы, наконец! Книги пойдут с перекосом, если я буду угрызаться мыслями о том, что у наших детей нет молока!

Розалия Марковна настаивала, убеждала, опровергала все доводы в пользу уроков, но Георгий Валентинович был неумолим. Густые его брови кустились хмуро и грозно, в глазах загорелись упрямые угольки бесповоротно принятого решения, го-

лова часто и резко откидывалась назад — «тамбовский дворянин» все отчетливее проступал из глубин своего потаенного убежища; и Розалия Марковна поняла: спорить бессмысленно — муж уже дал свое согласие на уроки в Кларане, и поколебать его убеждение в правильности сделанного шага не сможет никто и ничто.

Постоянный заработок внес успокоение в семейную обстановку. Беспокойство о материальном положении семьи ушло в прошлое, Роза училась в университете, постигая премудрости медицинских наук, дети ходили в муниципальный детский сад, удалось даже нанять постоянную прислугу для ведения домашнего хозяйства. И наладившийся наконец быт как бы прибавил Георгию Валентиновичу новые силы — время, уходившее на уроки в Кларане, сторицей окупалось страницами новых рукописей, хотя работать приходилось в основном по ночам. Писалось легко и быстро, голова была свободна от вязких мыслей о денежных неурядицах, впервые за много лет он получил возможность спокойно, регулярно и систематически заниматься научной работой.

Но ему самому, привыкшему к постоянным изменениям своей жизни, эта внезапно наступившая стабильность казалась чем-то неправдоподобным. Череда состояний, смена положений, чехарда ситуаций — весь сложный комплекс бесконечных превращений действительности — были для него азбукой понимания всех событий, происходящих в мире и в его собственной судьбе.

Постоянство изменений стало основой основ его мироощущения, в котором и все личные элементы не выходили из зоны притяжения этого незыблемого принципа.

И вот теперь жизнь вступала в твердые берега неменяющихся обстоятельств. Было в этом нечто беспокойное, непривычное, лишенное постоянной борьбы и ежедневного ощущения преодоленных препятствий.

...Необходимость зигзага, рокировки, перемены местами «плюсов» и «минусов», взрыва внутренней тишины возникает на этот раз почти как биологическая потребность всего организма, для которого покой и равновесие всегда были небытием.

И, может быть, именно потому, что жажда изменений «сушит» в те недели и месяцы не только душу, но и томит тело, рокировка обстоятельств происходит в самой неожиданной форме, бесконтрольно, вне пределов его психических возможностей, за чертой сознания и воли.

Организм перегружен непосильным для одного человека напряжением, резервы плоти исчерпаны до конца — ей нечем защищаться. И «плюсы» меняются местами с «минусами» стихийно, катастрофически. Зигзаг перемен поражает самое ослабленное место — физическое естество.

А дух неприступен. Дух не подвержен больше никаким изменениям. Дух отвердел в неопровержимой системе новых взгля-

дов и убеждений. Время метаморфоз духа прошло. Поиски мировоззрения завершены.

Беззащитна только плоть.

И плоть взрывается...

А внешне все выглядит самым невинным образом. По дороге из Кларана он пересекает на пароходе Женевское озеро. Дует легкий ветер. Стоя на корме, Жорж оживленно разговаривает с политическим эмигрантом из России Матевосом Шахазизяном, которого часто видел на своих лекциях. Матевос яростно ненавидит все нации, ранее угнетавшие и продолжающие угнетать его родину. Георгий Валентинович, смертельно уставший после уроков в Кларане, тем не менее всю дорогу упорно спорит с Шахазизяном, разбивая одну за другой все националистические позиции своего темпераментного собеседника.

Над озером моросит мелкий дождик. Жорж поднимает воротник, но с кормы не уходит.

— Значит, ты считаешь, товарищ Плеханов, что среди турок, зарезавших столько армян, у меня могут быть товарищи по классу?

— Конечно, могут. Армяно-турецкая вражда всегда была делом рук имущих слоев населения с обеих сторон. Твои постоянные враги — это и богачи турки, и богачи армяне. А каждый бедняк турок всегда был и будет твоим братом.

Дождь кончился, но ветер продолжает играть волнами. Пароходик медленно тащится через озеро, уныло шлепая по воде своими допотопными колесами.

— Значит, если человек бедный, — удивленно смотрит на Георгия Валентиновича своими огромными черными глазами Матевос Шахазизян, — то тогда и армянин человек, и турок человек?.. И даже курд?!

— Непременно! Разве ты забыл одно из самых главных положений марксизма — пролетарии всех стран, соединяйтесь?

Матевос озадаченно моргает глазами, морщит лоб, и вдруг широкая, счастливая улыбка озаряет его лицо.

— Значит, чтобы победить капиталистов, пролетарии разных стран должны резать не друг друга, а своих буржуев?

— Молодец! Сразу понял самое главное!

— Товарищ Плеханов, дорогой, дай скорее поцелую!..

Вечером Жорж рассказал домашним в лицах об этом замечательном разговоре на пароходе. Розалия Марковна хохотала до слез, когда муж показал, как, бешено закричав на все Женевское озеро «Змерть капиталу!», Матевос бросился обнимать его, Плеханова.

После двенадцати часов, уложив всех спать, Георгий Валентинович сел за статьи о Лассале для польского социал-демократического журнала. Работалось необыкновенно споро, Жорж видел перед собой лохматое, чернобородое лицо Матевоса, и ему казалось, что он пишет статью одновременно и для польских

читателей, и для армянина Шахазизяна на одном, понятном рабочим всех стран и национальностей языке.

А к утру его начали беспокоить боли в груди. Разбуженная кашлем мужа, Розалия Марковна вышла из комнаты, где спала вместе с детьми.

— Что с тобой? — тревожно спросила она. — Ты простудился?

Жорж бросил на нее мгновенный взгляд. Глаза его лихорадочно блестели.

— Роза, статейка, кажется, удалась!

— Тише, разбудишь девочек...

— Смерть капиталу!!

Розалия Марковна быстро подошла к письменному столу.

— Сколько ты написал страниц?

— Двадцать восемь — каково, а?

— На сегодня хватит, ты не спал уже целые сутки.

— Хорошо, хорошо, вот только прочитаю все еще раз...

— По-моему, надо измерить температуру...

— С превеликим удовольствием! Я просто мечтаю сделать это. Но только если получу градусник, ясновельможная пани, из ваших бесценных ручек...

Температура была 38,6. Розалия Марковна немедленно уложила мужа в кровать. Кашель усиливался. Днем пришел знакомый врач и определил простуду. Георгий Валентинович рвался подняться и снова сесть за статью о Лассале. Но Розалия Марковна понимала — дело обстоит гораздо серьезнее, чем обыкновенная простуда.

Через два дня другой врач, более опытный, нашел у Плеханова сухой плеврит.

Болезнь прогрессировала с какой-то невероятной стремительностью. Кашель сделался почти непрерывным. Георгий Валентинович задыхался. Температура, несмотря на все принятые меры, твердо держалась в районе сорока градусов.

Плеханов сильно похудел, лицо его осунулось, глаза ушли под лохматые брови глубоко и печально.

Розалия Марковна, встревоженная не на шутку, попросила одного из своих университетских преподавателей, профессора Цану, собрать консилиум.

Профессор, испытывая либеральные симпатии к русской революционной эмиграции и зная, что материальное положение семьи Плехановых оставляет желать много лучшего, согласился провести консилиум бесплатно.

Консилиум долго не мог собраться. Местные женевские профессора не понимали — почему они должны консультировать русского без всякого вознаграждения?

Наконец, усилиями Цану доктора все-таки собрались. И прежде всего их поразила сильнейшая степень истощенности организма больного. Почтенные, румяные, седобородые медики с удив-

леннем смотрели на землистое лицо русского эмигранта, утонувшее в подушках.

После первого же знакомства с анализами врачи быстро и многозначительно переглянулись. Зашелестели холодные латинские фразы. Розалия Марковна, услышав их, побледнела.

Анализы повторили.

Диагноз был единодушным — скоротечная чахотка.

Профессор Цану, не глядя на рыдающую Розалию Марковну, тихо сказал, что мужу ее осталось жить не более шести-семи недель...

Глава девятая

— Роза, пить...

— Жорж, это не Роза, это я, Вера Ивановна... Вот вода.

— Роза, воды...

— Жорж, милый, это я — Засулич. Пейте осторожно, маленькими глотками...

— Роза, пить скорее!..

— Жорженька, дорогой, неужели вы не узнаете меня?! Это же я — Вера, Вера, Вера!..

— Зачем — вера?.. Кому — верить?.. Для чего? Дайте хотя бы воды...

— Жорж, вы уже целый стакан выпили, больше нельзя...

— Кусок льда... очень прошу... пожалуйста...

— Господи, он ничего не слышит!

— Русского льда дайте... снегу... В России много снегу... У нас в Липецке большая зима, длинная... Россия большая... а здесь только слякоть... лужи и дождь... Скверно, плохо... Окно открыть... дышать нечем... где Вера Ивановна?..

— Я здесь! Я здесь!

— Все, конец... Как глупо... Тени, тени... В минерально-химическое царство... ухожу... Прощайте... Надо прощаться... Позовите детей... Нет, оставьте с Розой, вдвоем... Роза, прости... вспоминай... Мама, прости... И вы, папенька...

— Жорж, Жорж! Я Вера Ивановна!..

— Как жалко... Ничего не сделано... Только начато...

— Плеханов, не уходи! Не умирай!! Мне нечего будет делать на земле без тебя!..

— Кто плачет?.. Дождь... соленый... А умирать не надо, правильно, надо жить... Кто это? Вера Ивановна, вы?

— Господи, наконец-то!! Это я, это я! Жорженька, милый, вы слышите меня?

— Темно, душно... А где Роза?

— Она рядом, лежит в соседней комнате...

— Ей плохо?

— Сейчас уже лучше.

— Верочка, откройте окно...

— Все окна открыты...

— Вера, как я рад вас видеть... Вы со мной!.. Вера... Надо верить, надо верить...

— Все будет хорошо, Жорж... Вы поправитесь, вы уже выздоравливаете...

— Нет, Вера, я скоро умру... Я все знаю... От этого не выздоравливают...

— Господи, какие глупости вы говорите, Жорж! Просто стыдно слушать...

— Вера, Вера, какое вы все-таки смешное и наивное существо... Смерть рядом стоит, я вижу ее, вот она... не надо обманывать себя...

— Жорж, повторяйте за мной — Вера, Вера, Вера...

— Зачем?

— Повторяйте!!

— Вера... Вера... Вера...

— Надо верить Вере... Я выздоровлю, я поправлюсь...

— Смешно...

— Жорж, повторяйте — умоляю!

— Надо верить Вере... Надо бы, конечно, верить Вере Ивановне Засулич, что я поправлюсь, но увы...

— Никаких «увы»!.. Соберите всю свою волю, Жорж... У вас же огромная воля... Вам предстоит еще многое сделать, мы же действительно только начали...

— Природа не признает субъективных усилий, Вера. Природа всегда берет свое...

— Вера, Вера, Вера... Надо верить Вере...

— Вера, Вера... Надо верить... Сударыня, позвольте, да вы просто смешите меня...

— Жорженька, дорогой, смейтесь надо мной сколько угодно!.. Я буду специально смешить вас. Ну, повторяйте за мной: ха-ха-ха.

— Ха-ха-ха...

— Прекрасно! Замечательно! Великолепно!.. Жорж, хотите бульону? Отличный куриный бульон. Хотя бы две ложки, а?

— Бульон?.. Мда-а... Ну что ж, две ложки, пожалуй, можно...

— Вера Ивановна...

— Да, Жорж...

— Сколько сейчас времени?

— Половина третьего.

— Дня?

— Нет, ночи...

— А почему вы не спите?

— Я сплю.

— Сидя?

— А я люблю спать сидя.

— Тогда и я встану... У меня, знаете ли, статья о Лассале для польского журнала не окончена. Надо бы поработать...

— Жорж, если вы сейчас же не ляжете, я позову Розу...

— Ложусь, ложусь... Верочка, скажите — Роза была вчера на занятиях в университете?

— Была.

— А кто же сидел с детьми?

— Аксельрод.

— Павел? Он разве был здесь?

— Да, два дня. Уехал вчера вечером.

— Целых два дня? А почему я не видел его?

— Вы... задремали, когда он приехал...

— Задремал на два дня?

— Вам нездоровилось, и мы решили не беспокоить вас...

— То есть я опять потерял сознание, и на этот раз на два дня, не так ли?

— Ну, не совсем на два...

— Вера Ивановна, а сколько дней сидите около моей кровати вы? Только честно.

— Жорж, вам вредно так много разговаривать...

— По моим подсчетам, дней двенадцать, тринадцать... Вы примчались сюда через сутки после консилиума... Значит, прошло уже две недели из шести, отпущенных мне этим ветеринаром профессором Цану...

— О чем вы говорите, Жорж? Какие шесть недель?

— Не надо. Верочка... Я слышал профессорский диагноз в разговоре Цану с Розой. У меня, знаете ли, прекрасный слух. Мне бы на трубе в оркестре Мариинского театра играть, а я в социал-демократы подался...

— Вы ничего не могли слышать.

— Чахотка есть чахотка. Тем более скоротечная. Папенька от чахотки умер. И маменька тоже. Так что имеются все данные. Наследственное, как говорится, предрасположение.

— Я бы на вашем месте сейчас заснула...

— Нет уж, увольте. Два дня спал не просыпаясь. Аксельрода проспал... На том свете выспимся... А на этом дайте поговорить — только это мне и осталось... Ни на что другое я, видно, уже не способен...

— Уши вянут от ваших слов, Жорженька...

— А вы знаете, Вера Ивановна, я вам сейчас скажу кое-что очень важное... Я ведь, если как следует разобраться, почти ничего полезного для людей в своей жизни сделать так и не успел. Только начал, как вы совершенно справедливо изволили заметить...

— И это говорите мне вы, Плеханов?

— А что Плеханов?.. Ну что такое Плеханов?.. Нигилист, ниспровергатель, изгнанник... Чем он обрадовал человечество, этот Плеханов?.. Изобрел книгопечатание? Открыл законы электричества? Построил первую паровую машину?

— А группа «Освобождение труда»?

— «Освобождение труда»?.. А, собственно говоря, где она, эта группа? Игнатов умер, Дейч арестован... Из основателей оста-

лось только трое, а скоро... Впрочем, что же она успела сделать, эта так называемая группа?

— Основала «Библиотеку современного социализма» на русском языке...

— Так. Дальше...

— Выпустила две книжки некоего господина Плеханова...

— Весьма сомнительное достижение...

— Издала сочинение Фридриха Энгельса «Развитие социализма от утопии к науке».

— Энгельса? Вот это уже действительно полезно для человечества.

— Установила связь с социал-демократической группой Благоева в Петербурге...

— Да, да, это тоже — для человечества... Благоевцы, студенты Петербургского университета и Технологического института... Вели пропаганду среди рабочих... Первая социал-демократическая организация в России. Мы здесь, в Женеве, а они в Петербурге. Почти одновременно... Помните, Вера Ивановна, благоевцы прислали нам письмо, в котором писали, что у них уже есть своя социал-демократическая программа, и просили прислать материалы для своей газеты «Рабочий». Они ведь читали наши издания и даже изучали их...

— А вы им ответили письмом к петербургским рабочим кружкам...

— ...которое они и напечатали во втором номере своего «Рабочего», помните?

— Конечно, помню. Мы же обсуждали все вместе текст письма. Вы писали благоевцам, что социал-демократическая партия должна быть по преимуществу рабочей партией. А я попросила вас уточнить то место, где речь шла о том, что социал-демократия не может отталкивать от себя представителей других классов общества, так как подобная исключительность была бы совершенно несправедливой и создала бы целый ряд неудобств...

— ...которые поставили бы партию почти в безвыходное положение. Я сразу с вами согласился, Верочка... И тут же специально для благоевцев добавил, что революционная интеллигенция должна идти с рабочими, а крестьянство должно идти за ними. Только при такой последовательности социал-демократическая партия может сохранить свой рабочий характер и не впасть во вредную исключительность.

— И это вы не ставите в заслугу «Освобождению труда»? Ведь в группе Благоева читали нашу первую программу — они же прислали нам свои замечания...

— Как жалко, что их так быстро разгромили, а Благоева выслали из России...

— Но уже из Софии он отправил нам еще одно письмо... разве вы не помните, Жорж? По сути дела, это уже твердо установленная интернациональная связь, прямое теоретическое влияние.

Мы посеяли добрые семена марксизма в мыслях и чувствах этого молодого болгарина.

— Согласен, согласен... Но сеять их надо еще более широкой и щедрой рукой... А нас мало... Все, что мы сделали, — пока еще только один маленький зеленый росток на огромном невспаханном русском поле. Разве можно равняться нам с европейской социал-демократией? С немецкой, например, или французской?

— Жорж, все еще впереди... Мы стоим у начала дороги... Но у нас уже есть единомышленники и последователи в России...

— А сколько принесено жертв? Вася Игнатов в могиле, Левушка Дейч на каторге...

— Мы сделали только первые... Жорж!.. Жорж!.. Что с вами? Что с вами?

— Вера... окно... воды...

— Роза! Роза! Ему опять плохо!..

— Роза, где ты?..

— Жорж, я здесь...

— А Вера Ивановна?

— И она здесь...

— Разбудите детей... дайте лед... или снегу... очень трудно дышать... воды, пожалуйста...

— Вера Ивановна, он снова бредит...

— В Липецке... деревня... Гудаловка... речка... холодная... дайте воды из Гудаловки... луга заливные... за речкой... зеленые... стога в лугах... сеном пахнет... землей... яблоки моченые... Гудаловка... пчелы летают... лошади в ночном стоя спят... положат головы друг на друга... и спят...

— Вера Ивановна, что же делать? Что делать? Он погибает на глазах. Я этого не выдержу...

— Роза, не плачьте, успокойтесь... Надо вытаскивать его из болезни, надо рассказывать ему, вспоминать... Чтобы интерес к жизни не погас в нем...

— Верочка, двадцать третий день сегодня пошел... Три недели осталось...

— Жорж, у вас какая-то странная арифметика...

— Не у меня, а у него, у ветеринара...

— А мне кажется, что этот профессор Цану вообще ни черта не смыслит в медицине! У них тут в Швейцарии по поводу каждого прыщика консилиум созывают. Порезал палец — консилиум! Споткнулся — консилиум! Телячьи нежности.

— А у нас в России даже чуму топором лечат. Или дробью. Полстакана дроби на полстакана водки. И к утру как огурчик!

— Жорж, а не пора ли вам пообедать?

— Аппетита, Верочка, никакого...

— Тем более что Павел Борисович прислал сегодня великолепную сметану и творог... Кроме того, есть земляника, мед и гусиный паштет.

— Откуда у Аксельрода такие деньги?
— Землянику купили студенты...
— Какие еще студенты?
— Русские студенты из Женевского университета.
— Ну, Вера Ивановна, это, знаете ли, черт знает что!.. Я, может быть, действительно болен и беден... И в доме у меня столы стоят без скатертей... И семья моя спит на железных кроватях, укрываясь солдатскими одеялами... Но никаких подачек я принимать не собираюсь!
— Жорж, как не стыдно...
— Я не нищий, чтобы жить на милостыню русских студентов, обучающихся в Женевском университете!
— Люди от души...
— Лев Дейч сидит в кандалах на каторге в России, а Жорж Плеханов в это время в Женеве, видите ли, будет жрать гусиный паштет!.. Да за кого вы меня принимаете?
— При чем тут Дейч, когда туберкулез-то у вас?.. И вам нужно поправляться и набираться сил, чтобы заменить и Дейча, и Васю Игнатова... Ешьте немедленно землянику!
— Не буду я есть никакой земляники!
— Ешьте!
— Вы цербер, Вера Ивановна!
— А вы глупец!.. Берите сметану, кому говорят!
— Ну, хорошо, ложку сметаны я съем, но ареста Дейча я все равно никогда не прощу ни вам, ни себе— никому!
— Еще одну ложку...
— Какого дьявола, спрашивается, нужно было совать голову Дейча в лапы немецкой полиции?
— Вы рассуждаете как ребенок... Мы искали связи с Россией... Кому были нужны все наши марксистские издания, если их нельзя было переправить в Россию?
— А в результате и литературу не переправили, и Дейча потеряли...
— Жорж, вы капризничаете...
— Провал Дейча — позор для «Освобождения труда»! Пятно, которое никогда не будет смыто! Дейч заведовал всей конспирацией, всей техникой, всей практикой... Кто добывал деньги на типографские расходы? Дейч!.. Кто организовывал набор и печатание всех рукописей? Дейч!.. Кто брошюровал, переплетал, упаковывал и вел все наши почтовые дела? Опять же Дейч... А где теперь Дейч? В каторге на Каре!.. А мы сидим здесь без него как без рук — без денег, без связей, без новых изданий...
— Арест Дейча во Фрейбурге — чистая случайность.
— Но как же можно было посылать за границу с двумя сундуками нелегальщины человека, на котором висит обвинение, с точки зрения российской Фемиды, в покушении на убийство предателя Горионовича?
— Дейч при любых обстоятельствах пошел бы на встречу

с Гринфестом, потому что хотел как можно скорее отправить в Россию новый тираж нашей второй программы.

— Мы были обязаны отговорить его переправляться через границу в районе Фрейбурга.

— Теперь уже поздно вспоминать об этом... Кстати, Жорж, о нашей программе... Вам никогда не хотелось бы вернуться к некоторым ее формулировкам?

— С какой целью?

— С очень конкретной... В свое время первый проект нашей программы мы назвали «Программой социал-демократической группы «Освобождение труда».

— Ко времени составления первого проекта это было точное и оправданное название.

— Но после того, как Благоев сделал свои замечания и мы — вернее, вы — внесли их в текст, второй вариант получил иное наименование: «Проект программы русских социал-демократов».

— Это вполне естественно. Мы объединили с Благоевым свои программные положения.

— Но жизнь движется вперед, Жорж, не так ли? Не без влияния изданной нами марксистской литературы в России с каждым годом появляются все новые и новые кружки явно выраженного социал-демократического направления. Не пора ли нам еще более расширить название нашей программы?

— Например?

— «Программа русской социал-демократической рабочей партии».

— Нет, нет, Вера Ивановна, это преждевременно. Мы только теоретически основали русскую социал-демократию. Создание партии — дело будущего. Недалекого, я думаю, будущего. А сейчас наименование нашей программы вполне соответствует современному положению вещей, хотя отдельные ее места выглядят несколько расплывчато и по своей абстрактности дальше самого общего марксистского, так сказать, заявления не идут...

— Жорж, а помните то место программы, где говорится, что конечной целью русских социал-демократов является коммунистическая революция и полное освобождение труда от гнета капитала...

— ...которое может быть достигнуто путем перехода в общественную собственность всех средств и предметов производства... Я, Верочка, все это почти наизусть знаю. Каждая строчка «набухла» проклятиями старых друзей... Иногда я закрываю глаза и вижу перед собой Лаврова, этого ослепшего певца, этого унылого Гомера нашей революции...

— Прекрасно сказано, Жорж!

— И какая-то тоскливая досада берет меня за его опрокинутый в прошлое сильный и совестливый русский ум. Хочется просто поднять ему, как гоголевскому вию, набрякшие предрассудками утопического социализма старческие веки... И я начинаю мысленно спорить с ним, начинаю на расстоянии вдалбли-

вать ему в голову нашу программу — слово за словом, слово за словом... Вот и выучил наизусть.

— Это естественно. Тем более что главным автором программы являетесь вы.

— Нет, нет, не согласен. Программа — плод коллективного труда.

— Предположим... Так вот, в этом коллективном труде есть такая формулировка: русские социал-демократы считают первой и главнейшей своей обязанностью образование революционной рабочей партии...

— Да и вы, Вера Ивановна, оказывается, знаете программу наизусть...

— ...а целью борьбы рабочей партии с абсолютизмом является завоевание демократической конституции...

— Цитируете совершенно точно...

— Теперь подойдем к проблеме с другой стороны... В ходе надвигающейся в России буржуазной революции русская социал-демократия, разумеется, не только выдвинет свои программные положения, но и будет способствовать их осуществлению, не так ли?

— Безусловно.

— А практическим исполнителем социал-демократических программных положений на деле, то есть в революционной практике, станет рабочий класс...

— Не только. Тут вы, уважаемая Вера Ивановна, кое-что упускаете из виду... В программе четко и ясно сказано, что решающей силой российской революции должны стать требования рабочего класса. А потом говорится, что эти требования благоприятны не только интересам промышленных рабочих, но и интересам крестьянства. И поэтому, добиваясь их осуществления, рабочая партия проложит себе широкий путь для сближения с земледельческим населением...

— Да я же как раз к этому и веду разговор!

— Одну минуту, Верочка, одну минуточку... У меня, знаете ли, сейчас наши формулировки по крестьянскому делу вдруг начали вызывать какое-то беспокойство... Слов нет, мы самым категорическим образом ставим в программе вопрос о радикальном пересмотре крестьянской реформы. А вот союзником рабочей партии называем только беднейшую часть крестьянства... Тогда как этим союзником в буржуазной демократической революции — подчеркиваю: демократической! — могло бы стать, наверное, все крестьянство, и особенно его средняя, трудовая прослойка.

— Жорж, а не кажется ли вам, что для того, чтобы снять это беспокойство по поводу крестьянских формулировок, нам и надо двинуть нашу программу на новый этап. И, дав ей более широкое наименование, то есть называя ее не только программой русских социал-демократов, но, как я и предлагаю, программой русской социал-демократической рабочей партии, уточнить в этой будущей программе все теоретические положения.

— Нет, Вера Ивановна, я с вами решительно не согласен. Рабочей партии в России еще нету — она находится в зародыше... Нельзя желаемое выдавать за действительное... Поправки в нашу программу будет вносить сама жизнь: развитие социалистической теории, и в частности — развитие русской общественной мысли, а самое главное — рост рабочего движения, как во всем мире, так и в нашей благословенной матушке-России. Нам же дóлжно заниматься сейчас самым важным для России практическим делом — продолжать вносить элементы марксистской мысли в сознание передового русского общества, продолжать переводить, издавать и отправлять в Россию сочинения Маркса и Энгельса... Будем укреплять наши усилия надеждой на то, что в будущем программа группы «Освобождение труда», может быть, и станет основой программы российской социал-демократической рабочей партии, когда время для возникновения такой партии наступит... И оно не за горами... История сломя голову мчится именно в нашу сторону. Я это чувствую. И знаю...

— Жорж, кстати сказать, а как вы себя вообще чувствуете?

— Представьте себе — намного лучше. Мне даже кажется иногда, что наш почтенный ветеринар профессор Цану может блистательно оконфузиться со своими шестью неделями...

— Дай-то бог!..

— Правда, некоторая усталость ощущается...

— Еще бы! У вас постоянно держится температура... Между прочим, сейчас как раз пора принимать лекарство. Да и температуру измерить не мешает.

— Вера Ивановна, разрешите задать вам один нескромный вопрос... Когда вы спите?

— Тогда же, когда и вы. Мы в это время меняемся с Розалией Марковной.

— А если ее нет дома?

— Приходит кто-нибудь из друзей.

— Судя по тому, что я сплю очень мало, вы не спите совсем.

— Жорж, я сплю совершенно достаточно.

— А если и вы заболеете? Что же тогда останется от «Освобождения труда»? Один Павел Аксельрод... А ведь он у нас мелкобуржуазный элемент, у него частная собственность на руках — молочное кафе, ему семью содержать надо...

— Я не заболею, у меня семьи нет... И никакой частной собственности, кроме рукописей...

— Вы бы все-таки пошли, Верочка, отдохнуть. Я вполне могу побыть один... Я, знаете ли, чувствую себя уже эдаким Ильей Муромцем, а может быть, даже Давидом и Голиафом одновременно.

— Хорошо, я пойду прилягу... Но вы должны принять лекарство и смерить температуру.

— Условия принимаются...

Вера Ивановна Засулич отбила Плеханова у болезни.

Спустя два месяца после вынесения своего диагноза профессор Цану, осмотрев «безнадежного» больного, вышел в соседнюю комнату и удивленно сказал Розалии Марковне:

— Это уникальнейший в медицине случай, коллега. Человек должен был умереть, но усилием воли остановил разрушение собственных легких. Потрясающий факт!

— Ему нельзя умирать, профессор, — тихо сказала стоявшая рядом Вера Ивановна. — Ему надо довести до конца революцию в России.

— Весьма уважительная причина, — согласился, улыбнувшись, Цану, — но для этого придется жить только на горных курортах — Божи, Аннемас, Давос... Климат Женевы, сырой и ветреный, абсолютно противопоказан.

Когда он ушел, на глаза Розалии Марковны навернулись слезы.

— Горные курорты... — горько вздохнула она. — О каких горных курортах может идти речь, когда в доме нет буквально ни одного франка? Только чудо может спасти его.

Вера Ивановна — осунувшаяся, похудевшая, кутаясь в старую потертую шаль, твердо сказала:

— Деньги будут...

Засулич написала письмо Сергею Кравчинскому в Лондон. «Сергей, — писала Вера Ивановна, — жизнь Плеханова висит на волоске. Первый натиск чахотки нам удалось отразить, но она может вернуться каждый день... Я думаю, не надо объяснять, что Жорж — это половина нашего дела, если не больше. Плеханов — мозг революции. Его здоровье для будущего России сейчас важнее, чем жизнь любого из нас. Нужны «суммы», чтобы окончательно вылечиться на горных курортах...»

И чудо произошло: Кравчинский достал деньги.

Вера Ивановна перевезла Плеханова в горную деревушку Морне. Георгий Валентинович постепенно поправлялся — медленно выходил на прогулку, подолгу грелся на альпийском солнце, глядя на зеленеющие внизу яркие луга. Горный воздух делал свое дело — жизнь возвращалась к Плеханову.

Деньги из Лондона приходили регулярно, с точностью часового механизма. Сергей Кравчинский, сам испытывая огромные материальные затруднения, ни разу не задержал перевода ни на один день.

Это дало возможность перебраться сначала в Божи, а потом в Давос — крупнейший туберкулезный курорт Европы. Была снята комната в самом дешевом пансионате. Вера Ивановна — смешная, нелепая, в единственном своем старомодном платье, в стоптанных туфлях — привозила необходимые книги, газеты, рукописи, помогая Жоржу снова «войти в форму». Рукой Засу-

лич под диктовку Георгия Валентиновича были написаны первые его после болезни статьи.

Сама Вера Ивановна жила впроголодь, экономя каждую копейку для оплаты пансионата Плеханова. Нередко с ней случались голодные обмороки, кружилась голова, отнимались ноги. Но она ото всех скрывала свое болезненное состояние. Главным для нее было поставить на ноги Жоржа — вернуть группе «Освобождение труда» боевое перо ее лидера.

Два человека сидели в кафе Ландольта на улице Каруж в Женеве.

— ...и этот блестящий ученый, этот мыслитель европейского уровня — философ, историк, экономист, диалектик, — горячо говорил по-русски первый собеседник, — живет в нищенских унизительных условиях, без всяких средств, без какого-либо твердого обеспечения, зачастую не имея денег на еду для себя и своей семьи!..

— Вы о Плеханове? — поинтересовался второй собеседник. У него была странная манера вести разговор — он сидел почти боком к говорившему, высоко подняв голову. Человек этот был слеп от рождения.

— Конечно, о Плеханове! Он только что выкарабкался из туберкулеза... Спасла Вера Засулич... Тоже феномен!.. Быть знаменитой на всю Европу своим выстрелом в петербургского градоначальника — и сорок суток просидеть у постели больного... Какая-то фантастическая жертвенность! Вплоть до полного самоотречения и даже самоуничтожения во имя идеи!.. Никаким древнегреческим героям и титанам не снилась такая высота духа...

— Так вы говорите, что Плеханов материально очень плох? — задумчиво спросил слепой.

— Хуже не бывает... Духовный вождь нового направления в русской революции, а вынужден зарабатывать на хлеб насущный какими-то жалкими уроками... Да и тех теперь лишился после болезни. Только у нас, в России, могут так пошло, так бездарно бросаться своими великими пророками!

— Не преувеличиваете?

— Нисколько!.. Ему из наших заграничных оракулов никто в подметки не годится! Он же марксист, властитель дум, на него вся здешняя социалистическая молодежь молится, как на святого!.. Его сам Энгельс выше всех в русской революции ставит.

— А ваше личное к нему отношение?

— Преклоняюсь... В полном смысле этого слова.

— Вы, очевидно, уже знаете, — тихо сказал слепой, — что я располагаю некоторыми средствами. Не могли бы вы от своего имени предложить кое-что Плеханову... Я бы хотел, естественно, остаться в стороне.

— Для себя лично не возьмет ни копейки!.. Это уже прове-

рено. Бессребреник, чистейшая душа!.. Все отдаст на марксистские издания.

— Издания? Это любопытно. Меня как раз именно это и интересует. Хотелось бы распорядиться деньгами в пользу какого-нибудь стоящего нелегального журнала... Вы не могли бы коротко свести меня с Плехановым?

— Хоть сегодня!.. Впрочем, лучше завтра. Надо предупредить заранее. Он очень строг к своему времени. Все расписано до получаса, минуты зря не потеряет... Мы иногда здесь просто удивляемся — после болезни еле на ногах держится, а дисциплинирован, как римский легионер.

— Вы что-то очень уж расхваливаете своего Плеханова...

— Да ведь есть за что... Редкого обаяния человек, я таких, признаться, никогда и не встречал. Впрочем, завтра сами убедитесь... Я вам твердо обещаю — получите наслаждение... Но хочу дать совет: говорите с ним кратко, ясно, определенно, без всяких исповедей. Он их терпеть не может.

— Меня это устраивает. Я человек деловой, к излишней чувствительности тоже непривычен.

— И никаких витиеватых речей, никаких заумных разговоров по поводу того, что, мол, счастливы беседовать с самим Плехановым, с ним не затевайте. Можете нарваться на злую шутку. Он собеседника сразу отгадывает, на всю глубину, с первых двух-трех фраз. А ироничен и насмешлив, как бес.

— Вы, милейший, нарисовали такой отталкивающий портрет, что мне теперь с вашим Плехановым и встречаться-то не захочется...

— Я специально взял самую крайнюю степень, чтобы предупредить и подготовить вас... Жорж — человеческий экземпляр противоречивый и сложный, но, повторяю, — великолепный!.. Если сладитесь, он сам перед вами душу раскроет. За тридцать-сорок минут узнаете такое, о чем раньше просто и не догадывались. И совершенно по-другому начнете понимать жизнь. Как будто заново на белый свет появились.

Слепым человеком, ведшим разговор в кафе Ландольта на улице Каруж в Женеве, был приехавший из России известный адвокат Кулябко-Корецкий. После нескольких встреч с Плехановым он предоставил в распоряжение группы «Освобождение труда» значительную сумму денег, которая позволила молодым русским марксистам издать первый русский социал-демократический периодический сборник. Он так и назывался — «Социал-демократ».

Со страниц сборника голос Плеханова, умолкший было на время болезни, зазвучал с новой силой. И прежде всего в рецензии на вышедшую в Париже книгу Льва Тихомирова «Почему я перестал быть революционером».

Едко, неопровержимо, уничтожающе высмеял Георгий Валентинович «покаянную философию» Тихомирова и его реверансы

перед российским самодержавием. Плеханов назвал его книгу печатным дополнением к рукописному прошению о помиловании.

Это выступление Плеханова поставило тавро на судьбу ренегата Тихомирова, одного из главных врагов нарождающегося русского марксизма в русском освободительном движении.

Вера Ивановна Засулич два экземпляра «Социал-демократа» послала в Лондон.

Один — Сергею Кравчинскому.

Второй — «по начальству», Энгельсу.

— Розалия Марковна, у меня к вам один вопрос...

— Вера Ивановна, случилось что-нибудь?

— Нет, ничего особенного... Просто...

— Слушаю вас, Верочка.

— Может быть, я и не имею права задавать вам сейчас этот вопрос...

— Верочка, наши отношения, по-моему, дают нам право задавать друг другу любые вопросы.

— Роза... вы... беременны?

— Ах, это... Я должна отвечать?

— ...

— Да.

— Кого вы хотите родить от больного туберкулезом человека?

— Вера, Вера...

— И для чего? Чтобы он унаследовал мучения отца?

— Ребенка хотела не я, а он...

— Но вы же женщина! Мне ли вам объяснять, что если бы вы...

— Вера, вы ревнуете?

— Вздор!.. Чем вы будете кормить троих детей? Вы подумали об этом?

— В конце концов...

— В конце концов все заботы снова лягут на его голову!.. И он снова надорвется!..

— Верочка, но ведь и вы тоже женщина. Как вы не понимаете...

— Я женщина? Никакая я не женщина! Я марксист в юбке!

— Не наговаривайте вы на себя...

— Третий ребенок будет заставлять его перенапрягаться, отрываться от главного...

— Как это все непохоже на вас, Вера...

— Да, да, непохоже! Я давно уже непохожа сама на себя со своей одинокой бабьей жизнью... А вы хотите иметь сразу все — семью, мужа, любовь, детей, профессию!

— Ну, вот что...

— А у меня есть только одно — наше дело!.. И он — как самое лучшее, самое благородное, самое прекрасное выражение наших идей!.. Зачем же вы хотите укоротить его век, зачем хотите отнять его у нас?

— Вера Ивановиа, есть такие стороны жизни, обсуждать которые мне не хотелось бы даже...

— ...

— Вы вторгаетесь в обстоятельства...

— Простите меия, Роза... Я, кажется, не владею сейчас собой...

— ...

— Роза, не продолжайте, умоляю вас!

— Верочка, милая, извините и мне этот тон... Я тоже... тоже...

— Не плачьте, Роза...

— Если бы вы знали, если бы вы только зиали, как мне тяжело...

— Возьмите мой платок...

— Я ужасно чувствую себя — все время иа грани острейшего отравления. Питаиие совсем не то, он болен, денег нету...

— Я достану деньги! Я напишу Аксельроду... Павел обязательно поможет... Он же боготворит Жоржа...

— Вы знаете, Верочка, однажды он очень сильно закашлялся... С кровью... И вот в этот день он сказал мне, что боится раио умереть, что обязан до конца жизни сделать как можио больше, что он хочет сохраииться в памяти людей, продолжиться в своих книгах и детях...

— Я завтра же напишу Аксельроду!

— Вера, дорогая, не казните вы меня своим сердцем... Только ангел...

— Не иадо, Роза, не надо...

— Спасибо вам за все, и простите, простите...

— Не плачьте, вам вредно сейчас волноваться...

— Вера Иваиовна, вы знаете, что меня высылают из Швейцарии?

— Да, Жорж, знаю.

— Хотелось бы все-таки понягь — за что?.. Хотя, с точки зрения любого правительства, субъект моего пошиба — всегда и везде персона весьма иежелательная.

— А вы до сих пор не знаете, за что вас конкретно высылают?

— В полиции что-то говорили, но я, конечио, все пропустил мимо ушей...

— О Гегеле, наверное, думали в это время.

— Верочка, как вы отгадали? Именно о Гегеле.

— Мне ли вас не знать, господин Плеханов...

— Так что же там стряслось? За что гонят из самой свободной республики?

— Два русских террориста под Цюрихом испытывали в горах бомбу...

— Народовольцы?

— Они самые. Бомба взорвалась неудачно, обоих ранило, один потом умер...

— Тысяча чертей! Когда же кончится это затянувшееся детство, эта игра в революцию!

— И вот теперь кантональные власти выпроваживают из своих кантонов всех русских эмигрантов без разбора, подозревая каждого в потенциальном анархизме.

— Бред, нонсенс, фантасмагория! Ну, какой же я анархист, когда я чуть ли не первый противник террора и самый что ни на есть махровый марксист? И кричу об этом уже много лет со всех углов?

— А вы хоть знаете, господин махровый марксист, что Розу с детьми тоже собираются выслать из Швейцарии вместе с вами?

— Розу с детьми? Но это невозможно — ей рожать через два месяца. Так что же делать?

— Роза хочет обратиться к университетским профессорам. Могут помочь.

— В чем конкретно?

— Остаться в Женеве.

— Кому? Мне?

— Да при чем тут вы? Почему вы все время думаете только о себе? Ей самой и детям... Перед родами сниматься с места с двумя детьми — это равносильно смерти третьего ребенка.

— Вера Ивановна, а почему вам о делах моего семейства известно все гораздо лучше, чем мне самому?

— А вы разве замечаете вокруг себя что-нибудь другое, кроме своих книг и рукописей?

— Это обвинение?

— Нет, горькое наблюдение.

— Мда-а... Ну, что ж, принимается к сведению.

— Жорж, не обижайтесь...

— Все справедливо, все правильно, Верочка... Я действительно с головой зарываюсь иногда в свои бумаги и забываю обо всем... Хочется, знаете ли, добраться до самых глубин истины, до первопричины... Но чувствую — не хватает сил, чисто физических... Туберкулезик мой все-таки дает себя знать...

— Я всегда рядом и готова взять на себя всю техническую часть вашей работы. Вы же поручаете мне готовить вам необходимые цитаты...

— Это другое... Понимаете, Вера, хочется открыть нечто неопровержимое... Хочется сделать что-то навсегда — с покушением на вечность. Написать, например, пушкинское: я помню чудное мгновенье... Или: из искры возгорится пламя... Но проза жизни бьет по рукам — семья, дети, хлеб насущный...

— Если Розу оставят в Швейцарии, вам надо будет получить разрешение на однодневные приезды к ней в Женеву после родов.

— Приезды в Женеву? Откуда?

— Но вас же высылают из Швейцарии... Где вы собираетесь жить — в Италии, Франции, Германии?

— Черт возьми, опять эмиграция... Гонят отовсюду... Из Рос-

сни в Швейцарию, из Швейцарии — неизвестно куда... Эмиграция из эмиграции...

— Я думаю, что нам лучше всего поехать во Францию, в Морне. Деревушка стоит на самой границе. Да и место знакомое — мы жили там во время вашей болезни, помните? Прекрасный горный воздух — заодно и подлечитесь...

— Нам поехать?.. Я не ослышался?.. Вы хотите сказать, что поедете вместе со мной?

— Жорж, я ведь не только сиделка и переписчица ваших рукописей. У меня самостоятельная политическая биография... Меня тоже высылают из Швейцарии.

— Что вы говорите?.. Вера Ивановна, дорогая, извините, ради бога... Я болван, глупец, слепец... Это же просто замечательно, просто великолепно, что и вас высылают! Будем снова вместе работать, бороться, бить нового защитника самодержавия, горереволюционера господина Тихомирова!

— Да, великолепно... Кроме того, что Роза больна и после нашего отъезда будет рожать здесь совсем одна...

— Жорж, как вы очутились в Швейцарии?

— Павел, я в отчаянии.

— Вы вернулись нелегально, без разрешения?

— Все вопросы потом... Роза и дети шесть дней ничего не ели... Я получил от нее письмо, они умирают с голоду. В доме нет ни сантима денег, ни крошки хлеба... В кредит дают только молоко... Розе скоро рожать, дети болеют... А меня в это время отрывают от них и выгоняют как бродячую собаку!

— Я немедленно вышлю деньги!..

— Павел, умоляю — телеграфом!

— Безусловно!

— Это еще не все... Их выселяют из квартиры... Роза пишет, что приходил домохозяин... Если завтра до вечера не будет внесено двести пятьдесят франков, их вышвырнут на улицу... Я не могу этого позволить!.. Если это произойдет, я за себя не ручаюсь...

— Жорж, успокойтесь.

— Павел, я поеду к ним в Женеву, несмотря ни на какие запреты!

— Это глупо. Возьмите себя в руки. Арестуют и продержат в полиции бог знает сколько времени.

— Но ведь ей скоро рожать... Вы понимаете — рожать!.. А она умирает с голоду...

— Деньги будут посланы сегодня, сейчас же, через сорок минут... Вам нельзя появляться в Женеве. Возвращайтесь в Морне, к Засулич... А в Женеву поеду я. Завтра утром я буду у Розы и все улажу с квартирой.

— Обещаете, Павел?

— Даю слово.

— Если все кончится хорошо, я буду обязан вам до последнего своего смертного часа.

— Жорж, нам ли с вами говорить друг другу такие слова? Наши жизни переплетены общей судьбой нерасторжимо. Было бы нелепо, если бы я не сделал сейчас для вас все, что могу...

— Спасибо, Павел...

— В изгнании дружба и помощь — наше единственное оружие против превратностей бытия. Больше нам защищаться нечем.

— Спасибо, Павел, спасибо...

— Жорж, я получила письмо из Лондона от Кравчинского... Вы слышите меня?

— Да, Вера Ивановна, слышу...

— Он пишет, что наш «Социал-демократ» очень понравился Энгельсу.

— Я рад...

— Сергей спрашивает: знаем ли мы о том, что в Париже скоро соберется первый конгресс Второго Интернационала?

— ...

— Вы слышите меня, Жорж?.. Вы понимаете, с чем я говорю?

— Да, да, понимаю... Это вполне естественно, Второй Интернационал... После роспуска Первого Интернационала и смерти Маркса в Европе давно уже нет центрального органа, который объединял бы вокруг себя социалистов разных стран... А будущая социалистическая революция возможна только как явление международного характера. Это записано во втором проекте нашей программы.

— Жорж, о чем вы сейчас думаете?

— О ней...

— О Розе?

— Да. Может быть, она уже родила, а я ничего еще не знаю об этом...

— Мы бы получили известие...

— Какое печальное занятие, Вера, наша жизнь... Мы вечные изгнанники, у нас все отнято — родина, обеспеченность, устойчивое положение... По сути дела, мы лишены элементарных, естественных человеческих радостей и удобств...

— Не надо грустить... Все еще впереди... Нужно ждать и надеяться...

— Сколько можно ждать?.. Годы проходят, а мы все надеемся, ждем...

— Мы сами взвалили себе на плечи эту ношу. Никто не заставлял нас брать на себя ответственность за будущее нашей родины, за будущее истории...

— Этим можно утешаться?

— В этом нужно видеть надежду.

— Жестокая штука история, Вера, не так ли?

— И тем не менее мы вмешались в нее. Назад хода нет.
— Не слишком ли резво бросились мы вносить поправки в историю?
— Не говорите так... Это не лучшие ваши слова.
— Вы правы. Минута слабости... Надо верить Вере?
— Да, надо верить...

— Вера, Верочка!.. Она родила, она родила!
— Ну, слава богу...
— Я счастлив, Верочка!
— Кто же родился? Мальчик?
— Нет, опять девочка... Я поеду в Женеву, я обязан ехать... Там сейчас Аксельрод, он дежурил в больнице... Вы представляете — Павел все бросил и помчался в Женеву...
— Только будьте осторожнее, Жорж, прошу вас...

— Ну, как там, что там?.. Как Роза, как малышка?
— ...
— Жорж, да не молчите же вы, ради бога!
— Все очень плохо... Роды были ужасные... Ребенок слаб, Роза в тяжелейшем состоянии... Мне дали пробыть около них всего один день... Полиция ходила по пятам...
— Какие сволочи!
— Роза была почти при смерти... У нее жуткое истощение... Нужны лекарства, продукты и деньги... Деньги, деньги, деньги! Если бы не Аксельрод, я сошел бы с ума. Павел отдал все, что у него было...

— Жорж, Кравчинский пишет, что Лафарг зовет нас на марксистский конгресс в Париже.
— Вера, а кого мы будем представлять на конгрессе?
— Русскую социал-демократию, разумеется.
— Но ни одна организация рабочих в России не уполномочивала нас. Мы не можем быть самозванцами.
— Сергей уверяет, что наша группа соответствует требованиям конгресса: мы издаем орган научного социализма — «Социал-демократ», находимся в связи с рабочими кружками в России, в которых изучают изданную нами литературу, которые одобряют нашу программу и разделяют наши взгляды.
— Но мы же формально никем не избраны на конгресс.
— Только формально. В силу специфических русских условий...
— Опять специфические русские условия!
— ...но, по существу, мы являемся такими же представителями русских рабочих, как Лафарг и Жюль Гед — французских, а Бебель и Либкнехт — немецких.
— Кто же должен ехать от нас в Париж?
— Естественно, вы и Аксельрод.
— Нет, нет, я никуда не поеду... Роза изнемогает от после-

родовой болезни, маленькая слабеет с каждым днем... И нет никаких денег! Даже на дорогу до Парижа!

— Предположим, на билет до Парижа мы иаскребем...

— А обратно?

— Отправит Лафарг. Как устроитель конгресса.

— Господи, до чего же все-таки нищенская и воистину люмпенская организация эта «Освобождение труда»!

— Вот подлинные слова Кравчинского: если бы здоровье позволило Жоржу приехать в Париж, он произвел бы очень хорошее впечатление и не посрамил русского имени.

— Нет, я все равно не поеду. Это было бы предательством по отношению к Розе и детям, особенно к маленькой... Я могу потерять их...

— А по отношению к русским рабочим?..

— ...

— По отношению к сотням и тысячам русских пролетариев, которые ждут освобождения своего труда от ига капитала?.. Зачем же было тогда затеваться и принимать название «Освобождение труда»?.. Зачем ушел в могилу Вася Игнатов, отдав свои деньги вместо лечения на нашу типографию, пожертвовав собой?.. Зачем на каторге Дейч?.. Зачем вытряхнул из карманов последние копейки слепой Кулябко-Корецкий на издание нашего сборника?

— ...

— Жорж, в конце концов вы не хуже меня знаете, что главным инициатором конгресса является сам Фридрих Энгельс... И вы понимаете, какое значение придает Энгельс парижской встрече всех европейских марксистов... Так неужели вы думаете, что старику не приятно будет услышать с трибуны конгресса именно русского марксиста?

— Вера, я еду... Хотя моей семье эта поездка может обойтись очень и очень дорого...

Париж праздновал столетнюю годовщину со дня взятия Бастилии. С феерической щедростью и фантазией город был украшен цветами и флагами. Повсюду — на Елисейских полях, на Больших бульварах, набережных Сены, в Латинском квартале, Люксембургском саду, Тюильри — ходили, пели, улыбались, смеялись тысячи нарядно и торжественно одетых, ликующих парижан.

...Жорж Плеханов и Павел Аксельрод стояли в густой, притихшей толпе народа на Вандомской площади перед зданием министерства юстиции, с балкона которого комиссар Коммуны Феликс Пиа объявил когда-то решение Совета Коммуны о низвержении Вандомской колонны.

— Интересно, чего они ждут? — спросил Аксельрод, оглядываясь по сторонам.

— Очевидно, того же, что и мы, — ответил Плеханов.

— А чего ждем мы?

— Может быть, повторения Коммуны? — усмехнулся Жорж.

Почти молитвенная тишина висела над Вандомской площадью. Люди стояли неподвижно, не шевелясь, храня полное молчание.

— Наверное, это манифестация в честь памяти павших героев Коммуны, — высказал предположение Плеханов. — Особая, стоячая манифестация.

Ветер, подувший со стороны сада Тюильри, принес с собой легкий шелест деревьев.

— Тихий ангел пролетел, — шепотом сказал Аксельрод. — Тихий ангел свободы...

— А может быть, не просто свободы, — быстро повернулся к нему Жорж. — И не тихий, а громкий, а? И не ангел, а громогласный архангел неизбежного торжества рабочего дела!

Он был очень возбужден в этот день — в этот необычный солнечный летний день под ослепительно синим парижским небом, по которому ветер стремительно гнал большие белые облака.

В этот цветистый, праздничный, пестрый и шумный, в этот сине-бело-красный (свобода, равенство, братство!), как флаг Французской республики, день в Париже начал свою работу Международный социалистический конгресс — первый конгресс Второго Интернационала, Всемирного товарищества рабочих и пролетариев всех стран.

— ...слово представителю Союза русских социал-демократов гражданину Георгию Плеханову!

Он медленно шел между рядами делегатов конгресса — сухощавый, легкий, чуть сгорбленный еще гнездившейся в нем болезнью.

Поднялся на трибуну. Выпрямился. Расправил плечи. И вдруг усмехнулся, его красивое бледное лицо — огромный лоб, орлиный нос, косматые брови — осветилось полетом мысли.

Он вспомнил свое недавнее нежелание ехать в Париж. Теперь оно показалось ему смешным. Он стоял перед форумом марксистов Европы. Вот они — Бебель, Лафарг, Жюль Гед, Либкнехт, Элеонора Эвелинг. (Жаль только, Энгельса нет — старик не смог приехать по нездоровью.)

И отныне он, Георгий Плеханов, твердо знал, что в его жизни больше не может быть таких преград, которые он не смог бы преодолеть, чтобы вывести русский рабочий класс, русскую социал-демократию на международную арену.

— Граждане! — начал он. — Вам, может быть, странно видеть на этом рабочем конгрессе представителей России — России, где рабочее движение до сих пор, к сожалению, слишком слабо. Но мы думаем, что революционная Россия, во всяком случае, не только не должна держаться в стороне от новейшего социалистического движения Европы, но что, наоборот, теперешнее сближение ее с ним принесет большую пользу делу всемирного пролетариата...

Он нашел взглядом Аксельрода. Павел делал ему ободряющие знаки... Потом увидел лицо Жюля Геда — в знак согласия старый парижский знакомый кивнул своей величественной шевелюрой и черной как смоль бородой, поправил пенсне на шнурке и снова кивнул.

Русоволосый Август Бебель, приложив к уху ладонь, слушал заинтересованно, доброжелательно. Зато строгий, профессорский профиль Либкнехта был очерчен настороженно и недоверчиво.

Но больше всего запомнился Плеханову в ту минуту Лафарг. Лучистой своей улыбкой он вроде бы заранее во всем соглашался с молодым русским марксистом, поддерживал его на расстоянии, одобрял каждое его слово.

А рядом с Лафаргом нестерпимым блеском сияли два огромных черных глаза. (Жорж даже вздрогнул, когда наткнулся взглядом на эти распахнутые напряженные черные глаза.) Это была Элеонора Эвелинг, дочь Маркса... Большой белый кружевной воротник, вороненая с завитушками челка, и очень определенное, четко волевое лицо, с которого смотрели на Плеханова глаза Маркса...

И, как бы зарядившись новой энергией от всех этих бесконечно дорогих сердцу и безгранично близких по духу людей, Георгий Валентинович говорил теперь с еще большей убежденностью, с еще большей уверенностью в необходимости довести до сведения делегатов конгресса свои мысли и наблюдения о первых, наиболее ярких событиях капиталистической «биографии» России, о первых шагах русского рабочего класса, о чудовищной сущности царизма, наложившего свою одряхлевшую лапу на духовные и материальные богатства огромной страны.

...Металлическая дужка очков одного из делегатов давно уже привлекала его внимание. Густые, длинные волосы хозяина очков серебристой волной падали на плечи. Это был Петр Лавров.

И, подводя итог давнему спору с человеком, которого он когда-то считал одним из своих учителей, Жорж сказал, глядя на металлическую дужку:

— Силы и самоотверженность некоторых русских революционных идеологов могут быть достаточны для борьбы против царей как личностей, но их слишком мало для победы над царизмом как политической системой...

Лавров поднял голову, нахмурился, что-то сказал соседу, а потом улыбнулся рассеянной улыбкой пожилого интеллигента, для которого уже не столько важна суть любого острого разговора, сколько необходимо сохранить при этом воспитанность — в пределах общепринятого этикета, который, как известно, не каждому живущему в Европе русскому человеку был доступен.

А Жорж Плеханов заканчивал свое выступление, стараясь теперь встретиться взглядом только с Элеонорой Эвелинг, в больших черных глазах которой он видел нечто такое, что возможно было увидеть в ту минуту, может быть, лишь ему одному из всех делегатов конгресса:

— Задача российской революционной интеллигенции сводится,

по мнению русских социал-демократов, к следующему: она должна усвоить взгляды современного научного социализма, распространить их в рабочей среде и с помощью рабочих приступом взять твердыню самодержавия. Революционное движение в России может восторжествовать только как революционное движение рабочих. Другого выхода у нас нет и быть не может!

...Это была высшая точка его жизни в то время. Через пять месяцев ему должно было исполниться тридцать три года. Символический возраст начала дороги в бессмертие.

Итак, молодые русские марксисты, молодая русская социал-демократия во всеуслышание — на всю Европу! — заявили о своем существовании и своих целях.

Все складывалось удачно. Из Морне от Веры Ивановны Засулич пришло письмо: в Женеве Розалия Марковна и маленькая Машенька Плеханова чувствовали себя лучше.

В эти дни Элеонора Эвелинг и Поль Лафарг предложили Плеханову и Аксельроду устроить их поездку в Лондон, к Энгельсу.

— Едем! — решительно согласился Жорж. — Другой возможности не будет.

...Туманный Ла-Манш был пустынен. Плеханов стоял на палубе, вглядываясь в белесую мглу. Впереди лежала Англия. Сбывалась почти нереальная, почти фантастическая мечта — его ждала встреча с Энгельсом.

Они шли по Лондону, беззаботно хохоча, по-студенчески укрываясь от дождя под одним зонтиком.

— Павел! — кричал другу в самое ухо Плеханов. — Подумать только!.. Идем к Энгельсу, к самому Энгельсу!

— Сказать об этом лет десять назад в Петербурге, — улыбнулся Аксельрод, — засмеяли бы...

— Я сейчас вспомнил, как на Дону подбивал казаков на восстание, — веселился Жорж. — Неужели было такое время, когда я серьезно верил в осуществимость этого бакунинского бреда? Уму непостижимо... Сколько изменилось с тех пор, а? Вся жизнь перевернулась. И какими, в сущности, слепыми щенятами мы были без Маркса!..

— Я до сих пор не верю, что через несколько минут увижу Энгельса, — говорил Аксельрод, обходя лужи.

— И я не верю! — хохотал Плеханов, прыгая через лужи. — Но знаю, что увижу!

Дверь открыла Элеонора Эвелинг. Горячие глаза Маркса снова жарко и пристально взглянули на Жоржа.

— А мы думали, — сказала Элеонора, — что по русскому обычаю вы должны немного опоздать. Все русские, приходившие в этот немецкий дом, непременно опаздывали на несколько минут. Это стало традицией.

— Но мы, кажется, пришли даже на пять минут раньше, — возразил Жорж, показывая на стенные часы. — Я и мой друг Павел Аксельрод объявили беспощадную войну всем специфическим русским «боярским традициям», и прежде всего — неточности и утопическому социализму.

Элеонора рассмеялась.

Она провела их в гостиную, познакомила с присутствующими — по воскресеньям у Энгельса по доброму обычаю всегда собирались жившие в эмиграции в Лондоне соотечественники.

Минут через десять в гостиную вошел из соседней комнаты хозяин дома.

Гости почтительно встали.

Энгельсу шел семидесятый год. Он медленно двигался по комнате, здороваясь за руку с гостями.

— Вы еще более молоды, чем я предполагал, — сказал он Плеханову. — Это похвально.

Сели за стол. Энгельс предложил Жоржу место рядом с собой.

Плеханов боялся, что от волнения у него начнут дрожать руки. Напряженный до предела, почти со страхом ожидал он начала разговора с человеком, чье имя было покрыто всемирной славой, а жизнь стала для него, для Жоржа, путеводной звездой.

— Вы любите пиво? — спросил вдруг Энгельс.

Жорж чуть не упал со стула от неожиданности.

— Люблю, — еле выдохнул он.

— Разрешите налить вам, — предложил Энгельс.

Заметив смущение молодого гостя, он доверительно наклонился к нему:

— По воскресеньям мы не говорим о делах. По воскресеньям мы в основном шутим и смеемся.

К столу подали яблочный пирог и глинтвейн.

— В Англии не умеют варить пиво, — сказал Энгельс. — Настоящее пиво бывает только в Германии, в Кроиненбурге.

— Вы скучаете здесь по Германии? — неожиданно спросил Жорж и внутренне ужаснулся своей бестактности: ведь он был слишком молод, наполовину моложе хозяина, чтобы задавать такие серьезные вопросы, тем более в эмигрантском доме.

Но в глазах Энгельса зажглись теплые огоньки. Он положил свою мягкую старческую руку на лежавшую на столе руку Плеханова и слегка сжал ее.

— Конечно, скучаю, — тихо сказал Энгельс.

— Мне каждую неделю снится Россия, — вздохнул Жорж.

Он понимал, что уже совершенно не владеет собой и говорит совсем не то, что надо было бы говорить при такой встрече, но незримые, теплые волны шли на него от сидевшего рядом усталого, пожилого человека, и голова отказывалась участвовать в разговоре — разговор вело сердце.

— Я читал запись вашего выступления на конгрессе в Париже, — сказал Энгельс. — Мне и некоторым товарищам здесь очень понравилось... Впрочем, не будем сейчас об этом. Обяза-

тельно приходите завтра. Поговорим о конгрессе и вообще о делах.

Глава десятая

Связь с Россией!
Связь с Россией!!
Связь с Россией!!!
Все, что угодно, за связь с Россией.
Ничего не жалко отдать за связь с Россией.
Любой ценой наладить связь с социал-демократическими кружками в России, оборвавшуюся с разгромом группы Благоева.

Мысли эти двадцать четыре часа в сутки сидели в голове. Они не давали покоя ни днем ни ночью. Он думал о связи с Россией наяву и во сне, во время еды, на прогулках, работая над очередными рукописями, разговаривая с людьми, читая книги, отдыхая, составляя конспекты и планы, отвечая на письма своих многочисленных корреспондентов.

Они жили с Верой Ивановной Засулич все там же, во Франции, в деревушке Морне, на самой швейцарской границе (в Швейцарию, к семье, Плеханова полиция не пускала), в двухэтажном деревенском домике с красной черепичной крышей.

На второй этаж со двора вела деревянная лестница. Это было любимое место Жоржа. Утром, выйдя из дома, он садился с книгой на ступени (то выше, то ниже) и углублялся в чтение.

Во дворе появлялась Засулич. Плеханов тут же закрывал книгу.

— Вера Ивановна, когда же у нас будет связь с Россией?

— Я думаю об этом, Жорж, не меньше, чем вы.

— Но ведь пока еще ничего не сделано практически.

Вера Ивановна молча смотрела на Плеханова. Короткая, почти солдатская, а вернее — арестантская, стрижка бобриком, нездоровый цвет лица, печальные глаза, усы обвисли вниз — орел в клетке... Засулич знала, что Жорж сильно тоскует по семье, по детям, и особенно по маленькой Машеньке, которая росла без отца. (Иногда лишь удавалось вырвать у полиции разрешение поехать в Женеву на день, на два. Больше побыть дома не удавалось — приходил жандарм и требовал покинуть Швейцарию.)

Засулич жалела Плеханова. Но ничего нельзя было сделать — орел вынужден был сидеть в клетке сложа крылья. Могучий интеллект расходовался только на теоретическую работу. Практически же ситуация не поддавалась изменению.

Вздохнув, Вера Ивановна уходила в дом — в тихий, провинциальный дом под красной черепичной крышей в забытой богом глухой французской деревушке Морне на швейцарской границе.

Сказать, что орел сидел в Морне, совсем уж сложив крылья,

было бы, конечно, неправильно. Крылья расправлялись. Иногда широко и мощно. И шум их взмахов был слышен многим.

На деньги Кулябко-Корецкого выпустили только один номер «Социал-демократа». Потом появился другой русский меценат — Гурьев. Его помощь оказалась более продолжительной — на гурьевские капиталы удалось издать уже целых четыре сборника. Большинство статей принадлежало перу Плеханова. Обложенный швейцарской полицией в Морне, он копил силы, и звуки его голоса доносились до России.

Прежде всего в новом «Социал-демократе» было опубликовано обширное исследование о Чернышевском. Впервые в мировой социалистической литературе «узник из Морне» (так называл себя теперь Георгий Валентинович) выяснил отношение Чернышевского к учению Маркса и Энгельса и раскрыл для русского читателя преемственную связь между философским наследием великого революционного демократа, одного из предшественников марксизма в России, и социал-демократическим движением русского рабочего класса.

Одновременно с этим в статье с позиции научного социализма было убедительно доказано, что общинный социализм раннего Чернышевского теперь принадлежит уже к той эпохе в истории социализма, которая должна считаться отжившей. (Впоследствии статья была специально переделана в книгу для немецкого социал-демократического издательства Дитца. Немецкий рабочий читатель впервые подробно узнал о философском творчестве Чернышевского. Фридрих Энгельс написал по этому поводу автору: «Заранее благодарю Вас за экземпляр Вашего «Чернышевского», жду его с нетерпением».)

Еще в «Социал-демократе» были напечатаны воспоминания «Русский рабочий в революционном движении», в которых «узник из Морне» рассказывал о первых русских рабочих-революционерах, своих соратниках по стачкам на петербургских фабриках, рецензии на книги Успенского и Каронина, обзор «Всероссийское разорение».

Но все это — статьи, воспоминания, рецензии — было литературой, теорией. Требовались поступки, действия — активные и решительные.

Требовалась связь с Россией.

— Вера Ивановна, мы с вами в этой французской глуши прохлопаем царствие небесное...

— Что вы имеете в виду?

— Вы слышали, что в России появилась новая социал-демократическая группа?

— А вам откуда это известно?

— Да вот пишут добрые люди из благословенного отечества...

— И что это за группа?

— Называют себя «Социал-демократическим обществом», руководит некто Бруснев.

— Любопытно.
— Кто же пойдет от нас на связь с Брусневым?
— Пока не знаю.
— А я знаю.
— ...?
— Некий господин Плеханов. Бросит все свои осточертевшие бумажки, отмоет руки от чернильных пятен и отправится в Россию.
— Шутите, Жорженька. Никто вас в Россию не отпустит.
— А я сбегу.
— Чтобы сразу попасть в Петропавловку? Больше месяца вам с вашим туберкулезом там не выдержать. Уж я-то знаю, сиживала и в Петропавловке, и в Литовском замке.
— Вера, а если серьезно?
— Надо думать...

— Жорж, на связь с Брусневым пойдет Райчин.
— Заведующий нашей типографией?
— Он самый.
— Согласен. Парень толковый. Но необходимо все предусмотреть самым тщательным образом, чтобы Райчин ни в коем случае не повторил истории с Левушкой Дейчем. Мы не можем разбрасываться людьми. У нас их совсем нет.
— Хорошо. Я сама буду готовить его к переходу через границу.

Поначалу все складывалось очень удачно. Райчин благополучно достиг Петербурга, установил контакт с Брусневым и передал его группе транспорт нелегальной литературы.

Но на этом удачи кончились. Хотя участники брусневского кружка распространили на фабриках и заводах отпечатанные в Женеве первомайские речи рабочих, вскоре группа Бруснева была разгромлена. Связь с Россией снова оборвалась.

Получив это трагическое сообщение, «узник из Морне» не выдержал и слег. Вера Ивановна опасалась, что на нервной почве у Георгия Валентиновича произойдет новая вспышка туберкулеза...

После выступления на учредительном конгрессе Второго Интернационала имя Плеханова стало известно в европейских социал-демократических кругах. Теоретический журнал немецкой рабочей партии «Новое время» предложил ему выступить на своих страницах с материалом, тему которого автор сочтет возможным определить сам.

Во время «лондонской недели» Георгий Валентинович обещал Энгельсу, что к шестидесятой годовщине смерти Гегеля обязательно напишет о нем. И вот теперь он отправил статью о Гегеле в «Новое время», и она была напечатана в нескольких номерах.

Получив журналы и прочитав статью, Энгельс послал телеграмму главному редактору «Нового времени» Карлу Каутскому: «Статьи Плеханова превосходны». Каутский сразу же переслал Георгию Валентиновичу отзыв Энгельса.

Растроганный Плеханов ответил Фридриху Карловичу большим письмом. «Вы написали несколько благожелательных слов Каутскому, — писал он, — по поводу моей статьи о Гегеле. Если это верно, я не хочу других похвал. Все, чего я желал бы, это быть учеником, не совсем недостойным таких учителей, как Маркс и Вы».

Спустя некоторое время Энгельс скажет в одном частном разговоре, что знает только двух человек, которые поняли марксизм и овладели им. Эти двое — Меринг и Плеханов.

В статье «К шестидесятой годовщине смерти Гегеля» Георгий Плеханов выступил в европейской социал-демократической печати как глубочайший теоретик марксизма... Он утверждает, что все современные общественные науки — история, право, эстетика, логика, история философии, история религии — испытали на себе могучее, в высшей степени плодотворное влияние гегелевского гения, гегелевской философии и приняли новый вид благодаря толчку, полученному от Гегеля.

Почему?

А потому, что Гегель был диалектиком и на все явления смотрел с точки зрения процесса становления. А в природе и особенно в истории процесс становления всегда является двойным процессом: уничтожается старое, и в то же время на его развалинах возникает новое.

И поэтому, если философия познает только отживающее старое, то познание одностороние. Такая философия не способна выполнить свою задачу познания сущего.

Новейший материализм, говорит Плеханов, материализм диалектический, материализм Маркса, отбрасывает эту крайность. На основании того, что есть и что отживает свой век, он, новейший материализм, умеет судить о том, что становится, нарождается и выходит на арену истории, являясь самой новой и наиболее прогрессивной общественной силой.

Этой новой общественной силой, говорит Плеханов, является рожденный капиталистическим способом производства класс промышленных пролетариев — современный рабочий класс.

Диалектический метод Гегеля создал, хотя и на идеалистической основе, предпосылки для разрешения противоречия между свободой и необходимостью, и это позволило научной философии указать подлинную роль и место созидательной деятельности людей, продолжает Плеханов. Гегель показал, несмотря на весь свой чистейшей воды идеализм, что люди свободны лишь постольку, поскольку познают законы природы и общественно-исторического развития и поскольку они, подчиняясь этим законам, опираются на них.

Но воспользоваться этим величайшим открытием в области философии и науки о жизни общества в полной мере сумел только диалектический материализм, то есть наука марксизма, делает вывод Плеханов.

Философию Гегеля раздирают противоречия между прогрессивным диалектическим методом и консервативной идеалистической системой.

Диалектический же материализм Маркса возвысил материалистическую философию до уровня цельного, гармонического и последовательного миросозерцания. То, что у Гегеля является случайной, более или менее гениальной догадкой, у Маркса становится строгой наукой, заявляет Плеханов.

Диалектика становится историческим принципом.

И именно поэтому самый новый класс современной эпохи — пролетариат — становится органическим носителем этого исторического принципа, становится символом движения истории вперед и дальнейшего развития жизни общества, так как пролетариат переживает процесс своего возникновения и становления, так как только пролетариат заинтересован в изменении жизни современного общества — смене капитализма социализмом.

Ибо ему, как известно, терять нечего...

Пролетариат и диалектика — нерасторжимы!

После статьи о Гегеле и отзыва Энгельса редактор «Нового времени» Каутский заказывает Плеханову литературные портреты французских философов-материалистов Гольбаха и Гельвеция.

Георгий Валентинович, выполняя заказ Каутского, расширяет первоначальный замысел и пишет самостоятельную книгу «Очерки по истории материализма. Гольбах. Гельвеций. Маркс». Появление философии Маркса он назовет в этой книге самой великой революцией, которую только знала история человеческой мысли. (Одновременно он переводит на русский язык со своим предисловием, комментариями и примечаниями фундаментальный труд Энгельса «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии».)

В этом расширении первоначального замысла — еще один ключ к пониманию и разгадке натуры Плеханова, его творческой личности, характера и психологии.

Каутский заказал ему только два очерка — о Гольбахе и Гельвеции. Никто не просил его ничего расширять. Больше того, чем сильнее он расширял, тем на более дальний срок откладывалась публикация. А бюджет Плеханова целиком зависел от литературных гонораров. У него было трое детей и больная жена. И никакого твердого и постоянного материального обеспечения.

Но Плеханов написал не два, а три литературных портрета. И не как очередные, проходящие журнальные статьи, а создал

книгу о материализме как об одном из источников возникновения марксизма.

Он дописал третий раздел книги — о Марксе. Потому, что, будучи марксистом, уловил преемственность между философией Маркса и французским материализмом. Потому, что почувствовал возможность показать становление диалектического материализма.

У Гельвеция и Гольбаха встречались только материалистические «догадки» об эволюции истории общества. Поэтому они остались на позициях «философии истории».

Исторический же материализм Маркса стал высшим достижением философии, так как связал материалистическую философию с революционной борьбой пролетариата, с коренными интересами рабочего класса — главного «движителя» исторического прогресса.

Так писал в своей книге о материализме первый русский марксист Георгий Плеханов (опрокинув аккуратный журнальный заказ Карла Каутского), прокладывая будущим поколениям русских марксистов одну из дорог к пониманию сложной проблемы источников возникновения марксизма.

Сопричастность истории, ответственность за судьбы истории, трансформировавшись на новом этапе в иные формы, навсегда сохранилась в нем, в Георгии Плеханове.

Всеми своими поступками и действиями он должен был принадлежать истории. Все его рукописи, статьи и книги были историей, он творил ими историю, творил будущее. Иначе и быть не могло. И только в этом, только в перенесении всего себя из настоящего в будущее видел он смысл своего бытия.

И поэтому не мог он писать по заказу Каутского только и просто журнальные статьи для настоящего.

Поэтому и расширял он первоначальные замыслы.

Поэтому и писал для будущего — о развитии материализма и его становлении, зафиксировав тем самым в истории развитие своей собственной личности, став частью истории.

Большие, серьезные, глубокие, страстные, яркие (какими только не называли их современники!), живые, доходчивые, прекрасно аргументированные, написанные с огромной эрудицией работы Плеханова по философии сделали его имя чрезвычайно популярным в первой половине девяностых годов во многих европейских странах. Все признавали в нем крупнейшего теоретика марксизма и знатока истории общественной мысли. Авторитет Плеханова в социал-демократических кругах необыкновенно вырос. Особенно отмечалось расположение к нему Энгельса. В революционной среде любили повторять слова Энгельса о Плеханове: «Не ниже Лафарга или даже Лассаля».

Это веское мнение «патриарха» марксизма окружило имя Плеханова ореолом настоящей и вполне заслуженной славы.

Выбранный на третьем конгрессе Второго Интернационала, проходившем в Цюрихе, в военную комиссию, Георгий Валентинович произнес на одном из заседаний гневную речь против русского самодержавия.

— Уже давно пора, — сказал Плеханов, — покончить с русским царизмом, позором всего цивилизованного общества, с постоянной опасностью для европейского мира и прогресса культуры. И чем больше наши немецкие друзья нападают на царизм, тем более должны мы быть им благодарны. Браво, мои друзья, бейте его сильнее, сажайте его на скамью подсудимых возможно чаще, нападайте на него всеми имеющимися в вашем распоряжении средствами! Что же касается русского народа, то он знает, что наши немецкие друзья желают его свободы...

Выступление неоднократно прерывалось аплодисментами. Когда оратор сошел с трибуны, ему устроили шумную овацию. Многие делегаты подходили к Плеханову, пожимали ему руку, поздравляя с блестящей речью.

Его часто можно было видеть в кулуарах рядом с Энгельсом — тот действительно явно благоволил к русскому марксисту. Вместе с Плехановым он несколько раз побывал в гостях у Аксельрода. И это не осталось незамеченным. С Плехановым теперь искали знакомства, журналисты брали у него интервью.

Вообще, русские делегаты пользовались в Цюрихе определенным успехом. В значительной степени это объяснялось известностью Плеханова как знатока марксизма. Многие прочили ему теоретическое лидерство в руководстве конгрессом. И Георгий Валентинович как-то естественно, без особых на то личных усилий, быстро продвинулся вверх по незримым иерархическим ступеням конгресса и приблизился к его руководящему ядру.

На заседании военной комиссии, критикуя позицию французского правительства за поддержку русского царя, Плеханов сказал, обращаясь к французским делегатам:

— Разве вы забыли, что самодержавие соединилось с французской буржуазией, что русский царь является убийцей Польши? Как может Франция настолько забыть свое революционное прошлое?

Когда заседание военной комиссии окончилось, к Плеханову подошли французские журналисты.

— Месье Жорж, — высокопарно начал один из них, — вы пренебрегли гостеприимством страны, приютившей вас. Вы оскорбили честь Франции. За это вызывают на дуэль.

Плеханов усмехнулся.

— Можете вызвать на дуэль меня, — мрачно сказала стоявшая рядом Вера Ивановна Засулич, присутствовавшая на конгрессе вместе с Аксельродом в качестве гостей. — Я неплохо стреляю в мужчин.

Делегаты конгресса, окружившие их в предчувствии острого разговора, дружно засмеялись.

— Мадам Вера,— выступил вперед другой журналист, — вы, безусловно, лучше всех нас владеете огнестрельным оружием.

Но во Франции принято участвовать в дуэлях с женщинами, используя совершенно иные формы соперничества... Мы приносим вам и месье Жоржу свои извинения. Но оставляем за собой право первого выстрела.

И «выстрел» этот грянул уже на следующий день. Парижские газеты потребовали изгнать Плеханова из пределов Франции.

Георгий Валентинович и Вера Ивановна поспешили в Морне. На их квартире полиция уже произвела обыск. Чувствовалось, что Плеханова и Засулич могут выдворить из страны в любой момент.

И в это время на Георгия Валентиновича обрушился такой удар, которого, наверное, не мог бы пожелать ему даже самый злейший враг.

— Жорж, беда...
— Нас высылают, Вера?
— Телеграмма от Розы...
— Что там?.. Ну, говорите же скорее!
— Машенька заболела...
— Что с ней?!
— Менингит.
— Где телеграмма?
— Вот она... Только возьмите себя в руки.
— !!!
— ...
— Вера, я иду через границу...
— А если задержат?
— Но не сидеть же здесь сложа руки!!
— Да, да, конечно...
— Роза пишет, что в таком возрасте это смертельно...

Франко-швейцарскую границу он перешел ночью, нелегально. Опыт «нарушителя» у него уже был немалый. За пять лет жизни в Морне таинственный этот путь в обход контрольных постов приходилось проделывать неоднократно.

Глядя на вершины гор, на темное небо, на одиночное множество звезд, он думал о том, что вся его жизнь, по сути дела, — одна сплошная гряда трагических препятствий, на механическое преодоление которых ушло гораздо больше времени, сил и энергии, чем на главный, созидательный труд.

Но, может быть, он никогда и не хотел ничего другого, кроме этой напряженной и тяжкой, но единственно возможной судьбы, которая, как горная дорога с ее бесконечными подъемами и спусками, бросала его то вверх, то вниз, принося то высокое счастье находок и открытий, то горькие минуты разочарований и потерь.

Судьба была неразрывно связана со смыслом того дела, с той верой, которую он неостановимо искал, нашел и крепко удерживал.

«Но Машенька, бедная моя девочка! — остановился он вдруг

в ночной тишине гор, и холодные, ледяные слезы вины перед дочерью навернулись ему на глаза. — В чем же виновата ее безгрешная четырехлетняя душа? За что жизнь послала ей незаслуженную, страшную кару этой ужасной болезнью?»

Слова — чужие, непривычные, не его — о боге, грехе и душе, пришедшие из далекого детства, из сумерек деревенской гудаловской церкви, из маменькиных молитв и скорбного пламени одинокой свечи перед иконой, — неожиданно и невольно замелькали в его памяти как спасение от нестерпимой боли разума, который привычно, но тщетно на этот раз пытался прийти ему на помощь.

Он потерянно стоял один среди гор на пустынной дороге под чужими, безразличными звездами, далека была его родина, безутешно горе, некого было звать разделить страдание, некому протянуть для опоры руку, нечему помолиться — весь мир был против него, и альпийское черное небо осыпалось над его головой звездопадом неизбежно близкого зла.

И надо было идти дальше — вперед, по горной ночной дороге.

Он торопился как мог, но успел только к постели уже умирающей дочери.

Розалия Марковна, сидевшая с залитым слезами лицом возле Машеньки, долгим невидящим взглядом посмотрела на него, когда он вошел, и молча отвернулась.

Девочка умирала. Дыхание ее прерывалось тяжелыми хрипами, жизнь покидала слабое, хрупкое тельце.

Поняв, что опоздал, он остановился в дверях, прислонившись к стене головой и спиной, потом сделал несколько шагов, опустился перед кроватью на колени и прижался лицом к неподвижной руке дочери.

Она родилась без него, жила на свете почти без него и, так и не увидев его, уходит из жизни.

Он не успел к ней, когда она была жива. Не смог ничего сказать ей на прощание. Не смог ничего услышать от нее в последний раз.

Он успел только к ее уже неживым минутам.

Кто-то всхлипнул в соседней комнате и глухо зарыдал. Розалия Марковна, вздрогнув, тихо заплакала. Она плакала беспомощно и жалко, не вытирая слез, и они, одна за другой, капали на белую простыню, которой была укрыта девочка.

Георгий Валентинович поднялся на ноги, сел рядом с женой. За эти несколько минут, когда он, стоя на коленях перед Машенькой, убедился в том, что уже никогда не увидит ее глаз и не услышит ее голоса, мускулы его лица одеревенели, схватились параличом неподвижности, все заострилось — скулы, нос, подбородок, косматые брови были похожи на потухшие крылья падающей вниз птицы.

В доме что-то происходило. Кто-то появлялся, исчезал, где-то разговаривали шепотом.

Они ничего не слышали, сидя возле кровати умирающей дочери. Розалия Марковна плакала, он гладил ее руку, так и не уронив ни одной слезы.

Смерть делала круги по комнате. Они становились все у́же и у́же. Небытие душило пространство.

Смерть подошла совсем близко, присела на край кровати, помедлила... и взяла девочку на руки...

А через несколько дней он снова сел за работу. Правление Германской социал-демократической партии давно просило его написать брошюру против анархизма. Он дал обещание. Его надо было выполнять.

Так, в траурной пелене мыслей и чувств, в ощущениях трагической невосполнимости своей потери, была написана одна из самых ясных, доходчивых и популярных его марксистских работ «Анархизм и социализм».

Он жил то в Морне, то, получая кратковременные разрешения, в Женеве, вместе с семьей. Вопрос о высылке из Франции оставался открытым. Опять нужно было куда-то эмигрировать. Вся жизнь была похожа на одну сплошную, непрерывную эмиграцию. Из России в Швейцарию, из Швейцарии во Францию, из Франции — неизвестно куда.

Со всей Европы он получал письма сочувствия его горю. Особенно часто писали Жюль Гед и Вильгельм Либкнехт.

Его звали жить во многие страны, обещая поддержку и помощь. Очень серьезно обдумывал он приглашение переселиться в Америку. Американские друзья гарантировали хорошее материальное положение.

Но уехать в Америку означало совсем оторваться от главного — от России.

В конце концов, перебрав множество вариантов, он решился ехать в Англию, к Энгельсу. Ему хотелось обсудить некоторые теоретические проблемы, подарить Энгельсу вышедшую в Берлине брошюру «Анархизм и социализм».

Спустя полгода после смерти дочери Плеханов нелегально прибыл в Лондон.

В то время он не случайно не хотел уезжать далеко от России. Русские дела начинали все больше и больше интересовать его. В Петербурге активизировались народники. Эти шумливые, вполне легализовавшиеся господа уже ничего общего не имели с грозным революционным народничеством эпохи Желябова и Перовской, но, загораживаясь авторитетом первомартовцев, на всех углах критиковали марксизм, требовали только реформ и снова пели дифирамбы пресловутой сельской общине. В лице талантливого публициста Николая Михайловского либеральные

народники обрели своего оракула, часто и резко выступавшего против русских социал-демократов. Требовалось дать суровую марксистскую отповедь Михайловскому — публично, на миру.

Живя в Лондоне, Георгий Валентинович часто приходил к Энгельсу, который, давно уже активно симпатизируя Плеханову, теперь, на склоне своей жизни, относился к нему по-отечески, разрешив работать в своем кабинете и пользоваться огромной библиотекой.

Они по многу часов проводили вместе в доме Энгельса, разговаривая о рабочем движении, социал-демократии, марксистской теории.

Встречи с Энгельсом в Лондоне в девяносто четвертом году дали Георгию Валентиновичу сильнейший заряд, он чувствовал себя как бы еще раз проштудировавшим все труды основоположников научного коммунизма, как бы заново окончившим великую академию марксизма.

А в голове гвоздем сидела мысль — дать бой либеральным народникам, защитить марксизм, его зарождение в России.

Густая концентрация лондонской жизни — беседы с Энгельсом, работа в Британском музее, встречи с революционерами, учеными, писателями, художниками, учащенный пульс самого большого в мире капиталистического города со всеми его распахнутыми настежь социальными язвами — все это в соединении с необходимостью срочно разобраться в русских делах рождало энергию, требовавшую выхода в наиболее знакомой и доступной форме — теоретической работе.

Необходим был случай, который вместил бы безбрежную стихию ощущений, наблюдений и переживаний в строгое русло закономерностей и научных обобщений.

И такой случай нашелся.

— Георгий Валентинович, разрешите представиться...

— Да ведь мы, кажется, знакомы...

— И тем не менее... Потресов, Александр Николаевич.

— Очень приятно. По какой надобности в Лондоне?

— Собственно говоря, я приехал непосредственно к вам...

— Ко мне? Вот как? Но моим постоянным местом пребывания числится Женева. А здесь я нахожусь, говоря по-русски, «зайцем», нелегально-с!

— Я был в Женеве и там получил ваш адрес в Лондоне.

— Чем же могу служить?

— Георгий Валентинович, у меня есть возможность легально напечатать в Петербурге марксистскую книгу. Вы не могли бы предложить мне что-нибудь из ваших свежих сочинений?

— В каком смысле — свежих?

— То, что еще не публиковалось на европейских языках.

— Заманчиво. Надо подумать.

— Все расходы по изданию, разумеется, я беру на себя. После вашего согласия сразу же могу выплатить аванс.

— Аванс — это всегда хорошо. Мы тут на чужбине, знаете ли, изрядно поиздержались.

— Очень подошло бы, скажем, нечто полемическое. В духе ваших прежних разногласий с народниками.

— Александр Николаевич, есть нечто полемическое... Вы книжонку мою «Наши разногласия», наверное, читали?

— Конечно. Я же социал-демократ.

— Прекрасно!.. Так вот, это продолжение «Наших разногласий». И кое-что о господине Михайловском и компании!.. Они ведь, реформисты несчастные, все еще скулят, что марксизм для России философски необоснован и практически к русской жизни неприменим. И под эту жалкую песенку, под этой ничтожной либеральной вывеской фальсифицируют Маркса! Особенно по вопросам общины и перспективам развития нашего движения.

— Не слишком резки будут нападки на Михайловского? Он сейчас в кумирах ходит, молодежь им зачитывается.

— Господин Потресов, надеюсь, вы наслышаны, что полемики тихой не бывает. Особенно в моем исполнении. И особенно с народниками. Резкость — кислород всякого спора. Именно резкостью интересна полемика для читателей... Что же касается кумиров, так это еще Наполеон Бонапарт говорил, что от великого до смешного только один шаг. Сегодня — кумир, а завтра — огородное чучело!

— Георгий Валентинович, а вы не могли бы несколько подробнее рассказать мне, как издателю, направление вашей книги? В принципе я уже одобряю ее. Но хотелось бы услышать некоторые подробности и детали.

— Беретесь издавать?

— Берусь!

— Тогда извольте подробности и детали...

— Я смотрю, вы уже загорелись моей идеей.

— А как же! Я господин темпераментный. Вы еще наплачетесь со мной... Так вот, самое главное направление — показать русскому читателю, из каких исторических корней вырастал марксизм. Хотелось бы, чтобы эта книга, собственно говоря, вообще стала самой полной историей марксизма на русском языке...

— Блестящий замысел!

— Она должна раскрыть преемственную связь марксизма с предшествующими материалистическими философскими учениями. И вопреки субъективистским излияниям господ Михайловского, Кареева и иже с ним обосновать необходимость социалистического преобразования мира, в том числе и нашего благословенного отечества, на основе научного познания объективных законов природы и человеческого общества.

— Георгий Валентинович, это грандиозно! Я употреблю все свои возможности на то, чтобы русские читатели получили такую книгу.

— Потому что именно русским людям пора сейчас пошире открывать глаза на последние достижения научного социализма.

Ведь это же срам и позор, что наша русская молодежь до сих пор зачитывается Михайловским, который как пономарь бубнит, что марксизм-де фаталистически приговаривает весь мир, а вместе с ним и святую Русь на веки веков терпеть муки капитализма, что он, марксизм, не дает никакого простора для свободной деятельности людей... Да кто же другой, как не марксизм, освобождает современное человеческое сознание от фатализма метафизики, я вас спрашиваю? Кто же другой, как не марксизм, объясняет нам, что окружающая человека природа сама дала ему первую возможность развивать его производительные силы и тем начала постепенно освобождать человека из-под своей власти?.. Кто другой, как не марксизм, показывает, что производственные отношения собственной логикой своего развития приводят человека к пониманию причин его порабощенности экономической необходимостью?.. Кто, как не марксизм, втолковывает нам, что этим самым дается возможность нового и окончательного торжества сознания над необходимостью, разума над слепым законом?

— Браво, Георгий Валентинович, браво!.. Только почему вы все время, употребляя такую неодушевленную часть речи, какой является слово «марксизм», говорите не «что», а «кто»?

— А потому, господин знаток грамматики, что «марксизм» для меня не только самая одушевленная часть речи, но и самое живое понятие за всю историю существования всех понятий на земле.

— ..!

— Диалектический материализм раскрывает людям глаза на то, что человеческий разум никогда не мог быть творцом истории, так как он сам является ее продуктом. Но раз уж этот продукт, то есть разум, появился на белый свет, он не должен, а уж тем более по самой своей природе не может подчиняться завещанной прежней историей действительности. Он, разум, по необходимости стремится преобразовать эту действительность по своему образу и подобию, то есть сделать действительность разумной...

— ..!

— Именно по всему этому, дорогой Александр Николаевич, диалектический материализм есть философия действия!

— ..!

— А что же в это время проповедуют русской молодежи пламенные субъективисты, идеалисты и метафизики, господа Михайловский, Воронцов, Кареев, Кривенко и прочие либеральные народники?.. Они в это время весьма ловко дезориентируют и так уж не бог весть как сильно грамотного, а наоборот — весьма темного и забитого умом русского человека, даже если он и считается очень передовым, заставляя его разбивать лоб в молитвах сельской общине... Ведь эти же господа, Воронцов и Кривенко, договорились до того, что Маркс-де якобы пристыдил своих учеников, русских социал-демократов, то есть нас, «Освобождение труда»... Маркс, мол, утверждал, что община в России

сохранится при любых условиях и станет источником социалистического развития... Нет, это же надо — куда загнули, а?

— Георгий Валентинович...

— Да Маркс никогда не выводил Россию за рамки общеисторических законов, по которым развивается все человеческое общество!.. Господам Воронцову и Михайловскому, прежде чем начинать рассуждать о том, применимы или неприменимы взгляды Маркса к России, надо было бы дать себе труд понять эти взгляды... Вот почему так необходимо издать полную историю марксизма на русском языке. Если уж петербургские властители дум не понимают, что такое марксизм, — так что уж там говорить о других.

— Георгий Валентинович, вы не устали?.. Может быть, прервемся на некоторое время и пойдем куда-нибудь перекусим?

— Нет, я не устал и совершенно не голоден.

— Значит, мне просто показалось, что у вас сделался утомленный вид... Я прошу извинить мне этот вопрос, но вам не мешает дышать сырой и тяжелый лондонский воздух? Меня, например, здешние туманы просто душат.

— Вы на туберкулез мой намекаете?

— Нет, нет, что вы! Упаси бог... Я в самом широком смысле...

— Вообще-то мешает. Дышать, конечно, тяжело. Но я уже привык.

— Завидное у вас самообладание.

— У меня хороший учитель по этому предмету.

— Кто же именно?

— Вера Ивановна Засулич... Когда дипломированные женевские ветеринары во главе с неким профессором Цану решили, что мне осталось жить шесть недель, Вера Ивановна сорок дней просидела около моей постели и заставила меня остановить болезнь. Вот у кого, батенька мой, самообладание! А ведь женщина...

— Вера Засулич — национальная гордость России. Все передовое русское общество чтит ее имя.

— Так-то оно так, но истинные заслуги Веры Ивановны пока еще полностью не оценены. Когда основательница русского политического террора становится первой русской марксисткой — это, знаете ли, наглядная и сильная агитация в пользу марксизма...

— Совершенно с вами согласен, Георгий Валентинович... Я както никогда не думал об этом символическом значении перехода Веры Засулич от террора к марксизму. А вот сейчас вы сказали, и все представилось совершенно в новом освещении...

— Александр Николаевич, вы все еще хотите идти куда-нибудь что-нибудь перекусывать?

— Георгий Валентинович, а что, если я сейчас быстро сбегаю в какую-нибудь ближайшую лавчонку, накуплю всякой провизии и мигом обратно, а?

— Ну, давайте поскорее...

— Вот я и вернулся...
— Будем продолжать?
— Безусловно.
— Вы только не подумайте, что я сейчас просто так, вообще разглагольствую перед вами, для собственного удовольствия... Рукопись книги у меня есть, но в нее надо вносить много поправок и дополнений... Вот я и делаю это пока предварительно, устно...
— А я вас так и понял, Георгий Валентинович.
— Это очень хорошо, что мы сразу начали понимать друг друга... Итак, идем дальше. Наши горе-метафизики, господа либеральные народники, а вместе с ними и метафизики всего мира, безусловно, не могут ни понять, ни оценить великих возможностей активной деятельности человека в окружающем его мире. Марксизм же вооружает человека знанием законов действительности и, таким образом, дает ему в руки оружие для воздействия на нее... Надеюсь, это понятно?
— Абсолютно понятно.
— Метафизики, идеалисты и субъективисты всех мастей, а вслед за ними и наши либеральные народнички повторяют изо дня в день, бесконечно увеличивая мозоли на собственных языках, что люди могут только лишь познать законы, по которым они живут, но не в силах подчинить эти законы своей воле... Нет, говорит этим господам Карл Маркс, если уж мы узнали эти законы, от нас зависит свергнуть их иго, от нас зависит сделать необходимость послушной рабой разума... «Я червь!! Я червь!» — вопит идеалист, забившись в угол необходимости. «Да, может быть, я и червь, — спокойно отвечает марксист, — пока я невежествен. Но я — бог, когда я знаю!»
— Георгий Валентинович, я предсказываю невероятный успех вашей книге в России. Вы даже не представляете, насколько все то, о чем вы говорите, необходимо сейчас русскому уму, жаждущему свежего ветра. России необходимо пережить свою национальную эпоху великого Просвещения!
— И этот ураган свежих знаний, эту эпоху Просвещения в Россию может принести только марксизм!
— Я сделаю все возможное и, может быть, даже невозможное, чтобы напечатать вашу книгу...
— И тем самым исполните святой долг образованного человека и истинного интеллигента, который обязан нести «светильник» своих знаний в толпу, к людям, а не держать его под спудом, в своем тесном кабинете... Потому что, пока существуют крикливые и неудержимо прыткие «герои», вроде господина Михайловского, воображающие, что им достаточно просветить свои собственные головы, чтобы повести толпу всюду, куда им угодно, чтобы лепить из нее, как из глины, все, что им вздумается, — царство разума остается красивой фразой, благородной мечтой. Оно начнет приближаться к нам семимильными шагами лишь тогда, когда сама «толпа» станет героем исторического действия и когда в ней, в этой серой «толпе», разовьется са-

мосознание, соответствующее ее решимости действовать в истории. Вот почему марксизм неустанно зовет революционную интеллигенцию подниматься на защиту интересов рабочего класса и постоянно нести в пролетарскую среду социалистические идеалы...

— Георгий Валентинович, надо бы все это записывать...

— Не беспокойтесь, у меня хорошая память... Итак, марксизм называет непосредственного производителя материальных благ, то есть рабочий класс, главным героем ближайшего исторического периода. И поэтому в первый раз с тех пор, как существует наш мир и Земля вращается вокруг солнца, происходит сближение науки в лице марксизма с рабочим классом. Наука марксизма, то есть диалектический материализм, спешит на помощь рабочему классу, а рабочий класс, опираясь на выводы науки, своим сознательным, пролетарским социал-демократическим движением должен добиться освобождения своего труда от гнета капитала... Что же касается русских дел, то Маркс еще в семидесятых годах сказал: если Россия будет продолжать идти по тому пути, на который она вступила со времени освобождения крестьян, то она сделается совершенно капиталистической страной, а после этого, попавши под ярмо капиталистического режима, ей придется подчиниться неумолимым законам капитализма наравне с другими народами... Таким образом, марксизм никакие страны ни к чему не приговаривает и не указывает пути общего и обязательного для всех народов. Марксизм утверждает, что развитие всякого общества всегда зависит от соотношения общественных сил внутри его...

— Георгий Валентинович, но ведь господа Михайловский, Воронцов и иже с ними бесконечно спекулируют еще и на тех вопросах, которые якобы возникают у каждого русского человека, желающего честно трудиться для блага своей родины: будет ли продолжать Россия и дальше идти по капиталистическому пути развития и не существует ли данных, позволяющих надеяться, что этот путь будет ею оставлен?

— Русские ученики Маркса призывают каждого русского человека, которого интересуют объективные, а не субъективные в духе наших либеральных народников ответы на эти вопросы, обратиться прежде всего к изучению фактического положения России и к анализу ее современной внутренней жизни. Со своей же стороны русские ученики Маркса на основании сделанного ими такого анализа утверждают: да, Россия будет и дальше идти по капиталистическому пути развития. И нет никаких данных, позволяющих надеяться, что Россия скоро покинет путь капиталистического развития, на который она вступила после 1861 года. Вот и все!

— !!!

— А закончить книгу мне бы хотелось чем-нибудь легким — например, такой сказкой... Одного доброго молодца привели в каменный острог, посадили за железные запоры, окружили неусыпной стражей. Добрый молодец только усмехается. Берет

он заранее припасенный уголек, рисует на стене лодочку, садится в нее и... прощай, тюрьма, прощай, стража неусыпная, добрый молодец опять гуляет по белому свету.

— Хорошая сказка!

— Вот именно. Но... только сказка. В действительности нарисованная на стене лодочка еще никогда, никого и никуда не уносила... Наши господа субъективисты из лагеря либерального народничества прекрасно знают, что уже со времени отмены крепостного права Россия явно вступила на путь капиталистического развития. Они видят, что старые экономические отношения разлагаются у нас с поразительной, все более и более увеличивающейся скоростью... Но это ничего, говорят они друг другу, мы посадим Россию в лодочку наших идеалов, и она уплывет с капиталистического пути за тридевять земель, в тридесятое царство... Наши либеральные народники хорошие сказочники, но сказки никогда еще не изменяли исторического движения народа по той же самой прозаической причине, по которой ни один еще соловей не был накормлен баснями...

В течение нескольких недель Плеханов при помощи Потресова переработал вторую часть «Наших разногласий» для легального издания книги в России.

Долго искали название. Было много вариантов. Наконец остановились на громоздком, но способном усыпить внимание цензуры (по мнению Потресова) заголовке: «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю».

— Остается придумать псевдоним автора, — сказал Потресов.

— Н. Бельтов, — ответил Георгий Валентинович.

С рукописью книги Потресов в середине октября 1894 года уехал из Лондона. Плеханов страшно волновался: удастся ли перевезти ее через границу? Наконец из Петербурга пришла телеграмма: «Прибыл на место. Все благополучно».

Георгий Валентинович облегченно вздохнул.

В конце октября умер Александр III. В Петербурге началась министерская чехарда. Внимание чиновников многочисленных департаментов, ведомств и комитетов (в том числе и цензурного) было сосредоточено на предстоящих переменах в правительственном аппарате.

В этой административной сумятице Потресову и удалось обойти все цензурные препятствия и получить разрешение печатать книгу Н. Бельтова под не понятным никому названием.

В эти годы, примыкая к марксизму, Потресов оказывал революции ценные услуги. В дальнейшем он полностью скатился в болото меньшевизма.

— Господа, вчера на Невском я купил потрясающую книгу. Совершенно откровенный призыв к революции...

— Как называется?

— Как-то длинно и бестолково, что-то об истории. Но вы бы только почитали ее, господа!.. Я, например, до самого утра не мог оторваться...

— Да кто же автор?

— Не помню, неизвестный какой-то... Но как пишет, подлец, как пишет!.. Порох, а не книга.

— Сегодня можно еще купить?

— Что вы! Наверняка уже все расхватали.

— Вы не читали книгу Бельтова?

— Нет, к сожалению, но уже много слышал.

— Весь Петербург говорит. Совершеннейший скандал.

— О чем же она?

— Оказывается, мы ничего не знали — ни о прошлом, ни о настоящем, ни о том, что нас ждет...

— А что нас ждет?

— Диалектический материализм, не к ночи будет сказано.

— Нет, это вы серьезно?

— Абсолютно.

— А царь, а бог?

— Все отменяется.

— Позвольте, а что же остается?

— Мастеровые и Маркс.

— Какой ужас... Но ведь это даже как-то скучно, как-то некрасиво, как-то неприлично.

— Кончились приличия, милостивый государь, начинается царство разума.

— А ведь после книги Чернышевского второго такого шума, пожалуй, и не было.

— Вы имеете в виду «Что делать?»?

— Разумеется.

— Но были же Герцен, Лавров, Ткачев, «Народная воля»...

— Это все нелегальщина. А это совершенно открыто.

— Все-таки кто же такой этот Н. Бельтов?

— ...

— Как? Тот самый?

— Вот именно. Представляете? Среди бела дня в столице могущественной империи в книжных магазинах продается сочинение этого заграничного дьявола, злейшего врага государства, призывающего изменить весь мир.

— Да это было бы полбеды, если бы он только призывал. Он же, сукин сын, убедительно доказывает, что по-другому и быть не может.

— Неплохо отметили социалисты начало царствования нового государя.

— Все-таки как же произошло? Куда власти смотрели?

— Все шито-крыто, все концы в воду.

— Ловко, ловко, ничего не скажешь.

— По моему слабому разумению, плохой это признак, господа. Если уж Плеханова открыто издают в России, чего ж дальше ждать?

— Ребята, почему на кружок вчера не зашли?
— А что было-то?
— Хор-рошую книжку один дяденька приносил.
— С картинками?
— Будет тебе дурочку-то ломать...
— Ну, извиняй.
— Мудрено написано, но складно. Про наши фабричные дела... Выходит, наука давно уже все знает.
— Про что знает?
— А про то, что, как ни крути, хозяевам все равно конец будет.
— Кто сказал?
— Дяденька, который книжонку читал.
— Господам оно, конечно, виднее.
— Там и про мастеровщинку есть... Производителям, то есть нам, чумазым, грамотенки надо набираться...
— У кого?
— У тех же господ, которые захаживают.
— И куда же с грамотой — в кабак или в острог?
— Лапоть, дура деревенская! Ты сперва поучись, ума наживи, а потом сам поймешь, куда с грамотой идти. Хуже не будет.
— Да мы уж и учиться учились, и бастовать бастовали... А все одно — кругом неладно.
— А не все вдруг. Москва — она и та не сразу строилась.
— Кто ж книжку эту составил?
— Самый главный, который в загранице сидит. Все знает, все насквозь видит. Его царь из России прогнал...
— За что?
— За то, что об нас печалился, о фабричных.
— Сам-то он русский будет?
— Натуральный, без подмесу.
— Выходит, опять бунтовать надо?
— Выходит, надо... Вот дождемся, когда штрафами опять прижмут, и на улицу.
— Эх, пропадай, моя телега — все четыре колеса! Люблю за народ пострадать!
— Зачем пострадать! За других заступимся — сами внакладе не останемся.

Энгельс написал Плеханову: «Вера вручила мне Вашу книгу, за которую благодарю, я приступил к чтению, но оно потребует известного времени. Во всяком случае, большим успехом является уже то, что Вам удалось добиться ее издания в самой стране.

Предсказание Потресова сбылось — «Монизм» получил необыкновенное распространение в России. Официально его, прав-

да, скоро запретят для продажи и выдачи в библиотеках. Чиновники цензуры спохватятся, но... будет уже поздно — «птичка» вылетела из клетки и пошла «гулять» по белому свету.

Книжку гектографировали, переписывали от руки, цитировали в частных письмах. О ней спорили на студенческих сходках и в профессорских кабинетах. Передовая молодежь зачитывалась ею как небывалым социалистическим откровением своего времени. Она была воспринята как подлинное научное открытие — понятие «диалектический материализм» входило в обиход русской общественной мысли. Появление книги действительно стало выдающимся фактом успеха пропаганды марксизма в России.

Спустя несколько лет Владимир Ильич Ленин напишет, что на этой книге воспитывалось целое поколение русских марксистов.

Неожиданно ему разрешили вернуться в Женеву. Энергичные протесты швейцарских социалистов сделали свое дело: швейцарская полиция после пятилетних «раздумий» сняла наконец подозрения в анархизме.

Домой из Лондона он возвращался через Францию, поездом. Из вагона выходить запрещалось. В соседнем купе ехал полицейский. На каждой остановке он подходил к двери и, приложив руку к козырьку форменной фуражки, спрашивал:

— Не хочет ли месье что-нибудь заказать из буфета? Чай или кофе?

Сдерживая улыбку, Георгий Валентинович строго говорил:

— Кофе.

Полицейский опускал в окне стекло и кричал станционному буфетчику:

— Кофе для месье!

На следующей остановке все повторялось: чай или кофе?

Для разнообразия заказывался чай.

— Чай для месье! — кричал полицейский в окно.

Так они и ехали через всю Францию под эти два слова «чай — кофе», звучавшие однообразно и глупо — вроде старой российской солдатской команды «сено — солома».

Было очень смешно.

Теперь он снова жил в Женеве — с женой и двумя дочерьми. Прошло чуть больше года после смерти Машеньки. Горе постепенно забывалось. Розалия Марковна имела уже врачебную практику и находила утешение в докторских своих заботах, в устройстве вернувшегося после долгой разлуки мужа.

Лида и Женя были уже взрослыми девочками. Они очень обрадовались, когда узнали, что отец теперь постоянно будет жить вместе с ними.

— Папочка, расскажи нам, пожалуйста, про Англию, — просили они каждый раз, когда вся семья была в сборе.

— Англия, представьте себе, очень английская страна, — улыбаясь, начинал Георгий Валентинович и, переделывая на ходу сказку Андерсена, продолжал: — Все жители там — англичане, и даже сам король — тоже англичанин...

Дочери смеялись.

— А помнишь, как ты рассказывал нам сказку про английского короля, — спрашивала старшая, Лида. — В некотором царстве, в некотором буржуазном государстве...

— А вы мне рассказывали сказку о царе Салтане, помните?

— Конечно, помним.

— Но теперь-то мы уже знаем, что не о Са́лтане, а о царе Салта́не, — с важным видом говорила двенадцатилетняя Жения.

— А еще ты заставлял нас учить сказку о попе и его работнике Балде... Тебе всегда очень нравилась эта сказка.

— Да, она мне почему-то всегда очень нравилась, — соглашался Георгий Валентинович, — эта прекрасная сказка о попе, его работнике Балде и о наемном труде.

Так оно потом и закрепилось в семье Плехано́вых, это необычное название пушкинской сказки — название с социал-демократическим, марксистским оттенком.

—

1895 год. На троне Российской империи восседал новый монарх, Николай II — последний русский царь.

Тремя событиями был отмечен этот год в жизни Георгия Валентиновича Плеханова.

В Петербурге начали распространять его книгу «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», уверенно поднявшую Плеханова на капитанский мостик русского социал-демократического движения, еще раз подтвердившую его «флагманское» положение в пропаганде марксизма в России.

В Англии пятого августа в десять часов тридцать минут утра скончался Фридрих Энгельс — старший друг, учитель, наставник, так много лично сделавший в его, Плеханова, марксистском возмужании. (Тело покойного было кремировано, а урна с прахом опущена на дно моря возле английского побережья около Истборна — любимом месте отдыха Энгельса.)

Это была огромная, невосполнимая потеря. Целый день молча просидел Плеханов в своем кабинете, глядя на запечатленные на фотографии дорогие черты, никому не разрешая входить в комнату...

А за два с половиной месяца до этого в Женеве, в небезызвестном кафе Ландольта навстречу ему поднялся из-за маленького мраморного столика невысокого роста двадцатипятилетний молодой человек со слегка рыжеватыми волосами и большим, планетарно выпуклым лбом и, пожимая протянутую Георгием Валентиновичем для знакомства руку, коротко представился:

— Владимир Ульянов...

Глава одиннадцатая

«Моиизм» распахнул науку марксизма перед Россией.

Распахнул широко, щедро, с европейской изысканностью и обстоятельностью, с русским «хлебосольством» мысли, с почти бескрайностью неопровержимых доказательств и неиссякаемой аргументацней.

В год смерти Энгельса это было похоже на новый взмах знамени научного социализма, подхваченного уверенной и сильиой рукой.

Кнкгу торопнлись перевестн иа европейские языкн. Казалось, что марксизм наполияется иовым звучанием — раскатистым эхом передвигающегося из Европы в Россию гула новой эпохи.

И Россия не замедлила с ответом. Из России откликнулись.

Через несколько месяцев после выхода «Монизма» в Женеву приехал руководитель петербургских рабочих кружков, один из самых молодых и самых заметных русских социал-демократов, Владимир Ульяиов.

Теперь уже не заграиичные теоретики из «Освобождения труда» искали после Благоева и Бруснева коитакта с русским рабочим движением. Теоретик и практик рабочего дела из России с присущей ему иовой, энергичной и настойчивой деловитостью сам шел навстречу женевским пропагаидистам. И деловитость его была оправдана и понятна: за его спиной стояла реальная и крепкая рабочая организация, нуждавшаяся в социалистических знаниях.

Тропа марксистской мысли, которую «освободители труда» когда-то начали торить в Россию из своего швейцарского далека, превращалась в широкую дорогу.

Дорога звала в новый путь и тех, кто начинал ее. Звала в Россию — активно участвовать в русскнх делах. И если не прямым физическим действием, то иовым усилием мысли.

Да, семена, брошенные в зимиее русское поле, поднимались из-под снега. Широкая русская равнина дышала будущей весной. Ее первые зеленые побеги просились в жизнь. Упрямо и молодо тяиулись они к свету.

Зеленые ростки были малы, бледноваты и еще робки, но уже неостаиовимы.

После встреч с Ульяновым в Женеве и Цюрихе Плеханов и Аксельрод обменялись мнениями о молодом петербургском социал-демократе.

— Надежный мужичок, — сказал Георгий Валентинович. — Умен, марксистски чрезвычайно образован н явно одарен словом. Это прекрасио, что в нашей революции появляются такие молодые люди.

— Не слишком ли прямолинеен? — спросил Аксельрод.

— У вас был родной брат, повешенный царем? У меия, на-

пример, не было... Но, безусловно, дело совсем ие в этом. Он из науки. Убежденность — незыблемая, стопроцентиая, почти биологическая. Марксизм для него равноценен дыханию. Такой пойдет до конца, никуда ие сворачивая. Имеино здесь его главная суть. И это не прямолинейиость, а бескомпромиссность. Я люблю такую породу людей.

— А ты заметил, как он иногда поглядывал на тебя?

— Ревиуете, Павел Борисович? Напрасио. Для Ульянова, насколько я его поиял, личиые симпатии не определяют главного в делах. Несмотря иа судьбу брата, а может быть — благодаря ей. Для иего главиое — само дело... Это у нас, людей старого закала, личные связи играют огромную роль. А онн, молодые, живут уже по другой шкале ценностей. Истина, только непреложная истина окончательной победы революцин вне всяких ослабляющих идею индивидуальных привязаниостей — вот подлинная категорня нх страстей. Такое можно принимать или не приинмать, но оно существует.

— И все-такн, Жорж, влюбленный взгляд Ульянова я заприметил. Не отрицай моей зоркости. В последиее время у иашей здешней социалнстической молодежн вообще наблюдается, я бы сказал, нечто вроде обожествления вашей почтенной марксистской персоны...

— Не говори так, Павел. Мне совсем не хочется быть даже косвенииым объектом этого языческого мифотворчества... Ужасио, когда люди иачиниают придумывать себе кумиров из-за леиости собственной мысли. В конце коицов, я же не идолище поганое, чтобы вокруг меня устраивали ритуальные пляски огнепоклонники от марксизма!.. Я не хочу больше слушать подобные разговоры, тем более от самых близких друзей.

— Извиии, Жорж, я не думал, что задену тебя...

— Это очень опасное явленне, когда отдельную личность начинают приравнивать к целому делу н противопоставлять ему. Обоюдно опасное.

Плеханов не ошибся в оценке надежиости Владимира Ульянова — между женевским «Освобождением труда» и петербургским «Союзом борьбы за освобождение рабочего класса» устаиовилась прочиая связь. На четвертый, Лондоиский коигресс Второго Интернациоиала Георгий Валеитииович был избран русскими рабочими делегатом от «Союза борьбы». Одиовремеино с известием об этом были прислаиы и деньги на дорогу через Ла-Манш и обратно. (Правда, за несколько месяцев до начала конгресса в Женеву пришла из Петербурга печальная новость: Ульянов и большинство руководителей «Союза борьбы» арестованы полнцней.)

— Деловит, деловнт, ничего не скажешь, — говорнл Плеханов Аксельроду, разглядывая свой петербургский мандат с изображением рабочего, снмволически державшего на руке земной шар. — Сам в тюрьме сидит, а вид на социал-демократическое

жительство в Лондоне выправил мне по всей форме. И даже о расходах моих из-за решетки побеспокоился. Ну, спасибо, спасибо... Я как-то сразу уловил в нем некую четкую и безупречную определенность и почувствовал глубоко личное расположение к нему. Недаром же, — улыбнулся Георгий Валентинович, — в названиях нашей группы и его «Союза» есть даже одно общее слово — освобождение.

Под сводами огромного зала, где проходил Лондонский конгресс, Плеханов громил анархистов.

Плеханову хлопали — к тому времени его книга «Анархизм и социализм», впервые вышедшая на немецком языке, была переведена на английский и французский. Европейской публике русский марксист был широко известен. И поэтому речь его сопровождалась достойными оратора аплодисментами.

Вечера в Лондоне Жорж проводил в обществе Элеоноры Эвелинг, дочери Маркса. «Анархизм и социализм» с немецкого перевела она. Элеонора грустила — большие, черные, прекрасные глаза ее, глаза Маркса, были наполнены печалью. Недавняя смерть Энгельса сильно подействовала на миссис Эвелинг.

...Иногда по вечерам Плеханов гулял по Лондону вместе с Верой Ивановной Засулич, все еще жившей в Англии. Под мягкий шелест дождя в размытом туманной пеленой оранжевом свете фонарей вспоминали Энгельса.

— Он меня пивом угощал, когда я первый раз к нему пришел, — говорил Жорж.

Вера Ивановна рассказывала о последних неделях его жизни, кремации тела и суровых похоронах. Плеханов вздыхал, Засулич украдкой вытирала слезы. На душе было тоскливо и одиноко — обоим им не хватало великого старика в Лондоне.

А Ленин в это время сидел в слепой темной камере петербургского Дома предварительного заключения. Арестованный семь месяцев назад, он не унывал — писал письма на волю, переправлял прокламации, незримо для полиции руководил стачками на столичных фабриках. В наивысший момент стачечной волны в городе бастовало около тридцати тысяч рабочих.

Тридцать тысяч? Гм-м, гм-м... Совсем недурно. Влияние «Союза борьбы», несмотря на арест его главных руководителей, на рабочие организации чувствовалось в этой цифре весьма ощутимо.

В день закрытия Лондонского конгресса в Гайд-парке проводился социалистический митинг. Засулич, Элеонора и Жорж отправились в Гайд-парк. Неожиданно пошел сильный дождь. Плеханов был одет легко и, конечно, простудился.

На следующий день он слег.

А Ленин в Петербурге, расхаживая по своей камере в Доме предварительного заключения, озабоченно размышлял. Он начал собирать материалы для книги «Развитие капитализма в России». Требовались новые статистические данные о хозяй-

ственной жизни страны. Много данных. Как заполучить их в тюрьму? И по возможности поскорее? Гм-м, гм-м...

Впереди у Ленина была трехлетняя ссылка в Сибирь — в глухой и морозный Енисейский край. Нужно было использовать вынужденную паузу — отрыв от рабочего движения — с наибольшей выгодой для пополнения теоретического багажа. А потом снова за черновую, практическую революционную работу.

«Мужичок» не унывал.

Последние годы уходящего девятнадцатого века были временем наивысшего расцвета творческой личности Георгия Валентиновича.

Им восхищались, его уважали, восхваляли, приглашали читать лекции во многие города и страны. Его имя прочно связывали с успехами социал-демократии во всей Европе. Он признанно считался одним из главных стражей диалектического материализма, хранителем чистоты понимания и применения к жизни учения Маркса и Энгельса, непримиримым защитником марксизма от оппортунистов и ревизионистов всех категорий.

Его несгибаемая сопротивляемость обстоятельствам была образцом поведения, служила мерилом нравственной стойкости революционера в эмиграции.

Беззаветное, безупречное служение идее с первых же шагов вступления на дорогу борьбы до такой степени растворило его натуру в делах революции, что они уже навсегда были неотделимы друг от друга.

На рубеже двух веков яркий факел революционной судьбы Плеханова слился с бесчисленными языками пламени повсеместно разгоравшегося пролетарского пожара.

— Простите, с кем имею честь?

— Чарльз Меример, журналист...

— Так чем могу служить, мистер Чарльз?

— Мистер Плеханов, у вас нет никаких личных счетов с Бернштейном?

— Абсолютно никаких.

— Так в чем же тогда дело? Почему вы так обозлились на него?

— Мистер Чарльз, вам знакомо учение Маркса и Энгельса?

— В самых общих чертах.

— Так вот, Бернштейн решил ревизовать учение Маркса и Энгельса. Он сделал попытку пересмотреть коренные принципы марксизма. Сначала в экономике, потом в философии.

— Он что, сумасшедший?

— В какой-то степени да... Так вот, если бы Бернштейн оказался прав, что же тогда осталось бы от социализма? Решительно ничего!.. Поэтому я и выступил на защиту главных положений учения Маркса... Бернштейн утверждает, что матери-

ализм является ошибочной теорией, и призывает социалистов вернуться назад к Канту, к агностицизму, которым пропитана вся философия Канта. А что такое агностицизм?

— Мне кажется, что это какое-то нехорошее слово. Во всяком случае, мне оно совершенно не нравится...

— И вы абсолютно правы, дорогой мистер Чарльз... Агностицизм отрицает возможность верного познания мира человеком. Но мы же имеем возможность с нашей способностью к восприятию знать отношения между предметами? Имеем. Значит, если мы обладаем этим знанием, мы уже не можем говорить о нашей неспособности познать мир... Что такое вообще — знать? Знать — это предвидеть. И если мы можем предвидеть какое-то явление, следовательно, мы можем предвидеть воздействие этого явления на нас самих. На этом предвидении основана вся практическая и экономическая деятельность человечества, вся промышленность — заводы и фабрики, вся торговля...

— Олл райт, мистер Джордж. Читатели нашей газеты очень хорошо поймут вас. Если нельзя правильно познавать мир, если нельзя предвидеть, то зачем же тогда заниматься бизнесом?

— Теперь идем дальше, мистер Чарльз... Бернштейн назвал диалектику Маркса и Энгельса гегелевской ловушкой, которая якобы привела к возникновению неверной теории катастроф. Ревизионист Бернштейн заявляет во всеуслышание, что новейший ход общественного развития свидетельствует о смягчении противоречий капитализма, и поэтому, мол, революционная борьба не нужна. Ревизионист Бернштейн пытается доказать нам, что многие взгляды Маркса и Энгельса, высказанные в «Коммунистическом манифесте», не нашли подтверждения в дальнейшем развитии социальной жизни... Скажите, мистер Чарльз, вы можете согласиться с тем, что противоречия современного капитализма смягчились?

— Это было бы смешно и глупо, мистер Джордж. Я же не слепой...

— Вот именно. Но Бернштейн как раз и хочет ослепить рабочее движение, выбрасывая из его теоретического арсенала революционную диалектику Маркса. Он хочет заменить ее эволюционизмом и столкнуть социал-демократию в болото реформизма. Этого же всей душой хотят и наши враги из лагеря буржуазии, которые уже бесчисленное множество раз кричали со всех углов, что «Коммунистический манифест» устарел и его пора списывать в архив.

— С вашей точки зрения, практический вред ревизионизма Бернштейна для социалистических партий не вызывает никаких сомнений?

— Да, опасность не только ревизионизма Бернштейна, но и других оппортунистических элементов для социал-демократических партий очень велика... И эту опасность надо любыми средствами предотвратить!.. В конце концов вопрос стоит так — кто кого похоронит? Бернштейн социал-демократию или социал-демократия Бернштейна?

— А как считаете вы, мистер Джордж?
— А вы, мистер Чарльз?
— Вы знаете, ни Кант, ни Бернштейн лично мне почему-то не нравятся. Что значит, мир не может быть познан? Для чего же тогда жить, учиться, любить, иметь детей, если неизвестно, что нас ожидает впереди? Это как-то не похоже на человека. Люди хотят знать о своем будущем как можно больше...
— ...чтобы влиять на него и, не доверяясь его слепой стихии, пытаться строить свое будущее на разумных началах, не так ли, мистер Чарльз?
— Олл райт, мистер Джордж!
— Итак, мистер Чарльз?
— Социал-демократия, наверное, все-таки похоронит Бернштейна. Это было бы справедливо.
— Разрешите полностью разделить ваше мнение, мистер Чарльз. И одновременно поздравить вас с присоединением к лагерю революционного материализма и марксизма.
— О, мистер Джордж! Вы неплохой вербовщик в лагерь марксизма.
— Это не я вербую, это вербует само учение марксизма. Оно, знаете ли, обладает одним великолепным качеством — быстро делать хороших людей своими сторонниками.
— Вы считаете меня хорошим человеком?
— Безусловно.
— А почему?
— А потому, что вам не нравится Бернштейн.
— Странная у вас логика, мистер Джордж...
— Революционная. Марксистская.
— Почему же все-таки учение Маркса так быстро делает людей своими сторонниками?
— А потому, что оно верно, мистер Чарльз.

— Господин Плеханов, я снова к вам...
— Мистер Чарльз? Какими судьбами?
— После того как было опубликовано мое интервью с вами, читатели нашей газеты засыпали редакцию письмами. Они хотят именно от вас все узнать о русской революции. А воля подписчиков для нас закон. И вот редакция специально направила меня к вам.
— Рад приветствовать вас еще раз в Европе, мистер Чарльз.
— Я привез вам два письма. От русского социал-демократического общества в Америке и лично от господина Ингермана.
— От Сергея?! Очень приятная новость. Ну, как он там?
— Дела мистера Ингермана идут отлично. У него вполне процветающий бизнес. Мистер Сергей просил передать вам также чек для вашей издательской деятельности.
— Спасибо.

— Мистер Джордж, а вы никогда не думали о том, чтобы уехать в Америку?

— Думал. Сергей звал меня за океан... Когда-то ведь он был членом нашей группы «Освобождение труда», но потом эмигрировал...

— В Америке перед вами открылись бы неограниченные возможности. Ваша эрудиция и литературный талант позволили бы вам стать одним из самых читаемых авторов.

— Мое сердце, мистер Чарльз, навсегда отдано России и русскому рабочему классу. Поэтому мне нельзя далеко уезжать от России. Особенно сейчас, когда пролетарское движение у нас на родине день ото дня становится все более массовым. Нам необходимо создать свою марксистскую, социал-демократическую рабочую партию. Время для этого наступило, история поставила этот вопрос со всей остротой. Откладывать больше нельзя — Россия ждет.

— Мистер Джордж, насколько я знаю, российская социал-демократическая рабочая партия уже существует.

— Вы имеете в виду событие...

— ...которое произошло в Минске. Я понимаю, что по соображениям конспирации вы, может быть, и не должны обсуждать со мной эту тему. Но до того, как появиться у вас здесь еще раз, я познакомился с некоторыми материалами о прошлом и настоящем русской социал-демократии, и кое-что мне уже известно. Я сделал это потому, что на страницах своей газеты должен как можно более широко рассказать о русских делах, чтобы удовлетворить законный интерес тех наших читателей, которые являются держателями ценных русских бумаг.

— И что же, например, вам уже известно о наших русских делах?

— Мистер Джордж, вы испытываете ко мне недоверие? Вы считаете, что я не тот человек, за которого себя выдаю?

— Да что вы, господь с вами, мистер Чарльз! Просто интересно узнать степень информированности западной прессы о нашей революции.

— Например, мне известно о том, что по вашей инициативе на помощь группе «Освобождение труда» когда-то был создан «Союз русских социал-демократов за границей».

— Кто же вам рассказал об этом?

— Руководители «Союза» — Кускова и Прокопович.

— Ну что ж, если эти русские бернштейнианцы, эти оппортунисты...

— Русские бернштейнианцы? Разве существуют уже и такие?

— Конечно. В том-то и состоит опасность бернштейнианства, что оно выхватывает из рядов социал-демократии наиболее нестойкие в марксистском отношении элементы и мгновенно заключает их в свои объятия.

— Мистер Плеханов, вы не могли бы рассказать обо всем этом несколько подробнее? Разумеется, в пределах допустимого для

публнкации в легальной прессе. Читателям нашей газеты будет чрезвычайно нитересио узнать именно вашу точку зрения.

— Извольте. Поскольку вы собнраетесь широко писать о наших делах, я не могу упустить случая лишний раз высказать свое мненне о наших так называемых «экономистах», с которыми вел, веду и буду вести войну не на жизнь, а иа смерть.

— Какое прекрасное русское выражение — не на жизнь, а на смерть!

— Что такое «экономизм»? Это русская разновидность бернштейиианства, которая, естественно, отрицает значение революционной теории Маркса, заменяет ее борьбой за текущие экономические интересы рабочих, а мнссию политической борьбы с самодержавнем передоверяет либеральной буржуазии.

— У вас удивительиый талант, мнстер Джордж, очень просто объяснять самые сложные вещн.

— Несколько лет назад по моей нннциативе здесь действительио был органнзован «Союз русских социал-демократов за границей». В Швейцарнн тогда находилось очень много русских эмигрантов социал-демократического направления. Для чего я решил не включать нх в группу «Освобожденне труда», а создать новый союз? Для того, чтобы на новом этапе нашего движения выставнть на первый план, подчеркнуть н усилнть прежде всего организационную деятельность по объединенню всех русскнх социал-демократов, жнвущих за границей. И еще для того, чтобы этн новые, молодые моглн бы внести свою лепту в широкое социалистическое двнжение пролетариата на родине... Чисто организацнонными мерамн мне хотелось с первых же дией существования этого союза активизнровать его деятельность н сделать его на новом этапе — этапе массового развития русского рабочего двнжения — тоже прннцнпиально новой, крепко сплоченной и, может быть, даже почти профессиональной русской марксистской организацией за границей. В отличие от группы «Освобождение труда», которая все-таки состояла нз узкого круга лнц н возникла как кружок — именно как кружок! — в давно уже миновавший, первоначальный период развития нашей социал-демократии.

— Мистер Джордж, но ведь ваше «Освобожденне труда» вошло в состав заграничного союза?

— И не только вошло, но н передало ему свою типографию и все финансы, создав для «молодежи», как говорнтся, все условия для самостоятельного возмужания.

— Однако вы сохранили за собой право редактировать издания союза, чем значительно ограничили самостоятельность «молодежи».

— Что-то очень уж много подробностей о наших делах вы знаете, мистер Чарльз, а?

— Со слов Кусковой и Прокоповича.

— Так вот, когда все материальные условия новорожденному были подготовлены, младенец открыл свою пасть и впился зубами в заботливую руку, то есть в мою руку.

— И что же было дальше?

— А дальше все было очень просто. Наши молодые заграничные социал-демократы, не вытершие еще с губ молока, кинулись целовать этими самыми молочными губами господина Бернштейна в то место, которое, как известно, находится пониже спины...

— Вы слишком резки, мистер Джордж, я удивлен...

— Знаю. Меня все ругают за резкость — Бебель, Либкнехт, Лафарг, Каутский. Даже свой брат Аксельрод и тот попрекнул. А вот Вера Ивановна Засулич наоборот — одобрила, особенно по поводу этого перевертыша Бернштейна. А она понимает толк в резкостях...

— Засулич и Аксельрод вместе с вами образовали в заграничном союзе партию так называемых «стариков»...

— Ничего мы не образовывали. Это нас на подобный манер выскочки наши окрестили.

— Какие выскочки?

— «Экономисты» российские — Кускова, Прокопович, Гришин, Тахтарев...

— А они стали называть себя «молодыми», не так ли?

— Так-то оно так, но очень уж по-старушечьи решили себя вести эти «молодые». Начали шептаться по углам, шушукаться, развели сплетни, склоки, ссоры, потом вдруг потребовали от меня, Веры и Павла финансовые отчеты за прошлые годы... То есть приступили к систематической травле всей нашей тройки. И в довершение всего выпустили несколько работ под маркой союза, но без нашего редактирования, объясняя это тем, что «старики» — Плеханов, Засулич и Аксельрод — оторвались, мол, от современного русского рабочего движения и, с их точки зрения, не понимают его сегодняшних запросов и нужд...

— Как же дальше развивались события?

— Намерения «молодых» руководителей «Союза русских социал-демократов» по отношению к нам, «старикам», были вполне очевидны: постепенно оттеснить нас от активного участия в работе союза, превратить его целиком в логово «экономистов» и, я бы даже сказал, «ультраэкономистов», и потом уже беспрепятственно начать яростную пропаганду в России своих ревизионистских, своих оппортунистических бернштейнианских взглядов... В то время как мы закрывали дорогу только младенческому лепету этих социал-демократических недорослей, способному до конца запутать и без того запутанные теоретическим хаосом головы их сторонников.

— Мистер Джордж, что, по-вашему, наиболее опасно для рабочего движения во взглядах русских «экономистов»?

— Неверие в успех политической пропаганды среди рабочих. Желание превратить рабочий класс в послушное политическое оружие буржуазии. Несостоятельная претензия на пересмотр основных идей «Коммунистического манифеста». Незнание марксизма и нежелание его изучать.

— В самом начале нашего разговора вы сказали, что русским

марксистам предстоит создать социал-демократическую рабочую партию. Я ответил вам, что, насколько я знаю, такая партия уже создана и...

— И мы остановились на событии, которое произошло в Минске.

— Совершенно правильно. Так что же все-таки произошло в Минске?

— В Минске состоялся первый съезд российской социал-демократической рабочей партии.

— Значит, такая партия уже существует?

— Нет, она только провозглашена. В наше время многие социал-демократические организации и группы в самой России уже самостоятельно дозрели до мысли о необходимости объединиться и образовать марксистскую партию рабочего класса. Здесь самое главное состоит в том, что социал-демократы и участники рабочих кружков в России сами, как говорится, собственными мозгами осознали одно из главных положений марксизма и пришли к пониманию жизненно насущной потребности в организации партии.

— Но без вашей пропаганды, то есть без многолетней неутомимой издательской деятельности «Освобождения труда», это было бы невозможно.

— Благодарю за комплимент, мистер Чарльз... Так вот, инициативу объединения взяла на себя в России одна из местных социал-демократических организаций, наиболее сохранившаяся после арестов, но тем не менее слабая и малочисленная. Естественно, сил на создание партии у нее не хватило, но она объявила о ее возникновении. И в этом ее великая историческая заслуга. Эта же местная организация начала выпускать общерусскую нелегальную рабочую газету и прислала мне первый номер. Прочитав его, я ответил товарищам в России, что приветствую их инициативу и одобряю их стремление не ограничиваться только местными задачами. Особо я подчеркнул в своем ответе опасность «экономизма» и напомнил, что ни в коем случае нельзя забывать чрезвычайно важную мысль Маркса о том, что всякая классовая борьба есть борьба политическая... Этими же словами Маркса, поставив их в эпиграф, я начал почти двадцать лет назад свою первую марксистскую книгу «Социализм и политическая борьба»...

— Да, двадцать лет — большой срок. Вам можно только завидовать, мистер Джордж. Политический деятель, упорно и неизменно проводящий в жизнь свои взгляды на протяжении почти двадцати лет, неизбежно должен увидеть реальное воплощение затраченных усилий.

— Одновременно я написал товарищам в Россию, что сближение местных марксистских групп и слияние их в стройное организационное целое является непременным условием дальнейшего успеха русского рабочего движения. И в этом деле их нелегальная газета и обсуждение на ее страницах общерусс-

ких социал-демократических интересов будут иметь первостепенное значение.

— О, мистер Джордж, как журналист я понимаю вашу мысль!

— А сами участники первого съезда, неимоверно обозлив наших доморощенных «экономистов», назвали нашу тройку, то есть Засулич, Аксельрода и меня, основателями русской социал-демократии...

— Поздравляю! Насколько я разбираюсь в русских делах, это справедливая оценка.

— Правда, вместе с этим первый съезд объявил заграничный союз своим заграничным органом, и Прокопович, Кускова и компания тут же вознеслись...

— Ваш поединок с ними еще не закончился?

— И не закончится до полной победы марксизма. Не для того я тут двадцать лет почти висел на кресте, сжег свои легкие, потерял двоих детей, чтобы отдать марксизм каким-то политическим земноводным, бернштейнианским кретинам... Правда, сейчас я остался один против всей своры. Павел Аксельрод, чтобы не слышать кусковского бреда, заткнул уши и отошел в сторону. А милейшая Вера Ивановна Засулич вдруг заявила, что редактирование популярных брошюр для рабочих надо отдать «молодым». Не понимая того, что наши «экономисты», эти лакеи западного ревизионизма из буржуазной прихожей, могут замусорить своими оппортунистическими лохмотьями чью угодно голову до состояния выгребной ямы...

— Воевать одному очень трудно.

— Конечно, трудно. Но мне не привыкать... Когда-то я один ушел с Воронежского съезда русских народников и оказался прав. «Народная воля» разгромлена, а социал-демократия поднялась на ноги и расправляет плечи... Так и сейчас. Пускай своя особая позиция, но я все равно пойду той дорогой, идти по которой требует от меня мой долг революционера, и добьюсь, чтобы «экономизм» сдох под забором истории!

— Мистер Плеханов, в заключение нашей беседы не могли бы вы коротко рассказать мне о ваших ближайших литературных планах?

— План у меня один — добить «экономистов» до конца, нанести им смертельный удар. С этой целью затеяли мы тут один интересный сборничек. Хотим опубликовать под одной крышей, то есть в одной книге, и статьи «экономистов» (показать их взгляды), и документы революционных марксистов (раздеть «экономизм» догола). Чтобы, как говорится в русской пословице, видна была птица по полету, а добрый молодец — по соплям.

— Олл райт, мистер Джордж! Это замечательная идея.

— Кроме того, пятьдесят лет назад был написан «Манифест Коммунистической партии». В свое время мы издали его на русском языке в моем переводе, а теперь хотим переиздать, снабдив специальным предисловием, в котором будет проанали-

зировано развитие современного революционного движения. В предисловии также я хочу дать обзор всей так называемой «критики» марксизма, которая, наделав в последние годы столько шума во всемирной социалистической литературе, всегда вращалась именно вокруг «Манифеста». И не просто дать обзор, а сделать его через призму одной из центральных формул марксизма, которая гласит: вся история, с тех пор как разложилось первобытное общинное землевладение, была историей борьбы классов. И ткнуть носом в эту формулу всех бернштейнианцев, всех ревизионистов, всех оппортунистов и наших «любимых», посконных отечественных «экономистов», ибо вся эта шайка социал-демократических леших упомянутую гениальную формулу Маркса пытается из азбуки революционной борьбы рабочего класса изъять и проглотить.

— Господин Плеханов, вы очень кровожадный человек...

— Когда речь заходит о защите чистоты марксизма, я становлюсь вампиром, акулой, тигром и носорогом одновременно!

— Ха-ха-ха! Браво, браво!.. Это очень смешно и главное — очень похоже...

Глава двенадцатая

— ...и кроме того, Засулич писала мне, что вы после возвращения из ссылки в Петербург называли себя там «плехановцем». Не отрекаетесь, Владимир Ильич?

— Нет, Георгий Валентинович, не отрекаюсь.

— А то ведь здесь, в Женеве, «молодые» совсем заклевали меня. Утверждают, что устарел, покрылся плесенью, не знаю нужд современного русского рабочего. Надеюсь, вы этого мнения не разделяете, если вы «плехановец»?

— Не только не разделяю, но думаю, что дело обстоит как раз наоборот.

— Ну, спасибо, утешили старика.

— Какой же вы старик, Георгий Валентинович?

— Старик, старик... Скоро двадцать пять лет исполнится, как перешел на нелегальное положение.

— Вы имеете в виду вашу речь на Казанской демонстрации?

— А вы разве знаете о ней? Странно, странно... Теперешняя социалистическая молодежь, настроившись на оппортунизм и мирные экономические требования, склонна забывать наше прошлое и личное участие в нем некоторых ветеранов движения. Так что такие события, как Первое марта или Казанская демонстрация, сознательно предаются забвению вместе с именами их участников.

— Георгий Валентинович, многие рабочие в Петербурге из нашего «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» называли имена трех человек, которые привели их в революцию: Маркс, Энгельс, Плеханов. О себе я могу сказать то же самое, добавив сюда еще и Чернышевского. Наша первая встреча пять

лет назад имела огромное значение для моего формирования, которое начиналось и с чтения «Наших разногласий»... В Сибири я много думал о вас, о предстоящей совместной работе.

— Благодарю. Признаться, я несколько смущен вашим откровением... В моих взаимных симпатиях тоже можете не сомневаться, я их испытал с первых минут нашего знакомства... Когда мы здесь узнали о вашем аресте, я переживал очень болезненно и за вас лично... Все эти годы мы тоже ждали вас сюда, помнили о вас, радовались вашей бодрости в ссылке — мне даже жена однажды написала, что вы просите только одного: книг, книг, книг!... А ваш «Протест семнадцати», присланный из Сибири, был просто замечательно своевременным марксистским документом и вбил свой, крепкий, очередной гвоздь в крышку гроба «экономизма»...

— Мы, ссыльные русские марксисты, тогда не могли даже из Минусинска не откликнуться на вашу архиважную борьбу против наипошлейшего «экономизма», против всей этой позорнейшей «кусковщины» — стыда и срама нашей социал-демократии...

— Замечательные слова, Владимир Ильич! Вы мне необыкновенно близки своим отношением к мадам Кусковой — этой оппортунистической ведьме на бернштейнианской метле. Она получила вполне по заслугам в вашем «Протесте»...

— Его нелегко было организовать, ссыльные были разбросаны по разным, далеким друг от друга деревням, но это было делом чести каждого истинно революционного русского марксиста — прийти на помощь вам, со всех сторон окруженному злобно лающей сворой «экономистов». Чернышевский, когда он был в ссылке в Сибири...

— Кстати, о Чернышевском — простите, что перебил вас. В той газете, которую вы собираетесь издавать здесь с Потресовым, мне бы хотелось напечатать несколько статей о Чернышевском. Именно он первый пробудил во мне «критическую мысль» и развил неприятие народнической субъективной социологии. Он первый подготовил почву для научной методологии социального познания — еще в самые ранние годы эмиграции я начал думать об этом...

— Дорогой Георгий Валентинович, о чем разговор? Милости просим!.. Но, может быть, лучше сделать это не в «Искре», а в теоретическом журнале «Заря»? С Верой Ивановной мы уже говорили в Петербурге. Она пришла в полный восторг и по всем пунктам согласилась с нами в том смысле, что издание за границей общерусской социал-демократической газеты и нелегальное распространение ее в России действительно сможет идейно и организационно сплотить вокруг марксистской газеты все подлинно революционные силы российского рабочего движения... Теперь остаетесь вы, и перед тем как начать наши коллективные переговоры впятером, я хотел бы иметь с вами предварительную беседу...

— Владимир Ильич, скажите откровеиио — мириться будете звать?

— Мириться? С кем же?

— Ну, скажем... с «молодыми» или вообще с «экономистами»?

— Нн в коем случае!

— А с «легальными марксистами»? С этим вашим ненаглядным Струве-Бобо?

— Георгий Валентиновнч, вы, очевндно, знаете мое нстииное отношение к оппортуннзму «экономистов» и «легальных»?

— Знаю.

— И, надеюсь, ни в каком расположеиии к ним меня не подозреваете?

— А почему вообще возник разговор об этих отступниках от марксизма, об этих изменниках, об этих прихвостнях Бернштейна?!

— Вы решилн, что я хочу ндейно помирнть вас с «экономистамн» н «легальными»...

— Я, может быть, несколько возбужденно реагирую сейчас на эти два слова, но вы должны понять мою вспышку... Я слишком много крови, сил н здоровья потерял в последнне два года нз-за подлого предательства здешних молодых социал-демократов, чтобы сохранять спокойствие при любом упоминании о них. Эта проклятая эпидемия крнтики Маркса, охватившая, как чума, соцналистическую молодежь, сведет меня в могилу раньше времени. Все хотят пересмотреть ученне Маркса н Энгельса — абсолютно все!

— Далеко не все, Георгий Валентинович. Меня, надеюсь, в этом вы упрекнуть не можете.

— Конечно, я понимаю, что молодежь всегда была склонна к ннзвержению авторитетов. Я сам когда-то броснл первый камень в народннчество н задиристо поднял копье в «Наших разногласиях» против старнка Лаврова. Развенчивать ндеалы отцов — это вечные заботы молодости. Но прежде, чем развеичивать нх идеалы, надо разобраться в них, поиять до конца их глубнну н нсторнческую необходимость.

— Именно это применнтельно к марксизму н к русской революцин н прнзваны сделать «Искра» н «Заря». Но издание нх ставит перед намн целый ряд чисто практических вопросов, решить которые мы не сможем одни, нзолированные от всей остальной нашей соцнал-демократин. Надо реально смотреть на собственные возможности. Теперь, когда у нас будут «Искра» и «Заря»...

— «Искра» полиостью выполиила бы свою задачу, если бы только одну войну с «экономистами» довела бы до победного конца. Честь ей за это была бы и хвала!

— Нет, Георгий Валентинович, я внжу перед «Искрой» более широкне задачи...

— И для этого зовете меня целоваться с «экономистами» и «легальнымн»?

— Ваши гневные чувства, откровенно сказать, я целиком понимаю и разделяю. Но мне кажется, что в нашем сложном и напряженном положении давать простор только чувствам нельзя. Нужно подумать о тактическом маневре, нужна гибкость...

— Владимир Ильич, вы на сколько лет младше меня?

— Кажется, на четырнадцать.

— И вы хотите меня учить маневрам и гибкости?.. В свое время, когда шли переговоры о слиянии чернопередельцев с народовольцами, многие мои товарищи хотели объединиться любой ценой и готовы были пойти на серьезные идейные уступки. Но я добился того, чтобы в программные документы нашего «Черного передела» была включена формулировка о заложении основ рабочей социалистической партии в России. И это уже было прямым отказом от народнических догматов.

— Георгий Валентинович, ни для вас, ни для меня, ни для кого угодно не является секретом тот бесспорный факт, что основным действующим практическим звеном наших современных российских социал-демократических организаций являются «экономисты». Они практики, в их руках функционирующий аппарат нашей теперешней социал-демократии. Это первое... Второе. Под влияние «экономистов» временно — подчеркиваю это слово: временно! — попали некоторые рабочие-революционеры в России, считающие, что борьба за улучшение жизни рабочих, за удовлетворение их экономических нужд будет способствовать объединению рабочего класса вокруг партии. Было бы недопустимо, непозволительно неверно отстранять этих рабочих от партии — за нами сохраняется много возможностей направить их дальнейшее политическое воспитание в русло революционного марксизма... Исходя из этого, мы составили проект предварительного документа, где, всемерно осуждая оппортунистическую сущность «экономизма», показывая ревизионистскую перспективу «экономистов», мы тем не менее не теряем надежды на возможность совместной практической работы, надежды на привлечение к общей социал-демократической деятельности непосредственных практиков рабочего движения, и прежде всего самих рабочих, пока еще находящихся под влиянием идей «экономизма».

— Другими словами, вы допускаете...

— ...возможность мирного исхода спора с «экономистами».

— Никогда!.. Никогда этот ваш так называемый предварительный документ не будет для меня приемлемым. Моя позиция в данном вопросе постоянна и неизменна...

— Георгий Валентинович, по-моему, это единственно правильное решение вопроса, которое диктуется соображениями практической, деловой политики.

— Но ведь вы же с самого начала говорили мне, что новые печатные органы революционной российской социал-демократии, газета «Искра» и научно-политический журнал «Заря», будут твердо поставлены под флаг группы «Освобождение труда», не так ли?

— Да, говорил.

— Так почему же вы, позвольте вас спросить, не уважаете мои взгляды как лидера этой группы? Почему вы, молодой человек, предлагаете мне так беспардонно сменить мои убеждеиия, как будто это постельное белье нли перчатки?

— Георгий Валеитииович, да вы меия совершенно неправильио поняли!.. Я предлагаю, нн на секуиду ие забывая о ваших взглядах н убеждеииях н о нашем общем, абсолютно непримиримом идейном отрицании и иеприятии «экоиомизма», совместно выработать публичное заявление об отношении новых печатных органов революциониой российской социал-демократии к практическим, массовым работникам местных социал-демократических организаций и звеньев в России. Чтобы эти практические работники, эти местиые звенья и организации не препятствовали нашим новым печатным органам, а способствовали распространеиию их влияния на массы, чтобы с самого начала эти звеиья в России не оставались бы в стороне, а включились с «Искрой» в руках в нашу работу по объеднневию революционных сил рабочего движения, чтобы практические работиики этих местных оргаинзаций, получая «Искру», шли бы с ней на заводы и фабрики, к рабочим, и тем самым реально осуществляли иачатую нами борьбу за пролетарскую партию... Это н есть тот гибкий тактический маиевр, о котором я говорил. То есть диалектика в действии, примеиеиная иа практике сегодня...

— Владимир Ильич, я инстинктивно чувствую, что за разговорами о диалектике и гибких маиеврах вы непроизвольио, в силу своего возраста, а точиее сказать — в силу логики своего возраста, смыкаетесь и сближаетесь с нашими здешиими «молодыми» из заграничного союза русских социал-демократов. И это печально, очень печально.

— Дорогой Георгий Валентиинович, я еще и еще раз повторяю, что бескоиечио уважаю вашу иепоколебимую неприязнь к ревизиоиизму и вашу сокрушительную творческую силу, с которой вы здесь, в архисложиых условиях, нанесли смертельный удар европейскому оппортуиизму. Но сейчас я прошу вас взглянуть на дело ие суровым взглядом разгневанного Зевса-громовержца, а глазами практика. И не с олимпийских, орлиных высот теории, а с точки зрения потребиостей и запросов нашей массовой социал-демократии. Когда мы затевались в России с новой газетой и журналом, ни у кого из нас не возникало даже подобия мысли о том, что мы хоть на один шаг позволим себе идейно отдалиться от «Освобождения труда» в чью-либо другую сторону или хотя бы иа один сантиметр отделить вас от задуманного предприятия. Когда Потресов печатал ваш «Монизм» в Петербурге, книга была выпущена в предельно короткий срок — в три месяца — благодаря помощи «легальных марксистов», то есть благодаря соглашению, которое мы заключили с ними о совместиой издательской деятельности при условии полной свободы критики воззрений друг друга. Заклю-

чая такое издательское соглашение исключительно в интересах революции, мы принципиально и последовательно критиковали буржуазно-либеральную идеологию и открыто выступили против «легального марксизма» Струве. И тут же снова в собственных интересах, то есть в интересах революции, использовали широкие связи и средства «легальных марксистов», издав с их помощью революционно-марксистский сборник о хозяйственном развитии России, а потом и вашу, Георгий Валентинович, книгу «Обоснование народничества в трудах господина Воронцова». Разве это сближение с оппортунизмом «молодых» или «легальных марксистов»? Разве все это нельзя назвать гибкой практической тактикой с применением диалектического маневра?

— Из немецкого языка, Владимир Ильич, в русский перешло такое слово, как гешефтмахерство, то есть делячество...

— Но благодаря этому «делячеству», а вернее — благодаря нашему соглашению с «легальными марксистами» достигнута поразительно быстрая победа над народничеством и произошло громадное распространение марксизма вширь по всей России... Русская читающая публика из тех же легальных изданий, финансированных «легальными марксистами», получила возможность узнать правильное толкование учения Маркса в изложении революционных марксистов — например, в вашем изложении, Георгий Валентинович. И разве «легальный марксизм» не привлек интерес десятков прогрессивно настроенных деятелей либеральной интеллигенции к марксизму вообще и не вызвал с их стороны не только открытый протест против самодержавия и требования буржуазно-демократических свобод, но и прямую критику народничества?

— Но ведь никакой либерал выше дилетантского, крайне узкого понимания марксизма подняться не может, отбрасывая при этом всю революционную суть марксизма, подменяя его материалистическую диалектику антидиалектическими реформистскими иллюзиями о возможности улучшения капитализма. А России хватит реформ! Россию уже пытались «улучшить» с помощью реформы шестьдесят первого года. Но России нужна революция, а не реформа, нужна ампутация и резекция, а не фармакология, нужен нож пролетарского хирурга, а не слабительные порошки и пилюли либералов, «экономистов» и «легальных марксистов»!

— Все правильно, Георгий Валентинович, все верно. Для этого и хотим мы собрать все подлинно революционные элементы России вокруг «Искры», энергия издания которой в конце концов преобразуется в создание подлинно марксистской рабочей партии. И эта партия поведет российский пролетариат к социалистической революции.

— Господа, вы попросили меня прочитать вам реферат о роли личности в истории. Я не стану делать этого. Мне просто хотелось сказать вам несколько неофициальных слов о том, что думаю об этом я, Георгий Плеханов, частное лицо, человек, привыкший всегда иметь индивидуальное мнение о многих

стороиах иашей жизии... Вопрос о месте человеческой личиости в истории должеи привлекать сейчас наше виимаиие прежде всего потому, что в последиее время у нас в Европе вновь наблюдается оживлеиие интереса к тем социалистическим теориям, согласно которым личность является главиым двигателем истории и действия каждой выдающейся личностн не зависят якобы ни от законов самой истории, ни от ннтересов социальиых классов и человеческого общества. Антинаучность этих теорий, я думаю, для всех вас представляется со всей безусловностью. По сути дела, их квинтэссенция восходит своим происхождеиием к субъективно-идеалистическому учению небезызвестиого Михаила Бакунина. Его нынешние последователи в Европе и в России, вытаскивая аиархизм на свет божий, преследуют только одиу цель — усилить борьбу против современной революциониой социал-демократии, против ее твердой направлеииости иа достижение диктатуры пролетариата. Эти утопически настроеииые господа тешат себя ветхозаветной иллюзией: масса — ничто, личиость — все. По их доморощенному субъективистскому мнению, критически мыслящая личность может якобы по своей воле изменить ход истории и одной лишь силой своего ума направить историю в нужиом для себя направлеиии, не опускаясь до уровня неразвитого сознаиия широких иародных масс... В этой связи мне хотелось бы процитировать здесь высказываиие человека, которого трудио заподозрить в общности взглядов с революциониымн марксистами. Граф Отто Бисмарк, «железиый каицлер» — одио из главных действующих лиц недавией европейской истории — сказал однажды в рейхстаге, обращаясь к его депутатам: «Обыкновенио очень преувеличивают мое влияние на те события, на которые я опирался в своей деятельности, но все-таки никому, очевидно, не придет в голову требовать от меня, чтобы я делал историю. Это было бы невозможно для меня даже в соединеиии с вами... Мы ие можем делать историю, мы должиы ожидать, пока оиа сделается»... Во время франко-прусской войны Бисмарк говорил также, что «мы ие можем делать великие исторические события, а должны сообразоваться с естественным ходом вещей и ограиичиваться обеспечением себе того, что уже созрело»... Общий смысл этих высказываний, по всей вероятности, можно свести к следующей мысли: исторические условия сильиее даже самых сильных личностей, характер эпохи является для великого человека эмпирически данной ему необходимостью... Конечно, нетрудио заметить слабые стороны этих обобщений, но слова Бисмарка интересны как психологический документ. Этот человек, проявлявший зачастую воистиху железную энергию, считал себя бессильным перед естественным ходом вещей... Разумеется, его миеиие не может служить ответом иа вопросы о роли личиости в истории и о возможностях влияния отдельной личности иа исторические события, — по словам Бисмарка, события делаются сами собой, а мы можем только обеспечивать себе то, что подготовляется ими. Но каждый акт «обес-

печения» тоже представляет собой историческое событие. Чем же отличаются такие события от тех, которые делаются сами собой? В действительности почти каждое историческое событие является одновременно и «обеспечением» кому-нибудь уже созревших плодов предшествовавшего развития и одним из звеньев той цепи событий, которая подготавливает плоды будущего. И поэтому нам хочется знать, в каких случаях возможности личности обеспечивать будущее увеличиваются, а в каких — уменьшаются... Перейдем теперь от немецких примеров к французским. Моно, один из самых видных современных историков Франции, говорил о том, что историки слишком привыкли обращать исключительное внимание на блестящие и громкие проявления человеческой деятельности, на великие события и на великих людей, вместо того чтобы изображать великие и медленные движения экономических условий и социальных учреждений, составляющих действительно непреходящую часть человеческого развития. С точки зрения Моно, важные события и личности имеют значение как знаки и символы различных моментов указанного развития. Большинство же событий, называемых историческими, так относятся, по его мнению, к настоящей истории, как относятся к глубокому и постоянному движению приливов и отливов волны, которые возникают на морской поверхности, на минуту блещут ярким огнем света, а потом разбиваются о берег, ничего не оставляя после себя... Действительно, после потрясающих событий во Франции в конце восемнадцатого века, то есть после Великой французской буржуазной революции, уже решительно невозможно было думать, что история есть дело более или менее выдающихся, благородных и просвещенных личностей, по своему произволу внушающих непросвещенной, но послушной массе те или иные чувства и понятия. Политические бури, пережитые Францией, ясно показали — ход исторических событий определяется далеко не одними только сознательными поступками людей. И подобное обстоятельство должно было навести на мысли о том, что события революции совершались под влиянием какой-то скрытой необходимости, действовавшей, подобно стихийным силам природы, слепо, но сообразно известным непреложным законам... И в то же время другой французский мыслитель, Огюст Сент-Бёв, выдвинувший биографический метод исследования, утверждал, что в каждую минуту истории выдающаяся личность может внезапным решением своей воли ввести в ход событий новую, неожиданную и изменчивую силу, которая способна придать ходу событий совершенно иное направление. Естественно, Сент-Бёв не был настолько наивен, чтобы полагать, будто «внезапные решения» человеческой воли возникают без всякой причины. Он только хотел подчеркнуть, что умственные и нравственные свойства человека, играющего значительную роль в общественной жизни (то есть таланты и знания такого человека, его решительность или нерешительность, храбрость или трусость), не могут оставить без своего замет-

ного влияния ход и исход событий. И тут приходится заметить, что эти умственные и нравственные свойства выдающихся людей объясняются не одними только общими законами народного развития, но в значительной степени всегда складываются под действием того, что можно назвать случайностями частной жизни. Например, в середине восемнадцатого века, когда Франция вела войну за австрийское наследство, ее войска одержали несколько блестящих побед, и Франция могла бы добиться от Австрии целого ряда территориальных уступок. Но французский король Людовик XV не потребовал этих уступок, потому что он, по его же словам, воевал не как безродный купец, стремящийся к скорейшему обогащению, а как наследственный монарх. И поэтому французы ничего не получили за свои победы. А был бы у Людовика XV другой характер, то, может быть, и увеличилась бы территория Франции, вследствие чего изменился бы ход ее экономического и политического развития... Спустя некоторое время Франция вела свою знаменитую Семилетнюю войну против Пруссии уже в союзе с Австрией, который образовался благодаря сильнейшему влиянию на Людовика XV его фаворитки маркизы де Помпадур. Австрийская императрица Мария-Терезия в своем письме к ней назвала госпожу Помпадур своей дорогой подругой (бьен бон ами), и вследствие этого маркиза де Помпадур склонила Людовика к союзу с Австрией. Исходя из этих фактов, очевидно, можно сделать вывод: если бы Людовик XV имел более строгие нравы и если бы он меньше поддавался влиянию своих фавориток, то госпожа Помпадур не приобрела бы такого влияния на ход событий, и они приняли бы совершенно иной оборот... Как известно, Семилетняя война сложилась весьма неудачно для Франции — ее генералы потерпели несколько постыднейших поражений. Особенно бездарно действовал крайне неспособный генерал Субиз, которому активно покровительствовала все та же маркиза де Помпадур. И опять напрашивается вывод: если бы Людовик XV был менее сластолюбив, если бы его фаворитка не вмешивалась в политику, то события не сложились бы так неблагоприятно для Франции... По свидетельствам очевидцев того времени, Франции вовсе не нужно было воевать на Европейском континенте, а следовало бы сосредоточить все силы на море, чтобы отстоять от посягательств Англии свои колонии. Но госпожа Помпадур хотела «угодить» своей дорогой подруге австрийской императрице Марии-Терезии, и... Людовик воевал на суше, в союзе с Австрией против Пруссии, а не против Англии на море. После Семилетней войны Франция потеряла лучшие свои колонии, что, безусловно, сильно повлияло на развитие ее экономических отношений. Таким образом, здесь отчетливо просматривается, казалось бы, нелепейшая историческая конструкция: женское тщеславие выступает перед нами в роли влиятельного «фактора» экономического развития одной из ведущих европейских держав восемнадцатого столетия... Вдумайтесь в этот пример, господа... И, очевидно, вдумываясь в него, мы

не можем не вспомнить оставленных нам современннками Семилетней войны ярких свидетельств н воспоминаний о повсеместной картнне всеобщего упадка военного дела во Франции в эпоху Людовнка XV. Французскне войска того времени на трн четверти состоялн нз обозов, переполненных офнцерскими слугами и любовницами, на десять боевых кавалерийских лошадей приходилось восемь вьючных, назначенные в караул офицеры зачастую совершенно свободно покидали свои посты, отправляясь потанцевать на бал в какой-ннбудь соседний замок.

Прнказы начальников исполнялись подчиненными только тогда, когда подчиненные находили это удобным и нужным для себя.

Такое жалкое положение военного дела обусловливалось упадком дворянства (которое, однако, продолжало занимать в армнн все высшие должности) н общим расстройством всего «старого порядка», быстро шедшего накануне французской буржуазной революции к своему разрушению... Однах этих общих причин было вполне достаточно для того, чтобы придать Семилетней войне невыгодный для Франции оборот. Но несомненно, что неспособность н бездарность генералов, подобных Субизу, еще более умножала для французской армии неудачи, обусловленные общими причинами. А так как Субиз держался благодаря госпоже Помпадур, то необходимо признать, что тщеславная маркиза была одним из «факторов», значительно усиливших неблагоприятное для Франции влияние общих причин на положение дел во время Семилетней войны... Маркиза де Помпадур была сильна не своей собственной силой, а властью короля, подчинившегося ее воле. Можно ли сказать, что характер Людовика XV был именно таков, каким он непременно должен был быть по общему ходу развития общественных отношений во Франции в середине восемнадцатого века? Нет, при том же самом ходе этого развития на его месте мог оказаться король, иначе относившийся к женщинам. Таким образом, личная особенность характера Людовика XV — его сластолюбие, — повлияв на ход и исход Семилетней войны, тем самым повлияла и на дальнейшее развитие Франции, которое пошло бы иначе, если бы Семилетняя война не лишила ее большей части колоний... Итак, господа, теперь, после всех наших пространных и пикантных рассуждений, мы можем сделать с вами весьма убедительный и обоснованный вывод: как ни несомненно в указанном случае с Францией действие личных особенностей Людовика XV, не менее несомненно и то, что оно могло совершиться лишь при данных общественных условиях. После одного из сражений Семилетней войны, сокрушительно проигранного французами исключительно из-за военной беспомощности генерала Субиза, все французское общество, как порох, вспыхнуло единодушным негодованием на могущественную покровительницу бездарного «полководца». Маркизу де Помпадур засыпали анонимными посланиями, полными угроз. Каждый день она получала со всех концов страны сотни оскорбительных писем. Всесильная маркиза была не на шутку взволнована, она

потеряла сон... Но тем не менее послала Субизу «весточку» — не бойся, я сумею защитить тебя перед королем. И защитила... Как видите, госпожа де Помпадур не уступила общественному мнению. Почему же не уступила? А потому, что тогдашнее французское общество не имело возможности принудить ее к уступкам. А почему тогдашнее французское общество не могло сделать этого? А потому, что ему препятствовала в этом его организация, которая, в свою очередь, зависела от соотношения тогдашних общественных сил во Франции. Следовательно, соотношением именно этих сил и объясняется в конечном счете то обстоятельство, что характер Людовика XV и прихоти его фаворитки могли иметь такое печальное влияние на судьбу Франции. Ведь если бы слабостью по отношению к женскому полу отличался не король, а какой-нибудь королевский повар или конюх, то эта слабость не имела бы никакого исторического значения, так как дело здесь, разумеется, не в самой слабости, а в общественном положении лица, страдающего ею... Итак, господа, мы нарисовали перед собой, как мне кажется, весьма выразительную и красочную картину, из созерцания которой становится ясным, что отдельные личности благодаря особенностям своего характера могут влиять на судьбу общества. Иногда это влияние бывает даже значительно, но как сама возможность подобного влияния, так и размеры его определяются организацией общества, соотношением его социальных сил. И поэтому можно считать вполне установленным, что характер личности является «фактором» общественного развития лишь там, и лишь тогда, и лишь постольку, где, когда и поскольку ей позволяют это общественные отношения... Нам могут сказать, что размеры личного влияния зависят также и от талантов личности. И мы согласимся с этим. Но личность может проявить свои таланты только тогда, когда она займет необходимое для этого положение в обществе. Почему судьба Франции могла оказаться в руках человека, лишенного всякой способности и охоты к общественному служению? Потому, что такова была ее общественная организация. Этой организацией и определяются в каждое данное время те роли, а следовательно, и то общественное значение, которые могут выпасть на долю даровитых или бездарных личностей... И тут надо заметить следующее. Обусловленная организацией общества возможность общественного влияния личностей открывает дверь влиянию на исторические судьбы народов так называемых случайностей. Сластолюбие Людовика XV было необходимым следствием состояния его организма. По отношению к общему ходу развития Франции это состояние было случайностью. А между тем, как мы уже разобрали, эта случайность не осталась без влияния на дальнейшую судьбу Франции и сама вошла в число причин, обусловивших собою эту судьбу. Выходит, что судьба государства зависит иногда от случайностей. Не исключает ли это возможности научного познания явлений? Нет, не исключает. Ибо случайность есть нечто относительное. Она появляется лишь

в точке пересечения необходимых процессов. Появление европейцев в Америке было для жителей Мексики и Перу случайностью в том смысле, что не вытекало из общественного развития этих стран. Но не случайностью была страсть к мореплаванию, овладевшая западными европейцами в конце средних веков. Не случайностью было то обстоятельство, что сила европейцев легко преодолела сопротивление туземцев. Не случайны были и последствия завоевания Мексики и Перу европейцами. Эти последствия определились в конце концов равнодействующей двух сил: экономического положения завоеванных стран, с одной стороны, и экономического положения завоевателей — с другой. А эти силы (как и их равнодействующая) вполне могут быть предметом строгого научного исследования... Случайности Семилетней войны имели большое влияние на дальнейшую судьбу не только Франции, но и на дальнейшую судьбу ее противника — Пруссии. Но влияние этих случайностей на Пруссию было бы совсем не таково, если бы они, эти случайности, застали Пруссию на другой стадии ее развития. Последствия случайностей и здесь были определены равнодействующей двух сил: социально-политического состояния Пруссии, с одной стороны, и социально-политического состояния влиявших на нее европейских государств — с другой. Следовательно, и здесь случайность нисколько не мешает научному изучению явлений. И таким образом, зная теперь, что личности часто имеют большое влияние на судьбы общества, мы одновременно можем умозаключить, что это влияние определяется не только внутренним строем данного общества, но и его отношением к другим обществам... Господа, позвольте здесь мне прерваться, чтобы дать отдохнуть и вам и себе и после небольшого перерыва продолжить нашу импровизированную лекцию...

— Итак, господа, я продолжаю наш экспромтом завязавшийся разговор о роли личности в истории... Мне бы только хотелось сказать вначале несколько слов о характере полученных в перерыве записок. Их авторы обращаются ко мне чересчур торжественно — что-то вроде «их высокоблагородию господину первому русскому марксисту товарищу Плеханову...». Это, конечно, звучит смешно, но в то же время лично меня даже отчасти удручает, так как, по сути дела, сводит на нет затраченные мной в первой половине нашей встречи усилия на определение истинного значения роли личности в истории... Говоря другими словами, не следует, господа, преувеличивать значение роли моей личности в русской истории вообще, и в истории возникновения марксистской мысли в России, в частности. Как о первом, так и о втором предмете я имею достаточно трезвое собственное суждение, весьма четко представляя себе место своей персоны в истории, и, конечно, не надо заносить мое имя в святцы... Не хватало еще, чтобы вы называли меня социал-демократическим папой римским — архиерейским наместником

Маркса и Энгельса на земле... Да, да, господа, я понимаю ваш смех — это действительно очень смешно... Поэтому в дальнейшем пишите на записках просто «товарищу Плеханову». В этом предельно кратком обращении я и буду находить удовлетворение от проделанной нами сегодня общей работы... Итак, продолжаем...

Главная причина общественных отношений заключается в состоянии производительных сил. Это состояние зависит от индивидуальных особенностей отдельных лиц разве лишь в смысле большей или меньшей способности таких лиц к техническим усовершенствованиям, открытиям и изобретениям. А все другие особенности не обеспечивают отдельным лицам непосредственного влияния на состояние производительных сил, а следовательно, и на те общественные отношения, которые этим состоянием обусловливаются, то есть на экономические отношения... Какие бы ни были особенности той или иной личности, она не может устранить данные экономические отношения, раз они соответствуют данному состоянию производительных сил. Но индивидуальные особенности личности делают ее более или менее годной для удовлетворения тех общественных нужд, которые вырастают на основе данных экономических отношений, или для противодействия такому удовлетворению. Насущнейшей общественной нуждой Франции конца восемнадцатого века была необходимость замены устаревших политических учреждений другими, более соответствующими ее новому экономическому строю. Наиболее видными и полезными общественными деятелями того времени во французском обществе были именно те люди, которые лучше всех других способны были содействовать удовлетворению этой насущнейшей нужды... Если бы Наполеон был убит в самом начале своего поприща, его место, конечно, не осталось бы незанятым. Нашлись бы другие, и окончательный итог событий, то есть окончательный исход революционного движения, ни в коем случае не был бы противоположным действительному ходу истории. Великие, влиятельные личности благодаря особенностям своего ума и характера могут изменять лишь индивидуальную физиономию событий и некоторые частные их последствия, но они не могут изменить их общего направления, которое определяется совершенно другими силами...

Таланты, господа, являются всюду и всегда, где и когда существуют общественные условия, благоприятные для их развития. Это значит, что всякий талант, проявившийся в действительности, то есть всякий талант, ставший общественной силой, есть плод общественных отношений. Но если это так, то понятно, почему талантливые люди могут изменить лишь индивидуальную физиономию, а не общее направление событий. Они сами существуют только благодаря такому направлению. Если бы не оно, то они никогда не перешагнули бы порога, отделяющего возможность от действительности... Великий человек велик не тем, что его личные особенности придают ин-

дивидуальную физиономию великим историческим событиям, а тем, что у него есть особенности, делающие его наиболее способным для служения великим общественным нуждам своего времени, возникшим под влиянием общих и особенных причин. Великих людей часто называют начинателями. Это очень удачное название. Выдающаяся личность всегда является именно начинателем, потому что великий человек видит дальше других и хочет сильнее других. Он решает научные задачи, поставленные на очередь предыдущим ходом умственного развития общества. Он указывает новые общественные нужды, созданные предыдущим развитием общественных отношений. Он берет на себя почин удовлетворения этих нужд. Он — герой. Не в том смысле герой, что будто бы может остановить или изменить естественный ход вещей, а в том, что его деятельность является сознательным и свободным выражением этого необходимого и бессознательного хода. В этом — все его значение, в этом же и вся его сила... Господа, я не хотел читать вам никакой лекции, но она как-то незаметно прочиталась сама по себе. В самом начале нашего разговора я цитировал Отто Бисмарка, который утверждал, что люди не могут делать историю, а должны ожидать, пока она сделается. Но кем же делается история? Она делается общественным человеком. Общественный человек сам создает свои (то есть общественные) отношения. И если он создает в данное время именно такие, а не другие отношения, то это происходит, разумеется, не без причины — это обусловливается состоянием его производительных сил. Никакой великий человек не может навязать обществу такие отношения, которые уже не соответствуют состоянию этих сил или еще не соответствуют ему... Понятие «великий» есть понятие относительное. В нравственном смысле велик каждый, кто «полагает душу свою за други своя»... Широкое поле активной деятельности в истории для освобождения своего класса от гнета капитала закономерно и научно обосновано, настежь распахнуто марксистской мыслью перед людьми труда, перед рабочим классом, перед пролетариатом. Бесстрастное созерцание событий лежит вне классовой природы пролетариата. Объединение всех угнетенных личностей для сознательной революционной деятельности в истории — вот, господа, тот единственно правильный ответ на вопрос о роли личности в истории, которым мне и хотелось бы закончить нашу сегодняшнюю встречу...

Глава тринадцатая

— Георгий Валентинович, а все-таки, если положить руку на сердце...

— Вы опять о «легальных марксистах», Владимир Ильич?

— Да, о них. Сейчас нам просто жизненно необходимо использовать наше временное соглашение о совместной издательской деятельности.

— Бред, бред н еще раз бред. Извните, но другого слова я не нахожу.

— Георгнй Валентинович, это не бред, это насущнейшая практическая нужда для первых шагов «Искры» и «Зари».

— Не пытайтесь доказать мне недоказуемое...

— В апреле я встречался в Пскове с «легальнымн». От них были Струве и Туган-Барановский, которые обещали помочь деньгамн и материаламн нменно для заграничной газеты и журнала. Их представителн уже выехали в Швейцарию...

— Вы ставите меня перед свершившнмся фактом?

— Здесь гвоздь момента, Георгнй Валентиновнч...

— Нет, нет и еще раз — нет. Тысячу раз — нет! Ннкакие насущнейшие иужды не заставят меня целоваться с вашнм Бобо-Струве. Не для того я двадцать лет, как прикованный, снжу здесь, на чужбине, и подставляю свою исклеванную печеиь «стервятникам» из лагеря местиых «молодых» социал-демократов, чтобы при первой же перемене погоды отдавать чистоту революционного марксизма вашему пресловутому Бобо. Я повторял это, повторяю н буду повторять бесконечно.

— Георгий Валентннович, и я бесконечно повторяю вместе с вами, что чистоту революционного марксизма мы не отдадим никому и ннкогда. Но если припомнить фактическую сторону событий, то мы обязаны быть елико возможио сннсходительиы к Струве, ибо самн не без вины в его эволюции.

— Что это означает — сами не без вины? Потрудитесь объяснниться.

— Объяснюсь, и весьма охотно... Пять лет назад здесь, в Женеве, вы, Георгий Валентинович, прочнтали мою статью «Экономическое содержание народничества и крнтика его в книге господина Струве». Так вот мы высказали тогда свое непримиримое идейное отношенне к сочиненням Бобо. А вы промолчалн.

— Мне было приказано тогда не «стрелять» в Струве.

— Приказано вам?! Как-то не вернтся...

— Вы что же, Владимир Ильнч, позволяете себе сомневаться в истнННости моих слов?

— Я сомневаюсь в том, что вам мог кто-то что-то приказывать...

— Это сделал Потресов в Лондоне, в девяносто пятом году. Он заказал мне несколько статей, но сочииения господина Бобо не были названы в них как объект предполагаемой крнтики.

— Очевидно, Потресов просто опасался излишней резкости с вашей стороны в адрес Струве.

— Не знаю, не знаю...

— Георгий Валентинович, а действнтельно — почему в девяносто седьмом году, когда Бобо тисиул свою убогую ревизионистекую статейку с критикой Энгельса, пытаясь опровергиуть одно из основных положенний марксизма, — почему вы не дали ему отповеди н оставили без ответа этот болотный всплеск доморощенной «струвистской» мысли о свободе и необходимо-

сти?.. Я много думал об этом в ссылке и даже писал из Сибири Потресову, что решительно не понимаю, почему молчит Плеханов? И не может ли он, Потресов, объяснить мне причину этого странного молчания?

— Все объяснялось очень просто: статья Струве была опубликована в журнале «Новое слово», в котором печатался и я сам... А я абсолютно не представляю себе такого положения, когда на страницах одного и того же издания возникает полемика между его сотрудниками. Не представляю и никогда, очевидно, не буду представлять.

— Выходит, что в «Новом слове» вы могли печататься рядом со Струве, а в «Заре» находите это невозможным?

— Я шел рядом со Струве не потому, что не замечал в его статьях и книгах антимарксистского «струвизма». Я видел его всегда. Но до поры до времени я полагал, что малопочтенный господин Бобо сам освободится от убожества своих мыслей, перестанет быть «струвистом» и разовьется в революционного марксиста... Когда же в девяносто девятом году он напечатал у немцев статью, извращавшую Марксову теорию социального развития, я, поняв, что надежды мои были неосновательны и дальше идти вместе со Струве нельзя, взялся за перо. В предисловии ко второму изданию своего перевода «Коммунистического манифеста» я пообещал отстегать вместе с бернштейнианцами и этого легального прохвоста Бобо... Естественно, после такой публикации ни о каком сотрудничестве Струве в «Заре», я думаю, и речи быть не может... И я заявляю: вам придется выбирать между мной и Бобо. Или он, или я!..

— Георгий Валентинович, да успокойтесь вы ради бога!.. Никто не собирается противопоставлять вас и Струве в форме такой апокалипсической катастрофы, ужасную картину которой вы нарисовали...

— Мне сейчас не до шуток, Владимир Ильич!

— А я и не собираюсь шутить. Нам предстоит обсудить еще...

— Мое требование относительно Струве принимается?

— Принимается условно.

— В каком смысле условно?

— В таком смысле, что и вопрос о приглашении в «Зарю» Бобо и Михаила Ивановича Туган-Барановского ставился пока только условно.

— Когда же он будет поставлен безусловно?

— Тогда, когда мы будем решать его все вместе, — вы, Аксельрод, Засулич, Потресов, я...

— Значит, пока мы ничего не решаем — так, что ли, прикажете вас понимать? Чем же мы сейчас с вами занимаемся?

— Предварительным обсуждением.

— Но когда, черт побери, начнется окончательное обсуждение?!

— Как только приедет Аксельрод.

— Так где же он? Почему он заставляет нас ждать себя

так долго? Я уже просто устал от всей этой предварительной болтовни и пустопорожнего суесловия, во время которого, оказывается, ничего не решается, а только бесконечно обсуждается!

— Георгий Валентинович, я бы не стал называть болтовней и суесловием наши беседы. Предстоит слишком ответственная работа, чтобы обойтись без обстоятельного предварительного обсуждения всех ее подробностей и деталей.

— Вы, кажется, хотели обсудить со мной еще что-то, Владимир Ильич?

— Самое главное. Потресов передал вам наше заявление от будущей редакции «Искры» и «Зари»...

— Да, я прочитал его.

— И что же?

— Общий ход мысли, пожалуй, можно оставить, но слог, разумеется, надо поправить, приподнять...

— И вы уже сделали это?

— Пока еще нет, но это недолго сделать. Можно и потом, сейчас, я думаю, не стоит.

— Когда же будет готово?

— Если быть откровенным до конца, ваше заявление, Владимир Ильич, написано, мягко говоря, довольно скромно и, я бы даже сказал, слишком робко...

— А если говорить не мягко, а жестко?

— Ну, зачем же говорить жестко? Мы с вами не враги...

— Георгий Валентинович, я настоятельно прошу вас разъяснить свою позицию, а не отстраняться от вопроса, который...

— А разве я отстраняюсь?

— Именно отстраняетесь! И не в первый уже раз!

— Ульянов, вы опять обостряете отношения...

— Если вы не желаете участвовать в исправлении важнейшего редакционного заявления, то скажите об этом прямо. А если хотите помочь, возьмите и поправьте так, как считаете необходимым с вашим опытом составления документов подобного уровня.

— Хорошо, я скажу прямо... Я полагаю, что мой опыт в данном конкретном случае совершенно не требуется. Ваше заявление от редакции вполне может поправить и Вера Ивановна.

— Засулич?!

— Конечно. А вы разве сомневаетесь в ее литературных возможностях? Она самого Энгельса переводила и заслужила его одобрение.

— Нет, я нисколько не сомневаюсь в талантах Веры Ивановны, но мне показалось, что вы, говоря о необходимости приподнять тон нашего заявления, собирались своею собственной рукой придать ему характер... ну, вроде бы определенного манифеста.

— Манифеста? У нас уже есть «Манифест Российской социал-демократической рабочей партии», принятый на первом съезде в Минске. Вы же разделяете его положения?

— Безусловно.
— Зачем же еще один манифест?.. Но дело не только в этом... Видите ли, я действительно, как вы правильно заметили, имею некоторый опыт в составлении документов высокого теоретического уровня. Но уровень вашего с Потресовым редакционного заявления оставляет желать много лучшего.
— А именно?
— Я бы лично написал совсем не такое заявление. Во всяком случае, оно было бы свободно от тех элементов оппортунизма, которые...
— Оппортунизма? Я не ослышался?
— Нет, не ослышались. Я бы...
— Да в чем же вы усмотрели оппортунизм, Георгий Валентинович? В том, что мы написали, что современная русская социал-демократия находится на критической стадии своего развития?.. А разве это не правда? Разве главной особенностью нашего движения сейчас не является его раздробленность и кустарный характер?.. Местные кружки возникают почти совершенно независимо от кружков в других местах и даже от кружков, одновременно действующих в тех же центрах. Между ними не устанавливается традиции и преемственности, и местная литература всецело отражает эту раздробленность, отражает отсутствие связи с тем, что уже создано русской социал-демократией — вами создано, Георгий Валентинович, группой «Освобождения труда». В этих словах вы увидели оппортунизм?
— ...
— Или в том, что мы отмечаем на современном этапе необычайно широкое распространение по всей России социал-демократического движения, которое пустило в самых различных углах России так много здоровых ростков, что теперь с неудержимой силой сказывается его естественное стремление упрочиться, принять высшую форму, выработать определенную физиономию и организацию?.. Кружки рабочих и социал-демократической интеллигенции возникают повсюду, появляются местные агитационные листки, растет спрос на социал-демократическую литературу, неизмеримо опережая предложения ее. Я это увидел и понял, когда прокатился после ссылки по всей России от Красноярска до Пскова. Я это почувствовал и буквально физически ощутил, когда перед самым приездом сюда, к вам в Женеву, побывал в Нижнем Новгороде, Уфе, Самаре, Сызрани, Подольске, Москве, Петербурге, Смоленске, Риге... Везде и повсюду, на всех уровнях развития движения люди просят новую, социалистическую литературу — с протянутой рукой просят, как милостыню... Вот откуда, Георгий Валентинович, возникла неопровержимая убежденность, первоначально рожденная еще в Сибири, — в необходимости издания за границей «Искры» и «Зари» с помощью любых комбинаций, используя в том числе возможности и средства «легальных марксистов», в необходимости распространения «Зари» и «Искры»

в России с помощью даже тех социал-демократических организаций, которые пока еще временно — временно, черт побери! — заражены «экономизмом»... И разве можно все это квалифицировать как оппортунизм?

— ...

— В самом начале нашего сегодняшнего разговора вы сказали, что никому не хотите отдавать чистоту революционного марксизма при первой перемене погоды. Нет, Георгий Валентинович, это не просто перемена погоды. Вместе с новым, холодным и железным двадцатым веком Россия грозно вступает в новую полосу своего развития. В России начинает выпускать когти новый зверь — уже не просто капиталистический, а империалистический хищник, для постижения которого требуется новое зрение... Зверь вырос, усилился — должны усилить свое оружие для борьбы с ним и мы. И поэтому мы не можем больше стоять на месте, мы обязаны двинуть революционный марксизм дальше, на новую, более высокую ступень — в этом живая природа и философская сущность марксизма. Мы обязаны быть по-новому боеспособно и надежно защищенными от когтей и зубов нового зверя — именно поэтому нам нужна пролетарская сплоченная партия. Именно такая, беспощадно революционная к современному общественному строю пролетарская партия, построенная на решительно новых принципах, будет сильнейшим оружием для победы над империалистическим хищником... И нам нужно торопиться, потому что он набирается новых сил и, защищая свои завтрашние аппетиты, оберегая будущие лакомые куски, уже сегодня действует свирепо и кровожадно — в России битком набиты тюрьмы, переполнены места ссылки, чуть ли не каждый месяц слышишь о провалах социалистов во всех концах России, о поимке транспортов, о взятии агитаторов, о конфискации литературы и типографий... Зверь топчет своих противников и врагов, давит их, душит, расстреливает, вешает — и давно вешает!.. Но процесс не останавливается, а захватывает все более широкие районы России, проникает все глубже и глубже в рабочий класс, все больше и больше привлекает к себе общественное внимание всей страны. И все экономическое развитие России, вся история русской общественной мысли и русского революционного движения гарантируют и ручаются за то, что социал-демократизм в России тоже будет расти, несмотря на все препятствия, и преодолеет их... Вот о чем говорится в нашем проекте заявления от редакции, Георгий Валентинович, и разве есть здесь хоть малейший, хоть какой-нибудь оппортунизм?

— ...

— Далее, мы говорим о том, что современный период кажется нам критическим именно потому, что движение в силу органически заложенных в нем здоровых начал перерастает свою раздробленность и кустарничество, настойчиво требуя перехода к высшей, более объединенной и лучше организованной форме... Само собой разумеется, что в известный период эта

раздробленность совершенно неизбежна, отсутствие преемственности естественно после долгого периода революционного затишья. Несомненно также и то, что разнообразие местных условий, различие положения рабочего класса в тех или иных районах и, наконец, особенности во взглядах местных деятелей будут существовать всегда и что именно это разнообразие свидетельствует о жизненности движения и о здоровом его росте... Но ведь раздробленность и неорганизованность вовсе не являются необходимым следствием этого разнообразия. Сохранение преемственности и объединение отнюдь не исключают разнообразия — напротив, они создают даже более широкую арену и свободное поприще... Где же тут оппортунизм, Георгий Валентинович?

— Узкий практицизм, Владимир Ильич, оторванный от теоретического освещения социал-демократии в ее целом, способен разрушить связь между социализмом и революционным движением в России, с одной стороны, и между стихийным рабочим движением — с другой. Это не вымышленная опасность. Ею насквозь пропитаны все сочинения «экономистов». И она уже начала рельефно проявляться в особом направлении русской социал-демократии, которое наносит прямой вред и с которым необходима бескомпромиссная борьба!

— Правильно, все абсолютно правильно, Георгий Валентинович.

— А та пародия на марксизм, которая существует в русской легальной литературе о марксизме? Ведь она же способна только развращать общественное сознание и еще более усиливает раздробленность, шатания, разброд и анархию в среде русской социал-демократии. И благодаря такому положению вещей всемирно известный с-сукин сын Бернштейн, этот ничтожный банкрот и пламенный оппортунист, печатно орет на весь белый свет, потеряв последние остатки совести, о том, что большинство действующих в России социал-демократов стоит на его стороне. А наши местные «молодые» повторяют эту ложь в своих туалетных изданиях.

— Георгий Валентинович, а может быть, все-таки преждевременно судить о вероятности образования в русской социал-демократии этого особого направления? Я, например, отнюдь не склонен решать этот вопрос в утвердительном смысле уже теперь и не теряю надежды на возможность совместной работы с представителями ожидаемого вами особого направления...

— Вот это, Ульянов, я и называю началом оппортунизма!

— Георгий Валентинович, да ей-богу же, нет тут никакого оппортунизма! Мы же не закрываем вообще глаза на серьезность положения и отлично понимаем, что делать это было бы еще вреднее, чем преувеличивать возможность возникновения особого направления.

— ...

— Одним словом, Георгий Валентинович, какой же практический вывод напрашивается из проекта нашего редакционного

заявления? Очень простой и ясный и отнюдь не оппортунистический: русским социал-демократам необходимо направить все усилия на образование партии, ведущей борьбу под знаменем ярко выраженной, современной революционной социал-демократической программы, охраняющей преемственность нашего движения и систематически поддерживающей его организованность.

— В этом практическом выводе, Ульянов, нет ничего нового. Его сделали еще два года назад русские социал-демократы, когда собрались в Минске на свой первый съезд, образовали Российскую социал-демократическую рабочую партию, приняли «Манифест» партии и объявили киевскую «Рабочую газету» официальным органом партии.

— Георгий Валентинович, но согласитесь с тем, что создать и упрочить партию — это значит создать и упрочить объединение всех русских социал-демократов, а такое объединение нельзя просто объявить и декретировать, его нельзя ввести по одному только решению какого-либо собрания представителей, его необходимо выработать, именно — вы-ра-бо-тать... Необходимо выработать, во-первых, общую литературу партии, чтобы она объединяла все наличные литературные силы, чтобы она выражала все оттенки мнений и взглядов среди русских социал-демократов не как изолированных работников, а как товарищей, связанных общей программой и общей борьбой в рядах одной организации. Необходимо выработать, во-вторых, организацию, специально посвященную сношениям между всеми центрами движения, доставке полных и своевременных сведений о движении и правильному снабжению периодической, социал-демократической прессой всех концов России. Только тогда, когда будет выработана такая организация, когда будет создана русская социалистическая почта, партия получит прочное существование, только тогда партия станет реальным фактом... Поэтому мы и написали в нашем редакционном заявлении, что исходя из такого характера наших перспектив мы и собираемся вести наши новые печатные органы. И обсуждение теории и практики на их страницах нам, естественно, хотелось бы неразрывно связать с выработкой программы партии, которую, я надеюсь, мы опубликуем в самом недалеком будущем. А всестороннее ее обсуждение в газете и журнале должно дать достаточный материал для съезда партии, перед которым встанет непосредственная задача принятия программы...

— Владимир Ильич, а как вы представляете себе распределение тематики между газетой и журналом?

— Распределение тематики, я думаю, будет определяться исключительно различиями в объеме и характере этих изданий.

— То есть?

— Наверное, журнал должен преимущественно служить делу пропаганды, а газета — агитации.

— Другими словами, газета предназначается вами для материалов о рабочем движении, а журналу вы отдаете все отно-

ящееся к области теории социализма, науки и политики, не так ли?

— Боюсь, что вы неправильно меня поняли, Георгий Валентинович.

— Почему же неправильно? Газета — для рабочих, журнал — для интеллигенции. Такое распределение тематики вы имели в виду?

— Нет, не такое.

— А какое же?

— Мы хотим соединения и в газете и в журнале всех сторон, всех проявлений и всех конкретных фактов рабочего движения с теорией социализма, с наукой и политикой. Мы хотим освещать лучом теории каждый частный случай стихийного рабочего движения. Мы считаем необходимым вносить все вопросы политики, все вопросы организационного устройства партии в пропаганду и агитацию среди самых широких масс рабочего класса, чтобы каждый сознательный пролетарий усвоил научное, правильное, революционное отношение ко всем проблемам, выдвигаемым жизнью и нашим движением, ко всем аспектам внутреннего и международного положения — без этих условий сейчас невозможна широкая, планомерная агитация и пропаганда... Нам нужно попытаться создать более высокую форму агитации — посредством газеты, периодически регистрирующей и рабочие жалобы, и стачки, и все другие формы пролетарской борьбы, и все проявления политического гнета во всей России. Из каждого такого единичного факта газета должна делать определенные выводы применительно и к политическим задачам русского пролетариата, и к самым конечным целям социализма...

— Слушая вас сейчас и пытаясь проникнуть скудным своим умишком в глубину ваших намерений, зашифрованных этим премудрым заявлением от редакции, я невольно задался следующим вопросом. Если предполагаемые вами печатные органы должны служить целям объединения всех русских социал-демократов и сплочения их в одну партию, а следовательно, должны, по вашему мнению, отражать все оттенки их взглядов, все местные особенности, все разнообразие практических приемов, то как же тогда совместить это соединение разнородных точек зрения с редакционной цельностью новых печатных органов? Должны ли быть эти органы просто сводом разнообразных воззрений или они будут иметь совершенно самостоятельное и абсолютно четко определенное направление?

— Георгий Валентинович, мы, безусловно, считаем, что орган определенного направления вполне может быть пригодным и для отражения различных точек зрения, и для товарищеской полемики между его сотрудниками... Но, предполагая вести свою будущую литературную работу с точки зрения определенного направления, мы отнюдь не намерены выдавать всех частностей своих взглядов за взгляды всех русских социал-демократов, отнюдь не намерены отрицать существующих разногла-

сий или затушевывать их. Напротив, мы хотим сделать наши новые издания органами обсуждения всех вопросов всеми русскими социал-демократами со взглядами самых различных оттенков. Полемику между товарищами на страницах наших новых изданий, Георгий Валентинович, мы не только не отвергаем, а, напротив, заранее готовы уделить ей очень много места. Обращаясь прежде всего к русским социалистам и сознательным рабочим, мы не станем ограничиваться только ими. Мы будем призывать всех, кого давит и гнетет современный политический строй России, кто стремится к освобождению русского народа от его политического рабства, к поддержке наших изданий. Мы предоставим им страницы наших органов для разоблачения всех гнусностей и преступлений русского абсолютизма. И мы уверены в том, что после такого призыва знамя политической борьбы, которое поднимает русская социал-демократия, может и должно стать общенародным знаменем... Русской социал-демократии стало тесно в том подполье, в котором ведут свою работу отдельные группы и разрозненные кружки... Русской социал-демократии пора уже выйти на широкую дорогу открытой проповеди социализма, на широкую дорогу открытой политической борьбы. И создание нового общерусского социал-демократического печатного органа должно стать первым решающим шагом на этом пути... Вот к чему, собственно говоря, и сводится весь проект заявления будущей редакции «Искры» и «Зари». И я, Георгий Валентинович, пожалуй, не смог бы обнаружить в нем ни грамма оппортунизма, обвинение в котором прозвучало сегодня в наш адрес...

— Владимир Ильич, хотелось бы спросить у вас, где вы собираетесь издавать «Искру»?

— В Германии.

— Что, что? В Германии?.. Я не ослышался?

— Нет, не ослышались.

— Да почему же, черт побери, в Германии, когда мы-то живем здесь, в Швейцарии? Что за ересь?

— Это объясняется, Георгий Валентинович, многими причинами...

— Чепуха какая-то несусветная!

— В том числе и тем, что так будет удобнее и выгоднее для дела.

— Нет, это решительно невозможно... В Германии! Для чего в Германии? Зачем в Германии?

— Место издания «Искры» выбрано окончательно. Никаких изменений быть не может.

— Вы опять начинаете разговаривать со мной в вашей излюбленной прокурорской манере, Ульянов?

— Георгий Валентинович, наш разговор зашел чересчур далеко...

— Возможно, возможно... Итак, все-таки Германия?

— Да, Германия.

— Когда приезжает Аксельрод?

— Сегодня вечером.
— Переговоры иачинаем завтра утром!..
— Согласеи.

Глава четырнадцатая

Ленин. Ну-с, вот и окончились ничем наши переговоры об «Искре», вот мы и получили пинок от своего кумира. Увесистый н заслуженный пииок... И поделом, поделом! Потому что вели себя как дети, как мальчишки!

Потресов. Все, все! Плеханов больше не существует для меня. Деловые отношения, может быть, и останутся, а личные прерываются иавсегда. В личиом плане я с ним покончил.

Ленин. И виноваты во всем мы сами — больше винить некого!.. Почему мы согласились, когда Засулич предложила дать ему два голоса при голосоваиии?

Потресов. Да потому, что он отказался быть вместе с нами соредактором и заявил, что лучше будет простым сотрудииком.

Ленин. А вы помните, что он еще сказал при этом? Я-де понимаю и уважаю вашу (то есть нашу с вами) партийиую точку зрения, ио встать иа нее не могу, у меия отдельная, своя позиция...

Потресов. Я просто опешил от этих слов!

Ленин. И я опешил... И вот пока мы с вами сидели опешенные, Засулич и сказала: я предлагаю дать Жоржу два голоса по вопросам тактики, а то он всегда будет в одиночестве... И мы соглашаемся, — соглашаемся, как дети, как мальчишки!

Потресов. Нет, вы помиите, как он, получив два голоса, сразу почувствовал себя хозяином положеиия, взял в руки бразды правления и тоном главного редактора, не допускающим никаких возражеиий, начал распределять каждому из иас статьи и отделы... И мы сидели молча, соглашаясь со всем, мы сидели как в воду опущенные, не в состоянии поиять происшедшее...

Ленин. А понимать-то было иечего. Нас обмаиули, иам пригрозили, нас припугнули, как детей: взрослые, мол, уйдут и оставят вас одиих... Отказ Плеханова от соредакторства и его заявление, что ои-де будет обыкновенным сотрудником — все это с самого начала было хорошо рассчитаиным ходом, ловушкой, западней. Ведь если бы ои иа самом деле ие хотел быть соредактором, боясь затормозить дело нашими разногласиями и породить лишние треиия между иами, он бы иикогда ие смог, получив два голоса, уже минуту спустя обиаружить (и грубо обиаружить!), что его соредакторство совершеиио равносильно его еднноредакторству. То есть мотивы мелкого самолюбия и личиого тщеславия вышли наружу... И если человек, с которым хотят близко вести общее дело и стаиовятся в интимиейшие отношения, примеияет к товарищам шахматиый ход, зиачит, это человек неискреиний, именно неискреиний! Неискреиний и нехоро-

ший... Признаюсь, Александр Николаевич, это открытие — настоящее открытие! — поразило меня как гром...

П о т р е с о в. Это было ужасно, Владимир Ильич, просто ужасно...

Л е н и н. Мы прощали ему все, закрывали глаза на все недостатки, уверяли себя всеми силами, что этих недостатков нет, что это — мелочи, что обращают внимание на такие мелочи только люди, недостаточно ценящие принципы... И вот пришлось наглядно убедиться, что «мелочные» недостатки способны оттолкнуть самых преданных друзей... Ведь это же драма — понимаете? — настоящая драма! — полный разрыв с тем, с чем связывал всю свою работу...

П о т р е с о в. Если бы мы относились к нему хладнокровнее, ровнее, смотрели бы на него немного более со стороны, мы бы, наверное, не испытали такого краха, такой «нравственной бани».

Л е н и н. Обидный, резко-обидный и грубый жизненный урок. Самый резкий и до невероятной степени горький в моей жизни... Младшие товарищи «ухаживают» за старшим, а он вдруг вносит в эту любовь атмосферу интриги и заставляет их почувствовать себя не младшими братьями, а дурачками, которых водят за нос, пешками, которые можно произвольно передвигать в любую сторону.

П о т р е с о в. А помните, Владимир Ильич, как однажды, еще до приезда Аксельрода, мы гуляли в лесу вчетвером (вы, он, я и Вера Ивановна), и он, положив вам руку на плечо, сказал: господа, я ведь не ставлю никаких условий, вот приедет Аксельрод — все обсудим и коллективно решим...

Л е н и н. Тогда это меня, признаться, очень тронуло...

П о т р е с о в. А вышло все наоборот. С первого же дня переговоров начал ставить условия. Сразу же отстранился от всякого товарищеского обсуждения, сердито молчал. И этим своим молчанием совершенно явно ставил условия.

Л е н и н. Вообще, «атмосфера ультиматумов» с его легкой, а точнее, с его тяжелой руки возникла как-то сразу, мгновенно. И это очень неприятно отражалось на настроении. Я все время держал себя в напряжении, старался соблюдать осторожность, обходил, как мог, «больные» места. Но он на любое замечание с нашей стороны, способное хоть немного охладить прежние страсти, тут же буквально взрывался в ответ очередной «пылкой» репликой... А потом вдруг замолчал, ушел в себя, погрузился в какие-то свои озлобленные глубины...

П о т р е с о в. Вы помните, каким он был во второй день?

Л е н и н. Конечно, помню. До самого обеда сидел молча, чернее тучи.

П о т р е с о в. Сначала была раздражительность, возбужденность, мгновенная реакция почти на каждое слово, и тут же — какая-то угрюмая замкнутость, какая-то странная сверхмнительность...

Л е н и н. И сверхподозрительность ко всему белому свету.

Потресов. Удивительно, просто удивительно.

Ленин. И ничего тут удивительного нет. Он привык в своем «Освобождении труда» слишком долго неограниченно властвовать и высказываться обо всем на свете как угодно... А Засулич и Аксельрод ему непрерывно поддакивают, каждой его сомнительной реплике аплодируют.

Потресов. Владимир Ильич, вы тоже... что-то уж очень наотмашь...

Ленин. А, надоело!.. Он мне еще до приезда Аксельрода всю душу вымотал своей невероятной резкостью, своей абсолютной нетерпимостью, своим нежеланием входить в чужие аргументы... Одним словом, Александр Николаевич, мы с вами предварительно уже договорились о том, что так дальше дело вести нельзя. Он товарищеских отношений не допускает и не понимает. И поэтому мы все бросаем, обрываем переговоры и уезжаем в Россию!..

Потресов. Что же все-таки с ним произошло, что стряслось с ним, почему его так сильно перевернуло в эти последние годы? В чем причина его именно такого поведения на переговорах?

Ленин. Причина ясна. Во-первых, под влиянием своего конфликта с «молодыми» из местных социал-демократов, то есть с «экономистами», он вообще перестал доверять молодежи. Это свое новое отношение ко всяким молодым он ошибочно перенес и на нас, хотя никаких поводов и оснований для опасений мы не давали. Ему прекрасно известны, например, мои активные выступления против оппортунизма «экономистов» и «легальных марксистов»... Во-вторых, он хотел, чтобы редакция была не в Германии, а здесь, в Женеве, рядом с ним, чтобы все было под рукой, по-профессорски удобно и комфортабельно, чтобы можно было контролировать, влиять, давить, не упускать из виду, а то, не дай бог, уведут все дело из-под носа, как увели в свое время типографию «экономисты»...

Потресов. Вы уверены, что именно по-профессорски?

Ленин. Не уверен, а знаю точно. Я же разговаривал здесь с его ближайшими сторонниками. И они прямо, без обиняков сказали, что редакция желательна в Германии, ибо это сделает вас (то есть нас) независимее от Плеханова, а если «старики» возьмут в руки фактическую, черновую редакторскую работу, то это будет равносильно страшным проволочкам, а то и провалу всего дела... Да ведь и мы с вами, Александр Николаевич, еще в России так решили, что редакторами будем именно мы — вы, Мартов и я, а они — Плеханов, Аксельрод и Засулич — ближайшими сотрудниками. Мы же всегда знали, что они не смогут аккуратно вести черную и тяжелую редакторскую работу. Только эти соображения и решали для нас суть дела. Идейное же их руководство мы охотно признавали... И разве, в конце-то концов, не разрушение именно этой идеи вызвало у нас такой взрыв негодования против неожиданно возникшей и совершенно неоправданной интересами дела тирании Плеханова.

Потресов. Владимир Ильич, вы знаете, о чем я сейчас

думаю? Меня иеотступно преследует одна и та же мысль: иу а ои сам, иаш бывший кумир, он-то хоть поиимает — что случилось? Почему переговоры зашли в тупик?

Леиин. Я думаю, понимает.

Потресов. Ведь он сейчас, наверное, тоже волнуется, переживает, мучается... Ведь не может же он не тревожиться нашим общим печальным результатом?

Ленин. Безусловно, не может.

Потресов. Так в чем же секрет? Где разгадка этого, еще одиого несостоявшегося прекрасиого замысла?

Леиин. Мы уезжаем завтра в Петербург?

Потресов. Непремеино! Никаких других вариантов быть не может. Надо проучить его хотя бы один раз. И показать Засулич и Аксельроду, что есть еще в русской революционной социал-демократни людн, которые не стоят по стойке «смирно» перед тенью авторитетов прошлого!

Ленин. Тень авторнтетов прошлого — это, пожалуй, слншком красиво сказано. И по существу неверно сказано. У Плеханова — дай бог всем! — какой авторитет в настоящем... Что это вы его хороиите раньше времеии? Человеку еще пятидесяти лет нет, ои в полном расцвете сил, его вся революциоиная Европа знает и почитает, а вы его в мусорный ящик...

Потресов. Я что-то вас не понимаю...

Ленин. Сейчас поймете. Плеханов — один из лидеров Второго Интернационала...

Потресов. А вы не забыли, как этот почтеиный лидер хотел «лягнуть» иа страницах «Зари» другого лидера Второго Интернациоиала — Карла Каутского только за то, что тот ие хотел когда-то печатать в своем «Новом времени» его, плехановские, статьи?

Ленин. Вот! Отсюда и надо начииать весь разговор... Несмотря на всю нашу правоту в деле с «Зарей» и «Искрой», все-таки на широком объективном фоне русской соцнал-демократии Плехаиов — это кит...

Потресов. Вот нменно! Чудо-юдо-рыба-кит российской социал-демократии!

Леиин. Почти двадцать лет это чудо-юдо теоретически доминирует в русском социализме. Почти два десятилетия эта рыба-кит плывет по волнам впереди всех, почти безошнбочно прокладывая среди подводных рифов и скал свой путь первопроходца благодаря тому, что пользуется новейшим и лучшим «навигационным» прибором — марксистским компасом. Марксизм сделал его неопровержимым оракулом в оценках общественных событий. За все это время никто не мог опровергнуть его мнений по всем вопросам, по которым он высказывался. И благодаря правильности марксизма он уверовал в свою непогрешнмость. Абсолютная непогрешимость стала его плотью и кровью. Двадцать лет он дышал непогрешимостью, как воздухом... Но житейское море не может быть неподвижным. Волны революции становятся все сильнее н круче, и даже такая громадина, как

чудо-юдо-рыба-кит, ощущает на себе возрастающую силу их ударов. Сильный ум Плеханова, безусловно, отметил новые ветры в русской революции. Но откуда они дуют? Здесь, в Швейцарии, этого не учуешь. Да еще обоняние подпорчено непогрешимостью. И вот он задумался, понимая, что происходит что-то новое, но не видя — где оно? И отсюда — вся нетерпимость, вся резкость, вся озлобленность, все неприятие всего «молодого», потому что оно — незнакомо. Оторванный двадцать лет от России, он проспал здесь, в уютной Женеве, рождение массового русского рабочего движения. То есть умом он признает, что оно появилось, но не ощущает его кожей, потому что нет опыта, нет привычки. И отсюда — отсутствие органического интереса к нему. И здесь — главный промах, так как это — гвоздь момента. Вы вспомните, Александр Николаевич, — ведь он же не задал нам ни одного вопроса относительно практической стороны сегодняшнего рабочего движения в России. Ему чужды детали и мелочи пролетарского дела, и это, конечно, беда его, а не только вина, в этом вообще — трагедия эмиграции... А сознание своей полной непогрешимости осталось. Сознание непогрешимости осталось, а живых впечатлений нет, пища для ума — отсутствует. И непогрешимость начинает мертветь, превращаться в свою противоположность. Плеханов, один забежав когда-то далеко вперед, потерял ориентировку на русской местности, ему не с кем было «аукаться», чтобы не заблудиться. И он остановился... Россия девяностых годов с ее бешеным галопом капитализма, оборвавшего вожжи крепостничества, ударившего железным копытом по азиатским степям, пронеслась мимо Плеханова. Пока державшиеся в его памяти живые факты русской действительности укладывались в рамках его марксистских мыслей, он был на уровне капитанского мостика, на высоте своей задачи пролетарского «учителя жизни». Но теперь все изменилось. Он оказался на мели — в смысле своих представлений о русском рабочем движении... И тут появляемся мы... Паркет европейской, профессорской социал-демократии трещит у нас под ногами, а от нас пахнет ссылкой, тюрьмой, шинелью урядника, окалиной и сажей петербургских заводов, за нами встает каторга, виселицы, завьюженные сибирские этапы, суды, трибуналы.

Потресов. Владимир Ильич, а может быть, он все-таки поймет когда-нибудь?.. Наверняка он сейчас тяжело переживает все случившееся. Может быть, ему надо помочь? Ведь это же Плеханов...

Ленин. Вы завтра в Петербург возвращаться собираетесь? Не раздумали?

Потресов. Нет, не раздумал, это твердо.

Ленин. Когда-нибудь, может быть, и поймет.

Потресов. Да. Грустно, печально, невесело... Ехали с большими надеждами, а возвращаемся с пустыми руками.

Ленин. Почему же с пустыми? Накоплен опыт, изжита еще одна иллюзия.

Потресов. Жалко, очень жалко.

Ленин. И мне жалко... Об успехе нашего предприятия и его огромном значении для революции в России я думал все эти годы в сибирской ссылке. Долгими зимними вечерами думал, под завывание метелей в сельце Шушенском. Надеялся и мечтал...

Потресов. Владимир Ильич, неужели мы окончательно сдаемся?

Ленин. Сдаемся? Никогда! Вот приедем в Россию, оглядимся и начнем все заново.

Потресов. Значит, едем...

Ленин. Безусловно. И выложим Плеханову завтра весь этот разговор без утайки, до конца.

Потресов. Представляю себе его лицо, когда он это услышит.

Ленин. А я, откровенно сказать, не представляю...

Вот так чуть было не потухла «Искра».

На следующее утро в дом, где жили Ленин и Потресов в Женеве, явился гонец от Плеханова.

Это был Павел Борисович Аксельрод.

Было еще совсем раннее утро.

В комнату Потресова, где сидит Аксельрод, входит Ленин. Аксельрод расстроен, растерян, смущен, что-то шепчет самому себе, нервно дергается, пожимает плечами, делает руками неопределенные жесты.

— Я уже все рассказал, — твердо говорит Потресов, — все, о чем мы говорили вчера.

Аксельрод успокаивается, сидит неподвижно, потом горько и сочувственно качает головой.

— Я вас понимаю, очень понимаю, — тихо говорит он, — Жорж был весьма несправедлив к вам вчера.

Ленин и Потресов молчат.

— Но и вы несправедливы к нему, — продолжает Павел Борисович, — если думаете, что у него могут быть какие-то нехорошие мысли о вас. Он вас любит и уважает. Во всем виноват его дурацкий характер, который мог бы достаться кому угодно, только не Плеханову с его головой.

Ленин и Потресов молчат.

— Надо только очень осторожно сообщить о вашем отъезде Вере Ивановне, — просит Аксельрод, — очень осторожно. Она может покончить с собой.

— Что, что?! — изумленно переспрашивает Ленин.

— Да, это реальная опасность, — бледнея, говорит Потресов. — Реальная и серьезная.

— Пойдемте сейчас к ней, — тихо говорит Аксельрод. — И убедительно прошу вас, господа, — осторожно, предельно осторожно...

Они выходят из дома и молча идут к Засулич. Молча и скорбно. Словно траурная процессия. Будто несут покойника.

Идут, не глядя друг на друга, не разговаривая, не поднимая глаз, подавленно и угрюмо, похожие на людей, охваченных горечью утраты, потерявших совсем недавно очень близкого и дорогого человека.

Засулич долго молчит, не проявляя сразу, вопреки опасениям Аксельрода, особенно резкого возбуждения. Но видно, что все у нее внутри сдвинулось с места, перекосилось, поехало в сторону и вот-вот закружится в неуправляемом, безумном хороводе чувств.

Она сидит неподвижно, уронив руки, опустив голову.

Потом поднимает глаза, и в жалком ее взгляде появляется выражение смертельной тоски, униженности, раболепия. Она упрашивает, умоляет не уезжать... Нельзя ли повременить, подождать, нельзя ли отменить это ужасное решение — ехать... Может быть, стоит попробовать? Может быть, на деле не все будет так уж плохо, за работой наладятся отношения и не так открыто будут видны отталкивающие черты характера Жоржа?

Ленин потрясен. Ему тяжело смотреть на Веру Ивановну, тяжело видеть ее — гордую, независимую, мужественную, никогда не жившую для себя, страстно преданную только революции — до такой крайней степени униженной, раздавленной искренними страданиями за Плеханова, рвущей свое сердце на части из-за Плеханова, с отчаянным героизмом («героизмом раба» — так скажет потом Потресов) несущей тяжкий крест своей преданности Плеханову, свою непосильную ношу ярма плехановщины...

Потресов и Ленин уходят от Засулич, попросив ее и Аксельрода передать Плеханову содержание их разговоров и уведомить его о своем твердом намерении вернуться в Россию.

В назначенный час Ленин и Потресов возвращаются к Вере Ивановне. Плеханов уже здесь. Чувствуется, что ему уже все рассказали — в деталях.

Здоровается молча — кивком головы. Очень спокоен, сдержан, вполне владеет собой. Ничего похожего на взволнованность Аксельрода и Засулич. (Бывали и не в таких переделках, и, как видите, — ничего, выжили, выплыли.)

Только в глазах, на самом дне зрачков, иногда вспыхнет и сразу гаснет некий пристальный огонек — будто покажется и тут же исчезает длинная тонкая иголка.

— Итак, господа? — раздается голос Плеханова.

Он обводит всех внимательным взглядом. Нечто искренне заинтересованное, строгое есть в нем, в этом озадаченном общим молчанием взгляде. Нечто заботливое и как бы даже материнское. В самом деле — я же вас всех «породил», господа, мой мозг, мои мысли и книги вызвали вас к жизни, мои сочинения «вскормили» вас, сделали такими, какие вы есть, и привели сюда. Так что же вы все молчите, заставляя меня переживать и

беспокоиться за вас — вас, сотворенных из моего ребра, глядящих на мир моим зрением, состоящих из моей плоти и крови, только благодаря мне и существующих на белом свете...

«Адам, Зевс, царь и бог и земский начальник, — с иронией думает Ленин. — Вот он посмотрел в окно этим своим мудрым взором и лишний раз убедился в том, что все увиденное там — озеро, город, небо, горы — тоже, несомненно, создано им... Каким маленьким делается человек, когда он переоценивает свои возможности, каким слабым становится он, сосредоточиваясь только на личном, индивидуальном, погружаясь в пучину своих тайных страстей. Это эмиграция сделала его таким. Эмиграция и отрыв от России, от русских людей, среди которых он вырос, исказили его характер, превратили этот характер в темную противоположность его светлого ума философа и материалиста... Как относиться к этому? Ведь даже если мы разойдемся сейчас, все равно придется встречаться, сталкиваться... С ним надо бороться за него же самого. Не пресмыкаться перед ним, как Аксельрод и Засулич, а бороться с Плехановым за Плеханова. Вытаскивать из женевского одиночки, из европеизировавшегося социалистического барина мсье Жоржа того двадцатилетнего юношу, который четверть века назад произнес возле колоннады Казанского собора в Петербурге первую в России публичную политическую речь против самодержавия...»

Потресов, наконец, начинает говорить с нервной сухостью и плохо скрываемым раздражением. Он кратко излагает суть дела: мы не считаем больше возможным вести переговоры, отношения сложились совершенно нетерпимые, мы ставим точку и уезжаем в Россию.

Плеханов, уловив слабость в интонации Потресова — нервы и раздражение, снисходительно поглядывает на него.

— И это все? — с наигранным простодушием спрашивает он, когда Потресов умолкает.

— Да, все! — вызывающе повышает голос Потресов.

— А в чем же тогда, собственно, дело, господа? — искренне недоумевает Плеханов. — Я ожидал более серьезного и глубокого разговора.

— Наша совместная работа не может проходить в атмосфере сплошных ультиматумов с вашей стороны, — говорит Потресов.

— Уль-ти-ма-ту-мов?! — резко подается вперед Плеханов. — Да в чем же вы увидели ультиматумы?

— А вчерашний день? — напоминает Потресов. — Ваш мнимый отказ от соредакторства?.. А многозначительное молчание в первые дни, которым вы непрерывно ставили условия?

— Так, так, — откидывается назад Плеханов.

Взгляд — со второго этажа. С высоты. С вершины холма. Обозревая окрестность... Иглы зрачков кольнули Аксельрода, — тот кисло улыбнулся. Вера Ивановна смотрит вниз, не чувствуя, что «сам» ищет ее внимания.

— Значит, вы решили, — торжественно начинает Плеханов, — что после выхода первого номера «Искры» я могу устроить вам

забастовку, начну стачку и тем самым остановлю вашу «фабрику» — сорву выход второго номера. Этого вы испугались?

— Конечно, именно этого мы и опасались, — холодно и спокойно звучит в тишине громкий голос Ленина. — Именно об этом и говорил Александр Николаевич. А в том, что вы умеете хорошо бастовать, мы убедились вчера. Ваш уход в рядовые сотрудники с мгновенным возвращением в качестве главного редактора — отличный пример того, как надо проводить стачку, чтобы вырвать уступки.

Появление в комнате государя-императора Николая Второго в полной парадной форме не смогло бы произвести более сильного впечатления, чем эти слова Ленина.

— Что вы этим хотите сказать, Ульянов? — нервно спрашивает Плеханов. — На что намекаете? Неужели вчерашний день произвел на вас такое сильное и тяжелое впечатление?

— Да, это было сильное впечатление, — невозмутимо отвечает Ленин, — одно из сильнейших в моей жизни.

— Какая-то чепуха! — резко поднимается с места Плеханов. — У вас все впечатления и впечатления. Ничего конкретного, одни чувства.

Долгая, тяжкая пауза.

— Значит, решили все-таки ехать? — нетерпеливо спрашивает наконец Плеханов.

— Да, решили.

— Если вы уезжаете, — отчетливо выговаривая каждое слово, медленно произносит Плеханов, — то считаю необходимым предупредить вас о следующем... Я здесь сидеть сложа руки не стану и до того, пока вы одумаетесь, могу вступить в иное предприятие...

«Пугает! — мгновенно отмечает про себя Ленин. — Опять интрига, опять шахматный ход!.. Он ничего не понял, ни в чем не разобрался... Ах, Георгий Валентинович, Георгий Валентинович! Ничто не могло вас так уронить, как именно эти слова...»

— Так что же? — спрашивает Плеханов.

«На войне как на войне, — думает Ленин. — Не обращать никакого внимания на эту угрозу. Я чувствую — она последняя. Ни в какое другое предприятие он не вступит. Он все это придумал только что. Он будет наш — последние минуты проклятый упрямый характер удерживает его на старых позициях. Он сопротивляется, не понимая, что интересы дела на нашей стороне... Нет, мсье Жорж, мы не уступим твоей фанаберии, твоей вздорной натуре, мешающей, как камень на шее, прежде всего тебе же самому. Ты тверд, но и мы не мягче. Мы не сдадимся, потому что мы кругом правы, на нашей стороне польза для многих людей — для движения, для партии, для революции! А на твоей — только личное, только индивидуальное, только честолюбие и тщеславие!»

И Плеханов не выдержал...

В страшном возбуждении начал ходить он по комнате, размахивал руками, суетился, нервничал, бросал отрывистые слова, не заканчивал фраз. Засулич и Аксельрод с изумлением наблюдали за ним. Таким они не видели Жоржа никогда.

А он говорил, говорил, говорил, вспоминал все обиды, когда-то причиненные ему местными «молодыми» социал-демократами, жаловался на усталость, несправедливость, равнодушие, грозился все бросить, все оставить, на все махнуть рукой, уйти в чисто научную литературу.

Находившись, наговорившись и, по-видимому, даже устав, он подошел вплотную к Ленину и, глядя прямо в глаза, спросил, едва сдерживая дрожь в голосе:

— Вы понимаете, что разрыв с вами равносилен для меня полному отказу от политической деятельности? Равносилен моей политической смерти?!

Ленин, не отводя взгляда, молчит.

— Если я не могу договориться даже с вами, я не смогу уже больше разговаривать ни с кем!!

Ленин, не отводя взгляда, молчит.

— Если я не буду работать в революции вместе с вами, то я не буду работать для нее уже никогда!!!

«Искренен он хоть сейчас-то или неискренен? — волнуясь, напряженно думает Ленин. — Или снова маневр? Не помогло запугивание — надо попробовать лесть, а? Но ведь слова, которые он произносит, слишком значительны, слишком серьезны, чтобы оставлять их без внимания, без ответа... Верить или не верить? Надо попробовать поверить... Но не хотелось бы ошибиться. На этот раз нельзя уже ошибаться. Момент ответственнейший... Искренен или неискренен? Маневр или правда?..»

На следующий день (день отъезда) Потресов будит Ленина необычно рано.

— Спал очень плохо, — говорит Потресов, — всю ночь продолжал ругаться во сне с дядей Жоржем.

Ленин смеется.

— Надо кое-что обдумать, — продолжает Потресов. — Хотелось бы все-таки хоть как-то наладить и начать дело. Нельзя же бросать все на полдороге...

— Наверное, — соглашается Ленин. — Наверное, нельзя оставлять все это в таком положении, когда из-за личных отношений может погибнуть серьезное партийное предприятие.

— Идем к «старикам»? По дороге все расскажу подробно.

— Идем.

Они шли вниз по улице почти бегом, то и дело обгоняя друг друга.

И вдруг остановились...

Навстречу им поднимались Засулич и Аксельрод.

— Мы к вам, — устало сказал Павел Борисович, останавливаясь.

— Жорж совершенно убит, — вздохнула Вера Ивановна. — Всю ночь не спал — ходил по кабинету и кашлял.

— Возьмете грех на душу, — добавил Аксельрод, — если уедете, не зайдя к нему.

— Идемте, идемте! — заторопил Ленин. — Есть варианты для примирения.

Плеханов ждал...

Скрывая радость, сам открывает дверь, протягивает руку. Спрашивает у Потресова о здоровье.

— Благодарю, — сухо отвечает Потресов.

Плеханов делает странный жест рукой — будто хочет обнять Потресова. Тот отшатывается.

— Нервы, нервы, — смущенно бормочет Плеханов, — у всех нервы ни к черту. Из-за этого и недоразумения. Печальные недоразумения.

Все проходят в кабинет, рассаживаются.

— Последний разговор, — начинает Ленин. — Имеется три варианта по вопросу организации редакторских принципов. Первая: мы редакторы, вы, — кивок в сторону хозяина, — сотрудник... Вторая: мы все соредакторы... Третья: вы, Георгий Валентинович, — редактор, мы — сотрудники.

— Третий вариант решительно исключается, — быстро говорит Плеханов. — Я категорически настаиваю на этом.

— А первые два?

— Согласен на любой.

— Владимир Ильич, — спрашивает Засулич, — а вы за какой пункт?

— Я за второй. Все — соредакторы.

— Александр Николаевич?

— Второй.

Засулич. Пожалуй, и я за второй.

Аксельрод. Я тоже.

— Прекрасно, — подводит итог Ленин. — Таким образом, можно считать, что второй вариант организации редакторского дела прошел единогласно. Отныне все мы — соредакторы. Поздравляю вас, господа.

— Как быстро все решилось! — смеется Засулич.

— И совершенно бескровно, — добавляет Плеханов.

Улыбка не сходит с его лица. Усы, борода, брови, счастливый блеск глаз — все смешивается в нечто веселое и добродушное.

— Владимир Ильич, — спрашивает Плеханов, — ну а теперь когда же ехать?

— Теперь все равно сегодня, — говорит Ленин. — В Германии ждет типография.

В декабре 1900 года в Лейпциге вышел первый номер «Искры». Первая общерусская нелегальная марксистская газета начала жить.

Плеханов написал Ленину по поводу второго номера «Искры», что ему он очень понравился — живая и умная газета.

Но когда Ленин поблагодарил его за этот отзыв, «мсье Жорж» ворчливо ответил: «Напрасно вы благодарите меня, на Ваше дело я смотрю как на свое собственное».

В пятидесяти номерах ленинской «Искры», заложивших фундамент революционной рабочей партии России, Георгий Валентинович Плеханов выступал тридцать семь раз.

Весной 1901 года группа эмигрантов-анархистов, возбужденная на своем очередном митинге слишком горячим оратором, сорвала двуглавого орла со здания русского посольства в Швейцарии. Газеты пустили слух, что во главе демонстрации анархистов шел Плеханов.

Это было смешное обвинение, вызвавшее улыбку у всех серьезных людей, но тем не менее Георгия Валентиновича вызвали на допрос в федеральный департамент юстиции.

Плеханов, сумевший доказать свою непричастность к беспорядкам, сообщил в очередном письме Ленину в Мюнхен об этом инциденте. «Дорогой Георгий Валентинович! — тут же откликнулся Ленин. — Мы очень и очень рады, что Ваше приключение окончилось благополучно. Ждем Вас: поговорить надо бы о многом и на литературные, и на организационные темы...»

И вот он в Мюнхене. Встречается и работает с Лениным, бывает в редакции «Искры», которая переехала сюда из Лейпцига, участвует во всех редакционных делах, читает статьи, гранки, верстку, письма из России, обсуждает вышедшие и будущие номера, готовит в печать свои материалы.

В конце 1901 года Ленин берет на себя инициативу организовать празднование юбилея Плеханова — двадцатипятилетия его революционной деятельности. (Ленин не забыл того разговора, который был у него с Плехановым в один из первых дней после его приезда в Швейцарию из России, из ссылки.)

Шестого декабря исполнилось четверть века со дня демонстрации у Казанского собора.

И в этот день Георгий Валентинович получил в Женеве от Ленина письмо: «Редакция «Искры» всей душой присоединяется к празднованию 25-летнего юбилея революционной деятельности Г. В. Плеханова. Пусть послужит это празднование к укреплению революционного марксизма, который один только способен руководить всемирной освободительной борьбой пролетариата и противостоять натиску так шумно выступающего под новыми

кличками вечно старого оппортунизма. Пусть послужит это празднование к укреплению связи между тысячами молодых русских социал-демократов, отдающих все свои силы тяжелой практической работе, и группой «Освобождение труда», дающей движенню столь необходимые для него: громадный запас теоретическнх знаний, широкий политический кругозор, богатый революционный опыт.

Да здравствует революционная русская, да здравствует международная социал-демократия!»

Прочитав письмо Ленина дважды, Плехаиов долго сидел одии в своем кабинете... Вспомнился Петербург семьдесят шестого года, паперть Казанского собора, рабочие и студенты, пришедшие на демонстрацию, свисткн городовых, шинели полицейских и как его уводили с Невского проспекта в чужой шапке... Какая была фамилия этого человека, прятавшего его в первые дни после «Казанкн», первого русского рабочего, с которым он познакомился в Петербурге?

Забылась фамилия, выскользнула из памяти — теперь уже и не вспомнить. Слишком многое случилось за эти двадцать пять лет, слишком много людей и лиц прошло перед ним за эти годы...

«Искра» продолжала набирать силу. Контуры будущей партии все отчетливее и зримее проступали с ее страниц. Выполняя намеченный план, Ленин готовил к публикации в газете программу партии, которую должен был принять предстоящий партийный съезд.

Написанную Плехановым теоретическую часть программы Ленин подверг критике. Вопрос был поставлен четко и определенно: в программе требуется дать конкретный научный анализ развития капитализма и социальной структуры общества в России, развить положение о диктатуре пролетариата как руководстве трудящимися в борьбе за социализм.

После многочисленных дискуссий, споров и переделок был принят окончательный текст проекта программы, который был опубликован в «Искре» для обсуждения всеми русскими социал-демократами.

Программные разногласия снова сгустили тучи на горизонте отношений Ленина и Плеханова. И как во времена рождения «Искры», причиной нового напряжения опять во многом оказался несносный характер «мсье Жоржа».

Критические замечания Ленина по поводу теоретической части программы, автором которой был Плеханов, Георгий Валентинович расценил... как личную обиду. Ему не терпелось «свести счеты». И под горячую руку, забыв обо всем, что уже возникло и прочно укрепилось между ними, «мсье Жорж» разразился потоком грубейших и совершенно несправедливых упреков и обвинений по поводу аграрной части программы партии, которая была написана Лениным.

Он тут же начал жалеть о сделанном, страдал и мучился сам,

нзводил и тиранил Веру Ивановну и Аксельрода, но было уже поздно.

Плеханов крепнлся месяц. Потом ие выдержал н написал Ленину письмо. Были в нем, между прочим, и такие строчки: «Пользуюсь случаем сказать Вам, дорогой Владимир Ильич, что Вы иапрасно на меня обижаетесь. Обидеть Вас я не хотел. Мы оба несколько зарвались в споре о программе, вот и все».

Ленин тут же ответил: «Дорогой Георгий Валеитинович! Большой камеиь свалился у меия с плеч, когда я получил Ваше письмо... Я буду очень рад поговорить с Вами при свиданни... чтобы выяснить себе, что́ было обидно для Вас тогда. Что я не имел и в мыслях обндеть Вас, это Вы, конечно, знаете...»

Мир был восстановлен.

Приближался Второй съезд РСДРП. Для подготовкн его и редакционной работы Плеханов выехал из Женевы к Леннну, в Лондон. В течение целого месяца, встречаясь каждый день, онн вместе готовили документы будущего съезда.

«Искра» выполнила свою задачу. Вокруг газеты объединились революционые социал-демократические оргаиизации России, образовавшиеся иа основе идей ленинского организационного плана.

В апреле 1903 года редакция переехала из Лондона в Жеиеву. Сюда начали съезжаться делегаты Второго съезда.

Плеханову очень хотелось, чтобы съезд состоялся в Женеве — городе, где прошла большая часть его жизни за границей. Но съезд пришлось перенести в Брюссель.

Глава пятнадцатая

Георгий Валентииович быстро связался с одиим из живших там русских эмигрантов, который примыкал к группе «Освобождение труда». Старый знакомый пообещал договориться с бельгийскими социалистами о помещении для заседанний.

В июле делегаты начали покидать Женеву. Готовился к поездке в Брюссель и Плехаиов.

В июле 1903 года он откроет в Брюсселе Второй съезд РСДРП, который изберет его ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА Российской социал-демократической рабочей партии.

Прошло пятиадцать лет...

Весиой 1918 года в Фнилящдии, в маленьком местечке Питкеярви под городом Терноки (неподалеку от Петрограда), умирал Георгий Валентинович Плеханов.

Всего год назад вернулся Плеханов на родину. Тридцать семь лет прошло в эмнграцни. После мягкого, умеренного клнмата нтальянского курорта Сан-Ремо, на котором он подолгу жил в последнее время, Россня встретила резкими перепадамн погоды, суровымн балтийскими ветрами. Давний недуг легких сразу дал

о себе знать. Через несколько дней после возвращения Плеханов простудился и слег. В сентябре болезнь окончательно сломила его — больше он уже не поднимался.

— В общем-то я чувствовал, — грустно говорил Георгий Валентинович неотлучно находившейся возле его постели Розалии Марковне, — что приехал в Россию умирать.

Зимой его перевезли из Петрограда в санаторий Питкеярви. В середине марта случилось непоправимое — кровь хлынула горлом. Ее долго не могли остановить. Началась затяжная агония.

Плеханов теперь часто и надолго забывался. Реальные картины прошлого, которые он последними усилиями воли пытался вызвать в памяти, сменялись галлюцинациями. В причудливом, фантасмагорическом сочетании проносились в его потухающем сознании клочки прожитой жизни. Он видел себя то деревенским мальчиком, выступающим на конгрессе Интернационала, то студентом Горного института, открывающим Пятый съезд РСДРП... Федор Шаляпин, стоя на коленях, пел «Боже, царя храни»... Энгельс и Маркс медленно шли между колоннами Казанского собора... Лохматый Эдуард Бернштейн бежал по Невскому проспекту за телегой, на которой, свесив ноги, сидели Каутский и Бебель... По крутому склону Везувия тяжело поднимался в белом пекарском фартуке Максим Горький...

— Роза, почему я не поехал на Третий съезд?

— Потому что ты был против него...

Сознание возвращалось, крепла память, он выходил из забытья осторожно, постепенно, на ощупь...

— А на Четвертый съезд я поехал... Там снова была война с Ульяновым. Хотели объединиться, но ничего не вышло. Он выступал за национализацию земли, а я за муниципализацию...

Розалия Марковна поправила мужу одеяло.

— Ты очень много разговариваешь сегодня, Жорж...

— Ульянов сейчас глава нового правительства... Какую огромную ошибку они совершили, взяв власть! Октябрьская революция была преждевременна...

— Жорж, успокойся...

— Диктатура пролетариата может быть установлена в стране, где рабочий класс составляет большинство населения. В России этого нет! Россия еще не доросла до социалистической революции...

— Успокойся, Жорж, прошу тебя — успокойся...

Неожиданно в комнату вошел и встал в углу Гучков.

— Вы получили мою телеграмму? — мрачно спросил Гучков. — Вам необходимо срочно выехать в Россию.

— Но я приехал в Россию год назад...

— Нет, вы пока еще в Италии. А ваше скорейшее возвращение в Россию было бы очень полезно для спасения отечества. Как военный министр Временного правительства я могу немедленно организовать ваш выезд через наших союзников — Францию и Англию, а дальше морем — в Швецию...

— От кого я должен спасать отечество?

— От черни!

— ....??

— От вышедшей из повиновения солдатни и мастеровщины, от бунтующих по всей России мужиков!

Он пристально вглядывался в лицо Гучкова. Октябрист. Лидер буржуазно-монархической партии. Сторонник Столыпина. Председатель III Государственной думы. Банкир. Капиталист. Яростный враг рабочего класса и революции. Как он оказался здесь, в этой комнате?

— Вы не ошиблись адресом, господин Гучков?

— Нет, не ошибся. Я читал ваши последние статьи. Вы призываете к войне до победного конца. Нам необходим ваш авторитет, вы нужны нам...

— Кому — вам?

— Истинно русским патриотам...

— Роза, Роза!..

Гучков исчез.

Он открыл глаза. Фигура жены возле кровати колебалась в туманной пелене. Трудно было дышать.

— Роза, мы вернулись в Россию по приглашению Гучкова?

— Нет, мы приехали сами.

— Но мы получали в Италии телеграмму от Гучкова?

— Она пришла в Сан-Ремо после нашего отъезда, когда мы были уже во Франции.

— Неужели она действительно была, эта телеграмма?

— Была...

— Я видел сейчас Гучкова... Вот здесь, в этой комнате... Разве он приходил к нам... тогда, весной, когда мы вернулись?

— Нет, приходили другие...

— Я рад познакомиться с вами, — сказал генерал Алексеев.

— Я тоже, — сказал адмирал Колчак, — очень рад.

— Примите уверения в моем совершеннейшем к вам почтении, — сказал генерал Алексеев.

— Присоединяюсь, — сказал адмирал Колчак, — присоединяюсь целиком и полностью.

— Оставим в стороне наши политические убеждения, — сказал генерал Алексеев, — сейчас не время говорить о них...

— Мы люди военные, — сказал адмирал Колчак, — и наша встреча с вами продиктована логикой событий, положением на фронтах...

— В свое время я прочитал вашу брошюру «О войне», — сказал Алексеев. — Вы совершенно справедливо утверждаете, что военное поражение России замедлит ее экономическое развитие и будет вредно для дела русской народной свободы...

— Тогда вся Россия рукоплескала вам, — сказал Колчак, — за вашу патриотическую позицию...

— Но я утверждал тогда не только это, — забеспокоился Плеханов, — я говорил ещс и о том, что военное поражение Рос-

сии будет полезно для ее государственного строя, то есть для царизма, к низвержению которого я призывал всю жизнь.

— Это не имеет значения, — сказал Колчак.

— Безусловно, — поддержал генерал Алексеев, — главное заключается в том, что вы осудили немецких социалистов, голосовавших в рейхстаге за военные кредиты, и поддержали французских социалистов, тоже голосовавших за военные кредиты.

— Германия напала на Францию, — сказал Плеханов, — для Франции война была справедливой — она защищалась...

— А не кажется ли вам, Георгий Валентинович, — вдруг сказал чей-то очень знакомый голос, — что война была несправедливой и для Франции, и для Германии одновременно?

— Нет, — сказал Плеханов, — не кажется. Предательство вождями немецкой социал-демократии интересов и революционных традиций немецкого пролетариата объясняется ревизионизмом в теории, которым эти вожди были давно уже заражены и с которым я лично всегда боролся. Немецкие социалисты голосовали в рейхстаге за войну с Францией из-за того, что боялись потерять голоса своих шовинистически настроенных избирателей. И поэтому немецкие социалисты стали надежной опорой империалистической политики немецкого юнкерства и немецкой буржуазии.

— Позвольте, позвольте, — сказал знакомый голос. — а разве французские социалисты не предали интересы французского рабочего класса, когда голосовали за военные кредиты? Разве французские социалисты, поддерживая свое правительство, не стали опорой французских капиталистов? Кстати, в это правительство вошел ваш старый друг Жюль Гед...

— Мой друг Жюль Гед не может стать предателем интересов французского рабочего класса! — запальчиво крикнул Плеханов.

— Почему же не может, когда он стал им, — не унимался знакомый голос.

— А потому, что Жюль Гед основал партию французского рабочего класса!

— Сначала основал, а потом предал. И так бывает. Не только с ним одним это случилось.

— Я не позволю в моем присутствии оскорблять моих старых друзей!

— Вы что-то, Георгий Валентинович, очень уже сильно доверяетесь такой ненадежной в политике категории. как «старые друзья», — заметил знакомый голос. — Впрочем, когда-то вы, наверное, и к меньшевикам перешли потому, что там были ваши старые друзья — Засулич, Дейч, Аксельрод... Помните, как вы сказали тогда в Женеве — «я не могу стрелять по своим»? А через полтора года эти «свои» стали для вас чужими...

— Вы упрекаете меня в перемене моих взглядов? Но живой человек не может не изменяться...

— Хотите еще один пример изменения ваших взглядов? За два года до начала войны вы писали, что для вас высший закон — это интересы международного пролетариата. Войну же вы нахо-

дили полным противоречием этим интересам. И призывали международный пролетариат решительно восстать против шовинистов всех стран. Писали вы так или нет?

— Ну, предположим, писал.

— Тогда же вы утверждали, что знаете только одну силу, способную поддержать мир, — силу организованного международного пролетариата, что только война между классами сможет с успехом противостоять войне между народами. Вы автор этих слов?

— Я.

— Так почему же через два года вы стали звать французских и русских рабочих идти убивать немецких рабочих? Почему всего лишь два года потребовалось вам, чтобы самому стать социал-шовинистом и призывать русский и французский народы к уничтожению немецкого народа?

— Господа, господа, не увлекайтесь, — вмешался генерал Алексеев, — свобода слова не должна мешать подготовке к наступлению...

— Вы считаете меня шовинистом? — спросил Плеханов.

— Нет, не считаю, — чистосердечно признался верховный главнокомандующий.

— Помилуйте, какой же здесь может быть шовинизм? — развел руками Колчак. — Вы же любите свою родину?

— Люблю, — сказал Плеханов.

— Так как же можно не желать своей родине победы в войне?

— Победа над Германией приблизит революцию в России, — сказал Плеханов. — Царизм не сможет справиться с теми общественными силами, которые война выдвинет на русскую историческую сцену.

— Ах, оставьте вы царизм, Георгий Валентинович! — махнул рукой Алексеев. — Царя уже нет, теперь надо думать о том, как жить без царя дальше.

— Наступать, — твердо сказал Колчак. — Только наступление даст революции возможность укрепить себя. Помните, Георгий Валентинович, как вы прекрасно говорили об этом в Таврическом дворце сразу же после возвращения в Россию? Я, например, помню вашу речь почти слово в слово...

— Неужели?

— Конечно! У меня очень хорошая память... Вы сказали тогда о том, что раньше защищать Россию означало защищать царя. И это было ошибочно, так как царь и его приспешники на каждом шагу изменяли России... Ну а теперь, когда мы сделали революцию, мы должны помнить, что если немцы победят, то это будет означать для нас не только иго немецких эксплуататоров, но и большую вероятность восстановления старого режима. Вот почему надо всемерно бороться как против врага внутреннего, так и против врага внешнего. Прекрасно сказано!

— Вот именно — против врага внутреннего! — нахмурился генерал Алексеев. — А кто есть враг внутренний?

— Враг внутренний есть студент! — засмеялся Колчак. — Помните, господа, как фельдфебель учил нас в юности в кадетском корпусе этой науке? Мы, кажется, все тут прошли в молодости через кадетский корпус?

— Враг внутренний есть большевик, — с грустью сказал генерал Алексеев и вздохнул.

Плеханов заметался по кровати.

— Роза, Роза, — шептал он с закрытыми глазами, — я умер, я умер...

«Опять бред», — подумала Розалия Марковна.

— Я умер, Роза, я умер...

— Нет, Жорж, дорогой, любимый, родной, единственный, ты не умер, ты жив! Тебе станет лучше, ты обязательно поправишься, ты будешь жить, и мы снова будем вместе!

— Нет, Роза, я умер, — вдруг совершенно отчетливо и ясно сказал он. — Я умер давно, много лет назад, когда остался один...

«По сути дела, я давно стал одиночкой, — пронеслась в его сознании крутая и беспощадная мысль. — Одиночкам, даже самым талантливым и ярким, нечего делать в политике, особенно в революции...»

— Может быть, наша беда заключалась в том, — медленно и тихо заговорил он вслух, — что мы были очень ранними, самыми первыми... И Дейч, и Засулич, и Аксельрод, и я... И поэтому мы слушали только самих себя, только свои голоса...

— Вы сделали свое дело. Вы начали...

— Это было очень давно... С тех пор прошла целая вечность... За эти годы Россия много раз звала нас самыми разными голосами. Но мы, привыкшие жить своим маленьким кружком, были плохими капельмейстерами... Мы не сумели ни стать дирижерами, ни занять место в общем хоре. Мы оказались солистами, переоценившими свои вокальные данные...

— То, что сделали вы, никогда не будет забыто...

— Не знаю, не уверен... Теперь в России все идет к тому, чтобы о нас забыли надолго... Ты знаешь, Роза, о чем я подумал сейчас? Может быть, единственным средством победить болезнь было бы для меня здесь...

— Что, что? Что именно? Говори!

— Как это ни парадоксально звучит — быть с Ульяновым. Увы, это всегда было невозможно... Иногда мне кажется, что я остался один тогда, когда мы разошлись с ним, именно тогда... Я слышал его голос. Ему сейчас неимоверно, чудовищно трудно, во многом он ошибается, но он живет и работает на самой вершине. Он остановил на себе зрачок мира, а я умираю внизу, у подножия горы, которую мы начали возводить вместе с Ульяновым, а потом эта гора взяла и сбросила меня вниз... Когда я умру, проси его, чтобы помог уехать во Францию, к детям. Я думаю, он поможет.

— Не говори об этом — ты будешь жить!..

— Нет, я умер, моя жизнь больше не нужна ни мне, ни тебе, ни России, ни революции... Разве я не умер в тот самый день, когда к нам — помнишь? — пришел Савинков и предложил мне возглавить правительство после того, как его люди разгромят большевиков...

Это случилось через несколько дней после свержения Временного правительства. В квартиру Плехановых тихо и осторожно постучали.

— Кто там? — спросила Розалия Марковна, выходя в коридор.

— Откройте, — послышался глухой голос, — здесь друзья...

Розалия Марковна открыла дверь. На пороге стоял Борис Савинков — в низко, на самые глаза надвинутой кепке, в потертом пальто с поднятым воротником.

— Мне срочно нужно увидеть Георгия Валентиновича...

— Он болен, ему нельзя волноваться...

— И тем не менее я прошу о свидании. Дело, по которому я пришел, выше личной судьбы каждого из нас. Речь идет о спасении России...

И вот он сидит перед Плехановым — бывший товарищ военного министра только что низложенного Временного правительства.

Когда-то, в эмиграции, в Швейцарии, он весьма часто появлялся в доме Плехановых. Называл себя чуть ли не учеником и последователем (несмотря на участие в покушениях на Плеве и великого князя Сергея Романова). Уверял, что разделяет взгляды, дарил книжонки собственного сочинения...

— Чем обязан? — сухо спрашивает хозяин дома.

Ему известно, что в своей недавней и недолгой министерской деятельности Савинков вел себя как прожженный авантюрист.

— Георгий Валентинович, вы любите Россию?

— Мне нужно отвечать на этот вопрос?

— Наверное, нет. Это общеизвестно... Так вот, Георгий Валентинович, во имя вашей любви к России могли бы вы стать знаменем ее спасения?

— В каком смысле — знаменем?

— Через несколько дней Совет Народных Комиссаров физически перестанет существовать...

— Что, что?!

— Будет создано новое правительство, в которое войдут лучшие люди России, — ее мозг, ее совесть, ее промышленная мощь...

— Для чего вы говорите все это мне?

— От имени тех, кто взял на себя ответственность немедленно ликвидировать преступные последствия Октябрьского переворота, я предлагаю вам возглавить это новое правительство.

— Кто эти люди?

— Вы знаете их. Они были среди тех, кто слушал вас на Государственном совещании в Москве.

...Это было два месяца назад, в августе. В Москву на Государственное совещание съехались представители помещиков и буржуазии, высшее командование армии, бывшие депутаты Государственной думы, руководители кадетов, меньшевиков, эсеров, народных социалистов. Он, Плеханов, получил персональное приглашение... И, выступая перед участниками совещания, он сказал о том, что в этот торжественный и грозный час, который переживает сейчас Россия, на каждом, кто сидит в этом зале, лежит обязанность предлагать не то, что их разделяет, а то, что объединяет. Он призывал представителей промышленно-торговых кругов признать тот неизбежный факт, что в подготовке и совершении Февральской революции заслуги русской революционной демократии велики и неоспоримы, что теперь настало такое время, когда буржуазия, помещики, генералитет и вся русская интеллигенция в своих собственных интересах и в интересах многострадальной России должны искать пути и формы сближения с русским рабочим классом и русским пролетариатом. Он говорил о том, что отныне русская промышленность может развиваться только в том случае, если торгово-промышленный класс поставит перед собой задачу развития производительных сил с одновременным осуществлением самых широких социальных реформ. И если буржуазия будет способствовать проведению этих реформ, облегчающих положение рабочего класса, то он, Плеханов, почти гарантирует ей, буржуазии, всемерную поддержку со стороны пролетариата, а также свою личную помощь... Он обратился к руководителям меньшевиков, эсеров, кадетов и народных социалистов с предостережением об опасности захвата политической власти, так как Россия переживает в настоящее время буржуазную революцию и ей, России, предстоит теперь очень и очень долгий период капиталистического развития. А это процесс двусторонний: на одной стороне будет действовать и развиваться русская буржуазия, а на другой стороне будет действовать и развиваться русский рабочий класс. И если пролетариат не захочет повредить своим интересам, а буржуазия — своим, то и тот и другой классы должны, не враждуя друг с другом, как прежде, а исходя из взаимно добровольных побуждений, искать новые пути для экономического и политического соглашения, союза и сотрудничества.

— ...Итак, Георгий Валентинович?

— Итак, вы предлагаете мне во имя моей любви к России возглавить правительство после того, как будут ликвидированы «преступные последствия» Октябрьского переворота?

— Почтительно предлагаю, предварительно согласовав нашу встречу со своими единомышленниками.

— А не кажется ли вам и вашим единомышленникам, что способ, которым вы собираетесь устранить большевиков, тоже преступен?

— Помилуйте, Георгий Валентинович, с большевиками все средства хороши — это не люди!

— Почему же не люди? Я и сам когда-то был большевиком. Недолго, правда...

— Это было очень давно. Почти пятнадцать лет назад. За это время вы оборвали с большевиками все связи.

— Неточно излагаете, милостивый государь. В эти годы я и печатался неоднократно в большевистских изданиях, и вместе с большевиками выступал против ликвидаторов, богостроителей и философских ревизионистов. Так что позвольте сделать вам замечание: зовете в премьеры, а политическую биографию мою знаете весьма слабо. С точки зрения парламентской этики совсем негоже будет мне, сотрудничавшему с большевиками, возглавлять следующее после них правительство, когда вы устроите большевикам Варфоломеевскую ночь.

— Георгий Валентинович, разрешите отвечать по порядку. Во-первых, я полностью отвергаю вопрос о парламентской этике. Он уместен на Западе, в Европе, в тех странах, где существуют и соблюдаются законы... В России же законов не было, нет и не будет от сотворения мира и до конца света!.. О ком ваша печаль, когда вы говорите о парламентской этике? О людях, совершивших Октябрьский переворот и вышвырнувших из Зимнего дворца законное правительство страны?..

— А во-вторых?

— А во-вторых, я прекрасно знаю ва́шу политическую биографию последних пятнадцати лет. Да, вы сотрудничали с большевиками и печатались в их изданиях в эти годы. Но вспомните, сколько раз нападал на вас Ленин в эти же годы, сколько крови попортил он вам, какими словами называл он вас в своих статьях и брошюрах — забыли?

— Отнюдь нет. Я и сам немало крови попортил Ленину за последние пятнадцать лет.

— А вспомните проклятия в свой адрес со страниц большевистской «Правды» уже здесь, в Петрограде, после вашего возвращения на родину?

— После возвращения в Россию недостатка в проклятиях, которые я посылал со страниц моей газеты «Единство» в адрес «Правды» и политической линии большевиков, тоже не было.

— Вспомните, Георгий Валентинович, улюлюканье ленинцев по поводу вашего участия в патриотическом митинге возле редакции «Единства», когда наши войска восемнадцатого июня этого года перешли в наступление на германском фронте? Вспомните, какие оскорбления со стороны большевиков посыпались на вас за то, что вы шли в тот день среди демонстрантов по Невскому проспекту? Ваш Ленин во всеуслышание назвал вас лжецом! Вспомните его статейку «Союз лжи»... Вспомните его сочинение «Социализм и война», в котором он обвиняет вас в политической бесхарактерности и позволяет себе заявить о том, что вы, Плеханов, о-пу-сти-лись до признания справедливости войны с немцами со стороны России. Да разве может человек, повторяю, «о-пу-стить-ся» до патриотизма, до желания

своей родине победы в войне?.. Вздор какой-то, нелепость... Этими словами он оскорбил вас перед всем миром, и такого ни забывать, ни прощать нельзя!

— Мне кажется, что вопрос о моем предполагаемом участии в вашем будущем правительстве вы искусственно сводите к проблеме наших отношений с Ульяновым. Причем делаете это весьма неумело, стремясь разжечь во мне именно личную неприязнь к Ленину, которой на самом деле не существует, и подменить этим самым действительную сумму противоречий между нами. И после этого вы хотите, чтобы я одобрил и благословил ваше намерение стрелять в большевиков, в русских рабочих, которые, несомненно, с оружием в руках встанут на защиту большевиков и Ленина?

— Георгий Валентинович, поэтому...

— Поэтому, Савинков, вы и пришли с предложением, которое, по вашему расчету, должно было бы польстить мне: сделать мое имя знаменем спасения России. Но от кого нужно спасать Россию? От нее же самой?.. Это глупо. Россию от России не спасешь!.. И поэтому ваша игра шита белыми нитками... В действительности вы просто хотели защититься моим именем от возможных осложнений при осуществлении вашего замысла и выставить меня перед русским рабочим классом как прикрытие и оправдание разгрома большевиков.

— Георгий Валентинович...

— Да, Савинков, вы неплохо прикинули свою шахматную партию, но и я еще могу оценить позицию... Вы изволили заметить, что моя революционная деятельность началась сорок лет назад. Совершенно справедливо. Четыре десятилетия жизни отданы делу русского рабочего класса. И какие десятилетия!.. Полные невзгод и лишений, поражений и побед, борьбы и счастья!... Нет, Савинков, я не позволю позорить свое имя никакими сомнительными, а тем более кровавыми псевдореволюционными авантюрами. Русский пролетариат, захватив политическую власть, встал на ошибочный исторический путь, русская революция, распахнув ворота стихийному первородному бунту, вступила в трагическую фазу своего развития. Но тем не менее я, Георгий Плеханов, никогда не буду стрелять в русских рабочих и в русских крестьян, одетых в солдатские шинели. Я вообще не стреляю по своим!

— Георгий Валентинович, разойдясь с Лениным, вы совершили великий исторический подвиг, обозначив для русской революции опасность большевизма. Только ваше имя может сейчас помочь начавшейся в феврале революции сохранить свои результаты. Только ваш авторитет мыслителя европейского масштаба может, как плотина, остановить мутную волну кондовой плебейской инициативы, поднимающуюся в эти дни во всех медвежьих углах России... Георгий Валентинович, в вашей уникальной исторической карьере, на вашем долгом, неповторимом и благородном пути революционера, в вашем святом поединке с большевизмом осталось сделать один шаг, самый последний

шаг... Заклинаю вас ангелом свободы и всеми богами революции — ради великого дела своей героической жизни, которое вы предпочли всем остальным земным благам, радостям и утешениям, решитесь на этот шаг, сделайте его!.. И вы навсегда останетесь в благодарной памяти человечества символом мудрого исцелителя русской революции от гибельного разгула низов...

— Эх, Савинков, Савинков... Хотя вы и написали свои романы о революции, вы всегда были плохим литератором, потому что у вас нет чувства стыда перед изреченным словом... Но вы не только плохой писатель, вы еще и посредственный политик. Собственно говоря, как террорист вы всегда были в политике истериком, а в революции — авантюристом, так как стремление к насилию и жестокости, желание отнять жизнь у другого человека — явление скорее психическое, чем социальное...

— Вы совсем не поняли меня, Георгий Валентинович...

— Когда-то в молодости мне однажды пришлось столкнуться с массовой вспышкой увлечения терроризмом. Это было на Воронежском съезде партии «Земля и воля»... И вот спустя сорок лет мне снова предлагают террор... Впрочем, с Воронежского съезда я ушел сам, но тогда я был молод. Теперь же я стар и нахожусь в своем доме. Так что уходить придется вам, Борис Викторович...

— Это ваше последнее слово?

— Да, последнее.

— Очень сожалею... В случае нашей победы — не обессудьте...

Когда Савинков ушел, Плеханов долго смотрел на пустой стул, на котором только что сидел неожиданный и необычный посетитель.

...долго смотрел на пустой стул....

На секунду показалось, что у него ни с кем и никакого разговора сейчас не было, что все это игра какого-то чужого и злого воображения, внезапно сорвавшийся с древа реальности зеленый плод чьей-то ядовитой фантазии.

Он потер пальцами виски, провел рукой по лицу и еще раз посмотрел на пустой стул... Никакого «подвига» разрыва с Лениным не было. Не было и полного разрыва. Это фактически неверно. Мы и после третьего года обменивались письмами, встречались, разговаривали... Савинков всегда был и остается аферистом, фальсификатором, интриганом. Ни на что другое он не способен. Ишь ты, придумал юбилей — пятнадцать лет борьбы с большевиками, а?

Расхождение с Лениным началось гораздо раньше — в девятисотом году, в самом начале «Искры». Правда, потом отношения наладились и были хорошими и до Второго съезда, и на самом съезде, но после съезда...

После съезда Ленин в ответ на его, плехановское, требование пойти на уступки мартовцам — ради мира в партии — написал заявление о выходе из редакции «Искры».

Тогда он, Плеханов, как председатель Совета партии, единолично ввел в редакцию «старых друзей» — Аксельрода, Засулич и Потресова, которых на съезде в редакцию «Искры» не избрали. (Нарушил он тем самым партийную дисциплину? Сделал «Искру» органом борьбы против решений Второго съезда? Пожалуй, что да... Но ведь он стремился к единству рядов партии, призывал к уступчивости по отношению к тем, кто мог бы стать товарищами, а не врагами.)

Ленин тогда обвинил его в трусости, в боязни раскола. Ленин утверждал, что единство партии — в твердой позиции, в верности решениям съезда, в войне с мартовцами, а не в уступках им.

Он выступил против Ленина в пятьдесят втором номере «Искры», упрекнув в резкости. С этого и начался поворот... Раздосадованный нападками большевиков, он подверг критике ленинскую книгу «Что делать?», которую защищал еще совсем недавно, на Втором съезде.

Для многих такое изменение позиции явилось неожиданностью. Опять посыпались предостережения и насмешки. Но он уже закусил удила. Новая линия вела, тащила его за собой, втягивала в завлекающую глубину новых аргументов. «Метаморфоза» произошла. И, как всегда в таких случаях, невольно следуя логике уже много раз происходившего с ним скачкообразного превращения, закручиваясь в стремительном вихре полемики, он мгновенно преодолел расстояние между двумя полярными точками зрения почти во всех разногласиях между большевиками и меньшевиками и вплотную приблизился к позиции меньшевиков.

Но он никогда, даже в те напряженные и сложные времена, наполненные самыми неожиданными и резкими поворотами, не был на все сто процентов вместе с ортодоксальными апостолами меньшевизма. Уже весной четвертого года, вскоре после ухода от большевиков, он хотел порвать и с лидерами новой «Искры». Однако летом он протестует (особая позиция?) против включения большевиков в делегацию русских социал-демократов на Амстердамский конгресс Интернационала.

Он осуждает на конгрессе начавшуюся русско-японскую войну; призывает рабочих всех стран содействовать поражению русского царизма, на глазах всего конгресса целует в президиуме японского социалиста Сен Катаяму. А ровно через десять лет назовет русско-германскую войну справедливой для России, будет звать царских генералов к победе над кайзеровскими, а русских рабочих — убивать немецких: в этом, что ли, заключалась особая позиция — в том, чтобы колебаться, сомневаться, качаться из стороны в сторону?

Кровавое воскресенье. Начало первой русской революции. Выступая в Швейцарии на митингах и собраниях, он, Плеханов, говорит о том, что в революционной борьбе рабочие не одержат победу мирными средствами — народ должен быть вооружен не хоругвями и крестами, а чем-нибудь более серьезным. И тут же

«почетиейший диалектик» Георгий Валеитиович Плехаиов «шаркает иожкой» перед Мартовым, поддерживая меньшевистскую тактику выжидаиия в процессе революции, хотя эта тактика загодя уже опровергнута им же самим. (Опять особая позиция? Непрерывио путаясь в противоречиях, постоянио выбираться из иих и, выбираясь, запутываться в иовых противоречиях?)

Большевики готовят Третий съезд партии. Он, Плехаиов, естествеино, против его созыва. Ои объявляет его незакоииым. Грозит исключеннем нз партни будущим участникам съезда.

Меньшевики зовут его на свою конференцию, которую оии противопоставляют съезду. Плеханов, естествению, поворачивается к ним спнной, но... спустя некоторое время позволяет уговорнть себя и заседает иесколько раз с меньшевиками в Женеве.

Он покидает коифереицию, не дождавшись окончания, и, получнв ее письменные решеиия, прнходит в ярость. Ои обвиняет участников меиьшевистской конференции в том, что своими решеииями они разгромили центральные учреждения партии, созданные Вторым съездом. (Но он опять же забывает — как бы забывает? — что ои сам уже нанес смертельный удар по одиому из главиых центральных учреждений партии, редакции «Искры», кооптнровав в нее вопреки решеииям съезда «старых друзей» — Аксельрода, Засулнч, Потресова.)

Да, за собой он этого не замечает, зато зорко следит за другими и скрупулезно фиксирует чужие действия.

Гиев по поводу решений меиьшевистской коифереиции ие имеет границ. Ои предает анафеме свонх иедавних едииомышлеииков. (Еще одиа «метаморфоза», еще одио — иа этот раз почти болезнеииое, как считают меиьшевики, — превращеиие.) Он жалуется, что ему душно в атмосфере меиьшевизма. И в иачале июия пятого года меиьшевистская «Искра» публикует его заявлеиие о выходе из редакции.

Плеханов больше не меньшевик.

Значит, теперь, спустя полтора года, ои снова большевик? Нет, «почтеннейший диалектик» продолжает нападать и иа большевиков. Кто же ои? Он вие фракций. Ои вроде бы сам по себе.

Он прежде всего социалистический писатель, литератор, сторонящийся практнческой суеты.

Ои русский изгнаниик, навсегда покниувший родину, чтобы, став на чужбине оракулом, иепререкаемо вещать из центра Европы во все стороиы света неопровержимые марксистские истины, до глубокого смысла которых нужно еще долго добираться всем остальиым участиикам социал-демократического движення.

Он над схваткой... Над схваткой ли?

Объявнв себя олнмпийцем-иебожнтелем от марксизма, ои тем не менее бешено рвется нз Европы на родину, когда узнает о иовом революцнонном подъеме пролетариата в Россин. Встав в

позу нейтрального теоретика, чуждого организационной возне, он одновременно сгорает от нетерпения скорее вернуться домой, в охваченный стачками Петербург. Он говорит, что чувствует себя дезертиром здесь, в Швейцарии, когда там, в России, идет революция. Надо ехать, а то он сойдет с ума. Ему больше невмоготу, ему все опротивело, он больше не может жить и работать за границей. Разве это — над схваткой?

Разве над схваткой его собственные слова о том, что необходимо делать все, чтобы ненависть к самодержавию все шире и шире разливалась в народной массе и подготовляла ее для вооруженного восстания против самодержавия.

Но и его же слова (едва ли не самые знаменитые его слова, печально знаменитые), сказанные после поражения Декабрьского вооруженного восстания в Москве, — не нужно было браться за оружие...

Особая позиция, доведенная до абсурда.

А за несколько месяцев до этого он писал, что для победы революции нужен переход хотя бы части войска на сторону народа...

А когда произошло восстание на броненосце «Потемкин», он считал, что потемкинцы должны были высадиться в Одессе и возглавить выступление рабочих, что матросы должны были снабдить восставших оружием.

А когда Ленин перед отъездом из Женевы в Россию предложил ему сотрудничать в легальной социал-демократической газете «Новая жизнь», он отнесся отрицательно к этому предложению...

Ленин писал ему, что в эти революционные дни большевики страстно хотят работать вместе с ним, что все большевики всегда рассматривали расхождение с ним как нечто временное, что большевики находят крайне ненормальным такое положение, когда он, Плеханов, лучшая сила русских социал-демократов, стоит в стороне от работы, что большевики считают сейчас крайне необходимым для всего социал-демократического движения его, Плеханова, непосредственное, близкое, руководящее участие в общей работе.

Ленин верил, что если не сегодня, так завтра, если не завтра, так послезавтра они будут вместе, несмотря на все трудности и препятствия, потому что всем известно его, Плеханова, сочувствие взглядам большевиков, а тактические их разногласия революция сведет на нет очень быстро.

Ленин перед отъездом в Россию обращался к Плеханову с просьбой о встрече...

— Роза, я еще жив...

— Да, Жорж, ты жив, ты будешь жить...

Да, он не стал сотрудничать тогда с Лениным и большевиками в «Новой жизни». Он не поехал в революционную Россию, хотя были уже получены заграничные паспорта, уложены вещи, упакованы рукописи. (А Ленин поехал в Россию.) Опять вмешалась болезнь — возникло подозрение на туберкулез горла.

Потом был Четвертый съезд партии и новая вспышка полемики с Лениным. Большевики были ослаблены в то время — многие из них находились в тюрьмах, меньшевики брали на съезде верх. И он, Плеханов, способствовал этому, направляя умы делегатов своими выступлениями в противоположную от большевиков сторону. За это и упрекал его Ленин — за дезориентацию партии в один из наиболее ответственных и напряженных периодов развития первой русской революции.

Но ведь уже с середины шестого года он, Плеханов, начал отходить от меньшевиков, а на Пятом съезде в Лондоне одним из первых ощутил ликвидаторские тенденции в меньшевистской среде. Правда, тогда они еще были завуалированы левой фразеологией, но важно было распознать опасность в зародыше.

Через год он вступил в открытый бой с меньшевиками-ликвидаторами, которые считали, что при давлении оппозиции на правительство и Государственную думу можно решить задачи революции, а поэтому необходимо сохранять, мол, только легальные формы партийной деятельности, а нелегальную работу следует ликвидировать. Опровергая эти ошибочные положения, он, Плеханов, убедительно доказывал, что в условиях царизма истинно революционная марксистская партия рабочего класса может существовать только как подпольная организация.

«Старые друзья» — Потресов, Мартов, Дан, Аксельрод — волчьей стаей набросились на недавнего соратника. Передергивая цитаты, искажая факты, они наперебой начали обвинять его в беспринципности, предательстве, взывали к прежней дружбе, ссылались на несносный плехановский характер.

В эти дни он окончательно понял, что ему, очевидно, не судьба идти одной дорогой с лидерами меньшевизма. Не только в своих статьях, но и прямыми практическими действиями, сворачивая работу нелегальных организаций, они ставили под угрозу само физическое существование партии. А этого допустить было нельзя. И он, возглавив группу меньшевиков-партийцев, которые были солидарны с большевиками во взглядах на сохранение нелегальных форм работы, повел решительное наступление на главные догмы ликвидаторства. Теперь уже не было ни друзей, ни приятелей. Всех выступавших против подполья он осыпал густой «картечью» своих теоретических залпов. Особенно доставалось тем, кто, разрушая партию, обнаруживал при этом еще и философско-идейные шатания. За измену философии марксизма он карал беспощадно.

Статьи против ликвидаторов он печатал в большевистских газетах «Социал-демократ» и «Правда». И снова возникала старая и хорошо знакомая ситуация — он был против меньшевиков, но он был и не за большевиков. Он выдвинул тезис, смысл которого сводился к тому, что меньшевики не переходят на точку зрения большевиков, а большевики не переходят на точку зрения меньшевиков — возможно лишь взаимное сближение.

Обстоятельства постепенно создавали благоприятную атмосферу для изменений отношений с Лениным. Спустя пять лет после

«женевского» письма Ленин снова предлагает ему встретиться и обсудить возможности совместной борьбы с ликвидаторами.

На этот раз он отвечает, и очень быстро. Он согласен на встречу и надеется, что общими усилиями меньшевиков-марксистов и большевиков-марксистов переживаемый партией кризис может быть разрешен.

В Париже и Копенгагене, в котором проходит очередной конгресс Интернационала, возобновляются их непосредственные контакты. Разумеется, Ленин понимает, с кем имеет дело. Непоследовательность, колебания, внезапная смена настроений и точек зрения, виляние из стороны в сторону чуть ли не по каждому вопросу. («Генерал от виляния» — так в будущем назовет «почтенного диалектика» Ленин.) И тем не менее в интересах революции Ленин считает необходимым воспользоваться плехановской поддержкой в борьбе с ликвидаторами. Ленин уверен, что углубление и улучшение отношений между большевиками и Плехановым реальны и перспективны.

Но злой ангел «метаморфозы», сложивший на время крылья за спиной почтенного, но крайне импульсивного диалектика, опять дает о себе знать. Притихший было, он взмывает в небо в самый неподходящий момент. Большевики приглашают Плеханова принять участие в Пражской партийной конференции. Он отвечает демонстративным отказом. Надежды на совместную практическую работу похоронены.

Не жалует он, правда, и меньшевиков. Его ждут на совещание в Вене («Августовский антипартийный блок»), но он, конечно, туда не едет, окрестив впоследствии это мероприятие раскольничьим и невероятным по своему составу и по жалкому ничтожеству полученных результатов.

Итак, он снова почти один. Его влияние в русском революционном движении, усилившееся в период временного союза с большевиками, ослабевает. Меньшевики, в том числе «старые друзья», отрицательно относятся к его поступкам и действиям. «Жорж безобразничает в «Правде», — пишет Засулич Дейчу. «Он вредит», — отвечает ей Дейч.

А он сам, стихийно ведомый своей неверной «звездой» сомнений и колебаний, все так же качается из стороны в сторону, по-прежнему противоречит самому себе на каждом шагу. В одном случае он заявляет, что не является сторонником сближения с ленинцами. Оценивая другое событие, говорит, что ленинцы берут верный тон.

В этой обстановке безусловного падения интереса к его теоретической и практической деятельности, которая раньше, на протяжении многих лет всегда была в центре внимания европейской и русской партийной общественности, он должен был бы оценить письмо Ленина, пригласившего его в Закопане читать лекции по вопросам марксизма для ожидаемых из России социал-демократов.

Но Плеханов не отвечает.

Он просто не знает, с кем конкретно хочет единства. Он же-

лает единства партии «вообще». Сидя в центре Европы иа своем, как он считает, марксистском Олимпе (теперь уже «лже-Олимпе»), он пребывает в полиейшей туманной иеосведомлениости о положеиии дел в русской социал-демократии.

И еще одну попытку опустить его на землю предпринимает Ленин. Он просит его написать статью для рабочих в большевистский журнал «Просвещеиие».

И снова Плеханов не отвечает.

Гвоздем сидит у него в голове идея о «едииство партии». Для реализации ее он приводит в действие свои европейские связи. Междуиародное Социалистическое Бюро обсуждает в Брюсселе возможиости объединения всех течений РСДРП. Плеханов выставляет требование единства любой ценой. Но когда оглашаются условия большевиков, он называет их статьями нового уголовного уложения.

Выходят в свет в последний мирный год перед войной его последиие книги: «Французский утопическнй социализм девятнадцатого века», первый том «Истории русской общественной мысли», «Утопический социализм девятнадцатого века»...

— Розочка, Роза, теперь уже, наверное, скоро коиец... Удивительная ясиость... Вижу отца, мать... Всю свою жизнь вижу... Она была странной...

— ...

— Не плачь, Роза... Все равно мы прожили с тобой хорошо на земле... Были тяжелые минуты... Прости меня за них... Ты подарила мие много-много светлых лет. Спасибо тебе... Я не жалею ни о чем... Жил как умел... Стремился к высшему... Что-нибудь и от меня останется...

— ...

— Не плачь, Роза... Помнишь Париж, нашу молодость?... Ты всегда была для меня счастьем как женщина!... И верной помощницей в делах, надежным другом... Спасибо тебе... Жалею об одиом... Мало успел сделать для новой России. Разрушение старой взяло слишком много снл... Впрочем, это н было для новой... Роза, душио...

Неожиданно кто-то деловито и быстро сел на кровать, прищурился:

— Георгий Валентинович, мне сказали, что вы... Зашел попрощаться.

— Благодарю...

— Зимой в Петрограде у вас был обыск... Это ошибка. Приношу извинения.

— Я напрасно вернулся в Россию... Мне нечего здесь было делать...

— Нет, не напрасно. На вашем примере для многих колеблющихся была изжита еще одна иллюзия, опаснейшая иллюзия о классовом мире. Зато теперь здесь полная ясность абсолютно для всех... Правда, цена за этот пример заплачена слишком вы-

сокая — ваша судьба, ваша политическая судьба... вы сами назначили эту цену.

— Возвращение ускорило болезнь... Нужно было оставаться в Европе...

— Уверен, что не выдержали и все равно не усидели бы в Европе. Я ведь знаю вас...

— Вам трудно сейчас?

— Ничего, справимся...

Встал. Наклонил голову. Вышел из комнаты.

— Роза, здесь был сейчас кто-нибудь?

— Нет, никого не было.

— Разве никто не приезжал из Петрограда?

— Финляндия закрыла границу... Мы снова в эмиграции...

— Роза, это символично...

— Что именно?

— Граница... Я не нужен новой России...

— Границу закрыли финны. Здесь идет гражданская война...

— Все равно... Я снова вне России... Вот и решение проблемы... Мы вернулись из эмиграции и опять оказались в эмиграции... Россия отбросила нас от себя... Всего год прошел на родине...

Внезапно он сел на кровати.

— Опять все вижу очень ясно! — взволнованным голосом сказал он. — Всю свою жизнь! Казанскую демонстрацию вижу, стачки на бумагопрядильне... Нет, я не напрасно вернулся в Россию, мое место — здесь, в любом случае... Пусть все запуталось сейчас, потом разберутся...

— Жорж, тебе нужно лечь...

Он лег, лицо его было спокойным и светлым.

— Дело сделано, — шепотом произнес он, — дело жизни... Может быть, мне не хватило совсем немного времени, чтобы разобраться во всем...

Он вздрогнул, потянулся на кровати и затих. Розалия Марковна с холодеющим сердцем несколько секунд вглядывалась в его уходящее, исчезающее лицо и, наконец, поняла. Все.

Было 30 мая 1918 года.

За окном пели птицы, качались на ветру ветки деревьев, зеленела сочной травой весенняя земля.

Лев Григорьевич Дейч приехал только через пять дней.

В бумагах, которые он привез с собой, говорилось, что Народный комиссариат по иностранным делам РСФСР поручает ему сопровождать тело покойного Г. В. Плеханова через границу в Петроград.

На следующий день Розалия Марковна получила телеграмму от Петроградского городского головы Михаила Ивановича Калинина. Он выражал ей сочувствие по поводу смерти мужа — «основоположника русского рабочего движения, предсказавшего осуществляемые ныне пролетариатом России пути революционного движения в России».

В Москве четвертого июня на объединенном заседании ВЦИК и Моссовета, на котором присутствовал В. И. Ленин, председатель собрания Свердлов объявил о кончине Плеханова и предложил почтить его память вставанием.

Хоронили Плеханова в Петрограде меньшевики и правые эсеры, пытавшиеся даже из похорон устроить очередную антибольшевистскую демонстрацию.

Но на траурном заседании большевиков в петроградском Народном собрании Анатолий Луначарский сказал:

— Он создал оружие, которым мы теперь сражаемся против него же самого и против тех, кто примкнул к нему в последние годы, когда пророк был уже стар. Но великое пророчество, сделанное им на заре его революционной деятельности, никогда не будет забыто — в России революция победит только как рабочая революция...

В последний раз подошла Розалия Марковна к его гробу, прощаясь навсегда. Слез уже не было.

Она медленно подняла руку и положила рядом с его головой букетик засохших цветов.

Это были подснежники. .

Она собрала их ранней весной, еще в Питкеярви, около санатория, когда однажды, среди галлюцинаций и бреда, он вдруг совершенно отчетливо и ясно вспомнил тот самый день, в который познакомился с ней сорок лет назад.

Тогда, в Питкеярви, она вышла из его комнаты на улицу и заплакала. Потом сделала несколько шагов и неожиданно увидела, как удивительно ярко и почти волшебно блестит на солнце мартовский снег... Зелеными, синими, белыми огоньками. Бордовыми, красными искрами. Оранжевыми, желтыми, голубыми, фиолетовыми, сиреневыми вспышками...

Снег таял на солнце, снег умирал, исчезал, уходил.

Струящиеся с неба лучи зажигали в его холодной глубине еще скрытые до поры, но уже щедрые, теплые краски завтрашнего цветения земли.

И тогда она увидела его — маленький, озябший, но смелый цветок на снегу. А рядом пробивался из-под снега еще один, и еще, и еще...

И она, вытерев слезы, собрала небольшой букетик этих первых лесных цветов как память о том, что он вспомнил тот самый далекий день их молодости...

Собрала, еще не зная, что положит их рядом с его головой, когда будет смотреть на него в последний раз.

Подснежник.

Галантус нивалис.

Травянистое растение из семейства нарциссовых с поникшим колокольчиком.

Ранний весенний лесной цветок, фиолетовый или белый...

ПОВЕСТЬ

Б. МОЖАЕВ

ВЛАСТЬ ТАЙГИ

I

Поздно ночью сильно постучали в окно избы участкового милиционера.

Сережкины спали прямо на полу; широкую деревянную кровать вынесли во двор и пересыпали дустом — от клопов спасенья не было. Татьяна, приподнявшись на локте, будила мужа.

— Вася! Слышишь, Вась! Да очнись ты, не маку же напился!

— А! — тревожно вскрикнул Сережкин и, сбросив теплое одеяло с лоскутным верхом, быстро вскочил на ноги. — Что случилось, Тания?

— Да ничего, — спокойно ответила жена. — Вон стучит кто-то. Опять, видно, по твою душу.

В окно снова настойчиво постучали.

— А-а, — равнодушно отозвался Сережкин, почесывая свою широкую волосатую грудь, и потянулся так, что захрустели суставы. — А я уж думал, не пожар ли?

В одних кальсонах и ночной рубахе он пошел в сени, шлепая по полу босыми ногами. В сенях Сережкин наскочил на ведро, чертыхнулся в темноту, обозвав Татьяну раскидухой, и на ощупь отыскал дверную задвижку.

— Кто там? — хрипло спросил он, выглядывая наружу из-за притворенной двери.

— Василий Фокич! — метнулась от окна к Сережкину темная фигура. — Беда, Василий Фокич! Сплавщики у нас бузят. Из ружьев так и палят, так и палят...

— Постой, говори толком, — оборвал его Сережкин. — Где это — у вас?

— Да ты что, аль не признал меня? Я ж Усков из Переваловского сельпо.

— Николай! — удивленно воскликнул Сережкин. — Фу ты, дьявол! Спросонья-то никак не очухаюсь. Здорово! — Сережкин вышел на крыльцо и подал Ускову руку. — Откуда ты? Неужто в такую пору из Переваловского?

— А я на моторке... Еле утек. Так из ружьев палят, варнаки.

— А что, задели кого-нибудь?

— Да нет, этого не было...

— Кто же сплавщиками верховодит, Рябой, что ли?

— Вроде как его не видал. Больше всего этот, Варлашкин, шумит. Этот, что в картинках весь. — Усков показал рукой на грудь и живот.

— А, татуированный! — протянул Сережкин. — Известно. Ну пошли в избу. Я в момент соберусь, и поедем.

На кухне, или, как Сережкины говорили, в чулане, отгороженном невысокой дощатой перегородкой от остальной избы, Василий зажег лампу. Круглолицый, толстогубый Николай с непривычки к свету сильно сощурился.

— Садись, — пригласил его к столу Сережкин и сунул ему табуретку.

— Вася, едешь? — спросила Татьяна.

— Да. — Сережкин ушел в темную комнату и стал собираться.

— Поесть чего-нибудь собрать?

— Не надо.

— Куда ж ты теперь?

— В Переваловское. Опять сплавщики поднялись, — ответил Сережкин и закряхтел, с трудом натягивая волглые сапоги.

— Из ружьев так и палят, так и палят, — донеслось из чулана.

На пол, на постель, на стол падал от двери длинный прямоугольник света. Татьяна, все так же опираясь на локоть, лежала на постели. Ладонью второй руки она прикрывала лицо от света. Одеяло сползло ей на грудь, обнажая острые худые плечи и выпуклую ключицу.

— Ты бы погодил до свету, Вася, — упрашивала она тихим, глухим голосом. — А то ведь, не ровен час, того и гляди... — Она не сказала, что убьют, но он понял.

— Чудная ты, Татьяна, — нехотя ответил он. — А если бы, к примеру, в бою меня командир послал ночью в разведку, я бы ему что сказал? А? Молчишь? То-то и оно. А здесь я сам командир и солдат. Сам себе приказываю и выполняю, понятно? Если я не пойду, кто пойдет? Я один тут. А порядок все равно должен быть. Власть и в тайге власть, — заканчивал Сережкин всегда этой внушительной фразой, за что получил в округе прозвище «Власть тайги».

И Татьяна смирялась, затихала.

— Подай-ка мой портупей, — попросил он жену. — А то куда мне в грязных сапогах через постель.

— Папань, я подам! — неожиданно раздался из темного угла детский голос, и парнишка лет десяти, опережая мать, бросился к столу, где лежала отцовская портупея.

— Ах ты, кочадык! — ласково обругал отец сына. — Не спишь, мерзавец!

— Может, хоть молочка попьешь, — предложила Татьяна.

— Это можно.

Сережкин уже в чулане на свету проверил пистолет — заряжен ли? Затем надел снаряжение. Приземистый, туго затянутый ремнями, он производил внушительное впечатление. У него все подалось вширь: скуластое с широкой переносицей лицо, угловатые тугие плечи и даже ступня была широкой, почти квадратной. Все крупные черты его лица выражали степенное миролюбие, и только маленькие светлые глаза задорно поблескивали и хитро щурились. Ему шел сороковой год, но выглядел он лет на десять моложе. Впрочем, молодила его короткая стрижка жестких рыжеватых волос.

Он выпил литровый горшок молока, предварительно предложив Ускову, который отказался, и, повернувшись к Татьяне, сказал на прощание:

— Ну, я поехал.

— Поезжай, поезжай, — ответила она, и это прозвучало и как прощание, и как доброе напутствие.

Сережкин с Усковым вышли на улицу. Небо затянуло плотными облаками, они куда-то спешили, наваливались друг на друга и клубились темно-бурыми клочьями. Иногда сквозь их рыхлую толчею проваливалась луна, и тогда видны были далеко разбросанные друг от друга деревянные дома Хохловки, за ними похожие на кочки стога сена, а еще дальше матово поблескивал плес Бурлита... Сережкин и Усков быстро шли по луговой тропинке к реке.

— Как думаешь, доберемся к утру до Переваловского? — спрашивал Ускова Сережкин.

— Сейчас два часа, светает в пятом... Думаю, доедем.

— Ну, давай рассказывай по порядку.

— Пришли они, значится, с вечера, засветло еще, вроде как бы на танцы... — начал торопливо Усков, катя свое полное круглое тело по тропинке за размашисто шагающим Сережкиным. — Ну и как водится, зашли ко мне в магазин, взяли три литра водки. Человек пять их было. Я еще предупредил их: «Не много ли, ребята, будет три литра-то?» Не твое, говорят, дело. Ты знай продавай да посапывай. Меня, конечно, задела такая непочтительность, но я смолчал. Ладно, думаю, что будет дальше? Ушли они. Да, Варлашкин-то завернулся, скорчил рожу и говорит мне: приготовь, мол, нам местечко, дружок, мы погулять решили. Я думаю: тебе тот дружок, который на цепи сидит. Но смолчал. Ушли. А через час, в сумерках, закрываю это я магазин, слышу, возле клуба кричат. Я туда. Смотрю, дерутся на танцах. Девки с криком врассыпную, как горох. А потом и ребята наши разбежались. А что они сдела-

ют? Их меньше. К сплавщикам еще со станов подошли те двое с ружьями. Ну, они как пальнут, пальнут! Куда тут деваться? У председателя Волгина собаку убили, а сам он в сопки чесанул, а за ним и мужики. Изобьют ведь! И пошли они по селу охальничать, заборы ломать, собак бьют. В избу ко мне вломились. Так я успел во двор на сушилах спрятаться. В сено зарылся. Часа два пролежал там. А потом задами пробрался к реке. Завел моторку и вот к вам приехал.

— А когда уезжал ты, они еще в деревне были? — спросил Сережкин.

— Да все там колобродили. А вот и лодочка моя, прошу!

Они подошли к реке. Усков вытащил кол, за который лодка была привязана на цепь. Вдвоем они столкнули лодку с мели, сели в нее и стали отталкиваться на быстрину. Течение подхватило лодку и медленно понесло ее вдоль темных лесных берегов. Вскоре заработал мотор, и стало веселее. По реке Бурлиту от Хохловки до Переваловского было километров двадцать, и путники надеялись добраться до места происшествия к рассвету. Мотор выбивал ровную пистолетную дробь, лодку, покачивая, легко несло по течению. На перекатах волны заливали выхлопную трубу, тогда от кормы веером разлетались брызги, а трескотня мотора становилась глуше. Усков сидел в корме, навалившись боком на изогнутый руль, и без конца говорил о том, как «палят из ружьев» сплавщики. Вдруг мотор несколько раз сильно выстрелил и заглох.

— Свечи замочило, — сказал авторитетно Усков. — Это мы сейчас.

Он засветил фонариком и начал копаться в моторе.

Лодка еще несколько минут с тихим плеском летела по инерции и наконец застыла. Река в этом месте была широкая, течения не ощущалось. После грохота мотора стало неестественно тихо, и лишь через некоторое время Сережкин начал улавливать стрекот кузнечиков, доносившийся с берега, и даже шелест крыльев и попискивание летучих мышей, которые ловили над рекой невидимую мошкару. Медленно шли минуты ожидания. Звенел и кусался гнус. Сережкин хлопал себя широкой ладонью по шее, по лицу, отфыркивался, словно умывался, и говорил сердито:

— Ну скоро ли ты? Что, в самом деле, вывез на съедение, что ли?

— Обождите минуточку... Я скоренько... отсырели, проклятые, — отвечал виновато Усков и что-то брал на зуб, на язык, на что-то плевал и кряхтел.

А минуты, долгие, тягучие, все шли и шли. Сережкин уже стал проявлять заметное недовольство.

— Да ты что, смеешься надо мной? Может, за это время преступление случилось, а у тебя свечи... Смотри, головой отвечать будешь!

— Ну что же мне теперь делать? — в отчаянии восклицал

Усков. — Кажись, все на месте: искра, свечи, магнето... а не ревет, проклятый!..

Уже полнеба зарделось, заиграло зарей, уже верхушки деревьев стали ловить красноватые отблески восхода, когда наконец Усков понял причину отказа мотора: он повернул к Сережкину свое мокрое от пота одутловатое лицо и сказал жалобно и тихо:

— Бензин весь кончился.

— А, чтоб тебя рыбы съели! Тюфяк с мякиной, — обругал его в сердцах Сережкин. — К берегу давай, пешком дойдем!

II

К Переваловскому они подходили часам к одиннадцати пополудни. Вдоль по берегу Бурлита упорно месил глинистые отмели массивными сапогами Сережкин; он шел погибисто, наклонив свою лобастую голову, и тянул на длинной веревке моторную лодку. По его следам устало и тупо переставлял свои короткие ноги Усков. Возле сельского водопоя на Бурлите их встретил конюх Лубников. Этого человека не обходила стороной ни одна новость. У него был удивительный нюх на всякого рода происшествия; он страсть как любил все пересказывать, причем каждый случай в его устах получал необычную окраску и уходил от него по миру на самых фантастических ходулях. Вот и теперь, придерживая одной рукой вороного жеребца, он второй приветливо махал Сережкину. На нем, словно на колу, трепалась синяя рубаха и выпущенные поверх сапог серые штаны.

— Поймал его, голубчика! Ну, молодец ты, старшина! — восторженно изливался Лубников, подходя к Сережкину и с любопытством поглядывая на Ускова. — А ведь я так и сказал следователю: насчет побега Ускова не беспокойтесь... Его Сережкин из-под земли достанет. У него, говорю, у вас то есть, не сорвется. Поймал, поймал. Ну-к, подержи-ка жеребца-то, я на него полюбуюсь, на красавчика! — Лубников ткнул повод в руки Сережкину.

— Пошел ты к черту со своим жеребцом! — сердито оборвал конюха Сережкин. — Чего ты мелешь! Кто поймал Ускова? Я? С какой стати?

Лубников в крайнем удивлении отступил на шаг от Сережкина.

— Да ты что, старшина? — всплеснул он руками. — Дак он же магазин собственный обокрал... Его четыре часа ищут везде. А ты, можно сказать, с государственным преступником прогулки гуляешь...

— Какой магазин? — испуганно спросил Усков. — Мой?

— Да, твой! — передразнил его Лубников. — Держи карман шире. Был твой...

— Ты это правду говоришь? — снова спросил Усков бледнея.

— Да брось ломаться! Старшина, арестуй его, а то убежит.

У Ускова вдруг отвалилась и затряслась нижняя челюсть.

— Василь Фокич, ты привяжи лодку-то, а я уж побегу, — взмолился он и, не дожидаясь ответа, катышем покатился по лугу к селу.

— Держи его! — гаркнул было Лубников и, закинув поводья на холку жеребца, хотел броситься вдогонку.

— Легче! — придержал его за локоть Сережкин. — Что у вас тут стряслось?

— Нет, уйдет, ей-богу, уйдет!.. — сокрушался Лубников, глядя, как бежит Усков, и в любую минуту готовый сорваться в погоню.

— Да успокойся, никуда не денется. Рассказывай, что обокрали!

— Сельповский магазин и обокрали. Когда драку устроили сплавщики, наши-то все и убежали в сопки. Я-то, конечно, остался на своем посту, в конюшне, значит. Думаю, нагрянут, живым не дамся. А к утру стихло все. Иду я домой из тайги, то есть из конюшни, вижу: сквозь щели в ставнях в магазине будто огонь светится. Кто такой, думаю, там? Одному-то мне нельзя: ну-ка что не в порядке? Протокол надо составить при свидетелях. Я к председателю. Пошли мы с ним к магазину, а там дверь-то не заперта. Смотрим — все три замка открыты честь по чести — ключами, а закрыть-то, видно, не успел вор. Наверно, я его и спугнул. Мы, конечно, тоже не вошли в магазин, а по телефону в район сообщили. А оттуда оперуполномоченый со следователем в момент прикатили к переправе, а с переправы мы их на машине сюда доставили. Как следователь-то посмотрел, так и сказал: мол, известное дело, кража сделана лицом причастным. И ключи у вора оказались: открыли-то ключами, а замки для видимости чуть помяли. Но это уж опосля.

А оперуполномоченый говорит: использование ворами отвлекающих обстоятельств, то есть драки. Это я уж точно запомнил. Ну-ка, позвать сюда Ускова, говорит! Хвать-похвать, а Ускова и след простыл. Но вещей-то много украдено. Следователь говорит, тут не один работал. А я так полагаю: Усков, должно быть, навел воров, а потом глаза отводил.

— Кому? — спросил Сережкин.

— Известное дело, вам, — ответил Лубников.

— Чепуху говоришь, — пробасил старшина, но рассказ Лубникова заставил его задуматься. Загадочно теперь выглядела история Ускова с мотором и с бензином. «Странно, — твердил про себя Сережкин, — и подозрительно. Но не будем торопиться».

Возле магазина сельпо в огороженном неоштукатуренными жердями травянистом палисаднике толпился народ. В центре палисадника за непокрытым столом сидел мрачный седовласый районный следователь Перебейнос и писал протокол. Возле него стоял, переминаясь с ноги на ногу, Усков. На нем висел тот же брезентовый плащ. Он вытирал тыльной стороной ладо-

ни пот с лица, но только размазывал грязь н часто шмыгал носом. Худенький, светловолосый лейтенант милиции Коньков, поблескивая очками, говорил, осаждая толпу:

— Граждане, прошу податься! Назад, иазад, еще немного...

Народ, увидев Сережкииа, загомонил:

— А вот и «Власть тайги»!

— Эк, бедняга, уморился. Смотри, какой грязный!

— Говорят, его в болото Усков затяиул иочью-то.

— Хитер... А прикииулся божьей коровкой.

— От закоиа ие уйдет.

Сережкин медлеиио прошел мимо толпы, поздоровался с оперуполиомочеиным и следователем, посмотрел в упор иа Ускова. Усков кашлянул в кулак и, разводя руками, сказал упавшим голосом:

— Вот оио как все обернулось-то.

— Что украдеио? — спросил Сережкин следователя.

— Вот спнсок, смотрн. Пока предварительный, уточияем еще.

Перебейнос сунул в руки Сережкиу лнст с длииным перечнем украденных вещей. Старшина отметнл несколько кусков крепдешина н драпа, беличью шубу, костюмы...

— В магазние ие убраио еще? — спросил ои Конькова.

— Нет еще, все так оставлеио, — ответил лейтеиант.

Сережкии вошел в магазии.

Там был отиосительиый порядок. На прилавке стояла керосииовая лампа, чуть поодаль распитая бутылка коиьяку, а рядом банка иедоеденных рыбиых коисервов. Видно было, что воры действовали наверняка и ие торопились, даже за успех выпили и иагло выставили иапоказ пустую бутылку и коисервы. Сережкин осмотрел бутылку н баику: иет ли следов пальцев? Нет, все было тщательно обтерто. «Опытиые», — отметил про себя старшина. Затем ои осмотрел замки. Было ясио, что они открыты ключами, а потом для виду помяты. Теперь эти ключи лежали на столе перед следователем как вещественные доказательства. Усков вынул их из кармана. Это были едииствениые ключи, других таких ие было, по крайией мере в селе.

Усков отрицал всякую причастиость к воровству. На вопрос, откуда же у воров ключи взялись, ответил:

— Не могу зиать.

«Кто же мог обокрасть магазии? — ломал голову Сережкин. — Неужели Усков? Неужели ои меия так ловко обманул?»

«Да нет, не может быть», — возражал он сам себе. Чутье человека, привыкшего разгадывать повадки преступника, отрицало эту возможность. «Ну кто же? Если Рябой с Варлашкиным, то откуда у иих ключи? А может, кто еще в сговоре с Усковым? — сиова сомневался он. — Вот и разберись тут...»

Но разбираться иадо. С особой силой почуял это Сережкии, когда следователь Перебейнос, закоичив составлять протокол, сказал Ускову:

— Ну-с, а вас, дорогой-хороший, придется взять с собой... Расскажите нам, что и как, и поподробнее.

— Чтоб сговору не было с сообщниками, — шепнул Сережкину Коньков.

Усков робко посмотрел в смоляные выпуклые глаза Перебейноса и, ссутулившись, покорно сказал:

— Ну что ж, раз надо — я пойду. Ты уж, Василь Фокич, извини, но я тебя попрошу, окромя некого... Не дай пропасть задаром!.. — растерянно и жалобно глядя на Сережкина, попросил Усков.

— Да ты что, чудак? Ты не того... тебя держать не станут. Допрос только снимут. Сам понимаешь, без этого нельзя, — утешал старшина Ускова.

— Да, да, как же, понимаю, — тупо глядя в землю, отвечал Усков.

Пока поджидали колхозный грузовик, чтобы доехать до переправы, оперуполномоченный Коньков говорил Сережкину с плохо скрываемой иронией о том, как они с Перебейносом определили возможного вора. Рассказывая, Коньков поминутно поднимался на носки и покачивался, словно от дуновения ветра: тоненький, аккуратно затянутый в темно-синий китель, с мягкими белокурыми волосами, выбившимися из-под фуражки, он рядом с массивным и прочно стоящим на земле Сережкиным казался хрупкой фарфоровой статуэткой.

— Неспокойно у тебя, Василь Фокич, неспокойно, — говорил, покачиваясь на носках, Коньков. — Сплавщики хулиганят на селе, по собакам стреляют. Этим шумом пользуются ловкачи и лезут в магазин, а ты, мой друг, в это время по тайге разгуливаешь с вероятным сообщником вора!

— Кто украл — это еще вопрос, — угрюмо сказал Сережкин.

— «Вопрос, которого не разрешите вы!» — продекламировал Коньков, любивший щеголять цитатами.

— А у сплавщиков были?

— Да, милый Вася. Ну и что же?

— Как что же? Они же скандал здесь учинили!

— А последствия? Одна убитая собака? За это, мой дорогой законник, не привлечешь. Так-то!

— Ну, присматривались хоть к ним? — настойчиво басил Сережкин.

— Мы ко всем должны присматриваться, — наставительно заметил Коньков. — Если и есть кто-либо из них заодно с этим, — он кивнул в сторону Ускова, — то вряд ли там кто расколется. Нет, смотреть надо за Усковым. Здесь верное дело. Вернется он из района — ты с него глаз не спускай.

Наконец, разбрасывая подсыхающую дорожную грязь, подъехал грузовик. Следователь сел в кабину, Коньков с Усковым в кузов.

— Ну, действуй тут, — сказал Коньков на прощание Сережкину. — Адью!

Сережкин долго провожал глазами грузовик, пока он не

скрылся за мелкой придорожной порослью. «Приехали, нашумели, взяли, что поближе лежит, н прощай, — думал старшина. — А ты возись тут».

Толпа после проводов Ускова быстро угомоинлась, стала угрюмее, серьезиее — расходилась молча.

— Что ж ты стоишь, «Власть тайги»? — сказал Сережкии сам себе. — Надо действовать, брат.

III

Сережкин давно знал Ускова. Лет пять назад он, как-то возвращаясь нз районного отделення милиции, был захвачен в Переваловском вечерией грозой. Тащиться двадцать километров по таежиой дороге в темеиь да в грозу— иебольшое удовольствие. Он зашел в магазин переждать дождь. Разговорнлись с Усковым, тот и предложил заночевать у себя. Сережкин согласился. С тех пор онн позиакомились. Усков был холост, недавно возвратился из армии, где прослужил года три на сверхсрочной. Здесь поселился ои иа квартире в незиакомом селе.

— А чего мие одному-то не жить, — говорил он, оглаживая себя по иачинающему полнеть животу. — Девок много, а баб н того больше.

— Я зто холостяцкое баловство не одобряю, — степеиио возражал ему Сережкии. — Через это дело, может, и в историю какую попадешь.

— Да брось ты, чудак-человек! — весело возражал ему Усков. — Она, баба-то, в воде не тоиет, в огие не горит, а я както-нибудь за подол ухвачусь, и меня, глядишь, вытянет...

Вспомиив эту фразу, Сережкин грустио улыбиулся:

— Вот теперь и ухватись за подол-то... Ои те вытяиет из реки в болото.

Старшииа зиал, что последиее время Усков путался с Нюркой, поварихой сплавщиков. «А может, у иее рыльце в пуху? — думал Сережкин. — Уж больио баба-то разбитиая. Чего она ластилась к этому увалью?» Ои решил зайти на квартиру к Ускову.

Домик бабки Семеиихи стоял на отшибе возле ручья, под развесистым серебрнстым бархатом. Впрочем, здесь про каждый дом можно было сказать, что он стоит на отшибе, потому что улиц в привычном понятии в Переваловском ие было. Бабка Семеииха, или, как ее звали в селе за гиусавый говор, Гуидосая, встретила Сережкииа у калитки палисадиика.

— Заходи, родимый, заходи, — гнусаво приглашала она Сережкнна. — Чай, забрали его, кормнльца. А уж смирен-то он, смирен, батюшка! Ну чистое дите. Телеика ие обидит... А подн ты, вот как вышло, — приговаривала оиа, идя в избу за Сережкиным.

В избе, усадив гостя на скамью, оиа тараторила без устали:

— Повернш ли, как прибежал он, грешиый, когда сплавщи-

ки-то буянили, так с перепугу-то на сушила в сено зарылся! Там и пролежал до полуночи. А потом сказал, мол, к милиционеру поеду... Вот те крест, никуда и не ходил он.

— Верю, верю, — остановил ее Сережкин. — Ты лучше вот что скажи мне: давно Нюрка не была у него?

— Да уж давненько, ден десять, почитай, как не была. И чтой-то она на него осерчала? Все с ним покончила, как отрезала. Он-то места не находил себе: за что, говорит, она на меня осердилась? Раза два к ней на стан норовил сходить, да будто и там не подпустила.

— Интересно, мать! — воскликнул Сережкин.

— Не говори! — взмахнула Семениха своими сухими желтыми руками. — Уж так нитересно, что впору хоть самой сходить разузнать. А ты сходи, сходи, родимый.

— Ладно уж, схожу.

— Так-то, так-то. А его-то, сердешного, помоги ослобонить. Уж смирен — теленка не тронет.

— Ладно, ладно, ты уж сиди, — осадил он жестом Семениху, готовую проводить Сережкина. — Я сам тут похожу да на твои сушила загляну.

Тщательный осмотр двора и сушил ничего не дал Сережкину, и он возвращался от Семенихи в раздумье. Рассказ бабки о разрыве Ускова с Нюркой был загадочен. «Почему она порвала с ним так неожиданно? — спрашивал Сережкин. — Кабы любовь была, уж тут ясно было бы. А что, если она от него добивалась чего-то? Допустим, ей нужны были ключи. А?»

Для Сережкина ясно было одно: что кража магазина не дело рук Ускова. Конечно, он мог быть сообщником, но...

«Но ведь надо доказать, кто украл. Надо найти воров. А если не найду я, Сережкин, кто же их найдет? Кто же тогда поверит Ускову, что он честен? — думал Сережкин. — И, ясное дело, воры будут посмеиваться надо мной. Да и не успокоятся. Еще чего-нибудь украдут».

«А может, Нюрка с Усковым маскировку разыгрывали на людях? Мол, мы не знаем друг друга, а сами договаривались потихоньку насчет кражи... Как бы там ни было, а следы надо искать на стане сплавщиков».

Сережкин давно знал бригаду сплавщиков, кочевавшую в этих местах по Бурлиту. Ребята в ней были хоть и чудаковатые — половина из них бороды поотпустила, — но смирные, баловства раньше за ними никакого не замечалось. Но вот в прошлом году пришел к ним на работу Чувалов Иван. Сильный, сухопарый, широкий в кости, он быстро выдвинулся среди них и стал бригадиром. У него было густо усеянное рябинами лицо, за что ему дали кличку Рябой, и он получил известность в округе больше по кличке, чем по имени.

Сережкина предупредили, что за Рябым водились раньше грешки по части воровства. Старшина присматривался к нему, но Рябой вел себя безупречно. Однако бригаду сплавщиков словно подменили в последний сезон. Появились драки, набеги на

село и даже одна крупная кража: двое сплавщиков обокрали рабочую кассу в леспромхозе. Сережкин нашел преступников, но у самих воров в стане выкрали четыре тысячи рублей — и никаких следов. Сережкин тогда сразу обыскал вещи Рябого, стал допрашивать его и... провалился.

Вот и теперь, чтобы не оконфузиться, прежде чем пойти на стан, на сближение с Рябым, нужно было самому точно убедиться, что воры скрылись в стане сплавщиков. Нужно было найти хоть маленькую, но явную улику, чтобы действовать наверняка. И Сережкин искал ее полдня. Он исходил тропинку, ведущую из села в стан, долго кружил поодаль от стана и обследовал каждый кустик. И уже под вечер, когда упорство его почти иссякло, он вдруг нашел под кустом жимолости, недалеко от тропинки, свежую, только что сорванную этикетку с черного куска крепдешина.

— Вот она, тикетка от крендэшеля, — ласково говорил Сережкин, разглаживая радужный бумажный лоскут на своей широкой ладони. — Ну, теперь мы посмотрим, кто кого одолеет!

Сережкин бережно положил этикетку в планшет и пошел на стан сплавщиков.

IV

Километрах в двух от Переваловского, на излучине Бурлита, расположилась палаточным лагерем бригада сплавщиков. Здесь в жаркие дни сплава они ворочали баграми бревенчатые заторы, разводили по протокам легкие стайки бревен, а в большую воду вязали плоты. У них не было постоянного пристанища: в теплые времена бригада кочевала по берегам Бурлита, а с наступлением холодов размещалась обычно в поселках лесорубов.

Оторванная на многие месяцы от запани, бригада была предоставлена самой себе. Рябой по прибытии в нее сколотил вокруг себя звено из крепких парней. «Кто хочет заработать, становись в сторону, — говорил он, подбирая напарников. — Только не хныкать — кости трещать будут...»

И они двинулись к реке, работая по шестнадцать часов в сутки, нередко и ночевали на бревнах, там, где темень застанет.

Звено прогремело на всю запань, и Рябого избрали бригадиром. Он встретил это выдвижение просто, с такой внутренней уверенностью, что так и должно быть, с какой встречают наступление дня после ночи.

Рябой относился к тем властным и крутым натурам, которые не могут жить, чтобы не подчинить других, не распоряжаться ими. Всех людей он делил на два разряда: на тех, которых надо заставлять подчиняться грубо, вплоть до применения кулаков, и на тех, которых надо убеждать подчиняться.

Первым столкнулся с Рябым Варлашкин, когда они еще работали в одном звене. Напившись однажды, Варлашкин лег

на плоту животом кверху и объявил, что он больше не работает и Рябой ему не указ. Время было горячее, даже уход одного человека грозил провалить работу всего звена. «Ничего, — успокоил Рябой сплавщиков, — я его вылечу». Он прыгнул на плот к Варлашкину и, оттолкнувшись от затора, уплыл с ним по реке за кривун. Возвратились они на другой день пешком молчаливые и хмурые. Татуировка на голом торсе Варлашкина была подкрашена лиловыми кровоподтеками. Никто не знал, что произошло между ними, только с этого дня Варлашкин стал правой рукой Рябого и преданным ему по-собачьи.

Рябой действовал по своему неписаному закону; он думал, что самое важное — подчинить до раболепия хотя бы одного человека на глазах у всех, остальные станут либо заискивать перед тобой, либо почитать тебя, либо в худшем случае некоторые из них — держаться в стороне. Таким сторонним в звене оставался один Ипатов, белобрысый детина, могучий, как сохатый. Но, сделавшись бригадиром, Рябой назначил Ипатова и Варлашкина звеньевыми. Ипатов подался, стал послушным, но Рябой не доверял ему, хотя относился к нему почтительно. Вообще Рябой не ругался, не кричал ни на кого в бригаде; эту «черную» работу, как выражался он, выполняли звеньевые. Но боялись его как огня; он мог непослушного рабочего лишить прогрессивки, по его указанию компания Варлашкина могла избить провинившегося тихо, без свидетелей и синяков. Как бы там ни было, но трудовая дисциплина соблюдалась в бригаде и была не на последнем счету.

Сережкин, хоть и не знал всех тонкостей жизни сплавщиков, но чувствовал волю Рябого в бригаде и понимал, что дело предстоит нелегкое.

Стоял тихий августовский вечер. Солнце, отяжелевшее за день, лениво опускалось на дальние, в бледно-синем голубичном налете сопки. Его темные клюквенные отсветы разбросаны были повсюду: на засыпающей переливчатой воде, на бронзовых кедровых бревнах, лежащих в завалах, на серых палатках, задравших высоко свои полы. Сплавщики, кончив работу, готовились к ужину. Одни купались, другие лежали возле костра, где в котлах на треногах варилась уха и каша. Дым струился жидким сизым столбом, а над костром летала, толкалась мошкара, смешиваясь с гаснущими пепельными искрами.

Первым Сережкина заметил малорослый мужичок в линялой гимнастерке и в кирзовых сапогах. Он с готовностью пошел навстречу старшине, улыбаясь всем своим морщинистым лицом, словно старому приятелю.

— Фомкин! — крикнул кто-то от костра. — Бригадир зовет!

С лица Фомкина мгновенно исчезла улыбка, будто ветром сдуло; он сухо и деловито кашлянул в кулак и свернул к костру.

Сережкин подошел к группе купающихся.

— Ну, как дела, ребята? — спросил он, присаживаясь.

Сидевший рядом широкогрудый светловолосый парень с ма-

ленькой кудрявой бородкой обернулся, молча посмотрел на Сережкина, затем, посвистывая, встал и пошел на другое место метров за десять. Это был Ипатов. За иим подиялись и остальные. Старшина остался один.

— Приемчик! — усмехнулся он и пошел к костру.

Увидев его, от костра повставали иесколько человек и пошли к реке. Возле котлов остались только Нюрка и Рябой.

— А, «Власть тайги»! Здорово живешь! — воскликнул Рябой, кривя в приветливой усмешке тоикие губы.

Он лениво растянулся иа траве. На нем была кремовая с манжетами резинкой модная курточка и зеленые непромокаемые брюки. Рядом, помешивая в котле деревяииой ложкой, сидела Нюрка, широкобровая щекастая молодуха, в пестрой шелковой кофточке, туго стянувшей ее высокую грудь.

Сережкин сел возле костра, неторопливо раскрыл портсигар, достал папироску.

— Нюрка, огня старшине! — приказал Рябой.

Нюрка выхватила горящую головешку и услужливо подала Сережкину.

— Привет передает тебе Усков, — сказал старшина Нюрке, принимая головешку.

— Я с преступниками не вожусь, — бойко ответила кухарка.

— И давно ли?

— Да уж месяца два, почитай...

«Врешь ты, чертовка!» — хотелось сказать Сережкину.

— А мне бабка Семениха сказывала, что ты еще десять ден миловалась с иим, — заметил он.

Нюрка насторожилась. «А еще что ты знаешь?» — написано было на ее бровастом лице. Но Сережкин умолк.

— Семеииха сослепу козу с коровой перепутает! — Нюрка засмеялась тоненьким, притворным смешком, запрокииув лицо.

«В пуху рыльце-то у тебя, в пуху, — думал Сережкин, прикуривая. — Ишь какого лебедя шеей-то выгнула!»

— А где десятник? — спросил он у Рябого.

— На запани. Здесь я за него. А что?

— Да вот потолковать надо о ночных делах. Кое-кто из вашей бригады замешан кое в чем.

— Уж не в воровстве ли? — хохотнула Нюрка.

— В воровстве?! — с ленивой усмешкой протянул Рябой.

— Нет, зачем же в воровстве? — равнодушно заметил Сережкин. — Здесь ни следователь, ии оперуполномоченный никаких подозрений к вам не имели. А вот хулиганством занимались ваши ребята. Пришел узнать, как вы с ними поступите.

— Да не горюй, старшина, — озабоченно заметил Рябой. — Просто от рук некоторые отбились. Оторванность, понимаешь. Начальства никакого. Даже десятник не каждый день бывает. Ну и сам понимаешь, трудно одному с ними управляться. Но мы их на собрании пропесочим.

— А кто был в Переваловском? — спросил Сережкин.

— Сейчас выясним, — ответил Рябой и крикнул: — Варлашкин!

От группы купающихся отделился черноголовый парень. Рослый, отлично сложенный, он шел вразвалку в одних трусах. Когда-то перебитая и неровно сросшаяся переносица придавала его лицу свирепый вид. Весь его торс, руки, ноги были расписаны татуировкой. На спине была выколота целая картина: собака воет на крест, а под этой картиной надпись: «И необмытого меня падлай собачий похоронят». Так и было написано: «падлай собачий». Грамотность Варлашкина плакала на его собственной спине. На ступнях вытатуирована надпись: «Они устали».

Сережкин не без любопытства рассматривал эти диковинные надписи и картины.

— Что, интересно, старшина? — спросил Варлашкин, перехватив взгляд Сережкина.

— Ты лучше расскажи, кто вчера с тобой был в Перевальском? — строго оборвал Рябой Варлашкина.

— А что он, не знает, что ли? — ответил Варлашкин. — Ему все известно, он же — власть тайги!

— А ты, может, перестанешь дурака валять? — спросил, недобро улыбнувшись, Рябой и показал рядом с собой на траву. — Садись.

Варлашкин сел.

— Ну?

— Ну, ну! Иван Косолапов, Костюков... Звено наше, все пятеро, да Ипатов с ними, — неохотно, поглядывая с опаской на Рябого, ответил Варлашкин.

— Запишите, товарищ старшина, и передайте в селе, что мы их строго накажем и по общественной линии, и прогрессивки лишим.

— А что, мы виноваты? — огрызнулся Варлашкин. — Они сами начали драку. Прогнать нас хотели.

— Ну, ваши объяснения пока не нужны, — прервал его Рябой и повернулся к старшине: — Еще что у вас есть к нам?

«Ах, хитрая бестия!» — думал Сережкин, глядя на Рябого, но вслух сказал:

— Я слышал, что ваша моторка сегодня пойдет на станцию?

— Да, пойдет, — ответил Рябой, немного помедлив. — А что?

— Да я хотел служебное письмо с вами переслать. Мне самому-то нельзя отлучаться. Возись теперь с этой кражей.

— А что ж! Можно, конечно, — с веселым облегчением поспешно подхватил Рябой. — Я сам поеду. Можешь не беспокоиться, доставлю.

— Ну и хорошо! Я ночью занесу вам письма.

Сережкин, не прощаясь, встал и пошел от костра. За своей спиной он услышал подавленный смешок Нюрки.

— Заткнись! — цыкнул на нее Рябой.

«Смейся! — думал Сережкин. — Опосля плакать будешь. Крепдешин у вас, но тикеточка у меня».

V

В хомутной пахло дегтем, конскнм потом и плесенью. Фоиарь «летучая мышь» скупо освещал дощатые стенки, завешанные сбруей, земляной пол и сидевшего в углу на охапке сена за починкой недоуздка Лубникова. Сережкин тщательно прикрыл за собой дверь и сказал, принсаживаясь к Лубникову:

— Запомни хорошеиько: в час иочи ты выведешь двух заседланиых лошадей, одну для меня, другую для себя... Выведешь их, значит, на Красиый бугор к развилке и ни гугу об этом.

Лубинков слушал, раскрыв рот от удивления. Напряженне, любопытство н страх, иаписанные иа его лице, придавали ему вид заговорщика.

— Понял? — строго спросил его Сережкин.

— А как жеть! — весело воскликнул он, сдвигая на затылок свою фуражку. Следует заметить, что фуражка эта была предметом особой гордости Лубникова. Это была настоящая фуражка, какую носят пограничники, но Лубииков за пять лет носки так замызгал ее, что оиа из зеленой превратилась в грязно-серую. — Как не понять! Стало быть, мы с вами оперативную выполнять будем?

— Потише орн, оперативный! — строго одериул его Сережкин. — Смотри не проспи!

— Ну, Василь Фокич! Да в таком деле лучше как на меия не иа кого положиться во всей округе. Я уж буду точно... Ходики свои настрою.

— Лошадей возьми получше, скакать долго придется.

— Да я вам самого Рубанка заседлаю. Вот оио, значит, как! Пригодился еще Лубников на оперативные дела! А ты знаешь, как я в 1945 году шпиона поймал? Так вот, иду я, значит, по тайге. А Играй, пес мой, жмется и жмется ко мне. Уши навострил да так отрывисто, не голосом, а чревом брешет: «Ав! Ав!» А хвост промеж ног держит. Что такое, думаю? Не тигра ли?

— Будя врать-то, — перебил его Сережкин. — Слыхал я твою сказку не один раз. Смотри не усни! — бросил он ему на прощание.

— Ну что ты, право! Не первый раз на оперативной. Как-нибудь люди привычные, — важно заверил Лубииков Сережкииа, провожая из конюшни.

Близилась полночь. Крупная белая луна пряталась в седловину черных сопок, и мрачные длинные тени все плотнее окутывали землю.

Сережкин неторопливо шел по знакомой тропинке в стан сплавщиков. Замысел его был прост: показаться Рябому за несколько минут до отхода моторки и уйти. Вор, будучи уверенным, что ему теперь никто не угрожает, обязательно прихватит с собой краденые вещи и отвезет иа станцию. Вот тут-то и надо перехватить моторку. А перехватить ее можио только у переправы, километров за двадцать пять от Переваловского, где

лодка причалит к берегу. По тайге верхом до переправы можно проскакать часа за полтора-два, а моторной лодке петлять по извилистому Бурлиту вдвое больше и по времени, и по расстоянию.

Обычно моторка отходила от сплавщиков после полуночи, чтобы к началу работы попасть на станцию. На лодке они подвозили продукты, всякое оборудование, тросы и перевозили людей.

Сережкин, подходя к стану, увидел возле реки темные фигуры, освещенные фонарем. Кто-то размахивал фонарем, отчего огромные тени людей тревожно метались по земле, окружающим кустам и палаткам.

— Да свети лучше, дьявол! — услышал он голос Рябого, доносившийся из лодки.

Сережкин подошел к ним.

— А, старшина! — воскликнул Рябой. — Ну как, принес письма? — На нем была брезентовая куртка, высокие яловые сапоги, а на голове, спадая на плечи, словно бабий платок, трепался удэгейский накомарник. — Вот вожусь с мотором, да едят комары, черти!

Сережкин открыл планшетку и подал Рябому два конверта.

— Ну, будь спокоен, сегодня получат твои письма! А может, с нами прокатишься?

— Да нет, куда мне от своих дел, — ответил старшина.

— А-а, жаль. Ну ладно, будь здоров. А насчет наказания хулиганов не беспокойся. Вот я завтра вернусь, и мы займемся этим отсталым элементом.

Не успел Сережкин далеко отойти от стана, как зачихала, затарахтела моторка.

— Торопится, — сказал Сережкин и пустился бежать.

«Только бы Лубников не подвел, — думал он на бегу. — До лошадей бы добраться. А уж там не уйдешь от меня, голубчик».

Бежать к Переваловскому было все время в гору. Сережкин грузно перепрыгивал через ручьи и шумно отдувался.

— Уф, черт, как жарко! — восклицал он, отирая ладонью пот.

Он расстегнул мундир, снял фуражку, но легче от этого не было. Чтобы сократить путь, он свернул с тропинки и по лугам бежал, огибая село, к Красному бугру, где должен был ждать его Лубников.

Но никого на Красном бугре не оказалось. Сережкин, тяжело переводя дыхание, растерянно озирался по сторонам. Никого! В настороженной ночной тишине несмело пробовал свой голос одинокий перепел. «В путь пора!.. В путь пора!» — чудилось Сережкину. Злость, обида, отчаяние, словно пальцами, перехватили ему горло. Хотелось крикнуть во все горло, дать волю гневу, силе, но он только тихо выругался:

— Ах же ж ты, с-сукин сын! Прохвост проклятый! — и тяжело, размашисто побежал к конюшням.

Лубннкова он застал в хомутной спящим; все так же тускло освещал его фонарь «летучая мышь» и мерио тикали иад иим ходики. Взяв за шиворот обеими руками, Сережкнн с силой тряхнул его.

— Что, что такое? Что такое? — забормотал спросоиья Лубииков и, увидев перед собой гневное лицо Сережкина, растерянно захлопал глазами.

— Ты что ж? Пособиичать нарушителям решил! — кричал на него Сережкии. — Да я тебя под арест сейчас и в сельсовете запру. Понятно? До разбора дела, денька на два.

Лубников все сидел перед Сережкиным иеподвижно и ошалело смотрел на него.

— Да чего ж ты сидишь? Рукн-иоги отиялись, что ли? Седлай коней скорее, тебе говорят!

Накоиец Лубииков сорвался с места и суетливо иачал снимать седла и недоуздки.

— Я сейчас, сейчас... В момент...

Ои сунул седла в руки Сережкииу и выбежал из хомутиой. Через иесколько секуид в темиой коиюшие раздался его хриплый спросонья голос.

— Но, милок, но! Да ну же, дьявол! Чего уперся? — раздался удар киута, и жеребец зафыркал, заекал селезеикой. Накоиец Лубииков вывел Рубаика на свет, падавший сквозь растворенную дверь хомутиой, и начал седлать, одиовремеино разговаривая с Рубаиком и Сережкиным.

— То-й, черт! Чего мордой-то мотаешь? А то тресиу вот по зубам. А насчет пособиичества ворам, Василь Фокич, это ты напрасно. Тьфу, окаяиная сила! Чего брыкаешься?.. Я, можно сказать, весь в ярости против иих. А ты — пособник!

— Скорее, скорее ты седлай! — торопил его Сережкии. — Проспал да еще копается.

— Проспал, — ворчал Лубников. — Вовсе и ие проспал, а так, прилег только. Какой уж сои, когда ехать надо.

— Готово, что ли?

— Готово. А мне-то кого заседлать — Зорьку ай Буланца? — спрашивал, почесываясь, Лубииков.

— Да хоть самого черта седлай! — крикиул, выйдя нз терпения, Сережкин. — Если через пять мииут ие будешь готов, один поскачу и брошу там в тайге твоего Рубаика.

Лубников побежал к соседнему стойлу и в темиоте ворчал:

— «Брошу Рубаика»? Смотрн-ка, пробросаешься... Где это видано, чтобы такое добро бросали.

Но оседлал ои на этот раз быстро. Сережкии вывел Рубаика из конюшни, осветил кармаиным фонарем часы.

— Почти час потерял. Ну, если ие догоиим!.. — Он не договорил и прыгиул в седло. Сытый жеребец отпряиул в стороиу и пошел маховитой рысью.

На дороге Сережкии пустил лошадь галопом и долго, иапрягаясь, прислушивался. Но, кроме глухого щелкающего стука копыт, ничего ие слышал. Перед глазами бежала травяиистая

дорога, словно три параллельные тропы, где-то впереди совсем близко она пропадала и никак не могла пропасть. Изредка с боков набегали придорожные кусты так близко, что с непривычки Сережкину казалось: вот-вот смахнут они его своими черными мохнатыми шапками. Но кусты надвигались, вырастали до больших размеров и пропадали, и снова перед глазами были три тропы, коротко обрывающиеся впереди, и снова чмокающее щелканье копыт по грунту.

Так размеренным гулким галопом проскакал Сережкин, а за ним Лубников почти полпути до самой Каменушки, мелкой протоки Бурлита. И когда жеребец разбрызгивал на переезде речную воду, старшина уловил отчетливый стук мотора.

— Догнали! — крикнул он во все горло.

— Чегой-то? — переспросил, подскакивая, Лубников.

— Догнали, говорю! — Сережкин придержал жеребца и спросил Лубникова: — Слышишь?

— Мотор, — сказал Лубников.

— Ну, теперь-то не уйдут, голубчики.

Сережкин знал, что от Каменушки Бурлит делает самую большую петлю, а дорога напрямую идет до переправы.

Дальше поехали медленнее. Несколько минут они слышали, как стучал мотор все тише и тише и наконец замер. Лодка ушла по кривуну.

Когда они подъехали к переправе, было уже совсем светло, хотя солнце не выкатилось еще из-за покрытых белой дымкой сопок. Вся переправа состояла из одного бата — длинной долбленой лодки и батчика — сухонького пожилого нанайца Арсе, равнодушного и молчаливого. На противоположном берегу возле избы перевозчика сидели три человека, двое поджидали оказию, третий был Арсе.

На переправу обычно заходят все лодки, идущие по Бурлиту, чтобы забрать или высадить пассажиров, заправиться горючим и просто порасспросить о таежных новостях.

Сережкин слез с лошади, передал повод Лубникову:

— Останься пока здесь, только в кусты уведи лошадей и сам спрячься.

Затем с высокого лесистого бугра стал махать фуражкой. Его заметили. Арсе неторопливо столкнул в воду бат и, работая двухлопастным веслом, переехал реку.

— Не проходила лодка сплавщиков? — спросил его Сережкин.

— Нет, — ответил Арсе, посас-.вая трубочку.

— Хорошо. Перевези-ка меня, друг Арсе. — Сережкин прыгнул в бат, лодка осела под его грузным телом.

Наиаец молча оттолкнулся и направил бат поперек реки. Вода курилась молочным туманом, чуть розоватым на стрежне, подкрашенном зарей.

— А что эти двое, — кивнул в сторону сидевших возле избы, — на станцию ехать собрались?

Перевозчик утвердительно кивнул головой.

— Ягоду синюю торговать, — сказал он, помедлив.

— Хорошо, — заметил Сережкин. — А ты, друг Арсе, как сарыч, неразговорчив. Скажи, у тебя бывали когда-нибудь радости, чтоб смеяться захотелось?

— Берег подходил, — ответил Арсе и указал трубочкой на нос бата.

— Ах ты, какой деревянный, ей-богу! — воскликнул Сережкин и с ходу выпрыгнул на берег. Он подсел на бревно к двум женщинам с большими корзинами.

— Ну что, бабочки, божий дар везете продавать?

Одна, что помоложе, в пестрой косыночке и синих резиновых тапочках, игриво прыснула в руку и спросила:

— А что, конфисковать хочешь?

— Будет тебе! Нашла с кем шутить! — укоризненно оборвала ее пожилая напарница в повязанном углом платке.

«Ишь ты, какая баба-яга», — подумал про нее Сережкин и встал с бревна. Он подошел к реке, вода все так же кудрявилась парным дымком, но уже того легкого настроения у него не было. Он вдруг почувствовал, как звенит голова, гудят и ноют отяжелевшие ноги, от жажды пересыхает рот.

— Эх, напиться, что ли? — Он зачерпнул пригоршнями теплую речную воду и внезапно услышал отдаленный стрекот мотора.

— Бабочки, идет моторка. Тащите сюда корзины! — скомандовал им Сережкин и сам побежал навстречу, подхватил корзины и поволок их к самому приплеску.

— Да будет вам, — гудела пожилая женщина и шла покорно за старшиной.

— Вот здесь садитесь и машите, кричите. Они обязательно возьмут вас. — Сережкин подбодряюще улыбнулся и пошел к прибрежным кустам. Там он спрятался в развесистом кусту жимолости и стал наблюдать за рекой.

Вскоре из-за кривуна вышла черная моторка сплавщиков. В ней сидело четверо. Сережкин сразу узнал Рябого, он развалился, откинувшись на борт. Положив голову на его колени, свернулась клубком Нюрка. Кроме них, в лодке сидели еще двое мужчин.

Ягодницы с берега замахали руками.

— Завернем? — спросил моторист Рябого.

— А чего ж, — ответил тот. — По десятке с носа и то хорошо.

Лодка, разворачиваясь, заскользила к берегу. Мотор несколько раз булькнул, как бутыль, в которую наливают воду, и умолк. Затем лодка бесшумно ткнулась в песочную отмель.

— Заходи, пошевеливайся, — скомандовал Рябой ягодницам и осекся, увидев Сережкина, выходящего из кустов.

Если бы перед Рябым появился сейчас уссурийский тигр, он бы не растерялся так, как от появления Сережкина. Он так и застыл с открытым ртом и поднятой рукой, которой хотел принимать корзины.

— Не ждал? — спросил Сережкин, и его широкоскулое лицо расплылось в довольной улыбке.

— А, старшина! — наконец воскликнул Рябой. — Ты что, с неба свалился? Ну проходи, проходи... Тоже до станции?

— Да нет, подальше провожу вас, — ответил Сережкин и перешел на строгий начальнический тон. — Прошу всех разобрать свои вещи и вынести из лодки. Проверка.

В лодке лежало из вещей всего лишь два объемистых рюкзака. Моторист и рабочий быстро выпрыгнули из лодки. Рябой и Нюрка замешкались на минуту, Нюрка взяла сначала один рюкзак, но Рябой выразительно посмотрел на нее, она потащила за лямку другой.

— Товарищ старшина, эти вещи я везу начальнику районной милиции, — сказала Нюрка. — Поэтому вы их здесь не смотрите.

— А вот я и есть здесь и начальник милиции и участковый, вся власть тут... Давай, давай, — ответил Сережкин, подхватывая рюкзаки. — Смелее! Вот так.

Он рывком расстегнул первый рюкзак и воскликнул:

— Гляди-ка, хорошие отрезы вы начальнику милиции везете! Все из Переваловского магазина. Вот он обрадуется. Это ты везешь такой подарок? — спросил он Рябого.

— Это ее вещи, — кивнул он на Нюрку. — Я к ним не имею никакого отношения.

Нюрка, заложив руки в карманы фуфайки, презрительно смерила Рябого взглядом.

— Проходимец ты, Рябой! Из воды сухим хочешь выйти? Думаешь, я такой же холуй тебе, как Варлашкин? Плевала я тебе в рожу!..

— Убью! — бросился на Нюрку Рябой, но перед ним встал с пистолетом Сережкин.

— Зачем же? Пусть живет, — сказал старшина. — Поехали, — пригласил он всех в лодку.

— Может, поинтересуешься своими письмами? — спросил Рябой.

— Возьми их себе на память, — ответил Сережкин.

Рябой бросил скомканные конверты и пошел первым в лодку.

— Нет, ты погоди, — остановил его Сережкин. — Ты ко мне поближе сядешь.

Сережкин пропустил на нос моториста и рабочего, затем подсадил Нюрку и ближе к себе Рябого. Старшина сел за руль, завел мотор, и тронулись.

Рябой молча смотрел в воду, видно было по бугристым надбровьям, по сильно поджатым тонким губам, что он напряженно о чем-то думает. Наконец он повернулся к Сережкину и сказал:

— Не могу понять... как же ты догадался?

Сережкин раскрыл планшетку, вынул этикетку, найденную под кустом жимолости, затем среди кусков крепдешина нашел один с белой меткой и, приложив к нему этикетку, спросил:

— Видишь? Тикеточку ты обронил на тропинке возле стана.

— Ну-ка, ну-ка! — Рябой рнинулся к Сережкину, глаза его остро блеснули, словно вспыхнули, и увесистый кулак мелькнул в воздухе.

Старшина рывком уклонился.

— Еще одна попытка, — внушительно сказал Сережкин, — и ты приедешь на станцию дырявым. А я не хочу этого. Ведь тебе надо еще в тайгу съездить, показать, где остальные вещи спрятаны.

— Ничего я вам не покажу, — угрюмо и безнадежно ответил Рябой.

Лубников, привязав лошадей в кустах, побежал по берегу за лодкой.

— Василь Фокич! — крикнул он. — А мне-то какая задача дальнейшая?

— Домой поезжай, — ответил из лодки Сережкин.

Обратно конюх скакал с не меньшей скоростью, ведь он вез такую новость! А к вечеру уже все Переваловское знало, как он, Лубников, на самом яру на Бурлите настиг «контрабандиста» Рябого и передал его из рук в руки самому Сережкину.

VI

Через день в районной милиции Рябой все-таки согласился идти в тайгу и показать спрятанные вещи. Запираться дальше не было смысла. Нюрка все рассказала, и ее выпустили накануне. В кабинете начальника милиции Рябой сказал ей на прощание:

— Ты передай Варлашкину, что я завтра вечером приеду на стан с кем-нибудь. Пусть все приготовит...

— Может, не стоило бы ее туда пускать? — осторожно спросил Сережкин Конькова.

— А что?

— Варлашкин вещи может перепрятать.

Коньков засмеялся.

— Неужто ты знаешь, где они спрятаны? — Затем он снисходительно оправил погон у Сережкина и добавил озабоченно: — По совести говоря, милый Вася, не верю я Рябому. Прогуляемся мы с ним по тайге и ни с чем вернемся. А Нюрка убедить их сможет, она слово дала.

— Все-таки не надо было Нюрку выпускать, — с сожалением заметил старшина.

— Да что она тебе далась? Никуда она не денется до самого суда.

— Она-то не денется, да мы с тобой тайгой поедем, еще и вечером.

— Уж не боишься ли ты засады, доблестный лыцарь!

— Да ну тебя к черту! — выругался Сережкин.

Из показаний Нюрки, которые затем признал и Рябов, следовало, что Варлашкин по договоренности с ним устроил скандал на селе, а Нюрка недели за две принесла ему слепки

с ключей Ускова. Прямого участия в грабеже она не принимала. Магазин обокрал один Рябой.

В коридоре милиции Нюрку поджидал Усков.

— Может, вместе поедем в Переваловское, а? Нюрка? — робко предложил он ей, когда она вышла из кабинета начальника. — Я и насчет подводы договорился.

Нюрка саркастически улыбнулась.

— Больше твои ключи не понадобятся... по крайней мере мне.

— Ну зачем ты об этом? — с мучительной гримасой сказал Усков. — Ну, был грех... Что ж, теперь через это и в душу плевать?

— Эх, грех! Мало бьют вас, дураков... Вот в чем грех-то, — сказала она с какой-то злобной горечью и пошла к выходу.

За ней посеменил Усков. Возле двери она обернулась к нему и процедила сквозь зубы:

— Не ходи за мной... Тошно мне, понимаешь, тыквенная голова.

Она быстро вышла, хлопнув дверью перед самым носом Ускова.

На следующий день Коньков и Сережкин сопровождали Рябого в тайгу на поиски вещей. До переправы они добрались уже в сумерках. На той стороне их поджидал грузовик из Переваловского. Шофер лежал на фуфайке под машиной, оттуда торчали его сапоги.

— Эй, шофер! — крикнул Коньков. — Машину готовь! — Но сапоги не пошевелились. — Спит, каналья, — беззлобно выругался Коньков.

Молчаливый и строгий, как бронзовый бог, Арсе усадил их в бат и оттолкнулся сначала шестом, потом взял весло.

Рябой, ехавший всю дорогу ссутулившись, в бату ожил и зорко посматривал на противоположный берег. На середине реки он неожиданно навалился на один, ухватился за второй борт руками, и бат мгновенно перевернулся.

Первым вынырнул Арсе; маленький, с угловатым черепом и жиденькими белыми волосами, он был похож на старого водяного духа. Ухватившись за корму опрокинутого бата, он крутил головой, фыркал и никак не мог понять, что с ним произошло. Коньков не умел плавать, он тоже держался за бат, высунув из воды свое острое лицо, и сокрушенно ахал:

— Ах, черт! Очки-то мои, очки! Как же я буду теперь без них.

К берегу, вымахивая черными рукавами рубахи, плыл Рябой. За ним в пяти метрах Сережкин. Поодаль мирно колыхались на волнах две милицейские фуражки. Течение уносило их от плывущих. Рябой первым достал дно. Разбрызгивая воду, он бежал к берегу. Вот он уже выпрыгнул на зеленый откос, а там в десяти шагах и тайга... Но в это время грохнул выстрел. Рябой обернулся и застыл. Сережкин стоял по грудь в воде с наведенным на него пистолетом.

— Правильно, — говорил, приближаясь к нему, старшина. — Зачем рисковать?

— Ну что ж, твоя взяла, — сказал Рябой.

— Моя всегда берет, — ответил Сережкин.

— М-да, — протянул Рябой и усмехнулся.

Выстрел разбудил шофера, он стоял теперь возле машины и тупо смотрел на происходящее. Это был молодой парень в облезлой сиреневой майке.

— Что смотришь? — окликнул его Сережкин. — Видишь, бат уплывает. Помочь людям надо.

— Это можно, помочь-то, — тихо сказал парень и стал неловко, будто стесняясь, раздеваться. Затем он иагим забежал по берегу напротив бата и медленно пошел в воду, сводя лопатки.

Наконец бат вытащили. Коньков, весь мокрый, худенький, без очков, стал сразу меньше н теперь сильно смахивал на подростка в форме.

— Ты мие, сукин сыи, ответишь за эту баню! — кричал он на Рябого. — Смотри не вздумай еще чего учинить. Башку сниму!

Он сел с шофером в кабину. Сережкин с Рябым в кузов.

— Машнну в тайге не останавливай, кто бы ни встретился, — наказал Сережкин шоферу. — Понял?

Тот согласио кивиул головой, включил зажигание, н поехали...

Из-за помутневших в белесой пелене вечернего тумана сопок выкатилась огромная красная луна. Оиа замелькала в ветвях придорожных деревьев, словно хотела заглянуть и получше рассмотреть, что же это за машина. Рябой сидел у кабинки и посматривал по сторонам. Сережкин подпрыгивал на корточках возле борта. Под каждым нз них натекли и поблескнвали черные лужицы.

— Держнсь крепче, старшина, а то, не ровен час, на ухабе выбросит, — мрачно сострил н усмехнулся Рябой.

Сережкин уловил в позе, в жестах Рябого какую-то настороженность, ожидание чего-то важного, внезапиого. Эта настороженность передалась и Сережкину, взвинтила нервы, обострила внимание.

Когда переезжали мелкий серебристый поток Каменушки, Рябой вскочил на ноги н крикнул шоферу:

— Щука, щука на дороге!.. Останови!

Действительно, на каменистой дороге, возле самой воды, лежала огромная щука, будто сама выпрыгнувшая нз воды.

Шофер притормознл машину. И Сережкин вдруг увидел, как в прибрежных кустах промелькнули тени, четко на луне холодным стеклышком блеснул ствол ружья.

— Гони! — гаркнул он на шофера и, выхватив пистолет, выстрелил поверх кустов.

МашиIна, взревев, рванулась прямо на кусты, в которых была

засада. Сережкин осадил Рябого и, припав к борту, отчетливо крикнул:

— Уложу первого, кто двинется!

Машина стремительно шла на засаду, тени в кустах скрылись... Секунда, две, три... но впереди все еще маячит этот проклятый куст. Как медленно движется и время и машина! Кровь в висках стучит так, что заглушает рев мотора, и Сережкину кажется, будто машина стоит на месте, а куст отдаляется и становится маленьким. «Когда-то я уже испытывал все это, — мелькнуло у него в сознании. — Но где?»

— Трусы! — прошипел Рябой. — Будьте вы прокляты!

Машина уже разбрасывала колесами последний галечник прибрежного откоса. Вот она выскочила на лесную травянистую дорогу и понеслась. Засада осталась позади.

VII

Всю ночь Сережкин просидел в стане сплавщиков, охраняя Рябого. Коньков, потеряв очки в Бурлите, сказал: «Я теперь все равно что обезоружен». Он ушел еще с вечера спать в палатку.

На рассвете лениво подошла к костру закутанная в шаль Нюрка. Присела.

— Что, не спится? — спросил ее Сережкин.

— Вот посмотреть пришла на вожачка, — усмехнувшись, сказала она в сторону Рябого. Тот отвернулся.

— Кто ж его избрал вожаком-то?

— Глупость наша да трусость, — ответила она, глядя в костер широко раскрытыми глазами. — А подлость поддержала...

Варлашкин с компанией появились только утром. Они шли гуськом хмурые, молчаливые. Видно было по лицам, что они перебранились и были сильно не в духе.

— Сложите ружья! — приказал им Сережкин.

Они равнодушно положили ружья.

Глядя на них, Сережкин вдруг начал испытывать чувство крутой горячей злости. Он вспомнил свой приход сюда, их равнодушные уклончивые лица. Представил себе, как они с ружьями за плечами протопали за ночь двадцать с лишним километров. Ради чего? Ради мести к нему, старшине? Нет, к Сережкину они не питали никакой злобы. Это видно было и по их лицам, и по тому, что они не стали стрелять. Ведь они бы легко могли застрелить его там, из кустов, оставаясь сами невредимыми. Значит, у них не было к нему злости. Но что же тогда заставило их идти скандалить в село, чтобы помочь Рябому обворовать магазин и теперь вот пытаться освободить его? Что?

— Ну как, неудачной охота на Сережкина оказалась? — спросил старшина Ипатова.

— Какая там охота! — ответил тот. — Просто попугать хотели, да сами испугались.

— А рыбу где такую крупную взяли? Ту, что на дороге положили?

— Вон, Варлашкин достал, — ответил второй парень и усмехнулся. — Приманочка, говорит, клюиет, мол, Сережкин — тут мы его и иакроем.

— Что ж вы, Ипатов, друзья с ним, что ли? — указал старшина на Рябого.

— У меня среди трусов иет друзей, — ответил за него Рябой, презрительио сплевывая.

Ипатов молчал, но Сережкин заметил, как заходили его узловатые желваки.

— Ну, может, были с ним друзьями?

— Нет, — угрюмо ответил Ипатов.

— Может, он тебе платил за помощь? — допытывался Сережкин.

— Ои те заплатит! — криво усмехиулся Ипатов. — Да и не нужиа мне его плата.

— Так что же, ты из иитересу пошел скаидалить на село?

— Пошел просто так... — Ипатов помолчал и добавил: — Как все, так и я.

— Эх!.. — воскликнул Сережкин и выругался, скорее от удивлеиия, чем по злобе. — И ты тоже пошел иа село, как все? — спросил он Варлашкиия.

— А то что ж, — ответил тот. — Приказаио было...

— Да кто же приказал-то?

— Рябой.

— Зачем же ты слушался?

— А как же ие слушаться? У него сила...

— А у вас? Вот у него, у иего, — показывал Сережкин на сидящих. — Разве у вас иет силы?

Рябой грыз ветку и смотрел на них прищурившись. Ипатов по-бычьи, исподлобья смерил его ответным взглядом и сказал, больше обращаясь к Рябому, чем к Сережкину:

— Наша-то сила не мереиа...

Помолчали.

— Ои вас гнул, а вы терпели, — снова заговорил Сережкин. — Так неужто ж вам нравилось его самоуправство?

— Не нравилось, — ответил Ипатов. — А если терпели, значит, свернуть ему шею время не подошло... не накипело.

— Под защитой старшины-то все вы смелые, — сказал Рябой, поджимая свои тонкие губы.

Ипатов снова исподлобья посмотрел на Рябого, но только глубоко вздохнул.

— Так что ж, ои сам расправлялся с теми, кто не подчиняется? — спросил Сережкин.

— Нет, больше все вот этот, Варлашкин, — раздался голос сзади Сережкиия.

Ои обериулся. За ним стояло еще человек семь сплавщиков, незаметно подошедших к костру.

— Этот холуй продался Рябому, — пояснили из толпы.

— Нет, постой, постой, я скажу, — расталкивая людей, вырвался вперед узкоплечий мужичок в расстегнутой фуфайке. Сережкин признал в нем Фомкина. — Он же, паразит, по отдельности нам бока мял. Дай-кась я ему в ломаную переносицу хрясну! Хоть разок! — рвался он к Варлашкину.

— А что, н стоит пощупать их с Рябым-то, — поддержал его кто-то.

Толпа загудела и стала обступать Рябого и Варлашкина.

Варлашкнн беспокойно заерзал, бросая из-под лохматых, нависших бровей опасливые взгляды. Рябой не шелохнулся, он так же покусывал веточку, словно никого и не было.

— Вот паразит! Он еще н не замечает нас! Бей его, ребята!

— Стой! — крикнул Сережкнн и поднял руку. — Осади назад! Храбрецы! Как же так получается? — обратнлся к ним старшина. — Вас много, и ничего сделать с Рябым не могли, а я один — н вот обезвредил его...

— Так на то вы и власть!

— Вам положено.

— Значит, не накипело, — снова угрюмо пробасил Ипатов.

— Эх вы, люди-головы! — воскликнул Сережкин и почесал затылок.

VIII

Поздно ночью сильно постучали в окно избы милиционера Сережкина.

Татьяна вскочила с постели в одной рубашке, подошла к окну н, прнложив ладони козырьком к щекам, стала всматрнваться через стекло.

— Никак Вася! — радостно воскликнула она н пошла открывать дверь. — Ну, слава богу! — лепетала она сонным голосом через мииуту, зажнгая в чулане лампу. — Неделю не был дома. Ну, что там у тебя?

— Обыкновеино, порядок наводил, — ответил Сережкин, с трудом стягивая волглые сапоги. Он не любил расписывать дома о своих делах.

— Навел порядок-то? Ну и хорошо. Поужинаешь?

— Нет, молочка, пожалуй, выпью. Отнеси-ка мой портупей иа стол, — сказал он, подавая Татьяне снаряжение.

Татьяна поставила на стол глиняный горшок молока, сама ушла в соседнюю комнату.

Сережкин выпил залпом молоко, погасил лампу, постоял с минуту над кроватью сына.

— Спит, кочадык, — ласково пробаснл он и положил на подушку мальчнка горсть нешелушеных лесных орехов.

А через минуту всю избу заполнил громкий затяжной храп Сережкина, от которого тихо и жалобно тренькали оконные стекла.

С. ВЫСОЦКИЙ

ПОВЕСТЬ

ВЫСТРЕЛ В ОРЕЛЬЕЙ ГРИВЕ

В. Ф. Чванову

1

Утром к подполковннку Корнилову зашел старший ннспектор уголовного розыска капитаи Белянчнков. Сел молча и пробарабанил пальцамн по облезлой коже кресла какую-то затейливую, ему одному нзвестную мелодию. Корнилов мельком взглянул иа капитана и понял, что у него есть новости. Игорь Васильевнч уже давно научился безошнбочно определять состояиие своего ближайшего помощннка: Белянчнкова всегда глаза выдавали. Пристальный, нногда до неприятностн прнстальный его взгляд становился в таких случаях чуточку рассеяниым.

— Сиди, сиди, — пробормотал Игорь Васнльевнч, — может быть, что и высидишь. Только не повышенне по службе... — и уткнулся в свои бумаги.

— Вы, товарищ подполковник, всё доклады пишете? — не выдержал накоиец Белянчнков. — И опять о профилактической работе среди подрастающего поколения? А иастоящнх преступников за вас будут ловить учителя географии? — Он сделал паузу. — Таких, например, как Санпан...

Кориилов резко вскниул голову.

— Что Саипан? Задержан?

— Задержаи? — пожал плечамн Беляичнков. — Да разве это возможно, когда уголовный розыск профнлактнкой занимается?

— Да что ты заладил: профлактнка, профнлактика! — вспылил Корнилов. — Всю душу вымотал. Что про Санпана нзвестно?

— Санпан — Александр Панкратьевнч Полевой, опасный вор — два года тому назад прн попытке ограбнть квартнру убил старика.

В квартире нашли отпечатки его пальцев да финку с наборной ручкой. Ее потом опознали два Санпановых «приятеля» по прежним делам. Но самого Полевого задержать не удалось. Всесоюзный розыск объявили, а не нашли.

Белянчиков привстал с кресла и, облокотившись на стол, быстро сказал:

— Только что звонил Белозеров из Луги. Санпан живет на Мшинской.

— Взяли?

— Нет. Его опознал по расклеенной на вокзалах фотографии рабочий лесхоза. Сегодня рано утром этот рабочий приезжал в Лугу, приходил в отдел...

Корнилов встал из-за стола, сгреб все бумаги и, открыв сейф, небрежно свалил их в кучу. Достал пистолет.

— Сам поедешь? — спросил Белянчиков, хотя ему и так все было ясно.

— Ты готов? — Игорь Васильевич подошел к столу и стал набирать номер телефона.

Белянчиков кивнул:

— Углев за баранкой...

Углев был лучшим водителем управления.

— Михаил Иванович, Корнилов докладывает, — сказал Игорь Васильевич в трубку. — Александр Полевой под Лугой объявился... Нет, нет, никаких чепе. Его рабочий лесхоза опознал. Разреши мне выехать. Я его проворонил, мне его и задерживать... Что?.. К черту!

Корнилов нажал на рычаг и снова набрал номер.

— Мама, к ужину не жди. Буду, наверное, поздно.

Он надел пальто, сунул в карманы по пачке сигарет.

— Ты, Юра, за недооценку профилактической работы с подростками, наверное, еще один выговор получишь, — пообещал Игорь Васильевич Белянчикову. — Но то, что Углев с нами поедет, — это хорошо. Душевный ты человек!..

Когда машина отъехала от управления и Углев, молодой широкоплечий парень с флегматичным лицом, перестал ворчать на то, что опять как на пожар, а дорога скользкая и шипованной резины не допросишься, Корнилов сказал:

— Юрий Евгеньевич, давай подробности!

— Да какие подробности, Игорь Васильевич? — удивился Белянчиков. — Я тебе почти все уже доложил.

Корнилов нетерпеливо дернул головой.

— Живет Санпан в пятнадцати километрах от станции. Деревня домов пять. Владычкино, что ли...

— Память сдавать стала?

— Владычкино. Живет у какой-то женщины. Я не стал Белозерова подробно расспрашивать, — сказал Белянчиков. — Тут время дорого.

— Да, конечно, — согласился Корнилов. — А морочить мне голову у тебя время нашлось. Не вспугнут они там Полевого?

— Нет, это исключено. Белозеров будет ждать нас на Мшинской с тремя сотрудниками...

Заметив недоуменный взгляд подполковника, Белянчиков пояснил:

— На станции-то надо будет своих оставить? На всякий случай.

— Эх, не ушел бы! — вздохнул Игорь Васильевич, посмотрев в окно. На улице мела метель.

— В Луге тоже снег, — сказал Белянчиков. — А из Владычкина уйти только к станции можно. К Мшинской. Там, Белозеров говорит, леса как тайга.

Они помолчали. Потом Белянчиков спросил:

— Ты не замерзнешь в своем драпе? Ехать-то часа три, не меньше.

Сам он щеголял в новенькой дубленке.

...До Мшинской они доехали за два часа. Свернули с шоссе. Машина шла, натужно гудя, по заснеженной пустынной Вокзальной улице, и Белянчиков вглядывался в номера домов, разыскивал тридцать седьмой — в этом доме жил участковый.

Дом участкового инспектора был старый, потемневший, какой-то уж совсем неприютный. Перед ним ни деревьев, ни кустов, ни даже палисадника.

— Где же они машину поставили? — удивился Белянчиков, оглядываясь вокруг.

— Да, может, он и не приехал еще, твой Белозеров, — сказал Корнилов. В управлении всем было известно, что Белянчиков с Белозеровым вместе учились в университете и были большими друзьями.

— Наш Белозеров, — нажимая на «наш», ответил Белянчиков, — не мог не приехать, товарищ подполковник. А машину, наверное, где-нибудь в гараже поставили. Чтоб не маячила тут...

В доме их заметили. Со скрипом открылась дверь, и на покосившемся крыльце появился в клубах морозного пара Белозеров — широкоплечий, краснолицый, с озабоченным лицом. Корнилов знал его несколько лет и привык всегда видеть с доброй улыбкой. «Уж не сбежал ли Санпан?» — подумал он.

— Здравия желаю, товарищ подполковник! — Белозеров молодцевато подтянул начинающий уже расти живот.

— Здравствуйте, Белозеров! Что тут у вас случилось? — спросил Игорь Васильевич, пожимая ему руку.

— Чепе, товарищ подполковник. — Он раскрыл двери в дом, пропустил Корнилова и Белянчикова в сени. В сенях пахло кислой капустой, хлебом. У дверей в комнату стоял молодой парень в лейтенантской форме.

— Участковый Рыскалов! — громко, волнуясь, отрапортовал он, приложив руку к козырьку.

Корнилов кивнул ему и прошел в комнату к большому дощатому, чисто выскобленному столу.

— Ну что, капитан, — сказал Корнилов скучным голосом, — докладывай, какое у тебя чепе.

— Такая история, товарищ подполковиик: в полутора кнлометрах от Владычкнна, — ои иа секунду замялся. — Это где Саипаи живет...

— Ну, ну... — заторопил его Корннлов.

— ...На тропке, что со стаиции ведет, сегодия утром владычкннские бабы убнтого нашли, — продолжал Белозеров. — Утром, еще в темках, к поезду шлн н наткнулись. Лыжиик. Уже снегом подзамело. Давай, Рыскалов, — кивнул Белозеров участковому, — доложн все, что видел!

— Следователя из прокуратуры вызвали? — перебил Корннлов.

— Он уже там. С двумя нашими сотрудниками, — ответнл Белозеров. И добавил озабоченно: — Да и нам бы надо ехать. До Пехенца на «газике», а там пешком доберемся... «Газнк» сейчас вернуться должен.

Сбиваясь и все время краснея, начал рассказывать лейтенант. Корнилов сразу уловил, что участковый не такой уж беспомощный, какнм показался с первого взгляда. У него был, судя по рассказу, вннмательиый взгляд н цепкая память.

...Сегодня утром две жеищииы шлн нз Владычкнна к поезду и иаткиулись на занесеииого сиегом мужчииу. Подумали сначала, что замерз какой-то пьянчуга. Расстегнули на груди куртку и увндели пропитаниый кровью свнтер. Во Владычкнно возвращаться женщины не стали, пошли в Пехеиец. А там уже с почты разыскалн по телефону участкового. Лейтенант позвонил в райотдел, а сам успел съездить к убитому, оставил дежурнть около трупа дружинннков.

Корнилов слушал виимательно, не перебивая, только один раз нетерпеливо спросил:

— Ну, а Сапап-то, Санпан?

-- Товарнщ Корннлов, Санпан сейчас во Владычкине. Пьет. Мы установили наблюдение.

— Наблюденне — дело хорошее, — с сомнением сказал Корннлов. — Да только два года назад мы даже дом окружилн — мышн не проскочнть, а Санпан ушел.

— Он пьет, товарищ подполковник, — вставнл Белозеров, с каким-то особым значеннем нажнмая на слово «пьет».

— С кем пьет-то?

— Однн.

— Ну ладно, — махиул рукой Корнилов. — Рассказывайте дальше... Что удалось устаиовить? Чем убит?

— Рана огнестрельная.

«Ну вот, одно к одному! — забеспокоился Корнилов. — У Санпана должен быть пистолет».

— Никаких документов у убитого не нашли, — продолжал участковый. — В нейлоновой куртке железнодорожный бнлет Лениигра — Мшннская, несколько автобусных н трамвайных билетов, сто тридцать рублей денег. А в небольшом вещмешке бутылка армянского коньяка, две банкн шпрот, коробка конфет.

— Странная поклажа, — сказал Корнилов. — В глухую деревню с бутылкой коньяка не всякий гость поедет...

— Да, он не местный, товарищ подполковник. Интеллигентный человек...

— Это вы по коньяку определили? — с ехидцей поинтересовался все время молчавший Белянчиков.

Лейтенант стушевался:

— Нет, не только в коньяке дело... Лицо у него... Ну да не берусь объяснить. Может быть, мне так показалось.

В это время на улице просигналила машина. Белозеров встрепенулся:

— Наш «газик». Может, поедем, товарищ подполковник?

— Поедем. — Корнилов встал. Взял со швейной машины шапку. — Только поедем во Владычкино. Саипана брать. Подробности обсудим в машине. А потом на место происшествия...

— В лесу ждут, — нерешительно сказал капитан.

— И Саипан ждет? — раздражаясь, спросил Корнилов. — Вы что, думаете, нас по головке погладят, если он опять уйдет? Да еще что-нибудь натворит?

Белянчиков нахлобучил Белозерову шапку и подтолкнул к дверям. Они молча вышли.

— А чего это убитый по лесу шел? Дорога-то на Владычкино есть?

— Есть, товарищ подполковник, — ответил участковый. — Но она кругаля дает, а по тропке ближе, прямее.

— Значит, лыжник места знал?

— Наверное, знал, — согласился участковый, — или спросил у кого на станции. Тропинка глухая. По ней из чужих редко кто ходит. Зимой снегом сильно заносит. Летом топко. Да и побаиваются...

— Забоишься тут у вас... Следы какие-нибудь обнаружили у трупа?

— За ночь снега намело — следов не разобрать, но показалось мне, что потоптались около трупа. Потоптались. Это точно.

— Ты, Юрий Евгеньевич, вместе с лейтенантом возьми потом на себя станцию, — повернулся Корнилов к Белянчикову. — Вас как величать-то, лейтенант?

— Василь Василич.

— Вы, Василий Васильевич, с капитаном Белянчиковым поедете на станцию. Выясните, с какого поезда сошел этот лыжник. Установите людей, приехавших тем же поездом... Народу ведь в будни, наверное, немного из Ленинграда приезжает... Впрочем, капитан у нас дока по этой части. С ним не пропадете... — Корнилов подмигнул Белянчикову.

Лейтенант слушал внимательно, все время кивал.

— Ты, Юрий Евгеньевич, позвони в Ленинград. Может, есть там что новое. Пусть обратят внимание на случаи с применением огнестрельного оружия. Передай все данные об автобус-

ных билетах. Бугаеву передай. Пусть выяснит, что за маршруты, примерное время... — Он помолчал, рассеянно глядя в примороженное оконце.

Мелькали занесенные снегом, будто увязшие в сугробах елочки — дорога то ныряла в лес, то выскакивала на поле. Низкие хмурые облака висели неподвижно, словно примерзли к вершинам елей. «Сейчас бы остановить «газик», — вздохнул Корнилов, — стать на лыжи да махнуть по этим полям и перелескам...»

— Василий Васильевич, лыжник, значит, во Владычкино шел? Или там еще деревни есть? — спросил он, не отрываясь от окна.

— Там, товарищ подполковник, деревень больше нет. Болота на много километров тянутся. Среди болот Вялье озеро. Местные иногда рыбалят, да редко. Так что эта тропка только во Владычкино. Ну еще к леснику Зотову, — сказал он с некоторым сомнением. — Да, пожалуй, к егерю. Я еще с ним не познакомился. И фамилию не запомню никак.

— Значит, или во Владычкино, или к леснику, или к егерю? И точка?

Участковый кивнул.

— В деревне сколько дворов?

— Шесть всего.

— В какой же из шести шел лыжник? Придется взяться и за эти дома. После того как Санпана в Лугу отправим, — сказал Корнилов и подумал: «На место происшествия мне самому непременно надо съездить. Посмотреть, не упустили ли чего...»

Минут десять они ехали молча.

Наконец участковый сказал тихо:

— До деревни километр остался... Не боле.

— Притормозите, водитель, — попросил Корнилов, дотронувшись до плеча шофера.

«Газик» остановился. Рядом с дорогой шумел темный, припорошенный снегом еловый лес. Слышался заливистый собачий лай и далекое тарахтенье трактора.

— Лес трелюют, — прошептал участковый.

— Проверьте оружие. — Корнилов внимательно посмотрел, как его спутники вынимали пистолеты. — Вы, Василий Васильевич, расскажите, в каком доме Полевой живет.

— Первая изба, как в деревню въедем. С правой стороны... Да там всего-то три избы по праву руку. В избе напротив наш сотрудник дежурит.

— Кто с Полевым в доме живет? — спросил Белянчиков.

— Женка его, Глафира Сестеркина, и сынишка годовалый...

— Не вспугнем мы Санпана? — засомневался Белозеров. — Подъедем прямо к дому, переполоху наделаем.

— А мы без переполоху, — отрубил Корнилов. — Подъезжаем на скорости. Мы с участковым садимся ближе к дверцам — и быстро в дом... Если верить местной милиции, Поле-

вой в загуле, гостей не ожидает. Но учтите, этот волк и во хмелю стреляет без промаха. — И, взглянув на участкового, на его сосредоточенное, отрешенное лицо, добавил: — Пальбы не открывать. В доме ребенок.

Крыльцо избы покосилось, доски подгнили. Казалось, топни покрепче — и развалится. «Как в доме участкового», — почему-то пришла Корнилову мысль, но он тут же забыл об этом и, нажимая на ручку, успев шепнуть участковому, чтобы тот оставался в дверях, подумал: «Ну вот, гражданин Полевой, и пришло время нам свидеться».

В комнате за столом сидела женщина. Каштановые густые волосы ее были распущены по плечам. Женщина повернула голову на легкий скрип двери, и Корнилов увидел, что лицо у нее горестное, заплаканное. Ни удивления, ни испуга при виде постороннего. Игорь Васильевич окинул быстрым взглядом большую неопрятную комнату, и сердце у него екнуло. Комната была пустой.

— Гражданин Полевой здесь проживает? — спросил он, не спуская взгляда с грязноватой пестренькой занавески на дверном проеме. По рассказу лейтенанта, там была кухня.

Женщина непонимающе посмотрела на него, пожала плечами.

— Где хозяин? — переспросил Корнилов. — Муж ваш где?

— Муж-то? Вона разлегся, — зло сказала женщина, кивнув куда-то за стол. Лицо ее стало замкнутым, отчужденным.

Корнилов сделал шаг и тут только заметил, что за столом, у стенки, прямо на полу постелен матрас. На грязном одеяле в одежде, в сапогах лежал человек. По черным как смоль волосам догадался, что это Санпан.

Не вынимая руки из кармана, Корнилов подошел к нему и тихо сказал:

— Гражданин Полевой, здравствуй!

Спящий не отзывался. Тогда он нагнулся и быстро сунул руку под подушку. Там было пусто.

— Полевой! — взял Корнилов его за плечо. — Полевой! Проснись! Гости пришли.

Мужчина с трудом повернулся на спину и открыл глаза.

Если бы пятнадцать минут назад Корнилову сказали, что он увидит Санпана беспомощным, с дрожащими руками и бессмысленным выражением глаз, он бы ни за что этому не поверил. Жестокий, смелый до отчаянности ворюга, сколько доставил он неприятных минут уголовному розыску! И в довершение всего убийство старика и побег с «малины», когда, казалось, ловушка уже захлопнулась.

— Полевой, узнаешь меня? — спросил подполковник, брезгливо рассматривая небритое, опухшее лицо Санпана.

В ответ раздалось какое-то нечленораздельное бормотанье. Корнилов подозвал участкового, все еще стоявшего в дверях в напряженной позе:

— Обыщи, будь другом!

В это время за занавеской заплакал ребенок. Жалобно, с над-

рывом. Женщина медленно, нехотя встала и пошла к занавеске, но Корнилов осторожно придержал ее за руку. Зашел первым. Здесь и впрямь была маленькая кухня. Такая же неопрятная и грязная, как и вся изба. Только было теплей...

Корнилов вышел на улицу, вдохнул полной грудью свежего морозного воздуха.

— Игорь Васильевич, ну что? Нету? — тревожно крикнул из огорода Белянчиков. Он стоял там у поленницы дров, чуть не по пояс утонув в снегу.

— Ты что там, Юрий Евгеньевич, делаешь? — притворно удивился подполковник. — Или потерял чего? — И засмеялся. — Поди в дом, полюбуйся на Санпана. За ним из вытрезвителя надо было присылать, а не уголовный розыск... Есть, оказывается, средство посильнее нас с тобой!

Но когда участковый и Белозеров с трудом вывели из дома мычащего бессвязно Санпана, Корнилов, словно вспомнив что-то, крикнул:

— Белозеров, ты на всякий случай наручники-то ему надень!

Санпана усадили на заднее сиденье между Белозеровым и подошедшим из соседнего дома оперативником.

— Участковый пусть останется со мной, — сказал Корнилов. — А ты, Юра, — обратился он к Белянчикову, — поезжай в Лугу, свяжись с управлением. Действуй, как договорились.

Машина отъехала, поднимая легкую снежную пыль. Ее тут же подхватил ветер, понес вдоль стоящих у дороги сиротливых, промерзших тополей. Начиналась вечерняя поземка.

— Ну что смотришь, лейтенант, — улыбнулся Корнилов, в упор разглядывая притихшего участкового. — Водка и не таких губила! Эх, да если бы только таких... — Он поднял воротник пальто — мороз начинал-таки пробирать. — Только вот что — давай на пять минут зайдем к вашей Главде.

Сестеркина сидела все так же у стола, кормила ребенка грудью. На их приход она не обратила никакого внимания. Не спросила ничего, не предложила сесть.

Корнилов сел напротив, спросил тихо:

— Клава, как отчество ваше?

Она посмотрела на него равнодушно. Сказала:

— Тихоновна.

— Клавдия Тихоновна, вы нас извините за это вторжение, но квартирант ваш... — Он хотел сказать «сожитель», но просто не смог выговорить это слово. — Квартирант ваш — опасный преступник.

— Надо было вам пораньше за ним приехать, — со злостью сказала Сестеркина. — Мои вещи хоть остались бы целы. Все распродал, алкаш...

— Клавдия Тихоновна, вам придется еще поговорить со следователем. Может быть, сегодня, может быть, завтра. Так вы никуда из деревни не отлучайтесь. Кроме работы, конечно... Никуда за пределы не выезжайте.

— Пускай другие за пределы выезжают, — равнодушно сказала женщина.

— А у меня только два вопроса к вам. Оружие у Полевого вы видели? Где оно?

— Это Сашка-то — Полевой? — На лице Сестеркиной впервые мелькнуло удивление. — А мне он Ивановым сказался... — Она помолчала немного, словно осознавая услышанное, потом сказала: — Финка вон на кухне лежит. На столе.

Корнилов кивнул участковому. Тот встал, прошел за занавеску и тут же вернулся с большим, изящно сделанным ножом с наборной ручкой.

— Ну а пистолета у него вы не видели? — с мягкой настойчивостью продолжал выспрашивать Корнилов.

— И пистолет был, да сплыл. Кузнецу из Пехенца за бутыль самогона отдал. Левашов, что ли, его фамилия, — со злорадным смешком ответила Клавдия.

Участковый поспешно полез в карман за авторучкой.

— И еще один вопрос, Клавдия Тихоновна: в последние дни он никого в гости не ждал?

— Ждал. Все уши прожужжал: «Вот кореш приедет, тугрики привезет. Одену тебя, Клавдия!» Как же, одел!.. — сорвалась было она на крик, но тут же взяла себя в руки и только всхлипнула несколько раз.

Корнилов молчал, смотрел на нее выжидающе.

Сестеркина поняла, что от нее еще чего-то хотят, пожала плечами.

— Как зовут, не сказывал. Говорил только — из Питера. Вчера встречать ходил. До трех и не пил ничего...

Корнилов встал. Надо было засветло побывать на месте происшествия.

2

Лишь поздно вечером попал Корнилов в маленький уютный номер лужской гостиницы. Белянчиков пошел ночевать к своему старому приятелю Белозерову. Подполковника они не звали — знали, что шеф строго придерживается правила: у подчиненных никогда не ночевать и не столоваться.

Корнилов расстелил постель, но не лег. Сидел у стола, курил. Рассеянно глядел в окно, где в красновато-желтом свете уличных фонарей крутилась шальная снежная заверть. Дело, ради которого они примчались сюда из Ленинграда, закончено. Но этот убитый на лесной тропинке... Нет, Корнилов не мог себе позволить уехать, не организовав розыск убийцы.

На вопрос Белянчикова, не думает ли он, что убийство — работа Полевого, Корнилов только руками развел. С одной стороны, Санпан вчера приблизительно в то же время, когда был убит лыжник, ходил встречать какого-то кореша. Но якобы не встретил. А может быть, встретил? И всадил этому корешу пулю? Ради чего? Ведь даже деньги не взял. Старые счеты?

Поехал бы этот кореш в такую глушь иа свидание с Санпаном, если бы между иими чериая кошка пробежала?

Белянчиков, настаивая на версии «Санпан», говорит, что, застрелив человека, Полевой ие ограбил его только потому, что испугался. За лыжником кто-то шел: Санпан мог услышать и убежать. Логичио? Логичио-то логичио. Но мог ли Полевой предполагать, что в кармане у лыжника лежат сто тридцать рублей?

Беляичиков твердил:

— Саипаи спился. Стопроцентный алкаш. Такой может и за рубль человека прикончить. Лишь бы на бутылку собрать. А может, все-таки ухлопал знакомого? Счеты свел?

— Над этой версией надо работать, — соглашался Корнилов. — Но только как над одной из многих. Не очень-то верится мне, что Полевой убил. И второй человек... Куда он делся?

Проверка на станции показала, что с поезда, который прибыл иа Мшинскую в пятнадцать часов, сошло человек двенадцать. Но только двое двинулись по тропе к лесу. Одии на лыжах, другой пешком. Кто был этот второй? Местиый? Приезжий?

Кузнец Левашов из деревни Пехенец, у которого вечером провели обыск, заявил, что никакого пистолета у Иванова не покупал. И слыхом не слыхал о том, что у него есть оружие. Значит, пистолет у Полевого? Значит, он был вооружеи, а только обманывал Сестеркиичу?

«Дело довести до конца должен я, — решил наконец Корнилов. — Утром позвоню начальству, доложу обстаиовку. Попрошу разрешеиия остаться еще на день. Вместе со следователем организую розыск». Он встал, закурил. Ему вдруг отчетливо представилось тупое, бессмысленное лицо Полевого. «Водка, она и из бандитов веревочки вьет». И тут же он подумал об убитом. Вот еще одиа трагедия!.. Нет человека. Кто он? Какие земные дела его остались невыполненными? За долгие годы работы в уголовиом розыске Корнилов так н не привык воспрнннмать чужую смерть спокойно. Он научился лишь сдерживаться, не показывать окружающим, что каждый раз переживает ее как личную трагедию. И он никогда не позволял себе даже думать о погибшем как о иеудачиике. От сочувственно произнесенного слова «бедолага» Корнилова коробило.

...Днем, когда оии с участковым пришли из Владычкина к лесу, туда, где был убит лыжник, следователь прокуратуры уже закончил осмотр места происшествия, тело было отправлено в районную больницу. Лишь на опушке у большого костра сидели иа поваленной ели двое мужчнн, что-то жевали. Увидев Корнилова с участковым, они поднялись, подошли.

— Товарищ подполковник? — спросил хрипловатым голосом однн из них, крепыш в овчинном полушубке.

— Он самый!

— Старший инспектор уголовиого розыска Клюев, — отра-

портовал крепыш. И кивнул на второго: — Инспектор Чернышов.

Корнилов пожал им руки.

— А следователь с экспертом уехали, — сказал, словно бы извиняясь, Клюев. — Просили передать, что стреляли из винтовки или карабина. Пулю извлекли. Сняли слепки следов. Каликов говорит: женские. — Он запнулся. — Каликов — это следователь, товарищ подполковник.

— Понял, — мрачно сказал Корнилов. — Не густо.

Участковый показал место, где лежал убитый. Вокруг было очень натоптано.

— Что они тут, хороводы водили, что ли? — рассердился Корнилов. — Большие ученые они у вас.

«Почему убийца не стрелял из лесу? — мелькнула у него мысль. — Ведь что, кажется, проще и удобней — стрелять в лесу?»

— Василь Васильевич, — окликнул он участкового, шептавшегося с Клюевым. — Ты окрестности-то осматривал?

— Осматривал, товарищ подполковник. — Вид у участкового был понурый, и Корнилов подумал о том, что лейтенант, наверное, переживает и за то, что убийство произошло на его участке, и за то, что раньше не знал ничего о Саипане, проживавшем у него под носом». «Похоже, что он и за следователя переживает».

— Пойдем пройдемся еще разок там, где ты ходил, лейтенант. — Игорь Васильевич обнял его дружески за плечи. — Посмотрим, пока совсем не стемнело, что тут и как.

Они двинулись по старому следу, глубоко проваливаясь, цепляясь за маленькие елочки. Круг получился довольно большой, но, как ни всматривался Корнилов, снег лежал девственный, нетронутый. Только в одном месте напетлял заяц.

— Да, не видать тут никаких следов, — сказал он, когда они снова вышли на тропу и отряхивались.

Участковый приободрился:

— Товарищ подполковник, я вам точно говорю: в лесу и в поле следов нет, а у тропы, когда я утром пришел, были. Не только женские. Мужские следы. Словно кто-то обошел вокруг убитого пару раз. Их метелью запорошило, но я разглядел.

— Хорошо, лейтенант. Это мы берем на заметку. А теперь веди нас к машине...

Сейчас, припоминая все свои действия при осмотре места преступления, Корнилов никак не мог отделаться от такого чувства, будто упустил там, в лесу, что-то очень важное.

Он сел за маленький столик, записал в блокноте: «1. Убитый??? 2. Попутчик. Опросить всех жителей Владычкина, лесника, егеря. 3. Полевой. Оружие?»

Что еще? Он вспомнил начинающий голубеть вечерний снег, маленькие густые елочки, утонувшие в нем, следы зайца и дописал: «4. Охотники».

А ночью ему снились горы. Он стоял на кромке ледника, вглядываясь в голубеющие вершины, и пел.

3

На следующий день Корнилов проснулся рано. Еще не было и семи. Он чувствовал себя хорошо отдохнувшим, бодрым. «Вот что значит лес», — подумал он. Позвонил в горотдел, попросил дежурного вызвать к восьми Белозерова.

В маленьком гостиничном буфете съел стакан сметаны, выпил бледного, чуть теплого чая с кусочком засохшего сыра — больше разжиться было нечем. Пошел в горотдел пешком. На улице еще не начало светать. На автобусных остановках стояли длинные очереди. Во многих домах топили печи, ветер прибивал дым к земле. Мороз жалил зло и колюче.

Белозеров с Белянчиковым были уже на месте.

...Привели Санпана. Щетина на щеках, всклокоченные волосы на голове, запекшиеся губы делали его похожим на тяжелобольного. Корнилову показалось даже, что глаза у него еще больше налились кровью. Однако сегодня в них можно было уловить искорку мысли.

— Садись, Полевой, — сказал он Санпану. Всегда и во всем скрупулезно соблюдавший порядок, Игорь Васильевич не смог пересилить себя и обратиться к Санпану на «вы». — Узнаешь?

Санпан сел и, повернув лицо к Корнилову, чуть-чуть оскалился. Словно хотел сказать: «Чего уж тут не узнать...»

— Кого в последние дни в гости ждал?

Санпан минуты три молчал, сжав руки коленками и медленно потирая ладонь о ладонь. На его лице с низеньким, похожим на гармошку лбом заходили все мышцы, словно он что-то с трудом пытался разжевать. Наконец Санпан выдавил:

— Витьку Косого ждал. Срок у него закончился. Долю должен был привезти.

Корнилов аж присвистнул:

— Витьку Косого! Виктора Безбабичева, значит. Подвел тебя Косой, подвел! Как только в Ленинграде появился — за старое взялся. У нас он. Уже у нас. — А про себя подумал: «Косого-то спрашивал я про Санпана. Сказал — весточек не имею. Крепкий орешек. Придется и с ним повозиться. И доля еще какая-то». — Ладно, о Косом потом. Где твой пистолет?

Санпан снова долго молчал, набычившись, шевеля губами.

— Кузнецу из Пехенца отдал. За самогон. Левашову. — И, словно бы оправдываясь, добавил с тоской: — В загуле был, гражданин Корнилов. А хрустов нема. За литр отдал, сявка!

— Когда это было?

— Не помню уж. Месяца два назад.

— Безбабичева ходил встречать?

— Еще чего, — проворчал Полевой. — Я ж не знал, в какой день он явится.

— А твоя жена утверждает, что вчера в три часа ты ушел встречать дружка...

Полевой осклабился:

— Да я так... Чтоб крик не подымала. В Пехенец ходил. Выпить с мужиками.

— С кем? Дружки навещали?

— Нет. Боялся, вас наведут...

Корнилов усмехнулся:

— Не договариваешь ты, Полевой!

Сапшан пожал плечами.

— Про Безбабичева как узнал? Что у него срок закончился и деньги привезет? Святой дух подсказал?

Сапшан вдруг поднял голову и пристально, не мигая, посмотрел на Корнилова. Куда только девалось его тупое безразличие и подавленность! Взгляд стал осмысленным, дикая злоба сверкнула в глазах.

— Не шути, начальник, — сказал он с вызовом.

— Ладно, Полевой, на сегодня достаточно. Мы еще наговоримся.

Сапшана увели.

— Капитан, — попросил Корнилов Белозерова, — пишите мотивированное постановление на обыск у Левашова и у Сестеркиной. Потом у прокурора утвердим. — Он посмотрел на часы. Было девять. — Сейчас позвоню Михаилу Ивановичу. Попрошу разрешения на день задержаться.

Белозеров повеселел. На помощь подполковника он очень рассчитывал.

«Что же мы имеем на сегодняшний день? — думал Корнилов, прохаживаясь по кабинету Белозерова в ожидании, пока тот принесет заключение судебно-медицинской экспертизы. — Сапшан за решеткой... Может, он и совсем спился, да и такой не менее опасен. И вот за несколько часов до его ареста на опушке леса находят убитого человека. Ни имени, ни фамилии. Просто «убитый». Говорят, не местный. Но кто же это отправляется в дорогу, не взяв с собой хотя бы удостоверения или пропуска? Без документов идет в соседнюю деревню местный житель. Зачем они ему? А убитый не местный...

...Коньяк... Может быть, в магазине еще не продавали водку, и пришлось его купить. Коньяк-то продают чуть ли не круглосуточно. План делают! — Игорю Васильевичу надоело ходить, все время задевая за мебель — кабинетик у начальника угро города Луги был совсем крошечный, — и он сел на стул у окна. — Нет, лыжник специально покупал коньяк, поезд-то у него вышел из Ленинграда после одиннадцати! Если бы захотел, мог уже и водку купить. А местные вряд ли коньяк пьют. А может быть, случай особо торжественный? Когда водку и приносить неприлично?» Эта мысль понравилась Корнилову, и он сказал про себя: «Неплохо, товарищ подполковник, неплохо!»

«...Деньги. Многовато при нем денег, многовато! В гости с та-

кимн деньгами не ездят. Может, долг отдавать шел? Или, как Витька Косой, долю кому-то нес?..

Предположим, охотиики. Ну, коиечио, проще всего представнть случайиый выстрел. Загои на лося. У кого-то есть карабин нли виитовка. Может быть, даже с войны припрятана. Что ж, тоже версия.

А что касается Санпана, то следователь все досконально уточиит, это иелишие, ио тут, сдается мне, ие Санпаиовых рук дело».

Пришел Белозеров с заключеиием экспертизы. «Пулевая рана. Оружие иарезное, калибр 7,62. Прострелено легкое. Смерть наступила от большой потери крови приблизительно в 20—22 часа».

«А стреляли в него не позже шестиадцати часов, — подумал Корнилов. — Поезд приходнт иа станцию в пятнадцать... Еслн на лыжах идти, до владычкинского поля ие больше сорока-пятидесяти минут. Значнт, несколько часов лыжник был еще жнв. И прнди кто-нибудь на помощь — могли спасти. Еслн стреляли охотнники, да издалека, раненого могли н не заметнть. Прошлн где-то стороной. А вот попутчик? Тот, что шел вслед за лыжннком по тропе от стаиции? Он-то должеи был на иего наткнуться? — Корнилов вздохнул. — Вопросы, вопросы!.. Надо поручить Белозерову провести следственный эксперимент: установнть направленне выстрела. И выяснить, в порядке ли были лыжн. Ведь если шел на нсправиых, то никакой пешеход его не догиал бы!»

— Вот, может, поиитересуетесь! — Белозеров положил иа стул перед ним несколько фотографнй.

Корннлова поразнло выражение глаз на простоватом, тронутом теиью щетины лице убитого. Казалось, онн продолжали жить и ждали ответа: кому это понадобилось стрелять в него, кому ои помешал?

Вздохиув, Корнилов сложил фотографии и передал капитану.

— Вот что, Александр Грнгорьевич, — сказал он, немного помолчав, — вы сами-то что думаете по поводу убийства? Может быть, охотники?

— Мы с Юрием Евгеиьевичем прикидывали эту версию. Случайиый выстрел? Возможио! На лося, правда, охота уже закрыта, ио бракоиьеры пошаливают. Может, и ходил кто-то с винтовкой, баловался.

— Ну вот и проверьте всех охотиков, с общественными ииспекторами потолкуйте. — Игорь Васильевич говорил все это не слишком увереино, потому что его смущала одна деталь, никак не укладывавшаяся в вариаит «охота»: попутчик. Не мог он пройти мимо убитого и не заметить его! Значит, заметил и скрылся. Ну, может быть, и ие скрылся, да молчит. Почему? Чего испугался? А может быть, он не только попутчик?..

— Алексаидр Григорьевич, лыжи какой марки? — иеожиданно спросил он капитана.

— У убитого, что ли?

— Ну да. У кого же еще?..

— У него лыжи очень хорошие, товарищ подполковник, гоночные. Финские. Марка «Карху». «Медведь», значит.

— У вас есть опись вещей убитого?

Белозеров протянул листок.

Опись была составлена толково — точно и очень подробно. Корнилов обратил внимание, что среди денег была сторублевая бумажка. Такими деньгами только долг отдавать! Ведь в деревенском магазине могут и не разменять, если за покупками пойдешь. В карманах убитого не обнаружили ни спичек, ни сигарет. Вообще, кроме носового платка и ключей, не было самых обыденных мелочей, которые, как правило, можно обнаружить в карманах у каждого. Так случается, если человек собрался в дорогу неожиданно. Схватил, что было под рукой, переоделся — и в путь.

— Вот еще что надо проверить, Александр Григорьевич, — не было ли вчера или позавчера во Владычкине выдающихся событий: свадеб, крестин, похорон. Похоже, что лыжник внезапно получил какое-то известие, собрался за пятнадцать минут, сунул в карман деньги, бутылку коньяка — и в путь...

Белозеров позвонил на Мшинскую участковому Рыскалову.

Оказалось, что никаких примечательных событий во Владычкине не произошло. Участковый по своей инициативе побеседовал со многими мшинскими охотниками и с председателем охотничьего общества: было похоже, что охотников в эти дни в лесу не видели.

— Ладно, хватит штаны просиживать, — поднялся Корнилов. — Еду во Владычкино. Сколько там до егеря и лесника?

— Километра три. Лыжи мы вам приготовили. Рыскалов ждет на Мшинской.

4

— Здесь Надежда Григорьевна Кашина живет, — сказал участковый Корнилову, когда, приехав во Владычкино, они остановились у первого дома. — Древняя старуха. Может быть, с кого другого начнем?

— Вот с древней и начнем.

Участковый постучал.

— Не заперто! — крикнули в глубине дома. Голос был звонкий, и Корнилов решил, что кричит ребенок.

Натыкаясь друг на друга, они прошли через темные сени. В избе было тепло, кисловато пахло квашней. Корнилов еще с порога заметил слабенький огонек в розовой лампадке перед иконой.

— Будьте добреньки, заходите!

Навстречу им шла чистенькая старушка в темном платье и белом, синими горошинами платочке.

— Какие мужчики-то в гости ко мне пожаловали, — ласково сказала она. — Да никак один-то городской. Ай, да никак второй с погонами, военный!

— Здравствуйте, Надежда Григорьевна, — поздоровался Корнилов.

— Вон вы какие проворные, — удивилась старушка. — И как величать меня, знаете!

— У нас разговор к вам, Надежда Григорьевна. Посидим, поговорим...

— Ты говори, милóй, говори, — замахала рукой старушка. — Я стоя-от лучше разумею. Да и насиделась я в жизни, иасиделась...

— Да садитесь вы, садитесь, — с легким раздражением сказал участковый, но Игорь Васильевич неодобрительно посмотрел на него, и лейтенант замолчал.

— Мы с Василием Васильевичем из милиции. Хотим кое о чем порасспросить вас.

Надежда Григорьевна кивнула:

— Василия-от я знаю. Со Струг он. Полины Рыскаловой сынок. Моёй свояченицы.

Лейтенант заерзал на скамейке, хотел что-то сказать, но не сказал.

— Самого-от я впервой вижу, но слыхала, слыхала, что он нонесь у нас в чинах. А ты, милой, отчего в пиджачке? Без погон-то? Агент?

Она сказала с ударением на «а». Корнилов засмеялся и кивнул головой:

— Агент, áгент. Из розыска я, уголовников ищу.

Надежда Григорьевна понимающе улыбнулась.

— Насчет Сашки Иванова небось? Ох и питух, не приведи господи. Всех у нас во Мхах перезюзил. И Главдю испортил. Она хоть и сиделица, а девка была хорошая. Передовка в лесхозе. От тюрьмы да от сумы грех зарекаться... А этот зюзюкало и ее к вину приохотил.

Говорила Надежда Григорьевна забавно — будто ручей журчал. Все время на одной ноте, без остановки. Приходилось постоянно вслушиваться, чтобы разобрать каждое ее слово.

— Возле Орельей Гривы парня-от он порешил? — вдруг спросила она.

— Где, где?

Надежда Григорьевна широко улыбнулась и, словно боясь обидеть гостей, прикрыла рот коричневой сухой ладонью.

— Да у леса, милой, у леса. Мы так горку называем — Орелья Грива. — Она наконец села на табуретку и повторила: — Сашка убил-от?

— Кто — мы не знаем. Не знаем даже, к кому шел убитый, — ответил Корнилов. — Вы что же, Надежда Григорьевна, одна живете?

— Одна, товарищ хороший, не знаю, как зовут тебя. Одна.

— Игорь Васильевич меня зовут.

— Я уж десять лет как одна, — стала рассказывать старуха. — Сын-то с дочкой в городе. Хорошо устроились. В прошлом

годе Верка, дочь-то наша, приезжала. Нарядная. Гостинцев мне навезла...

— А сын не приезжает?

— Не. Скучно ему тут. Приятелей нет. И девок не осталось. Все меня зовет. В город-от.

— Да, народу у вас во Владычкине совсем мало, — согласился Корнилов. — Заскучаешь.

— Из молодых-от кто? — стала прикидывать старуха. — Главдя-сиделица? С зюзюкалой связалась. Имени-то его и слышать не хочу! Федотовы. Сестрицы. Да Вовка, Верки Федотовой сын. Так ему еще и шашнадцати нет. За прогоном бабка Калерия. Она с печки не встает. Я ей поесть когда сготовлю, она и сыта неделю. А остальные навроде старой Кавалерии, — она хихикнула. — Это я так старуху зову. Шучу над старухой.

Игорь Васильевич улыбнулся, подумал: «Какая же старая должна быть эта бабка Калерия, если Надежда Григорьевна по сравнению с ней себя молодой считает!»

— Но родные-то, наверное, есть у каждого? Ездит кто из города? — спросил он. — Да ведь и Луга под боком?

— В Луге-от есть наши. Пустили там корешки. Так они сюда носа не кажут. Городскими себя считают. И в Питере наши живут. Как же, там родня есть! Да ведь редко ездют. Уж рази что летом. Зимой-то не ездют. У бабки Калерии сынок инженер. И сам уж лет пять не является, да хоть бы к празднику пятерку прислал матери. Тют-тю! Не то что мой.

— А ведь у вас такие леса вокруг! — сказал Корнилов. — Грибов, ягод, наверное, тьма. И дичь! Охотники-то приезжают?

— Не приезжают, милой. Разве что к егерю. А у нас во Владычкине Вовка Федотов один палит по воронам. Отцова берданка ему досталась, вот и палит.

— Выходит, что не густо у вас с населением, — улыбнулся Корнилов. — И родственники про Владычкино позабыли. От станции далековато.

Старуха помолчала.

— Ну а егерь с лесником, наверное, бирюками живут? Попробуй-ка до них добраться?

— А чего до них добираться? — удивилась старуха. — Не велик и крюк. Версты на две подале нас. Егерь-то с семейством живет. С женкой. Трое у них — мал мала меньше. Большенький, правда, в школу бегает. — Она засмеялась, опять, как в начале разговора, прикрыв рукой рот. — Волков не пугается... Ильич, лесник-от, один проживает. Одинокий. Ни детей, ни женки. Хотя кто его знает... Не мшинский он, не нашенский, но мужчина добрый, обходительный.

— Да ведь он здесь с незапамятных времен живет, — вставил молчавший все время участковый.

— С запамятных, с запамятных. Давно живет, да не наш. Не из Мхов, — строго сказала Надежда Григорьевна и, оборотясь снова к Корнилову, продолжала: — Он, Ильич-от, с пятьдесят шестого здесь. Аль на годок ране. Степан Трофимыч, старый

лесник, умер. — Надежда Григорьевна перекрестилась. — Наш был братец двоюродный, Ильич-то и приехал на его место.

Надежда Григорьевна задумалась, рассеянно глядя в замерзшее оконце. Корнилов не торопил ее, ждал, когда сама заговорит.

— Степан-от тоже одинокий был, — наконец заговорила старуха. — Уж такой одинокий! Никого ему, окромя леса, не надо. Вот охотник-то был. У меня подушки пером набиты — все он, брат. Дичи настреливал! Ружье у него большое, да-а-алеко стреляет. С подзорной трубой...

Игорь Васильевич внимательно слушал Надежду Григорьевну, стараясь представить себе по ее рассказу всех обитателей деревни, их возраст, интересы. Ведь к кому-то из них направлялся этот человек... И Сайпан прожил здесь, во Владычкине, долгое время. Ходил, наверное, к кому-то в гости, говорил о жизни. Был на виду. В такой деревушке от людских глаз не скроешься...

— А Ильич-то после него, после Степки, основался, — продолжала старуха. — Говорят все — одинокий, а мне одна баба сказывала: сын у него был. Только сызмальства поссорился с отцом. С войны.

— И что ж, сын к леснику не ездит? — поинтересовался Корнилов.

— Не ездит, батюшка. Да ведь и он про сына молчит. Одинокий, говорит, я. А баба-от, ну та, что про сына мне рассказывала, сама зайцо́вская. С-под Сиверской. Знает его. Чегой-то там у них вышло, а чего — не помню.

— А где живет эта женщина?

— Зайцовская, говорю, она. Полиной зовут, а фамилии я не помню.

— Тетя Надя, а к егерю да к леснику гости-то ездят? — хмуро спросил участковый.

— Ходют люди, — сказала Надежда Григорьевна. — А гости или по делу — не скажу, откуда мне, старухе, знать. Вот что родственников у них нет, об этом я сказывала. У лесника-от гатчинский один часто бывает. Лесхозовское начальство. Тот ездит. Дружки, что ли. Форсистый такой.

— Молодой или старый? — спросил Корнилов.

— Помоложе, чем сам Ильич.

Корнилов посмотрел вопросительно на участкового.

— Леснику за шестьдесят, товарищ подполковник, — ответил тот.

— А вы, Надежда Григорьевна, видели этого дружка? Как он одевается?

— Что-то я и не скажу. Помню, плотный, форсистый, а как одет... Нет, не припомню. На голове вот малахай рыжий...

— Чего?

— Шапка, говорю, большая, мохнатая, рыжая-рыжая... Да что мы все гутарим да гутарим, — спохватилась она. — Давайте почаевничаем. Я счас, быстро. — Старуха встала, пошла к печке.

Корнилов тоже поднялся.

— Нет, спасибо, хозяюшка. В другой раз чайку попьем. Вы нас не ругайте, что от дела оторвали.

— Да какие у меня дела? — искренне изумилась старуха. — Поболтать — вот самое первое у меня дело.

— Надежда Григорьевна, — спросил Игорь Васильевич, надевая пальто. — А ружье-то вашего брата, с подзорной трубой, оно кому досталось?

— Ружье-то? — задумалась старуха. — Да никому не досталось. Никому. Степка-то, видать, или потерял его перед смертью, или продал. После смерти не нашли ружья. Сын-то мой, Славик, переискался. Думал, от дядьки в наследство останется.

— А не могло это ружье к зюзюкале попасть, к Клавдиному дружку?

— Ах, к этому-то! — закивала Надежда Григорьевна. — Да ведь он у нас пришлый. А братец мой давно уж помер. — Она задумалась. — Рази что через Главдю... Неужели Степка ее отцу ружьишко-то подарил? Они ведь тоже братья, только двоюродные.

— А что, отец Клавы жив? — спросил Корнилов.

— Помер. Года три как помер, — старуха перекрестилась. — Был бы жив, рази допустил к себе в дом эту чучелу?

Уже в дверях он спросил старуху:

— Надежда Григорьевна, вы не вспомнили, как лесникова дружка-то звать? Того, что из Гатчины ездит.

— Так ты, миленький, и не спрашивал меня, как зовут-от. Все про одежду говорил. Мокригиным его зовут. В лесхозе он какая-то шишка.

Корнилов вышел вслед за участковым на улицу и зажмурился от яркого света.

— Ну что, Василий Васильевич, считаешь, что и древних старух бывает полезно послушать? А?

Участковый смущенно развел руками.

Они тихонько пошли по дороге, махнув шоферу, начавшему заводить мотор, чтобы ждал. Накатанная санями дорога слегка поскрипывала под ногами. Воробьи трепали клочки сена — видно, недавно перевозили с поля стога. Корнилов шел и думал про винтовку, о которой рассказала Надежда Григорьевна, и о лесниковом друге, франтоватом, в мохнатой рыжей шапке. Убитый лыжник был тоже в рыжей шапке...

— Товарищ подполковник, сюда, — дотронулся участковый до руки Корнилова. — Пришли.

Они остановились у небольшого красивого дома, окрашенного яркой красно-коричневой краской, с белыми вычурными наличниками. К дому вела узенькая — двоим не разойтись — тропка. «И здесь не густо с населением», — подумал Корнилов и остановился, разглядывая старую лыжню, перечеркнувшую крест-накрест садик перед домом. В ярких лучах солнца лыжня проступала отчетливо и зримо, словно на фотобумаге, опущенной в проявитель. А ведь густой пушистый снег, валивший всю

прошлую ночь, толстым слоем запорошил ее. «Солнце низкое, тень дает на малейшей неровности, — подумал Корнилов. — Старые следы всегда проступают в яркую солнечную погоду. А что, если на то место, где лыжника убили, посмотреть сверху? С вертолета? Охватить взглядом всю поляну?..»

— Товарищ подполковник...

— Сейчас, лейтенант, сейчас! — Корнилов обернулся, взглянул из-под руки на солнце. Оно было предательски низко. Но стрелки часов еще только приближались к двенадцати.

— Василек, когда нынче солнце заходит?

Участковый растерянно пожал плечами.

— Эх ты, голова садовая! — усмехнулся Корнилов.

— В пять уже темки, товарищ подполковник, — сказал лейтенант.

«А если с высоты не просто взглянуть, а провести аэрофотосъемку? — думал Корнилов. — Все следы проступят. Ведь там, где след, снег уплотненный. Надо с экспертом посоветоваться. Должны же быть следы, черт возьми!»

— Знаешь что, Василий, — сказал он. — Ты иди один, а я поеду в Лугу... Надо мне туда срочно.

— А как же розыск? — недоумевающе посмотрел на Корнилова участковый. На лице его отразилось разочарование, словно у мальчишки, которого в самую решительную минуту покинул товарищ.

— Ты и сам все сделаешь в лучшем виде. Помни только о главном: у кого есть друзья, родные в Ленинграде? К кому могли бы приехать или приезжали в эти дни? И осторожно расспроси о том, кто бывает у егеря, у лесника. Но осторожно! Понял? — Корнилов на секунду задумался. — Поговори с ними о том о сем. Не ждали ли кого. Ружьишко увидишь на стене — спроси, зарегистрировано ли. Нет ли еще оружия. Будь с людьми попроще, не выспрашивай, а разговоры говори... Не торопись, а то потом больше времени потеряем. Вон одна только Надежда Григорьевна сколько полезных вещей нам с тобой наговорила!

Участковый согласно кивал головой. Этот немолодой, хмуроватый подполковник все больше и больше нравился ему, и лейтенанту было жалко, что Корнилов уезжает в Лугу, а не пойдет вместе с ним по другим деревенским избам.

— Машина, Василий Васильевич, за тобой часика через три вернется.

5

Всю дорогу от Владычкина до Луги Корнилову казалось, что машина еле движется, и он уговаривал Углева поднажать...

Белозеров, увидев подполковника входящим в кабинет, вскочил, глядя на него во все глаза, и изумленно сдвинул брови.

— Вопросы потом, — подняв ладонь, сказал Корнилов, на ходу сбрасывая пальто и шапку. — Пошли машину во Владычкино за участковым. И срочно поручи кому-нибудь выяснить,

есть ли у вас в Луге вертолеты или «кукурузники», приспособленные к аэрофотосъемке.

— К аэрофотосъемке? — еще больше удивляясь, переспросил Белозеров.

— Давай, давай! И если есть, пусть попросят разрешения подняться и сфотографировать район Владычкина. А меня срочно соедините с Гатчиной, Финогеновым. А потом с Ленинградом. С нашим управлением.

Сначала дали Гатчину. Когда Корнилов, переговорив с начальником уголовного розыска Гатчинского района Финогеновым, положил телефонную трубку и с наслаждением закурил, вернулся капитан, выходивший распорядиться насчет машины для участкового и вертолета.

— Товарищ подполковник, машину за участковым послал, про авиацию сейчас доложат. Заму поручил связаться... — Потом он сел напротив Корнилова и молча уставился на него, всем своим видом он давал понять, что ему не терпится узнать, почему Корнилов так скоро вернулся из Владычкина и зачем ему понадобилась вдруг авиация. Но подполковник не торопился с новостями и только спросил его:

— Из управления не звонили?

— Бугаев звонил. Просил сказать, что один автобусный билет — свежий, за тринадцатое января. С десятого маршрута. Они пытаются установить, не пропал ли где-нибудь в районе следования «десятки» человек... — Белозеров неодобрительно хмыкнул. — Ищут иголку в стоге сена!..

— Что ж, по-твоему, сложа руки сидеть? — недовольно произнес Корнилов. — Может, ты новостями порадуешь?

Белозеров поскучнел:

— Ничего нового, товарищ подполковник. Сайпан твердит одно и то же. Пистолет, говорит, продал кузнецу из Пехенца.

— Не густо, — вздохнул Корнилов. — А про винтовку он ничего не говорил?

Белозеров встрепенулся:

— Про винтовку? Нет, ничего. А что, нашли?

— Ничего не нашли, — махнул рукой Корнилов. — Просто одна старуха рассказывала, что много лет назад у старого лесника винтовку с оптическим прицелом видела.

— Участковый там про эти винтовки все вызнает, — успокаиваясь, сказал начальник уголовного розыска. — А вы чего же так рано вернулись, Игорь Васильевич? Случилось чего?

Корнилов хотел ответить, но в это время как сумасшедший зазвонил телефон — дали управление.

— Соедините меня с Васильчиковым из НТО, — попросил Корнилов у телефонистки.

Васильчиков отозвался сразу же.

— Марлен Александрович, срочно нуждаюсь в твоей консультации.

— Это ты, сыщик? — спросил Васильчиков. Он всегда так звал Корнилова. — Мог бы и зайти.

— Я из Луги, — сказал Корнилов. — Дело срочное, слушай внимательно. Можно ли с помощью фотоаппаратуры снять на снегу старые следы?

— Что значит старые? — удивился Васильчиков.

— Ну не очень старые... Вчерашняя лыжня. Потом был снег, и ее замело, но ведь снег под лыжами уплотнился, понимаешь? Плотности-то разные!

— Так-так-так, — неожиданно быстро пропел Васильчиков.

Корнилов искоса взглянул на Белозерова. Тот, наверное, все понял и, весь подавшись к телефону, с напряжением ждал окончания разговора.

— Вы же восстанавливаете выбитые на машине, а потом спиленные номера по принципу изменения структуры металла, разной его плотности. И здесь так же, — сказал Корнилов. — Разная структура снега.

— Так же, так же! — недовольно проворчал Васильчиков. — Ты же не повезешь ко мне в лабораторию свой прошлогодний снег со следами. А я, естественно, не повезу к тебе свою стационарную аппаратуру.

— А что, нет какого-нибудь простого способа? — с надеждой спросил Корнилов и заговорил настойчиво и увлеченно: — Ты понимаешь, Марлен, этот старый след я и так увижу. Если смотреть против низкого солнца, он всегда проступает слабой тенью, но мне его сфотографировать надо. Понимаешь? Сфотографировать!

— Чего-то интересное говоришь, — отозвался Васильчиков. — Но пока не соображу... Таких экспериментов мы еще не проводили. В космическом масштабе.

— Эх ты! — подосадовал Корнилов. — Тугодум. Попробую без тебя обойтись.

— Попробуй обойтись без меня, но с поляризационным фильтром, — сказал Васильчиков.

Корнилов положил трубку, но телефон тут же зазвонил снова. Уже докладывал Финогенов из Гатчины: Григорий Иванович Мокригин, главный бухгалтер лесхоза, жив-здоров. В данный момент у себя на работе. Одинок. Живет на Пролетарской улице.

— А что еще интересует? — спросил Финогенов.

— Жив-здоров, значит? — переспросил Корнилов. — Это, собственно, и хотел узнать... — Он помедлил немного в раздумье и увидел, как дверь кабинета растворилась, и вошел Селуянов, заместитель Белозерова. Заметив, что подполковник разговаривает по телефону, Селуянов на цыпочках прошел через кабинет, сел рядом с Белозеровым и что-то зашептал ему на ухо.

«Договорился он с авиацией или нет?» — с тревогой подумал Корнилов и сказал Финогенову:

— Ну все. Спасибо. — Положив трубку, Корнилов обернулся к Селуянову: — Как авиация?

— Все в порядке, товарищ подполковник, прогревают мото-

ры, — сказал тот, широко улыбаясь. — Насилу отыскали с аппаратурой. У землеустроителей. «Кукурузник». А вертолетов нет.

— Летим, летим, — весело пробормотал Игорь Васильевич и схватился за пальто.

Белозеров тоже вскочил со стула, с удовлетворением потирая руки. Глаза его блестели.

— Это вы здорово про самолет! — гудел он. — Я опытный лыжник! Не раз замечал, что старая лыжня сквозь порошу темнеет. Если против солнышка глядеть. А ближе к весне, чуть солнышко пригреет, все старые лыжни проступят, словно паутиной снег затянули.

— Давай, «опытный лыжник», поворачивайся! — поторопил его Коринлов. — Не то солнышко тю-тю. И лыжия тю-тю!

Они радовались, как дети, перебрасывались шуточками, пока одевались. Селуянов смотрел на них с недоумением. Он не слышал разговора Коринлова с экспертом и никак не мог понять, зачем подполковнику понадобился вдруг самолет.

— Витя, оставайся в отделе за старшего, — сказал Белозеров Селуянову, который так ничего и не понял. — Распоряжайся тут. Мы скоро.

На заснеженном поле стояли в ряд зеленые Ан-2 с большими баками по бортам. Один, без баков, какой-то франтоватый, может, из-за того, что окраска у него была не густо-зеленая, а блекло-голубая, расположился поодаль. Пропеллер у него бешено крутился, вздымая облако искрящихся на солнце снежинок. Коринлов вылез из машины. За ним, покряхтывая, выбрался Белозеров. Из небольшого вагончика, в каких обычно живут строители, только полосатого, спустился по лесенке мужчина и неспешно пошел им навстречу. Видно, заметил машину из окошка. Подойдя, спросил:

— Вы из милиции?

— Из милиции, из милиции, — нетерпеливо проговорил Белозеров, постукивая ботинком о ботинок. — Скоро полетим?

Мужчина улыбнулся:

— Сейчас и полетим. Мотор, как видите, уже запущен. — Он протянул руку: — Разрешите представиться. Главный инженер землеустроительной экспедиции Спиридонов Иван Степанович.

Лицо у Спиридонова, широкоскулое, с редкими волосинками на подбородке, было покрыто красноватым деревенским загаром. А его глаза-щелочки из-под сильно прищуренных век смотрели с такой веселой хитрецой, что Коринлову вдруг захотелось подмигнуть инженеру.

— Погоня? — спросил Спиридонов, когда они пошли к самолету. И, не дождавшись ответа, спросил снова: — А зачем съемочная аппаратура?

— Нам следы сфотографировать нужно, — ответил Коринлов. — Следы на снегу.

— Где снег, там и след, — многозначительно усмехнулся Спи-

ридоиов. — Аппаратура у нас, правда, для других целей... Но попробуем.

— Товарнщ Спиридонов, а поляризацнонный фнльтр у вас есть?

— А как же, найдется.

— А снимать вы будете? — с сомненнем спросил Белозеров.

— Мы будем сннмать, — спокойно ответил Спирндонов. — Какие еще вопросы? — И опять так хитро сощурился, что Корнилов чуть ие рассмеялся.

— Далеко лететь-то? — поинтересовался главный ннженер. Он шел не торопясь, то н дело оглядываясь то на Корнилова, то на Белозерова, будто хотел их получше рассмотреть и запомнить.

— Да недалеко. На Мшинскую. Только поскорей, поскорей. Какне, к лешему, в потемках следы, если промешкаем?

— И-н, на Мшнскую! — разочарованно протянул Спирндонов. — Я думал, куда подальше.

В салоне самолета молоденькнй механнк что-то ожнвленно обсуждал с пилотом, тоже молодым, с иебольшой черной бородкой и усами.

Через несколько мниут самолет резко дернулся, помчался по полю, жестко подскочив на ухабах, оторвался от земли и, слегка покачиваясь, пошел над домами. Корннлов с нтересом смотрел в иллюминатор. Тень от самолета все время бежала впереди, словно лоцмаи, указывающий путь.

Спиридонов коичил копаться в приборах и пересел поближе к Корнилову. Разговор на отвлеченную тему, похоже, не устраивал главного инженера, и ои, поблескивая своими хнтрющими глазами и сощурившись, спросил:

— Чьи следы сиимать-то будем? — И, не дожидаясь ответа, добавил: — Это я к тому, что аппаратуру приготовить надо. Сейчас ведь прилетим.

Корнилов объясиил ему и сиова уткиулся в иллюминатор.

— Вон озеро Вялье! — крикнул Спирндоиов и показал рукой направо.

Огромиое, вытянутое на миого километров заснеженное поле, отороченное сосиовым мелколесьем, расстилалось внизу. В одиом месте, самом узком, на льду темнело иесколько чериых точек. Кориилов не сразу сообразил, что это рыбаки.

— Велика Федора, да дура, — проворчал Спиридонов. — Вот только там, где рыбаки, и глыбко. А болота вокруг... — Ои хотел сказать еще что-то нелестное об озере, но в это время Белозеров, оторвавшись от иллюминатора, крикнул:

— Владычкино! Давайте сиижаться.

Самолет низко-иизко проиесся иад деревней.

— Ну, что сиимать-то? — нетерпеливо спросил Спиридонов.

— Сделаем еще круг, зайдем против солнца, — попросил Корнилов. Он вошел в кабину пилота и, стоя за его спиной, виимательно вглядывался в засиеженные поля. — Пройдем правее этой тропинки. Видите? Вот идет от деревни.

Пилот кивнул головой.

Самолет сделал крутой вираж и полетел, чуть не задевая за маковки елок, снова к тому месту, где тропинка выныривала из лесу.

— Начинайте съемку! — крикнул Игорь Васильевич, обернувшись к Спиридонову. Инженер кивнул.

В том месте, где нашли убитого лыжника, весь снег был истоптан, словно там танцы устраивали. Были заметны и стежки следов на расстоянии метров двухсот — двухсот пятидесяти от тропы. Следы эти описывали огромную дугу и возвращались к месту происшествия. Корнилов догадался, что это прошли они с участковым. Ничего они тогда не заметили, только свежий пушистый снег... И вдруг рядом с этой стежкой Корнилов увидел лыжню. Нет, он не увидел ее, а скорее угадал, что эта легкая голубоватая полоска, похожая скорее на тень от проводов, и есть припорошенная свежим снегом лыжня.

— Капитан! — крикнул Игорь Васильевич, призывно махнув рукой. Белозеров стал рядом с ним. Впился глазами в снежное поле.

— Видите?

— Вижу. А вот на горке натоптано. И след обрывается. Удобное место!

Корнилов проследил за ниткой лыжни. Она и впрямь обрывалась на горке, среди кустов. Здесь лыжник, наверное, стоял долго, а может быть, и лежал...

Но все это они видели лишь считанные секунды, самолет пронесся над горкой, и вот уже мелькнула внизу деревня.

— Еще кружок! — попросил Корнилов. «Вот оно, — заволновался он, — человек пришел на горку и там остановился. Там, может быть, лежал, ожидая, когда из леса выйдет по тропинке лыжник. Из винтовки достать — плевое дело...»

Теперь уже пилот вывел машину прямо на Орелью Гриву. Лыжня уходила с горки в кусты, потерялась там, но потом появилась вновь, пересекая большую поляну. И снова пропала в густом лесу. Игорь Васильевич огорченно чертыхнулся, но снова увидел лыжню в редколесье. Белозеров вдруг подтолкнул его легонько в бок и сказал пилоту:

— К домику!

Впереди, на большой поляне, стоял бревенчатый дом. Вид у него был нежилой. Может быть, из-за того, что не вился дым из трубы? Но от дома вела тропинка, убегала сквозь лес в сторону деревни.

— Кордон Замостье, — крикнул пилот.

Это был дом лесника Зотова. Лес стал пореже, и Корнилов увидел припорошенную лыжню, а рядом с нею еще одну, совсем свежую. Поляну перед домом пересек еще один, новый след.

— Н-да, — разочарованно проворчал Белозеров. — Следов-то здесь хватает.

— А ты что ж, думал, лесник в лес не ходит? — спросил

Корнилов. — Но главное-то мы узнали — след с Орельей Гривы идет по направлению к дому лесника. Заметил? А остальные следы свежие. Сегодняшние. Неужели не отличишь?

Капитан с сомнением хмыкнул.

— Не хмыкай, завтра с утра поедешь с группой в этот район. Пошлешь кого-нибудь по следу. Разберемся досконально. Где наша не пропадала! — И сказал пилоту: — Летим в Лугу!

Усевшись на скамейку, он спросил Спиридонова:

— Как вы думаете, будет заметен этот старый след на снимке?

Спиридонов расплылся весь в хитрющей улыбке.

— С поляризационным фильтром, может, и получится. Да ведь постараемся. Наверное, дело серьезное?

Ему все-таки очень хотелось узнать подробности.

— Человека здесь убили, — сказал Игорь Васильевич. — Ночью был снег, следы замело. Вот решили попробовать с самолета снять...

— А если бы самолета не оказалось? — поинтересовался Спиридонов.

— Пешочком пришлось бы каждый сугроб ощупывать, — ответил Корнилов. — Времени бы убили много...

И подумал: «Надо там поискать гильзы. Хотя, наверное, и нету их. Не оставил стрелок гильзы. Не забыл прихватить с собой. Но проверить нужно...» Он сказал об этом Белозерову. Тот кивнул:

— Любопытный след, товарищ подполковник. Ох любопытный! Изучим его вдоль и поперек, обнюхаем...

— Шутки шутками, — сказал Корнилов, — а вы постарайтесь найти такой участок, где след свежим снегом не запорошило. Где-нибудь под елками... И знаешь еще что, Александр Григорьевич, завтра с утра проведите там на месте эксперимент. Определите, можно ли увидеть с этой горушки стоящего на тропинке человека? Ну и главное — положение трупа ведь зафиксировано?

— Да. Я же показывал вам фотографии, — насторожившись, сказал Белозеров.

— Восстановите позу убитого, определите направление выстрела. Удивляюсь, почему только сразу это не сделали?

Капитан виновато вздохнул и с опаской огляиулся на Спиридонова, который сидел, навострив уши, словно лис у мышиной норы.

— Если сойдется все на Орельей Гриве, — задумчиво сказал Корнилов, — имеем шанс.

Он замолчал и стал смотреть в иллюминатор. Уже совсем стемнело. Кое-где мерцали голубоватые холодные огоньки, в одном месте горел большой костер. Наверное, жгли на лесной делянке сучья — языки пламени взвивались высоко вверх.

«Вот ведь как случается, — думал он. — Обычно чем быстрее поспел на место, тем больше шансов обнаружить следы.

Свеженькие, первозданные. Тут же в первый день из-за пасмурной погоды намека на следы от лыж не было видно. А прошло время — солнышко эту лыжню и высветило».

6

Около семи вечера вся группа собралась в кабинете начальника угро. Корнилов разложил на столе еще чуточку сыроватые фотографии. Спиридонов, наверное, специально передержал их в проявителе, и снимки получились очень контрастные.

Следователь прокуратуры, ведущий дело, сидел напротив Корнилова, пытаясь придать лицу безучастное выражение. Но это у него плохо получалось.

— Давайте начнем, — сказал Корнилов. — Обменяемся новой информацией. Только коротко. У вас нет возражений, товарищ Каликов? — обернулся он к следователю. Тот кивнул головой. — Юрий Евгеньевич, начни ты!

Белянчиков вытащил из нагрудного кармана крошечный кусочек бумаги и положил перед собой.

— Я еще раз осмотрел убитого, его одежду. Убитый, по-видимому, художник. Мне показались странными его ногти — как будто цветная грязь под ними... В лаборатории исследовали, говорят: краска. Гуашь. А в кармане я нашел вот это... — Белянчиков вытянул из кармана целлофановый пакетик, в котором лежал маленький красный осколок, похожий на осколок школьного мелка, только потоньше. Участковый поднялся со своего стула, пытаясь через голову Юрия Евгеньевича разглядеть, что там он выложил на стол.

— Василь Василич, — сказал Корнилов, — подгребай к столу, а то шею свернешь.

Рыскалов покраснел и, неловко громыхнув стулом, пересел к столу. Следователь тоже смотрел на пакет, уже не скрывая любопытства.

— Это сангина, — невозмутимо продолжал Белянчиков. — Кроме как у художников, ее вряд ли у кого найдешь. Я тут проконсультировался с одним здешним живописцем... Это сангина французская. Очень хорошего качества... У нас только через Худфонд ее распределяют. — Он сделал паузу и сказал сердито: — Если бы огрызок сангины нашли вчера утром, мы сегодня уже знали бы имя убитого.

Корнилов посмотрел на Белозерова. У того уши сделались пунцовыми, а следователь заерзал на стуле.

— Я передал в управление, чтобы выяснили в Союзе художников, у кого могла быть французская сангина... Звонил еще раз Бугаев. Сообщил, что по номеру билета определили не только маршрут, но и приблизительное место, где художник садился в автобус. Это на Петроградской. Между улицей Попова и Введенской. Да, и вот еще что: крепление на одной из лыж сломано. Скорее всего, что часть дороги лыжи на этом художнике ехали, а не он на них... У меня все, — закончил Белянчиков и,

насупившись, уставился на следователя своими немигающими глазами.

— Есть вопросы к капитану? — спросил Корнилов. Все молчали, и только участковый поднял было, как школьник, руку и тут же отдернул. Видно, хотел что-то спросить, да застеснялся.

— Что дал дополнительный опрос на станции? — нарушил тишину Белозеров.

— Ничего нового. С пятнадцатичасового поезда в сторону Владычкина пошли двое. Один с лыжами, другой без. Дежурный по станции говорит, что мог бы опознать человека, шедшего без лыж. Установить людей, которые приехали этой же электричкой, пока не удалось.

— Очень важно, что дежурный сможет опознать пассажира, — сказал Корнилов.

— Некого только предъявить ему на опознание... — невесело ответил Белянчиков.

— Василий Васильевич, а что дал ваш поход?

Участковый хотел встать, но Корнилов остановил его:

— Сидите, сидите.

— Товарищ подполковник, егерь Вадим Аркадьич утверждает, что у лесника наверняка винтовка есть, — торопясь, начал участковый. — На Николу он лося свалил...

— Ты давай поточней, — сердито сказал Белозеров, — числа называй. А то «на Николу»!

— Девятнадцатого декабря, — поправился участковый. — Только егерь сам винтовку не видел, а нашел лося. Уже освежеванного. По ране определил — из винтовки стреляли. И женка егерева подтверждает — она рану видела.

Все засмеялись.

— Ну раз женка видела, тогда дело в шляпе, — сказал Белянчиков. — А почему он думает, что это лесникова работа?

— Следы, товарищ капитан. К самому кордону. Лесниковы, говорит, широкие лыжи.

— Протокол составил? — строго спросил следователь.

— Не составил, — тихо сказал участковый, будто сам и был виноват в том, что протокол не составлен. — Пожалел он его. По-соседски.

— Ты у лесника был? — тревожась, спросил Корнилов.

— Был, товарищ подполковник. Только он, наверное, выехатчи. Запертый дом. Одна собака в сенях вуёт.

— Интересно, интересно, — глубокомысленно произнес Белозеров и посмотрел на подполковника.

— Молодец, участковый, — похвалил Корнилов и спросил у Белозерова: — У вас, Александр Григорьевич, по версии «Сапан» есть что-нибудь новенькое?

— Есть, Игорь Васильевич, — ответил начальник уголовного розыска. — Наши только что произвели еще один обыск у кузнеца Левашова. Жена показала, где у него спрятан пистолет. В бочке с капустой держал, товарищ подполковник. Закатал в полиэтилен. Придется дело заводить!

— Экспертизу уже провели, — сказал следователь. — Из пистолета очень давно не стреляли. Мое мнение: версия «Санпан» отпадает. Многие люди подтвердили, что в день убийства Полевой был в Пехенце, напился до бесчувствия и на попутке отвезен домой...

— Что касается охотников, — продолжал Белозеров, — то и эта версия отпадает. По оперативным данным, за последнюю неделю не было в том районе охотников. И местные мужички на охоту не выходили...

Корнилов слушал Белозерова и невольно сравнивал его с Беляничиковым. Вместе учились, наверное, одногодки, а как небо и земля. Юрий Евгеньевич подтянутый, сосредоточенный, в черных волосах ни одного седого волоска. Вот только угрюмоват. А Белозеров располнел, чуточку обрюзг, голова совсем седая... Говорит — руками машет, словно мельница. Да и следы неряшливости заметны. Нет, что ни говори, работа в большом, слаженном аппарате заставляет человека следить за собой, подтягивает. Хотя работник Александр Григорьевич и хороший, но уж какой-то очень домашний. А может быть, это и неплохо, что не сухарь?

Когда Корнилов, раздав каждому из присутствующих по фотографии, сделанной Спиридоновым, рассказал о своих предположениях, в кабинете стало совсем тихо.

— Неужели заметенная снегом лыжня так хорошо видна? — удивился следователь Каликов, первым нарушив молчание.

— Не так уж и хорошо, — сказал Корнилов. — Но разглядеть можно.

— Да, похоже, что к леснику один след ведет, — со вздохом произнес участковый. — Значит, он. А ведь все говорят, хороший мужик. Я вот беседовал...

— Да, это уже кое-что значит! — прервал его Корнилов. — Версия, пожалуй, самая перспективная. Завтра утром надо пойти по следу и провести следственный эксперимент на месте убийства. И взять разрешение на обыск и задержание лесника. Если он появится. Ну, это уже ваше дело. Справитесь теперь без нас. А мы с Юрием Евгеньевичем поедем в Ленинград. — Он посмотрел на Беляничикова.

Тот оживился:

— Конечно, поедем. Ехали-то на день, а сидим вторые сутки!

Несмотря на настойчивые уговоры Белозерова, Корнилов отказался даже поужинать.

— А я думал, вы дождетесь результатов, — уныло пробормотал Белозеров.

— Сами не маленькие, — усмехнулся Корнилов. — Дело-то сделано! Чего же нам тут торчать? Мне шеф до утра срок дал. — И вдруг неожиданно вспылил: — Хватит! Ты что же, считаешь, что мы двужильные? — Он перевел дыхание и сказал уже тихо, с укором: — Ты меня спроси, сколько вечеров за последние два месяца я дома провел? Да не больше десяти... — Корнилов хотел еще сказать, что книги ему приходится читать

по ночам, но сдержался. «Белозеров-то тут при чем? — подумал он. — Сам иебось минуты свободной не имеет».

Белозеров шел за Корниловым понурый, лицо у него было расстроенное.

«Чего это разошелся шеф, — думал Белянчнков, — иервы сдавать стали, что ли?» Таким раздраженным ои видел Корнилова редко.

Онн уже вышли на улицу, к машиие, когда Белозеров робко спросил:

— Вы, может быть, участкового подбросите до Мшиской? Электричка ие скоро...

— Пусть едет! — махнул рукой Кориилов.

Он с Белянчнковым сел на заднее сидеиье, посадив участкового рядом с Углевым. Белянчиков сразу как-то съежился в своем углу, поднял воротник дубленки и через несколько миiут стал похрапывать. А Кориилов и хотел заснуть, да никак ие мог.

«Зря я распалился, — пожалел ои. — Обидится Белозеров теперь!»

Им овладела вдруг апатия, безразличие ко всему на свете — и к тому, чем он заиимался здесь, в Луге, двое суток, и к лыжне, которую ои отыскал. «Ну и что? Очередиое дело, — думал он. — Сколько их было! И сколько будет. А все одно и то же, одно и то же. Мельтешишься, суетишься, а годы идут, и на свете столько всего интересного, но не для тебя. Все мимо, мимо. Грубеть я стал, явно грубеть. Вбили себе в голову, что стараемся дни и ночи для людей, а ведь и сами мы люди. Себя забываем, для себя ие стараемся. А для кого мы старались эти двое суток? Для кого? Для убитого художника, которого даже, как звать, не знаем? Ему ведь уже все равио».

Потом Корнилов вспомнил о том, что ему предстоит еще неприятное дело — писать отзыв иа одну диссертацию. Диссертация слабая. Повторение старых прописных истии. Чего стоит хотя бы эта врезавшаяся в память фраза: «Совершая преступлеиие, преступник во многих случаях старается согласовать свои действия с конкретной обстановкой». Да ведь это каждому известио еще со студенческой скамьи! Зачем же толочь воду в ступе, ради чего выдавать баиальность за открытие? Ради прибавки в жалованье? За такие диссертации иадо бы лишать права заниматься научной работой! Но шеф просил поддержать. Он официальный оппонент, неудобно устраивать погром. Придется писать уклончиво, хитрить.

— Товарищ подполковник, — вдруг тихо сказал участковый, нарушив его невеселые думы. — А почему вы так поспешили уехать из Владычкина? После разговора со старухой Кашиной?

Корнилов вздохнул, ему не хотелось ничего вспоминать, вообще не хотелось говорить, но в голосе участкового была такая искреииая заинтересованность, что он не смог промолчать.

— Она, лейтеиант, про лесиикова дружка говорила, помиишь? Видный, говорит, мужчина, в большой рыжей шапке. Я и вспо-

мнил — убитый тоже был в большой шапке. Фигуристый... Решил позвонить, проверить...

— Понятно, — сказал участковый. — А нас в школе учили, что надо все последовательно делать. Проверять все версии.

— Правильно вас учили. Только надо еще вовремя за самую перспективную ухватиться. А то увязнешь в этих версиях, как в сугробе... А тебя одного я решил оставить, когда заметил на снегу против солнца старую лыжню. Попытаю, подумал, счастья. И видишь — повезло. Про карабин — бесценные сведения. Тебе в уголовный розыск надо переходить.

— Ну уж! — смущенно пробормотал участковый и спохватился. — Надо бы остановиться. Мне выходить.

Тут только Корнилов заметил, что они, проскочив центр Мшинской, едут уже по окраине.

— Ты чего же не сказал, что приехали? — удивился он. — Саша, давай развернемся, подбросим лейтенанта до центра.

— Да что вы, что вы! — запротестовал участковый. — Мне тут десять минут. До свидания, товарищи!

Корнилов протянул ему руку.

— Будь здоров, Василий! Научись еще со старухами говорить, буду в угрозыск рекомендовать.

— Чего таким сосункам в розыске делать? — проворчал Углев, когда они тронулись дальше. — Пускай тут самогонщиц гоняет.

Корнилов усмехнулся, но промолчал. Ему лень было разговаривать, объяснять. Хотелось ехать, ехать бесконечно, смотреть по сторонам на заснеженный лес, на редкие, плохо освещенные деревеньки и не думать ни о чем.

7

На следующий день утром, просматривая у себя в кабинете оперативную сводку происшествий за день, Корнилов подумал о том, что же скажет лесник, когда к нему нагрянут Каликов с Белозеровым. Сам ли он стрелял или кто-то пришлый, какой-нибудь гость или охотник вышел с кордона, чтобы всадить пулю в лыжника? Значит, ждали того человека. С трехчасового поезда ждали.

Все время звонил телефон. «Два дня не посидел в управлении — сразу всем понадобился!» Из гороно напоминали, что через пять дней его доклад перед директорами школ о профилактике преступности. Девушка из общества «Знание» просила выступить с лекцией на заводе имени Ломоносова. Позвонил Белянчиков. Доложил, что находится в Худфонде, пытается узнать, кто мог купить через магазин Худфонда французскую сангину.

— Ты очень-то не надейся, — сказал ему Корнилов. — Если у них такое же снабжение, как и везде, то дефицитные краски и сангину скорее всего у спекулянтов достают.

Потом позвонил Грановский, главный режиссер театра «Балтика». Просил завтра прийти на репетицию. Он ставил пьесу «Поличный вызов» по роману Сорокина «Бармен из «Астории».

Пьеса об уголовном розыске, и Корнилова пригласили консультантом. Да какое там пригласили! Грановский просил начальника управления порекомендовать опытного сотрудника, и Владимир Степанович назвал Корнилова.

— Дружочек, — позвонил Игорю Васильевичу месяца полтора тому назад режиссер, — вы назначены ко мне консультантом. Репетиции начнутся через неделю. Будьте добреньки полистать пьесу...

Игорь Васильевич слегка опешил от такого напора и от «дружочка», но сказал твердо:

— Увы, Александр Кириллович, пьесу полистать не смогу, уголовные дела листаю. Кого-нибудь другого поищите. И рад бы в рай...

— Ну-ну, — только и произнес Грановский и повесил трубку.

«А в общем-то было бы интересно побывать на репетициях, познакомиться с театральной кухней, — с некоторым даже сожалением подумал Корнилов. — Но время, время...»

Однако прошло не больше пяти минут, и загудел прямой телефон начальника управления.

— Товарищ подполковник, — сказал Владимир Степанович, — вы что же меня подводите? Я вас любителем Мельпомены представил, а вы известному режиссеру от ворот поворот?

— Товарищ генерал, со временем туго... — начал было Корнилов, но Владимир Степанович перебил его:

— У нас в управлении бездельников нет, со временем у всех туго. Беритесь за дело. Я давно хочу с театрами дружбу завести. Пусть побольше спектаклей про милицию ставят.

Корнилов еще не успел положить телефонную трубку, как зазвонил городской телефон. Снова Грановский.

— Так я, напоминаю, Игорь Васильевич, первая репетиция через неделю. В двенадцать. Куда адресовать вам пьесу?

— Пришлите в управление.

Грановский оказался на редкость приятным человеком: молодым — ему было не больше сорока, — красивым, чуть располневшим блондином. Корнилов обратил внимание на очень мягкие, немного женственные черты лица режиссера. Могло даже показаться, что Грановский слишком мягок, безволен. Но его глаза время от времени поблескивали из-под больших очков холодными голубыми льдинками так пронзительно, что наблюдательный человек сразу отбрасывал всякие мысли о безвольности режиссера. И в то же время он был мягким, обходительным...

...Переговорив с режиссером и пообещав обязательно побывать на репетиции, Корнилов пригласил Бугаева.

— Как с поисками, Семен? — спросил он старшего инспектора. — Ты райотдельцев привлек?

— Конечно. Они и сегодня ищут. Я, как узнал, что убитый скорее всего художник, позвонил им. Сказал, чтобы в первую очередь за художников взялись. Вчера-то я не знал этого! — сказал он недовольно. — В два счета бы нашли. Теперь взяли в

Союзе художников адреса проживающих в районе. Да ведь, может, он не член союза!

— Хвастун, — усмехнулся Корнилов. — Давай держи связь с райотделом.

Варя, техсекретарь Корнилова, приоткрыла дверь, сказала чуть раздраженно:

— Опять этот Гусельников звонит. По местному. Требует приема.

Корнилов вздохнул. Гусельников осаждал его уже месяц. Сначала прислал длинное и вежливое письмо. Чувствовалось, что у автора дрожат руки — буквы были большие и волнистые. Гусельников жаловался на то, что уже два года, как уголовный розыск установил у него в квартире, в настольной лампе, подслушивающее устройство и следит за каждым его словом.

«Нельзя преследовать человека всю жизнь, — писал Гусельников. — Я уже давно стал честным человеком. Три года назад сотрудники стадиона имени Сергея Мироновича Кирова с почетом проводили меня на пенсию. Подарили телевизор и оставили постоянный пропуск на стадион. И вот теперь я снова на подозрении. Почему? Стыдно травить старого, больного и ныне беспредельно честного человека». Заканчивалось письмо просьбой убрать магнитофон из квартиры.

«Что за бред? — подумал Корнилов. — Какой магнитофон, какая слежка? Этот Гусельников явный псих!» Он повертел письмо в руках, не зная, что с ним делать, а потом написал на нем: «В архив».

Но Гусельников продолжал писать. Начальнику управления, в горком партии, в Министерство внутренних дел. И все письма стекались к Корнилову. Он попросил сотрудников райотдела навести справки о Гусельникове. Оказалось, что он действительно болен. Несколько лет страдает психическим расстройством. Мания преследования. А двадцать лет тому назад был приговорен к десяти годам заключения за крупные взятки — он работал в отделе учета и распределения жилплощади. Отсидел он семь лет и все последние годы проработал сторожем на стадионе...

И вот теперь просится на прием... Что ему сказать? Как объяснить ему, что никакие магнитофоны уголовный розыск никому не подключает? Как разговаривать с больным? Не принимать? Но он опять будет писать во все концы.

— Ну так что ему сказать? — спросила Варя.

— Пусть приходит! — решился Корнилов. — Позвони, чтобы пропустили ко мне.

Варя удивленно посмотрела на своего начальника и хотела уже закрыть дверь, но Корнилов остановил ее.

— Нет, Варя, он больной человек, еще заблудится в наших коридорах. Сходи-ка за ним сама...

— И-и-игорь Васильевич, — недоуменно протянула Варя.

— Иди, иди!

Через десять минут Гусельников сидел в кресле перед Корниловым и быстро-быстро моргал длинными белесыми ресницами.

Он был высок, тощ, как дистрофик, и вся кожа у него — и на лице и на руках — пестрела от крупных рыжих веснушек. Корнилов ожидал увидеть дергающегося психа с шалыми глазами, готового забиться в падучей, но Гусельников смотрел на него осмысленно и спокойно, и походил он скорее на старого доктора, чем на больного.

— Я вас слушаю, — сказал Корнилов.

Гусельников поерзал в кресле, наморщив и без того морщинистый лоб, и, весь подавшись к Корнилову, сказал тихо, просительно:

— Уберите магнитофон, товарищ начальник, перед вами как на духу — расквитался я сполна за грехи. Честно живу на свою кровную пенсию... — Он хотел что-то еще сказать, но в это время дверь отворилась и снова вошел Семен Бугаев.

— Разрешите, Игорь Васильевич? — Он подошел к столу.

— Что-нибудь срочное у тебя? — спросил Корнилов.

Бугаев пожал плечами:

— Мне Варя сказала зайти к вам.

Корнилов усмехнулся. «Варюха, видать, решила, что с сумасшедшими надо разговаривать вдвоем». Сказал Бугаеву:

— Садись, поговорим вместе. — И, обернувшись к Гусельникову, отрекомендовал: — Это наш работник — Бугаев. Я думаю, он нам поможет...

Бугаев удивленно поднял брови.

— Товарищ Гусельников пришел к нам с жалобой на действия уголовного розыска. Обижается, что мы до сих пор следим за ним... Вмонтировали в настольную лампу магнитофон. — Подполковник в упор смотрел на Бугаева. Лицо у Корнилова было серьезное, и только глаза смеялись. — Товарищ Гусельников много лет назад совершил преступление, но стал честным человеком, сейчас на пенсии...

— Истинно так, — кивнул головой Гусельников, — доживаю свой век честно и праведно. Любим сослуживцами. Бывшими сослуживцами.

— Н-н-да, — произнес нерешительно Бугаев и стал медленно потирать подбородок. — Н-н-да, — повторил он, глядя то на Корнилова, то на Гусельникова.

— Поймите, — Гусельников придвинулся вместе с креслом к сидящему напротив Бугаеву. — Поймите, молодой человек. — Он положил свои длинные веснушчатые ладони на колени капитану. — Расходовать магнитофонную ленту на мои старческие разговоры с такими же никчемными старичками, как я, — непозволительная роскошь для уголовки...

Игорь Васильевич улыбнулся, видя растерянность Бугаева. А про Гусельникова подумал: «Интеллигент, интеллигент, а прошлое еще напоминает о себе — вот как он про нас: «уголовка».

— Я пришел к выводу, товарищ Бугаев, — сказал Корнилов, — что наблюдение за Корнеем Корнеевичем Гусельниковым

надо полностью прекратить. Полностью и навсегда, — повторил он с нажимом.

Бугаев сидел с каменным лицом.

— Семен, ты поедешь сейчас с товарищем Гусельниковым и заберешь передающее устройство. У тебя есть ко мне вопросы?

Бугаев вдруг усмехнулся и отрицательно покачал головой. По тому, как блеснули его глаза, Корнилов догадался, что Бугаев наконец все понял...

— Товарищ начальник, — сказал Гусельников радостно. — Товарищ начальник... Я так благодарен, что вы мне поверили. Я старый, по гроб жизни честный человек...

— Корней Корнеич, — Корнилов встал. — Не будем терять время. Садитесь в машину вместе с сотрудником и поезжайте. — И, обернувшись к Бугаеву, сказал: — Семен, одна нога там, другая здесь. Ты мне будешь нужен.

— Товарищ Корнилов! — двигаясь к дверям, причитал Гусельников с умилением. — Какой человек, какой человек!

Как только они ушли, Корнилов вызвал секретаршу.

— Варвара Григорьевна, — начал он строго. — Это вы прислали ко мне Бугаева?

Варвара покраснела:

— Игорь Васильевич, сумасшедший же... Мало ли что!

— Старик ведь, — уже мягче сказал Корнилов.

— Все равно, — упрямо сказала Варвара. — Вон в Москве сумасшедший с ножичком ходит...

— Эх ты, Варвара, в уголовном розыске работаешь, а слухами пользуешься!

Варвара вдруг засмеялась:

— Приходится, товарищ начальник. Вы ведь все секреты секретничаете.

Корнилов махнул рукой:

— Тебя переубеждать — себе дороже. А Семена ты, Варя, подвела. Дал я ему ответственное задание — шизофреника Гусельникова излечить.

Варвара недоуменно уставилась на Корнилова.

— Редкий случай — человек свихнулся на почве своих старых преступлений. Мания преследования.

«А что? — подумал Корнилов, когда Варя ушла. — Вдруг этот псих повернт нам и вылечится? И перестанет писать свои дурацкие письма!»

8

И в машине Гусельников продолжал бубнить себе под нос, какой чуткий человек товарищ Корнилов. Жил он на Петроградской, и, когда ехали по Кировскому, Бугаев вспомнил, что как раз вчера исходил в этом районе все улицы, расспрашивал в ЖЭКах, не пропал ли за последние дни кто-нибудь из жильцов.

Машина остановилась у большого грязно-серого дома.

«Да был же я здесь, точно», — подумал Бугаев, вылезая из «Волги».

— Товарищ Бугаев, нам во вторую парадную, — тронул его за руку старик. Они пошли через маленький садик. Дорожка была хорошо расчищена, посыпана песком.

— Наш дворник ужасный человек, — сказал неожиданно Гусельников. — Всегда за всеми наблюдает. Вон и сейчас борода в окошке торчит! — Бугаев и правда увидел в окне первого этажа наблюдавшего за ними дворника. — Он ведь, наверное, у вас служит? — спросил Гусельников.

«Этому маньяку уже ничто не поможет», — подумал Бугаев, начиная злиться, и спросил:

— Народ тут у вас хороший живет?

— Народ разный, — хитро сощурился Гусельников, открывая перед Семеном двери парадной. — Все больше хитрецы да соглядатаи. Но есть и душевные люди.

На втором этаже Гусельников показал на дверь, обитую черной клеенкой:

— Вот здесь живет, например, хороший человек. Мой сосед. — Он достал из кармана связку ключей и с тревогой посмотрел на Бугаева. Лицо у него напряглось, он нерешительно оглянулся, словно потерял что...

— Что, пришли? — спросил Бугаев.

— Да, но, видите ли...

— Да открывайте вы свою квартиру, я отвернусь! — Бугаев понял, что старик не хочет показать ему свои секреты.

Гусельников долго возился с дверью, гремя ключами и рассказывая:

— Сосед мой — хороший человек, только совсем неопытный. Простуха. Я ему рассказываю, что меня подслушивают, а он смеется: «Не те сейчас времена, Корней Корнеич!» А при чем тут времена? Это всегда было и будет... — Он наконец открыл дверь и первый вошел в квартиру. Зажег свет. На Бугаева пахнуло затхлостью.

— Разоблачайтесь, товарищ! Шапочку вот сюда, пальто на вешалочку. Не очень-то тепло вас в угро одевают. Не балуют. А если под окном где-нибудь простоять ночь придется? Замерзнете ведь. — Он так и сыпал, так и сыпал словами. Так медленно и значительно говорил в кабинете у Корнилова, а тут словно прорвало.

Они прошли в большую комнату, обставленную очень скромно, и Бугаев сразу же увидел эту злополучную настольную лампу с большим зеленым абажуром, какие нет-нет да еще встречаются в некоторых богом забытых учреждениях. Сдерживаясь, чтобы не улыбнуться, Бугаев подошел к ней. Гусельников перестал болтать и молча следил за Семеном.

— У вас есть запасная лампочка и патрон?

Старик кивнул.

— Принесите. И какую-нибудь коробочку. Я их увезу...

Гусельников принес лампочку и маленькую картонную коробку из-под шалфея.

— Только давайте договоримся твердо, — сказал Бугаев. — Никому ни слова! Секрет! — А сам подумал: «Все равно болтать будет. Понесет уголовный розыск моральные издержки. Лучше взял бы да выбросил эту лампу, чем жалобы писать!»

— Мой сосед приходил, крутил лампу. «Ничего нет», — говорит. Да что он понимает, неопытный в этих делах. А художник хороший, — болтал Гусельников.

— Художник? — задумчиво спросил Бугаев. — Он сейчас дома?

— Уехал. Наверное, на этюды за город.

— Когда уехал? — перебил старика Бугаев.

— Да недавно...

— Ну вот что, — Бугаев быстро вывинтил лампочку с патроном, положил в коробку, коробку сунул в карман. — Ну вот что, товарищ Гусельников, аппаратуру я снял, заберу с собой. Живите спокойно. А сейчас поговорим... — Он сел на стул, напряженно глядя на старика.

— Художнику сколько лет?

Гусельников испуганно таращил глаза.

— Да садитесь вы, Корней Корнеич. Это очень важно.

Гусельников сел. Лицо его напряглось. А губы расплылись в какой-то совершенно неестественной улыбке. «Да он ведь действительно псих, — испугался Бугаев. — Как бы не было приступа!»

— Художник молодой, — выдавил наконец Гусельников. — Тельманом зовут.

— Молодой? — переспросил Бугаев.

— Да не то чтоб уж очень, — замялся старик. — Года сорок два, сорок три...

— Когда вы его в последний раз видели?

Гусельников пошептал немного, загнул три пальца и улыбнулся:

— Дня три назад.

«Совпадает, — подумал Бугаев. — Уж не тот ли самый?» — и сказал:

— А время, время! В какое время он уехал?

— Да как вам сказать, — задумался старик. — Я еще не пообедал. Я в столовке обедаю. Тут рядом, через три дома. Погано кормят, но дешево. — Он снова задумался. — Ну вот, туда я и собирался. Вышел из дому. А впереди Тельман с лыжами. В спортивной куртке.

«Ну и ну, — волнуясь, слушал Бугаев. — Не было бы счастья...» — и тут же остановил себя.

— Ну и что?

— Что значит «ну и что»? — рассердился старик. — Это ведь вы меня расспрашиваете. Значит, вам интересно. Все еще психом меня считаете?

Бугаев вздрогнул. Его охватило неприятное чувство оттого, что Гусельников будто читал его мысли.

— Ради бога, простите. Но то, что вы рассказали, так меня ошеломило... Этот ваш художник очень похож на одного человека... Он заблудился в лесу и замерз.

То, что старик разозлился на его дурацкое «ну и что», навело Бугаева на мысль, что Гусельников не такой уж сумасшедший. «Ну бывает же у человека бзик!»

— Неужели вы думаете?.. — испуганно спросил Гусельников. — А тут его кто-то искал целый день. Какой-то дикий дед.

— Да нет, все еще неясно. Это какое-то совпадение, — сказал Бугаев. — Мы проверим. Да, может быть, он уже дома, ваш Тельман. Вы сегодня к нему не заходили?

— И правда! — оживился старик. — Не заходил. Надо заглянуть. — Он вскочил со стула, но тут же в нерешительности остановился и с сомнением поглядел на Бугаева.

«Боится меня одного оставить», — подумал Бугаев и тоже встал.

— Как фамилия вашего знакомого?

— Тельмана? Алексеев Тельман Николаевич, — сказал Гусельников и вдруг громко рассмеялся: — Как хорошо! Впервые я могу у себя дома говорить свободно. Эх вы! Столько лет следили за стариком. Все думали, что я про денежки проговорюсь? Как бы не так! Нету денежек. Тю-тю! — И он снова рассмеялся. Ехидным, дребезжащим смехом.

«Ох и жук же ты, Корней!» — мелькнула у Бугаева мысль.

— Зайдемте к художнику!

— А чай? — круто переходя от ехидства к умильности, сказал старик. — Я хотел напоить вас чайком с малиновым вареньицем... Я хоть и бедный пенсионер, но вареньице всегда имею...

— В следующий раз, Корней Корнеич, — остановил его Бугаев. — Пошли к художнику.

Они долго звонили у дверей — никто не отзывался.

— Наверное, загостился, — сказал Бугаев и распрощался с Гусельниковым. Внизу он заглянул в почтовый ящик четырнадцатой квартиры. Было видно, что уже несколько дней оттуда не вынимали газеты.

Выйдя из дома, Бугаев помчался в домоуправление.

Управдом, худенький старичок в морской шинели и фуражке, наверное, из отставников, запирал дверь своего кабинета. Вид у него был встревоженный.

— Вы ко мне? — спросил он Бугаева и, не дожидаясь ответа, сказал: — Позже, позже. Я очень занят.

— Мне на два слова, — попросил Бугаев и вытащил из кармана служебное удостоверение. — Я из уголовного розыска.

— Что? — искренне удивился старичок. — Вы уже здесь? Я ведь только что трубку повесил... Это вы товарищ Сазонкин?

Сазонкин был старшим инспектором уголовного розыска районного управления.

— Я капитан Бугаев. Так получилось, что мы не сговорились...

Старик посмотрел на него подозрительно и теперь уже сам протянул руку за удостоверением. Прочитал его внимательно, сверил фотокарточку с оригиналом и только тогда вернул.

— Товарищ Сазонкин просил взять понятых и ждать его у четырнадцатой квартиры. Вы тоже по поводу Тельмана Николаевича Алексеева?

Бугаев кивнул:

— Да, я хотел кое-что уточнить. Он ведь художник?

По дороге управдом позвал за собой молоденькую паспортистку. Они поднялись на второй этаж, туда, где Бугаев только что расстался с Гусельниковым. Управдом с сомнением посмотрел на дверь его квартиры и тихо сказал:

— Этого в понятые брать нельзя. Убогий, — он покрутил пальцами у виска и вздохнул: — Подождем. Сейчас должен товарищ Сазонкин прибыть.

Бугаев хотел было порасспросить управдома, но в это время хлопнула дверь парадной, послышались энергичные шаги, и на лестнице показался Сазонкин. Он совсем не удивился, увидев Бугаева, деловито поздоровался со всеми за руку и спросил управдома:

— Алексей Алексеевич, а слесарь?

— Должен в тринадцать ноль-ноль прибыть, — сказал управдом и посмотрел на часы. — Еще две минуты...

«Морская косточка, — подумал Бугаев. — Симпатяга дед».

И действительно, внизу снова хлопнула дверь. Пришел молоденький паренек с чемоданчиком. Удивленно посмотрел на целую толпу собравшихся перед дверьми квартиры. Спросил:

— Чего делать-то, Алексей Алексеевич?

— Что товарищ скажет, — кивнул управдом на Сазонкина.

9

Когда Корнилов, вызванный звонком Бугаева, приехал на Петроградскую, дверь в квартиру художника была уже открыта. Подполковника встретил сотрудник районного управления внутренних дел Сазонкин, провел в комнату. На огромной тахте степенно восседали старик и молодая женщина, а Бугаев стоял у маленького письменного стола и листал какой-то толстый альбом.

— Товарищ подполковник, смотрите. — Бугаев протянул Корнилову две фотографии — ту, что была сделана с мертвого лыжника, и другую, видимо, найденную в альбоме. Но подполковник и так все понял: на стене среди других картин висел, наверно, автопортрет художника. Корнилов сразу узнал в изображенном на нем человеке убитого лыжника. Узнал по чуть утолщенному переносью и косой морщинке, перечеркнувшей лоб, будто глубокий шрам. Художник смотрел пристально, с вызовом. На втором плане, за его спиной, в хрустальной вазе стояло несколько веток спелой рябины. Картина была яркая, какая-то

торжественная, насыщенных тонов. Широкие, рельефные мазки.
— Значит, правильно предположил Юрий Евгеньевич. Убитый — художник?
Бугаев кивнул:
— Тельман Алексеев! Странное имя, да?
— Странное. А как нашли адрес?
— Да вот так совпало, товарищ подполковник, — развел руками Бугаев. — Я ведь сюда, в квартиру напротив, привез вашего психа. — Корнилов посмотрел на Бугаева сердито, тот осекся и оглянулся на прислушивающихся к разговору понятых. — Гусельников стал рассказывать про соседа-художника. А я же вчера весь этот район перепахал. Автобусный билетик-то! Ну вот и поинтересовался. Пошел искать управдома, а он уже из районного управления гостей ждет. Встретились с товарищем Сазонкиным у дверей.
Сазонкин кивнул:
— Мы, товарищ подполковник, получив задание, выяснили в союзе адреса всех художников, проживающих в нашем районе. Стали обзванивать. К тем, у кого телефона нет, просили домоуправов заглянуть. А я с Алексеем Алексеевичем Талызиным разговаривал, просил справиться, дома ли художник Алексеев.
Подтянутый старик, сидевший на диване, слушал внимательно, кивал головой.
— Он позвонил в квартиру, в почтовый ящик заглянул — почту несколько дней не вынимали... Я и решил проверить.
— Молодчина, майор, — сказал Игорь Васильевич. — Позвоню Рудакову, попрошу, чтоб отметил вас. — Рудаков был начальником Ждановского райуправления.
Корнилов подошел к неоконченному зимнему пейзажу, молча остановился перед ним, и ему невольно вспомнились заснеженные поля и темный, холодный лес вокруг одинокой деревеньки Владычкино.
— Зачем понадобилось леснику стрелять в художника? — сказал он тихо.
— Вы уверены, что убийца — лесник Зотов? — спросил Бугаев, продолжая внимательно рассматривать бумаги, вынутые из письменного стола.
— Я не исключаю, что убийца — лесник. — Корнилов посмотрел на часы. Было без пятнадцати четыре. — Думаю, что скоро мы будем все знать точно. Лесник ли стрелял или кто-то посторонний. Посторонний, но скорее всего известный Зотову. Ведь, судя по лыжне, не мог убийца миновать кордон лесника. Ладно, подождем! Белозеров, наверное, уже закончил свои поиски...
Он отошел от мольберта и стал внимательно рассматривать картины, развешанные на стене.
Бугаев закончил разбирать бумаги в столе.
— Не густо, товарищ подполковник. — Он протянул Корнилову диплом об окончании института имени Репина, маленькую книжечку Союза художников. На фотографии Алексеев был сов-

сем молодым, с длиниой челкой — совсем непохож на того, что глядел с портрета.

— А документы, письма?

Бугаев покачал головой:

— Сейчас возьмусь за шкаф.

Небольшой, красного дерева старинный книжный шкаф с бронзовыми завитушками стоял в углу рядом с днваном.

— Он что же, одии жил? — спроснл Кориилов у Сазонкина.

Тот посмотрел иа управдома и сказал:

— Алексей Алексеевич, вы-то уж, наверное, знаете...

— Что, что? — растерянио переспроснл старик, поднимаясь с дивана. Он, вндать, задумался и не расслышал вопроса.

— У Алексеева есть семья? Жеиа, дети?

— Да, есть. Жена, — управдом посмотрел на Корнилова виновато. — Я ие помню ее имени. Она у иего переводчица, сейчас за границей. Мие Тельман Николаевич рассказывал. В Финляндию уехала. А детей у них нет. Живут вдвоем.

— Надо ведь сообщить жене? — нерешительно произнес Сазонкин.

— Надо, — вздохнув, ответил Корнилов. — Возьмите это на себя. Узнайте, где она работает, переговорите с руководством. Вы с товарнщем Сазонкииым продолжайте осмотр, — обратился ои к Бугаеву. — Оформите протокол, а я поехал. Узнаю, как дела у Белозерова. — Он попрощался с понятыми, тихо сидевшими иа диване, и пошел уже к дверям, но вернулся: — Семен, если найдешь письма нли документы какие, сразу звони.

10

Когда Корнилов вернулся в управленне, секретарша, перечислив всех, кто звоиил или заходнл во время его отсутствня, добавила:

— Лужский начальиик розыска раза четыре уже трезвоиил. Просил, как вы вернетесь, чтоб я сразу его вызвала.

Корнилов едва успел снять пальто, как секретарша, приоткрыв дверь, доложила:

— Белозеров!

— Товарищ подполковник, капитаи Белозеров докладывает. — Слышно было прекрасно, будто звоиилн с соседней улицы. — Операция, можио сказать, закончеиа!

— Давай, капитан, рассказывай.

— Ваше предположеиие по поводу лесника Зотова оказалось вериым. Сейчас у следствия есть все доказательства. — Ои чуть-чуть помедлил. — Начиу по порядку. Мы со следователем Каликовым восстаиовили позу убитого на тропннке...

— Я тебя перебью, Александр Григорьевнч, лесник прнзнался?

— Это как посмотреть, — сказал Белозеров. — Порешил ои себя, Игорь Васильевич. Мы его из петли холодного вынули.

— Еще того не легче, — пробормотал Кориилов, а сам поду-

мал: «Зачем же ему художника убивать-то понадобилось, если сам в петлю полез? А может быть, его как свидетеля устранили?»

— Чудно получается... Нелогичио. Оружие у него иашли?

— Нашли, товарищ подполковник. Миноискатель помог. В бревие прятал. Трофейный карабин. Экспертиза подтверждает — из него лыжника убили.

— Но откуда такая уверенность, что именно лесник стрелял? Может быть, карабин подбросили? А с ними с обоими расправились?

— Товарищ подполковнник, — с обидой сказал Белозеров. — Да ведь все сходится. По следу мы прошли, как вы и советовалн. След хоть и петляет по лесу, но ведет на кордон. А в лесу участкн незаметеиные есть. Следок как новый. От лесниковых лыж. Егерь еще раз подтвердил, что у старика была винтовка. Да и самоубийство само за себя говорит — никаких признаков борьбы. И на карабине отпечатки только лесниковых пальцев. Вы меня слышите, товарищ подполковник? — спросил Белозеров, видимо, обеспокоенный долгнм молчаннем Корнилова.

— Слышу! Но с выводами я бы не торопнлся. Докладывайте теперь по порядку.

— По ране эксперт определил направление полета пули. Даже угол иаклона определил. Рана у него справа, как раз с той стороны, где мы с вами с самолета лыжню видели. Мы знаете что использовали? Теодолит! Точность исключительная! Метеорологи подтвердили: в тот деиь в шестнадцать часов видимость позволяла разглядеть человека на расстоянии и более четырехсот метров. Ну уж тогда мы весь снег вокруг горстямн перелопатили. Разыскали гнльзу! — с подъемом произнес Белозеров. — Потом я с группой сотрудников отправился к лесиику. Да поздно...

— Записки никакой не нашли? — спросил Корнилов.

— Нет, иичего ие оставил. Действительно, непонятная история. И чего он этого парня застрелил? Не узнали, кто он?

— Художиик Тельман Алексеев, — сказал Корнилов.

— Художник все-таки, — огорчился капитан. — Вот те на!

— Судмедэксперт исследовал труп Зотова? Нет подозрения на убийство? На отравлеие, например?

— Это нсключено, Игорь Васильевнч. Все досконально исследовалн.

Переговорив с Белозеровым, Корнилов долго сидел в раздумье.

«Ну что ж, можно считать дело законченным!.. Но достаточио ли улик против местного лесника?.. В конце концов, пусть прокуратура решает: закрывать дело или нет, — думал он. — Да закроют. Что нм остается? Попробуй теперь узнать, что н почему. Мертвые молчат!» Но дело все же очень тревожило его.

«Ладно, — наконец решил он, — утро вечера мудренее. Надо будет на свежую голову пройтись по всему делу. От начала до конца. А коиец-то! Ну и конец!»

Но н дома мысли о драме в Орельей Гриве не выходили из го-

ловы, беспоконлн, словно легкая, только-только проклевывающаяся зубная боль.

Телефонный звонок вывел Корнилова из задумчивости. Он вздохнул и с неохотой взялся за трубку. Звонил Бугаев. Голос у него был взволнованный:

— Товарищ подполковник, разыскал я документы Алексеева. Ну, знаете, всего ожидал...

Волнение Бугаева передалось Корнилову.

— Да говори, что стряслось? — нетерпеливо сказал он.

— Документик один зачитаю. Слушайте: «Дубликат свидетельства о рождении. Выдан Орлинским сельским Советом. Зотов Тельман Николаевич. Родился шестого мая 1926 года в деревне Зайцово». — Бугаев передохнул: — Ну это мы еще в домоуправлении выяснили. А вот главное: — «Родители: Зотов Николай Ильич и Алексеева Василиса Леонтьевна».

Корнилов молчал, потрясенный.

— А в письмах не нашли приглашения от отца приехать? Или телеграммы? — приходя в себя, спросил Корнилов.

— Нет, Игорь Васильевич... Все письма старые. От женщины. От жены, видно. От отца нету.

«Многовато событий для одного дня, — подумал Корнилов. — Отец — сына?»

Он повесил трубку и в замешательстве прошелся по комнате. Корнилов всего ожидал. Но чтобы связь этих людей оказалась такой близкой, такой трагической... Отец — сына? В это не хотелось верить.

«Чтобы на убийство решиться, ох какое зло на сердце надо держать! — думал он. — Да и человечье обличье потерять... Ну, предположим, дикая ссора между ними вспыхнула. По причине, нам неизвестной. Но для этого им надо было встретиться!»

А все известное Игорю Васильевичу о преступлении в Орельей Гриве свидетельствовало: лесник и художник в тот день не могли, не имели возможности сказать друг другу даже двух слов. А уж какая-то ссора между ними, вспышка в часы, предшествовавшие убийству, напрочь исключалась.

А раз не было ссоры в тот день, значит, отец заранее готовил убийство? Нет, тут что-то не так... Сто раз бы одумался! Остыл! Слишком жестоко это преступление, чтобы поверить в него. Даже если выводы экспертов и все известные факты свидетельствуют об этом.

Все известные факты... Все известные... А все ли факты известны? Конечно, не все! Нет, не все!

Корнилов ходил по комнате, стоял у окна, глядя на белую Неву, слегка освещенную притушенными фонарями, прислушивался к шуму редких машин. Он пришел к твердому убеждению — преступлением в Орельей Гриве следует заняться снова. Не мог он поверить в это убийство.

11

Николай Ильич проснулся оттого, что рядом с домом призывно пропел пионерский горн. Зотов открыл глаза и лежал прислушиваясь: не протрубит ли снова? Но за окнами стояла глухая тишина. «Приснилось, что ли?» — подумал он и нащупал на полу коробок спичек. Чиркнул. Поднес спичку к часам. Было уже шесть. Зимой Николай Ильич вставал в семь.

Тикали часы, да позванивало где-то стекло от ветра. «На чердаке, — прислушавшись, определил Зотов. — Надо бы залезть да пару гвоздиков всадить». Тут он вспомнил, что и крышу давно пора латать: весна придет — опять потечет. И кусок рубероида его дружок Гриша Мокригин еще с осени из Гатчины приволок. Но не лежала нынче душа у Николая Ильича к хозяйству, руки не поднимались сделать что-то по дому. И прибаливать он стал чаще, да и просто обрыдло ему все здесь, в лесу.

И эта труба пионерская... Вдруг прогремит среди ночи, разбудит, и уже не заснуть никакими силами. И лезут в голову невеселые мысли.

«Сдурел я, что ли, в этой глухомани? — подумал Николай Ильич. — Или со слухом у меня болезнь приключилась? Дудит вдруг в ушах ни с того ни с сего».

Началось это прошлым летом. В тот день Николай Ильич возвращался на кордон по крутому берегу Ящеры. Стояла середина июня. Лето пришло раннее, жаркое. В густой траве кровенели капли созревающей земляники. И подберезовики уже попадались в сыром глубоком мху на границе болота и леса.

Все было знакомо в этом лесу: глухой шум сосен, гомон почувствовавших вечернюю прохладу птиц, крепкий, настоянный смолой воздух. Внезапно Зотов услышал резкий, непривычный для уха звук. Ему сначала показалось, что хрипло протрубил лось. Но звук повторился, и Николай Ильич понял, что это не лось. Да и какой лось трубит в середине июня? Звук затих, и несколько секунд ничего не было слышно. И тут же лес отозвался эхом, внезапным порывом ветра. Теперь Зотов понял, что пела труба. Но кому здесь, в глухомани, понадобилось трубить?

Зотов шел торопливо, спотыкаясь об узловатые сосновые корни, и скоро запыхался. Да и нога короткая давала о себе знать. Когда-то, в молодости, он и не вспоминал о ней, ходок был хоть куда, а нынче, приустав, начинал спотыкаться. Наконец, перейдя по старенькому, полуразрушенному мостку через Ящеру, Николай Ильич взобрался на пригорок и увидел оттуда сквозь поредевший лес свой кордон, а чуть поодаль, на лугу, десятка два ребятишек с красными галстуками.

«Так вот кто трубил! — прошептал Николай Ильич. — Пионеры пожаловали... И Дружок не лает», — удивился он. Обычно собака облаивала каждого, кто проходил поблизости от дома.

Несколько мальчишек устанавливали палатки. Рядом уже вился дымок от костра, и девочки гремели посудой. Когда Зотов подошел к дому, его заметили. «Вера Васильевна! Вера Василь-

евиа! — закричал один из мальчиков. — Лесник пришел!» С травы поднялась невысокая полная женщина, одетая в такую же зеленую, как и у ребят, форму, и тоже с пионерским галстуком. Увидев Зотова, она приветственно помахала ему рукой. Подошла. Ребята, побросав все свои дела, тут же обступили Николая Ильича. Поздоровавшись, почтительно трогали его двустволку. Были все они загорелые, с облупившимися от солнца носами.

— Вы товарищ Зотов? — спросила Вера Васильевна.

— Он самый. Зотов Николай Ильич. Здешних лесов хозяин.

— А мы к вам на практику. Лес расчищать, шишки собирать. У нашей школы договоренность с лесхозом. — Вера Васильевна вдруг спохватилась и протянула Зотову руку. Представилась: — Пахомова. Учитель шестой гатчинской школы.

Она достала из кармана куртки листок бумаги и, развернув, подала Николаю Ильичу. Это было письмо директора лесхоза с просьбой оказать школьникам помощь, отвести участки леса для расчистки.

— Ну вот и хорошо. Вот и прекрасно. Мне, старику, веселее будет. Вон сколько помощников! — обрадовался Зотов и обнял двух мальчишек, стоящих рядом. Те доверчиво приникли к нему, а один спросил:

— А вы нас на Вялье озеро сводите? На рыбалку?

— И на озеро свожу, и лес покажу. Все вам будет. А сейчас айда ко мне, харчишко вам выдам. Он у меня небогатый, но кое-что есть. Картошка, лук, брусника моченая.

— Брусника? Вот здорово! — закричал белобрысый мальчишка.

Вечером Зотов сидел в избе, прикидывал, куда бы отвести назавтра ребятишек, когда на улице заиграла труба. Нехитрая пионерская мелодия. Николай Ильич вышел на крыльцо. Около палаток стоял белобрысый мальчишка, что давеча обрадовался, услышав про бруснику, и, запрокинув к небу голову, трубил в горн. Трубил он неумело, звуки неслись хрипловатые, нестройные, но Зотов смотрел на мальчишку затаив дыхание и чувствовал, как легонько защемило у него сердце. Из лесу, с реки сходились к горнисту пионеры. Оживленно переговаривались, смеялись. А Николай Ильич слушал звуки горна и видел, отчетливо видел других пионеров...

Это было перед войной. Он отправлял в первый колхозный пионерский лагерь на Черемenецкое озеро своего сына Тельмана. Неясные, отрывочные, почти заглушенные временем образы прошлого вдруг сложились в яркую картину: на деревенском прогоне стоит колхозная полуторка, а в кузове сидят праздничные, все в белых рубашках, с красными галстуками зайцовские ребятишки. И его Тельман машет рукой, а сам с трудом сдерживает радостную улыбку, весь в предчувствии дороги, новых впечатлений. Рядом с Зотовым в толпе односельчан жена, утирающая глаза платочком, расстроенная первой долгой разлукой с сыном. Тельман и сейчас стоит перед глазами как живой, а вот

лицо жены, словно в тумане, расплывается, прикрытое платочком...

Пионеры уже давно улеглись спать, выпросив у Зотова разрешение забрать с собой Дружка, а растревоживший себя воспоминаниями Николай Ильич то бесцельно слонялся вокруг дома, то принимался зачем-то перебирать приготовленные для постройки плоскодонки доски. Светлая, без тени облачка, белая ночь царила над утихшим лесом. Только где-то очень далеко, в стороне Вялья озера, тревожно кричал козодой. И неспокойно было на душе у Николая Ильича.

В ту ночь Зотов впервые так остро почувствовал свое одиночество.

Наутро он повел ребятишек на озеро. По тропинке, вьющейся вдоль крутого красного берега Ящеры, заросшей ельником, прошли они до мызы Каменка. Здесь, на зеленом взгорке, усеянном цветами купальницы и зверобоя, в обрамлении вековых лип когда-то высился большой барский охотничий дом. Сейчас остался только один фундамент. Николай Ильич показал ребятам остатки деревянного водопровода, а на роднике они набрали в свои фляжки ледяной, отливающей серебром, вкусной воды. И пошли с песнями дальше. Через большую поляну с липовыми аллеями, через еловый лес с черничником, а потом по зыбкой тропинке сквозь болото. И Зотов рассказывал им про окрестные леса, про зверей, которые здесь обитают, про больших вялых окуней, которых можно выловить на озере. Он воодушевлялся, забывал об усталости, о своей больной ноге, видя, с каким вниманием его слушают.

Накануне того дня, когда пионеры должны были, закончив работу в лесу, уехать в Гатчину, учительница спросила Зотова:

— А почему к вам, Николай Ильич, никто на воскресенье не приехал? Ни жена, ни дети.

— Одинок я, Вера Васильевна, — с виноватой улыбкой ответил Зотов. — Некому ко мне наезжать... Да и воскресений я тут не замечаю. Какие в лесу воскресенья, особенно если выбраться некуда?

— Да ведь есть же, наверное, родственники? — сочувственно удивилась учительница. — Не может же человек один...

Но Зотов посмотрел на нее с такой грустью, что она осеклась и, растерянно улыбнувшись, замолчала, слегка порозовев. Наверное, поняла, что попала в самое больное место.

...Нынешняя зима выдалась для Зотова особенно тяжелой. По утрам нелегко было встать с постели, растопить печь. Он уже с трудом мог нагнуться и накидать в топку дров. Иногда ему казалось, что он уже не сможет разогнуться, закостенел навечно. Николай Ильич вспомнил школьного завхоза из далекого детства — тот ходил согнутый пополам каким-то недугом. Как его звали, Николай Ильич не помнил, — горбач и горбач. «Вот и мне пришло время в горбачи записаться, — горестно подумал он. — Шестьдесят пять — они о себе знать дадут».

А начальство, как назло, выделило в эту зиму на его участке

несколько деляиок мшиискнм мужикам. Надо было таскаться с ними, клеймить лес, следить, чтобы ие прирубили лишку. Народ на Мшиисќой лихой — сто первый километр!

Хорошо еще Гриша Мокригин ие забывает — заглядывает. То поможет по хозяйству, то продуктов привезет — на картошке да на грибах особо ие разбегаешься в лесу. А уж если баню поможет истопить — считай, что праздиик. После жаркой бани, после веничка дубового и спние легче, на неделю-полторы боль отпускает.

С Гришей Николай Ильич позиакомился в колонии, когда в сорок седьмом получил восемь лет за растрату в колхозной кассе. Гриша вышел на год раиьше Николая Ильича, устроился на работу в Гатчиие, в лесхозе. Ои потом и Николая Ильича в лесники пристроил:

— Зачем тебе, Колюн, в свою деревию вертаться? Ни кола ни двора. Да и мужики народ злопамятный.

Николаю Ильичу и впрямь ие хотелось возвращаться — неудобно было перед земляками. Чувствовал он до сих пор вину перед ними: пустил кассу по ветру, а год-то был нелегкий. Хоть и денег-то в кассе пустяк был — ну какие в те годы у колхоза деньги, — а лежали они на душе черным камнем. Собрали колхозники по тридцатке — хотели тяиуть в Зайцово электричество.

Жена у Зотова умерла перед самой войной, а сын, Тельман, затерялся в годы оккупации. Поссорились они с сыном, с мальчишкой. Так поссорились, что вышло — на всю жизнь. Временами казнил себя Николай Ильич лютой казнью, что не смог удержать своего Теля, не нашел таких слов, чтобы понял сын — не мог он иначе поступить в то жуткое время. Но и простить сына долгое время не хотел. И потому горевать горевал, а не разыскал. Обида мешала. Да и жизнь мешала. Из тюрьмы несподручно этим заииматься.

И месяца не проработал в лесниках Николай Ильич, как Гриша привел к нему покупателя, разбитиого экспедитора из буканского колхоза. У него и документы были в порядке, и разрешение лесничего имелось. Только на ольховые дрова. А экспедитору нужен был строевой лес...

Поздно вечером, после ужина, когда экспедитор уже основательно захмелел, Николай Ильич вышел с Мокригиным в сени. Сказал твердо:

— Гришка, ты меия в это дело не впутывай. Хватит, насиделся.

— Да ты что, Колюи? — заюлил дружок. — Дело-то пустяшное — двадцать кубиков. И верняк ведь, комар иоса ие подточит.

— Нет, Гриша, — стоял на своем Зотов. — Не уговаривай. Чую я, чем пахиут эти кубики.

— А я-то, тюха, думал, дружка имею. На место пристроил, — с презреиием, растягивая слова, проговорил Мокригии. — Вот она, благодарность... — И зашептал вдруг горячо: — Колюи,

Христом-богом прошу, обещал я этому фрайеру. И задаток уж взял, да загулял вчерась. Мне же ему отдать нечем. Ну как пойдет он, настучит? Что же мне, Колюн, кончать его здесь, в лесу? А? Может, и вправду кончать?

Николай Ильич похолодел, почувствовал противную, тошнотворную слабость. Он хорошо знал, на что способен Гриша.

— Да ты сдурел? — выдохнул Зотов, вцепившись ослабшими от страха руками в пиджак приятеля. — Сдурел, да? Ведь знают, что он с тобой приехал.

Гриша зловеще молчал, будто собирался с духом, чтобы принять окончательное решение.

— Сколько денег-то? — пугаясь еще сильнее, спросил Зотов. — У меня рублей пятьсот найдется.

Мокригин стряхнул с себя руки Николая Ильича.

— Да черт с тобой, Гришка! Пусть забирает он свои кубики. Черт с тобой! Завтра отведу его на делянку, — чуть не плача, запричитал Зотов.

— Я знал, старик, что ты не подведешь, — только и сказал Мокригин.

Но вскоре Григорий опять явился с покупателем. И когда Николай Ильич стал отказываться продать лес и, не внимая угрозам, прямо твердил: «Нет, Гриша, не быть тому! Не возьму грех!» — Мокригин неожиданно размахнулся и, злобно выругавшись, ударил Зотова в подбородок. Николай Ильич охнул и осел на стоявшую сзади лавку. Он избил бы Зотова до полусмерти — Николай Ильич хорошо знал Гришины повадки, да тут в дом вошел покупатель...

Несколько месяцев после этого они не видались. Николай Ильич посчитал, что расстались они навсегда. И хотя тосковал, оттого что порушилась у них с Григорием давняя дружба, временами чувствовал такое облегчение, будто хомут у него с шеи сняли.

Но Гриша всегда умел быть нужным... Он появился на кордоне, когда Зотов тяжело простудился и лежал один-одинешенек в холодной, нетопленой избе, не в силах встать с постели и напиться воды.

Мокригин оставался на кордоне три дня. До тех пор, пока Зотов не оклемался. Кормил его с ложки, поил брусничным соком. Сходил в Пехенец в аптеку, принес горчичники. Николай Ильич лежал в постели слабый, но умиротворенный. Чувствовал, что дело идет на поправку, и с одобрением следил, как хозяйничает Мокригин. Думал уже без злости: «Ну что ж, Гриша всегда был на руку скор. Вспыльчив. Да ведь никому, окромя его, я не нужен. Никто даже не спроведал. А Гриша пришел. Сердцем, видать, почувствовал...»

И снова все завертелось по-прежнему, покатилось своим чередом. Выздоровев, Николай Ильич махнул на все рукой. Решил с горечью: «Не сложилась жизнь...»

К старым деревенским друзьям пойти не мог. Стыдился. Ду-

мал, что не простят ему подлости, совершениой в трудное время. По себе зиал — ие простят.

А иовых друзей Зотов заводить боялся. Мокрнгии ие советовал: «С новым другом выпьешь, отмякнет душа — проболтаешься. Тут же донесет».

Так и жил Николай Ильич, стараясь ие думать о будущем. Пока был здоров — пил.

Но в последний год Зотов все чаще и чаще вспоминал с тоской свое родное Зайцово. Несколько раз он встречал в поезде зайцовскнх баб. Однажды даже заговорил с Полиной Аверьяновой, что жила в Зайцове через дом от него. Аверьянова с трудом призиала Николая Ильича и все охала, жалостливо вглядываясь в его лицо: «Эко жизнь поломала человека! Ведь и не узнать тебя, Коля, не узиать». Николая Ильича раздосадовали ее причитаиия. «На себя бы посмотрела, кочерыжка», — подумал ои. На расспросы Аверьяновой, где ои ныиче осел, Николай Ильич ответил тумаиио: «Да есть тут одио местечко...» Желание выспрашнвать односельчаику у него пропало. «Почему бы и ие съездить туда самому? — думал ои иногда. — Что было, то быльем поросло. Может, и забыли мои грехи. Не век же в клейменых ходить. Да и не один я из деревенских забраи-то был!» Он начииал вспомииать, кто еще нз зайцовских мужиков сидел в ту пору и за что, но утешения от этого было мало. Двоих взяли за злую драку, конюх Аитоша сел за то, что пьяиый спалил конюшню. Все были виноваты перед закоиом, ио никто так не провниился перед односельчанами, как Зотов.

Позавтракав, Николай Ильич разогрел вчерашиий суп собаке, старой лайке Дружку. Потом выиул из шкафа свой парадный костюм — купил его лет пять назад в Леииииграде, да почти совсем ие иадевал. Куда в лесу костюм? А в Лугу и в Ленинград Николай Ильич наведывался редко. К Грише в Гатчину ои ездил в робе. Сегодия повод надеть костюм был. Гриша пригласил отпраздиовать день рождеиия. «В ресторaи пойдем, Коля, — сказал. — Что мы, ие заслужили или в кармаиах у нас совсем уж пусто?»

Съездить в Гатчину иадо было и по другой причиие. Вызывал директор лесхоза. Чего уж там стряслось, Зотов ие зиал, но под ложечкой тревожио сосало.

Костюм был как новенький. Коричиевый, с красиой искоркой. Из ткани с громким назваиием «Удариик». Николай Ильич хорошо помнил, что отдал тогда за костюм сто тридцать рублей, а пятьсот, оставшиеся от очередиой продажи леса, они пропили с Гришей. «Не стал ли узок? — с тревогой подумал ои, надевая брюки. Костюм и впрямь был чуток узковат. — Огруз я, огруз». Николай Ильич иадел пиджак и подошел к зеркалу. На него смотрел лохматый седой старик с широким морщиинстым лицом, заросший седой щетииой, с впалыми тревожиыми глазами, под которыми залегла нездоровая желтизна. «Надо в Гатчине в парикмахерскую забежать, — решил ои. — Чегой-то вид у меия смуриой, глаза вон как у дохлой рыбы». Он снял костюм и

сложил аккуратно в вещевой мешок. На себя натянул старый. Вышел в сарай, погладил жалобно заскулившего Дружка, взял широкие самодельные лыжи. На дворе уже светало.

В Гатчине Зотов был в десять. Гриша уже ждал его — на столе весело посвистывал чайник, лежала всякая снедь: колбаса, сыр, большой кусок студня.

— Здорово, старче, — обрадовался Гриша. — Выбрался из своих лесов, прикатил колеса. Давай раздевайся, чайку попьем, погутарим. Я и с начальством договорился прийти попозже.

При упоминании о начальстве у Николая Ильича на лице появилась кислая гримаса. Он скинул ватник, разул ноги, кивнул на рюкзак.

— Там в мешке грибы... Беленьких тебе приберег.

— Ай да Коля, золото ты у меня, а не кореш, — радовался Гриша, доставая большую банку с грибами. Смеясь и балагуря, он достал из серванта красивые тарелки, вынул из холодильника бутылку водки. — По рюмашечке хватим, Коля, для затравки. Артподготовочка перед генеральным наступлением.

...Потом они пошли по городу. Николай Ильич чувствовал себя не очень уютно. Вид у него был нелепый — на костюм пришлось надеть ватник, пиджак торчал из-под него, и рукава все время вылезали.

— Ты уж, Григорий, пройди по магазинам один. Купи мне, как всегда, отдельной колбасы батона три, селедки. Чаю поищи индийского. Ну и сам знаешь, — сказал Зотов Грише. — А я заверну в парикмахерскую и в контору. Там встретимся.

В парикмахерской работал всего один мастер, надо было ждать. Николай Ильич сел в кресло у маленького столика с газетами и журналами. Один из журналов был раскрыт на цветных вкладках. Что-то показалось Николаю Ильичу знакомым в деревенском пейзаже с маленькой белой электростанцией. Он притянул к себе журнал и долго-долго рассматривал картинку. Крутой песчаный берег с нависшими над обрывами соснами, заросшая кувшинками гладь реки и серые, крытые дранкой домики среди цветущей сирени...

— Клиент, вы стричься или читать пришли? — прозвучал у него над головой капризный голосок.

Зотов вздрогнул от неожиданности и быстро вскочил. Перед ним стояла молоденькая парикмахерша и смотрела на него с пренебрежительной усмешкой.

— И стричься, и бриться, милая, — сказал он торопливо. — Да вот засмотрелся...

— Садитесь уж, — милостиво разрешила парикмахерша. — Как стричь? — Она ходила раздражающе медленно то за машинкой, то за простыней, то еще за чем-то. Николай Ильич смирился. Сидел, размякнув, всматриваясь в свое отражение в зеркале, и теплая волна жалости к самому себе постепенно накатывала на него. «И впрямь глаза как у дохлой рыбы, — думал он. — Старый, больной старик. Никому не нужный. Так

и сдохну у себя в лесу, а сын никогда и не узнает, где моя могила. Гришка вон закопает...»

Парикмахерша постригла его, небрежно стряхнула на пол копну седых волос. Потом долго мылила ему лицо пенистым горячим кремом. Николай Ильич зажмурил глаза. Ему вдруг нестерпимо захотелось спать. Сидеть бы здесь и сидеть, ощущая, как ловко колдуют над твоим лицом женские пальцы. Он вспомнил вдруг картинку из журнала, которую только что видел. Она стояла у него перед глазами словно наяву. «Так это ж наше Зайцово! — подумал он. — Ну до чего же похоже!»

— Клиент, вы что дергаетесь? — привел Николая Ильича в чувство голос мастерицы. — Заснули? Я ведь так и порезать могу!

«Эх, надо бы журнальчик этот попросить у них, — подумал он. — Надо бы попросить. Рассмотрю на досуге. Нарисовал же кто-то!» На душе у него сделалось радостно. И когда парикмахерша спросила, делать ли компресс, он сказал весело:

— Давай, милая, делай. И компресс, и одеколоном побрызгай.

Николай Ильич расплатился, дал ей двадцать копеек на чай и пошел одеваться. Принимая из рук гардеробщика свой ватник, он спросил его шепотом:

— Ты не уважишь меня, дядя, не разрешишь журнальчик забрать, а? Позарез нужен.

— Вы что, гражданин, — бесцветным голосом сказал гардеробщик, пожилой инвалид. — Если каждый клиент будет по журнальчику уносить.. И так все порастащили.

— Да я не бесплатно, я заплачу, — заторопился Николай Ильич. Полез в карман и, вынув рубль, сунул инвалиду. Тот проворно спрятал рубль в карман и молча кивнул на столик с журналами.

В контору Зотов пришел в хорошем настроении. И даже долгое ожидание в приемной не испортило его.

Директор лесхоза, молодой еще мужчина, кряжистый, хмуроватый, долго смотрел на Николая Ильича. Наверное, тоже почувствовал в старике перемену. Потом сказал, посуровев:

— Жалуются, Зотов, на тебя. По два, по три раза ходят на кордон люди, чтоб ты им делянку отвел. То на месте тебя нет, то занемог. Со Мшинской ведь дорога не ближняя...

Николай Ильич сделал смиренное лицо, но от сердца отлегло — боялся он, не прознал ли директор про лося. Стукнул он лосиху перед Николой зимним.

— Ну что ж молчишь, Зотов? — недовольно спросил директор.

— Да ведь что сказать-то, Анатоль Тарасыч, что сказать? Ясное дело, жалуются. На каждого не угодишь, — развел руками Николай Ильич — Я ведь на кордоне не сижу. Все по лесу шастаю. У нас ведь глаз нужен — недоглядишь, живо машину с лесом налево вывезут. А мшинские-то все строятся. Где лесина плохо лежит, все норовят к делу приладить...

— Ну ты не загибай, Зотов, — перебил его Анатолий Тара-

сович. — По-твоему выходит, все там жулики да воры. Уж я-то знаю, сколько мшинские у нас леса покупают. И ты знаешь. Все чин по чину.

— Так опять же елки к Новому году рубали, — вставил Николай Ильич.

Но директор махнул на его замечание рукой:

— Станут в такую глушь за елками ездить! Я вот о другом думаю: не надоело ли тебе, Зотов, в лесу одному бирючить? Работаешь спустя рукава. — Он немного помолчал, глядя на лесника, и спросил уже более мягко: — Сколько уже стукнуло-то?

— Шестьдесят пять, Анатоль Тарасыч. Годы мои и правда немалые. Только все это напраслину на меня возводят, Анатоль Тарасыч, я, конечно, не тот, что прежде. Да ведь старый конь борозды не портит, — Николай Ильич сказал это чуть обиженно, с просительной ноткой. А сам подумал: «Вот идол, в сыновья мне годишься, а тыкаешь! Что мы с тобой, водку вместе пили?»

— Ну ладно, ладно. Закончим на этом. Но ты себе сделай заметку. Будут опять жаловаться — по-другому разговор пойдет.

Он расспросил Николая Ильича о том, как приживаются посадки, на какой площади сделана санитарная рубка. Не сохнет ли лес от подсочки, там, где берут живицу.

В конце разговора Николай Ильич, хитро улыбнувшись, сказал:

— У меня, товарищ директор, с осени берлога примечена. Лежит мишка — проверяю все время. Не выберетесь?

Анатолий Тарасович оживился:

— Берлога, говоришь? Это дело. Ох, хорошее дело! А не вспугнут? — с неожиданной тревогой спросил он.

— Не, не вспугнут. Я только один и знаю, даже с егерем не поделился. Приезжайте, дело верное, место глухое. По следу приметил я — большой мишка! Может, и с медвежонком. Только вы поспешите.

— Поспешу, поспешу, — директору явно пришлось по душе приглашение Зотова.

— Вы весточку только дайте, — прощаясь, сказал Николай Ильич. — Али я сам позвоню вам через пяток дней?

— Позвони. Выберусь обязательно.

...К Грише Зотов пришел улыбающийся, довольный.

— Ну и дела! — покачал головой Григорий. — Ты и впрямь никак жениться решил, жеребец? Тебя ведь такого стриженого и Дружок не узнает.

— Смотри! — развернул Николай Ильич журнал. — На мое Зайцово похоже. Как две капли!

Гришка взглянул на картинку. Сказал со вздохом:

— Было Зайцово твоим когда-то... Чего о нем вспоминать. Я уж думал, ты давно его из головы выбросил.

— Да ведь как выбросишь, — разочарованный реакцией друга, вяло протянул Николай Ильич. — Родные края.

— В краях этих родных мужички да бабы подумали о тебе, когда решили под суд отдать? Простить отказались! Вспомнил о тебе кто-нибудь, когда ты на Севере зону топтал? Родные края... Эх ты! Нету у нас с тобой родных краев. И родни нету, — в сердцах бросил Гриша.

— Да уж что верно, то верно, — прошептал лесник, — прости они мне тогда, вся жизнь у меня бы по-другому повернулась. — Он сложил журнал вчетверо и запихал в мешок.

Весь вечер они провели в ресторане. Здесь было шумно, дымно от курева, пахло пережаренным мясом. У Николая Ильича с непривычки разболелась голова. А Гриша чувствовал себя здесь как дома. К их столику несколько раз подходили какие-то незнакомые Зотову люди, здоровались дружески с Гришей. Иных он усаживал рядом, приглашал выпить.

— Пятьдесят пять лет не каждый год человек справляет, — кричал он громко.

Николай Ильич с удивлением отметил, что Гришу здесь многие знают.

— Коля, кореш ты мой. — Гриша уже изрядно захмелел, глаза у него сделались маленькими, блестящими. — Коля, старые мы с тобой хрычи. Окурки. Никому-то мы не нужны. Ну, ничего, сами за себя постоим... Годика через три заимеем домик на теплом море, участочек свой. Заживем другим на зависть... Отогреем старые кости.

— Да уж ты-то чего в старики записываешься, — не соглашался Николай Ильич. — Пятьдесят пять лет для мужика — самый цвет! Вот только облысел ты изрядно. А помню, в колонии я тебя приметил... Молодой ты еще был. И злой. Ровно зверь. А вот приглянулся мне чем-то! И сам не знаю чем.

— Эх, Колюн! Не вспоминай, старик, не трави душу, друг ты мой меченый. Выпьем давай за дружбу... Тут опять станичник приезжал, — перешел он на шепот. — Нужно еще сто кубов. Документы в полном ажуре. Если эти кубики мы сварганим, считай, что полдома у нас в кармане. Отвесят они нам косуху.

— Много сто кубиков-то, — встревожился Николай Ильич. — Ведь это ж не воз ольхи, сколько я тебе твержу. Тарификация будет — и дурак заметит. Кончать надо с этим. Нету моей мочи.

— Документики, документики у станичника в ажуре, дурья голова, — буркнул Гриша. — Я все это проведу через лесхоз. Ну как ты понять не можешь: ведь законно все, законно.

— Чего же они тогда косуху отвалить обещают, — устало сказал Николай Ильич, — ежели законно? Ты мне-то не крути. Я и сам бухгалтерией занимался. А куда попал?

— Да ведь просто фондов у них нет, у этих станичников. Не отпущены фонды на этот год. Да и лес строевой не положено им продать. А мы оформим. Чудило! Это не то что в прош-

лые разы. Чистое дело. Я тебе, Коля, не зря толкую, будет у иас домик иа теплом море. И на книжке деньжата будут...

Иметь домик иа теплом море — это была давиишняя их мечта. В колонии, иа лесоповале в Архангельской области, укрывшись износившимся, совсем негреющим одеялом, прижавшись друг к другу, мечтали они морозными ночами о том, как, закоичив срок, уедут в теплые края, на Черное или Азовское море, купят маленький домик, разведут огород н заживут теплой и сытой жизнью.

Когда Гриша из колонии выходил, сговорились они, что поедет он на Кубань, будет присматрнвать недорогой домик. Но вскоре Николай Ильнч получил от него весточку из Гатчины. Друг звал туда. «Домики, Коля, нынче в цене, — писал ои. — Да и поиздержался я в дороге. Надо подкопить деньжат, а там уж и двинем».

На Кубаии обзавелся Гриша нужиымн знакомствами, обещал кое-кому помогать по части леса. Нужда в лесе всегда большая.

...Они пили много. Гриша заказал еще и шампанского, и Николай Ильич, прислушиваясь к звукам музыки, любуясь на танцующих, вспомииал о своем лесе как о чем-то совсем-совсем далеком и почти нереальиом.

— Что, старик? Мы еще гулять можем? — подливая себе в шампанское водки, бормотал Григорий. — Нас, Колюн, еще рано в расход пускать!

Ои выпил залпом и вдруг, глянув в глаза Зотову тревожным взглядом, сказал:

— Эх, Колюн, пристань ты моя зимняя! И что я буду делать, когда ты загнешься? Ведь стар, скотниа! — Лицо его сморщилось. Он весь напрягся, сжал кулаки и неожиданно завыл, закусив нижиюю губу: — У-у-у, гады...

Николай Ильич перепугался и судорожно вцепился Григорию в руку. Он еще по колонии знал, что в такие минуты от Мокригина добра не жди — того и гляди иачнет драться и крушить все подряд.

— Гришуха, Гришуха, остыиь! Замри! — увещевал Николай Ильич, ощущая, как набухла мускулами Гришиия рука.

Люди за соседними столиками начали оглядываться.

Мокригин обмяк и иавалился грудью иа стол, сцепив руки иа затылке.

— Эх, Колюн, гады кругом, гады, — зашептал он громко. — Так и рыщут, так и рыщут. Только ты, старик, и остался у меня. — Он поднял голову, налил водки н выпил залпом. — А ведь и мы, Колюи, в людях ходили! И у нас от кирюх отбою не было!

— Ладно, Гриша, ладио, — ласково уговаривал Мокригина Николай Ильич. — Чего ерепениться! Наше дело такое — возок с ярмарки. Откукарекали свое.

— Ты, может, и откукарекал, петух, а я еще своего не взял, понял?

Мокригин выпил еще рюмку и совсем запьяиел. Глаза у него

сделались бессмысленные, он начал приставать к соседям, и Николай Ильич с трудом увел его из ресторана.

12

Утром Николай Ильич едва встал. Во рту было горько, словно эскадрон казаков ночевал. Голова кружилась. Гриша уже ушел на работу. Оставил на столе записку: «Коля, шамовка в холодильнике. Забирай подчистую». Николай Ильич собрал свой вещмешок, вытащил из холодильника закупленные Гришей продукты. Есть ему не хотелось. Налил только водки из початой бутылки и, крякнув, выпил. Но легче не стало. Уже одевшись, он прошелся по комнате. Постоял у серванта, разглядывая фужеры, рюмки. «Эко накупил Гришка Собачник! Кто бы подумал». В колонии Мокригина звали Собачником за то, что однажды на лесосеке он подманил коркой хлеба собаку, наверное, отставшую от охотников, и, убив ударом топора, варил в своем котелке целую неделю.

В вагоне Зотов вспомнил про журнал и с трудом разыскал его среди пакетов с продуктами. Теперь уж он повнимательнее рассмотрел все картинки. Их было четыре. И на одной была деревня, очень похожая на его Зайцово. Только подпись какая-то чудная: «Т. Алексеев. Воспоминание о прошлом». На других картинах были изображены незнакомые места — живописные домишки на песчаном берегу моря. А подпись под всеми одна — Т. Алексеев. Николай Ильич стал листать журнал и вдруг остолбенел: с маленькой фотографии на него смотрел сын, Тельман!

— Да как же это? — прошептал старик. — Тельман, сынок. Откуда?

Он хотел прочитать, что там было написано, но глаза застилала пелена, и он ничего не мог разобрать. Буквы рассыпались, расплывались, и, как ни тер Николай Ильич глаза, ничего не мог разобрать. Наконец он немного успокоился, пришел в себя. Повернув журнал ближе к свету, начал медленно читать. Небольшая заметка называлась «Дороги художника Алексеева», а речь шла о его Тельмане, о Тельмане Зотове! «Ну почему же здесь написано «Алексеев»? — недоумевал Николай Ильич. — Вот ведь даже и отчество — Николаевич. Да и под картинами тоже стоит: «Т. Алексеев». И вдруг понял: фамилию-то материну взял. Не захотел отцову носить. Не простил!..»

Жгучая обида душила его. Не хотелось ни думать, ни двигаться — вот так бы все ехать и ехать, ни с кем не разговаривая. На Мшинской он вышел как в полусне. На платформе с ним кто-то поздоровался, Николай Ильич кивнул машинально, даже не посмотрел, кто это был.

Он шел по знакомой, тысячи раз исхоженной тропинке, не глядя под ноги, и то и дело оступался в глубокий снег. Ветер глухо гудел в вершинах елей. Постепенно привычный шум, и мерцающие снега вокруг, и поскрипывающая под ногами тропинка

успокоили его, Обида его поутихла. А на место ее пришла горькая мысль: а не сам ли он виноват в том, что разошлись они, разлетелись они с сыном по разным дорогам? Ну поссорились, крепко поссорились они в августе сорок первого. Да что из того? Разве это на всю жизнь — ссора отца с подростком-сыном? Ведь добра же, добра хотел он Тельману. От смерти уберечь хотел!

Что было, то прошло. Так почему же потом, после войны, не разыскал он сына, единственного во всем белом свете родного ему человека? Не разыскал, не посмотрел ему в глаза, не попросил у него прощения. Ведь сын простил бы. Простил бы, это Николай Ильич твердо знал. Родная кровь!

Как много могло измениться тогда! И жизнь могла пойти совсем не так, как пошла. Да разве попал бы он в тюрьму, если сын стоял бы рядом? Сын — опора, надежда. Смысл жизни. Николай Ильич вдруг опять вспомнил, как провожал Тельмана в пионерлагерь. Он уж тогда был ему помощником! Нет, не зря они с матерью назвали его в честь Эрнста Тельмана!

«А может быть, и не со зла поменял Тельман фамилию, может, жизнь заставила? В жизни каких только передряг не случается — можно и имя свое забыть, не только фамилию. Отчество ведь сын не сменил? Николаич ведь, Николаич!»

Эта мысль успокоила его и утвердила в решении узнать в справочном бюро адрес и послать сыну письмо.

Ответ из адресного бюро пришел быстро: «Алексеев Тельман Николаевич проживает постоянно в городе Ленинграде, улица Профессора Попова, дом тридцать восемь, квартира четырнадцать».

13

Через несколько дней неожиданно приехал Гриша Мокрягин. «Что-то случилось, — испугался Николай Ильич, вглядываясь в хмурое лицо друга. — Ох, не ровен час, о продаже леса дознались?! Не собирался ведь он так скоро».

А Гриша болтал о разных лесхозовских мелочах и сплетнях как ни в чем не бывало, будто только ради этого и приехал. Но глаза смотрели тревожно. Так тревожно смотрели глаза, что Николай Ильич не выдержал и, сам заражаясь тревогой, спросил:

— Да не тяни ты, черт! Чего стряслось-то?

— Чего у нас может стрястись? Соскучился — вот и прикатил. Невмоготу мне. С утра до вечера только и слышишь: рубли, проценты, выполним — перевыполним. Тошно. К тебе в лес приеду — душу отвожу. Будто снова народился. — Он подмигнул Зотову, вытащил из мешка бутылку водки. Но Николай Ильич чувствовал: неспокойно у друга на душе. Хорохорится для вида. Уж он-то Гришу знает — не первый год знакомы. «Ну да ладно, поиграйся, надоест — сам расскажешь», — подумал он. Достал из подпола грибков, поставил картошку варить.

Они сидели допоздна, балагурили о том о сем. Вспомнили свою жизнь в колонии. Колония была строгого режима, магазин — один раз в месяц. Посылок ни Зотову, ни Мокригину никто не присылал.

Когда они легли спать и Зотов задул лампу, Мокригин сказал мечтательно:

— Хорошо тут у тебя, Коля, ей-богу, хорошо. Так сердце успокаивается. А ты Зайцово вспомнил! Картинки увидел! Да разве ты жил в Зайцове в таком спокое?

Николай Ильич вдруг спохватился: «Что же это я про Тельмана Грише ничего не сказал? Вот ведь гусь! Все думаю, дай скажу, дай скажу, а не сказал».

Сказать-то хотел, сразу хотел сказать, едва Григорий порог переступил, да медлил. Словно кто останавливал его.

Николай Ильич поворочался на кровати и, наконец решившись, сказал:

— Гриша, а ведь те картинки, ну что в журнале я тебе показывал, — их Тельман рисовал. Сын.

Мокригин молчал.

— Ты слышь, Григорий? — позвал Николай Ильич.

— Слышу, — как-то отрешенно ответил Мокригин. — Сыскался, значит.

— Вот ведь как жизнь-то распорядилась, — сказал задумчиво Николай Ильич. — Я думал, загинул он. С войны ведь, с сорок первого, ни одной весточки не было, а он в художники вышел. Недаром мальчонкой рисовать любил. Только фамилия у него другая, Гриша. Не Зотов он.

Гриша вдруг расхохотался.

— Да с чего ты, старик, взял, что это твой сын? Мало ли Тельманов на свете. И почудней имена есть! А ты заладил: сын, сын! Рассусоливаешь мне про него...

Николаю Ильичу было обидно слушать Гришин смех. Он сказал:

— Мой это Тельман, Гриша. Портретик там есть. Точно мой. Да и написано: Тельман Николаевич. Только Алексеев. Матерну фамилию взял. Может, чего случилось? Пятнадцать ему было, когда с пленными солдатами от немцев бежал. — Зотов тяжело вздохнул. Воспоминания его одолевали. Горькие старческие воспоминания. Он долго ворочался, потом снова заговорил:

— Вот что мне интересно — женат он или нет? Да уж конечно! — сам же себе ответил Зотов. — Сорок пять в нонешнем мае будет. Дак ведь я, Григорий, наверняка дед! — оживился он. — Дед я, Григорий. А может быть, и прадед даже. А что? Ежели он, как и я, в девятнадцать поженился. Тельман-то у нас с Василисой рано появился, ой как рано. Ой, гуси-лебеди, прадед! Слышь, Гриша? Прадед.

Мокригин молчал.

— Я, Гриша, решил написать ему и адрес уже разузнал. Что старое вспоминать? Жить-то всего ничего осталось. Заснешь когда-нито и не просишься.

— Забыл, значит, ты все обиды, забыл, как тебя из-за сына твоего, щенка, фрицы чуть в расход не пустили? — неожиданно зло рявкнул Мокригин. — Он от тебя убег, на смерть оставил, а ты... Он столько лет о себе знать не давал! Сам ведь мне столько раз плакался. Ты что думаешь, не знал он, что папаша у него по тюрьмам да колониям восемь лет от звонка до звонка отышачил? Держи карман шире! Как миленький знал. Уж он-то в Зайцово твое распроклятое не раз, видать, съездил. И не хотел бы, дак землячки твои все ему рассказали. В лучшем виде.

«Чего он так злится? — удивился Николай Ильич. — Чудак человек!»

Словно спохватившись, Мокригин смолк. Потом сказал уже спокойно:

— Я, Коля, тебе и вчера говорил: выбрось из головы эти фокусы-мокусы. Деревенька моя — ах, ах!.. Сынок теперь сыскался... Прожил полжизни без земляков и без сына — и еще проживешь. Без друга — никогда. Нет жизни без верного кореша. Нет опоры. А землячки, детки — фить, разлетелись в разные стороны, кричи — охрипнешь! — Он заворочался в кровати так, что пружины застонали. Достал со стула папиросы. Закурил. — Я вот, Коля, в детдоме вырос. А где родился — не знаю. И не интересуюсь.

Потом они долго лежали молча. Николай Ильич курил, думал. И, уже совсем засыпая, сказал мечтательно:

— Нет, Гриша, что ты ни говори, а напишу я сыну письмо.

Мокригин не ответил. «Наверное, уже спит, — подумал Николай Ильич. — Ну да бог с ним. Проспится — отойдет. И чего он разошелся?»

Но утром Григорий встал хмурый. Молча поел картошки, поджаренной с лосятиной, выпил полстакана водки. А когда оделся и собрался уходить, сказал:

— Ты вот что, Коля, поступай как знаешь. Только я тебя родным считал. Надеялся, что друг за друга держаться будем. А ты... — Он посмотрел на Зотова долгим тяжелым взглядом. — Смотри, Колюн, не прогадай. Ты меня знаешь... Пошлю письмо прокурору, а сам слиняю. Я-то крышу везде найду. А вот как ты с сынком встретишься? Сдохнешь в тюряге. Тебе и трех лет хватит.

Повернулся и ушел, хлопнув дверью и пнув в сенях подбежавшего приласкаться пса.

«У-у, разбойная рожа, — зло подумал Николай Ильич, глядя из оконца на удаляющуюся фигуру Мокригина. — Сдурел мужик. Будто белены объелся. «Я тебе друг, я тебе друг!» А как поперек что скажешь, того и гляди в рожу заедет. И откуда он свалился на мою голову? И чего ярится?»

Зотов долго сидел не двигаясь, тяжело навалясь на стол. Глядел пустыми глазами сквозь замерзающее оконце на темный ельник, где только что скрылся Григорий. Ледяные мохнатые веточки незаметно, будто сами собой, рисовались на стекле,

сплетались в причудливые узоры, постепенно закрывая от Николая Ильича белую поляну с небольшим стожком и синеющий в рассветной мгле лес.

«Не доведут меня до добра мои думы, — вздохнул Зотов, оторвав наконец взгляд от заледеневшего окна. — Делом надо заняться». Он убрал со стола и сел подшивать валенки: давно собирался, да все было недосуг.

Николай Ильич подшивал валенки и вспоминал про колонию, про то, как сошлись они с Гришей. Тогда разница в годах была особенно заметна. Это сейчас она почти стерлась, не чувствуется. А в то время Мокригин против Николая Ильича совсем мальчишкой выглядел. Зотов подумал о том, что в первое время их знакомства, глядя на Гришу, все сына вспоминал. И нет-нет да рождалась тревожная мысль: «Ну, как и сын по кривой дорожке пошел? Так же, как этот Гриша Собачник, сидевший за грабеж». Только раньше злость на Тельмана все другие мысли пересиливала. Вспомнит, погорюет, да и снова забудет надолго.

Чего уж стал покровительствовать ему Гриша, Николай Ильич в толк взять не мог. Да и задумываться не хотелось. Сдружились — и ладно. Может, оттого, что родителей Мокригин не знал? А может, из-за того, что Николай Ильич всегда был ровным, спокойным, не обижался на злые Гришины выходки.

Он подумал об этом, и сейчас жалость к Мокригину шевельнулась в нем, но тут же погасла. «Женился бы и жил спокойно», — подумал Николай Ильич, хотя раньше любая мысль об этом вызывала в нем легкое чувство ревности.

14

Николай Ильич всю ночь не находил себе места. Вставал, закуривал и, накинув на плечи телогрейку, ходил бесконечно по комнате, вздрагивая от скрипа половиц. Дружок, чувствуя, что хозяин не спит, жалобно повизгивал в сенях.

Под утро Зотов затопил печь, чтобы хоть как-то занять время, отвлечься. И долго сидел у огня, глядя, как пожирает пламя сухие березовые поленья, машинально подбирая отскочившие угольки и бросая их снова в топку.

«Ну что же делать? Что делать? — никак не мог решить он. — Писать Тельману или нет? Ведь Гриша такой — на все способен!»

Чуть занялся рассвет, Николай Ильич надел лыжи и отправился в Пехенец, на почту. Купив конверт с маркой, он уселся за маленький столик, забрызганный чернилами и замазанный клеем, и долго сидел над чистым листом бумаги, пока наконец не вывел: «Здравствуйте, Тельман Николаевич...» Он написал письмо, заклеил конверт и поинтересовался у почтальонши, когда отправка. Оказалось, что через полчаса машина увезет почту на Мшинскую. «Что ж, завтра-послезавтра, должно быть, получит Тельман», — прикинул Зотов и подумал: а не позвонить ли Грише? Может, отмяк его друг-приятель?

Николай Ильнч заказал разговор с Гатчнной н долго ждал, пока соединят. Кроме него, на почте не было ни одного посетителя. Сонная тишииа стояла в комнате. Время от временн начинал стрекотать телеграф, да вполголоса обсуждали какую-то Люську телефоннстка н еще одна востроносая очкастая девица, навериое, завпочтой. Резкий звоиок заставил Ннколая Ильнча вздрогнуть. Телефонистка молча протянула ему нз-за барьера трубку.

— Кто? — отрывнсто прозвучало в трубке. Это был голос Мокрнгина. Он всегда говорил по телефону деловнто н важно. Нниолай Ильич ннкак не мог привыкнуть к этому и молчал, растерянно соображая, чего бы ему ответить. Вот н сейчас он помолчал чуток, потом спроснл, сдержанно кашлянув:

— Григорий?

— Говорнте, — буркнул Мокригин. Видать, не признал Зотова.

— Григорий, это я, Нниолай.

— А-а, Колюн! — наконец узнал Мокрнгин. — Здравствуй!

Он сказал это с растяжечкой, н Ннколай Ильнч уловил недобрые нотки в голосе друга. «Сердится», — подумал Зотов и вздохнул.

— Ты чего молчишь, Колюн? — спросил Мокрнгин. — Как дела?

— Да все нормально, — скучным голосом ответил Николай Ильич. Он уже жалел, что позвонил. — Сыну вот письмо отправнл...

Мокригин несколько секунд молчал, будто собирался с духом, наконец выдавил сиплым голосом:

— Не послушал, зиачит, друга. Я тебя предупреждал, Колюн. Спокойной жизнн не жди! Сыночку расскажу про твое житьебытье: откудова денежкн у бати завелись под старость. И еще кой-куда стукиуть могу. За мной не задолжится... — Он вдруг осекся. Похоже, кто-то вошел в комнату. И продолжал уже спокойным, даже веселым голосом. — Так нам, дружище, есть о чем поговорить. Ты меия послезавтра жди с трехчасового. Жди! Погутарнм.

И повесил трубку.

Николай Ильич грустный поплелся к себе на кордон.

Эти днн ои делал все машинальио, словно в полусне. Отвел двух лужских мужиков на делянку, пометнл, что рубить. У мужнков был выпнсан наряд на строевой лес. Потом спохватнлся: а вдруг прнедет Тельман, а на кордоне запустенне, разор. И так в холостяцком доме иикогда порядку не было, а последиее время ои и вовсе не занимался своим хозяйством: на кухне грязь, гора неделями не мытой посуды. В комнате все валяется как попало, пол грязный, заплеванный. Ннколай Ильнч согрел ведро воды, вымыл, выскреб ножом полы, убрал всю лишнюю, накопившуюся годамн рухлядь в кладовку. В доме стало сразу уютнее, н у Николая Ильича посветлело на душе.

Ои снова и сиова думал о сыне. Представил, как сядут оии

с Тельманом за стол и будут говорить о врозь прожитых годах. Сколько же им иадо вспомиить! А потом он поведет сына в лес, покажет самые заповедные, самые красивые уголки. И на медведя они сходят вместе. Подумаешь, директору пообещал! Обойдется. Поводит его по лесу, поводит — иету, ушел мишка. Мало ли кто вспугнул?! А уж с сыиом-то они достаиут косолапого. Весиой отвезет ои Тельмаиа на Вялье озеро, где иа маленьком островке токуют тяжелые строжкие глухари, покажет Орелью Гриву и тетеревииые тока за Владычкином. Как они бурлят раииим весенним утром, когда лес и поляны еще скрыты густым туманом! Полюбится здесь сыну, ей-богу, полюбится! Эх, только бы ои ответил на письмо. Только бы не держал иа сердце зло. Отец же ои ему, родная кровь! Получил ли сын письмо? И о чем подумал?..

А может быть, Тельман жеиат и у него дети, семья? Ну и что же, что семья? И внукам нужеи дед. Он был бы добрым, заботливым дедом. Как весело стало бы летом у него на кордоне, поселись здесь Тельман с детьми! Ои, Николай Ильич, водил бы ребят в лес, а Тельман сидел где-ннбудь в самом заветном местечке, рисовал. Вон какие красивые его картииы напечаталн в журнале! Заглядишься. Да и ие всякого небось печатают в журнале. Навериняка не всякого.

Ну н зачем им старое вспомииать? Зачем? Кто старое вспомяиет... Да и жизнь прошла, н Тельман не мальчик, время ли в прошлом копаться?

Думал так Николай Ильич, и иа душе у него теплело. Но потом вдруг вставало перед ним злое лицо Мокригина, и все светлые мечты расплывались, и оставалась одна горечь и тревога. И тревога эта с каждым часом усиливалась и усиливалась.

В тот день, когда обещал приехать Мокригин, Николай Ильич совсем упал духом. Временами он чувствовал такую слабость, что мутилось в голове. Хотелось лечь, закрыть голову подушкой н не шевелиться, не вставать, не думать ни о чем.

Ну что ему, Гришке, Тельман? В дом, что ли, просится? Что плохого, если у твоего друга иашелся вдруг сын? Почему не радоваться вместе? Ведь у иих-то ничего ие изменится. Почему, спрашивается, Гришка так разозлился, когда узнал, что Николай Ильич хочет разыскать сына и помириться с ним? Может, думает, что не смогут они теперь лес на сторону продавать? Так ведь давио уже сказал Николай Ильич: последний раз уступнл ему — и амба. Не тот возраст, чтобы снова в тюрьму.

«Ах, Гришка, Гришка! — вздыхал Николай Ильич. — Неужели решил ты, что наши общие денежки делить я с тобой буду? Тьфу, денежки. Если бы Тельман весточку прислал, если бы выпало такое счастье — зачем мне эти денежки? Прожил бы я вместе с сыиом и без них. Да и о чем разговор — вилами еще все иа воде писано, не откликиулся сын и, может так статься, ие откликнется. — Но тут же одергивал себя: — Нет, нет, такого быть ие может! Разве оттолкнет ои старого, больного отца?

А Гришка-то хорош: «Все твоему сыну выложу, все. И про то, что сидел, и про то, как сидел! И о том, что лес воруешь долгие годы». Ну, положим, что сидел — зачем скрывать? От тюрьмы да от сумы грех зарекаться. А коли и вправду он про лес скажет? Нужен Тельману такой отец? Сын человек известный, уважаемый, ему грехи отцовы не медаль на грудь. Да ведь Гришка-то окаянный, лихой человек, он и прокурору заявит. Подкинет письмишко, а самого ищи-свищи. Денежки наши общие в карман, а сам в края далекие.

И откуда этот цепной пес на мою голову свалился? Бухгалтер чертов! У него небось и четырех классов не кончено. А сумел пристроиться. Меня так ближе сто первого к Питеру не подпустили, а Гришка в Гатчине осел, — со злостью думал Николай Ильич. — Чего он всех ненавидит? Чего таким злым уродился? Жизнь с ним зло поступила? Несправедливо? Ну, рос без отца, без матки... Да ведь мало ли сиротства на белом свете?! Вон после войны сколько сирот осталось! А ведь людьми выросли... Нет, тут что-то другое у Гришки. Может, оттого, что слабый в детстве был и каждый им помыкал? А потом нож в руки взял и увидел, что боятся? Силу почуял. Эх-ха-ха! Вот она, жизнь, что с человеком делает. И ведь отмяк он нынче, отмяк. Поглаже стал. А тут снова! Ну что ему Тельман? Ровно как кость в горле».

Голова раскалывалась от этих дум. Временами ему казалось, что он напрасно послал письмо сыну. Может быть, и впрямь не стоило писать? Прожил же он столько лет без Тельмана. Скоротал бы с Гришей Мокригиным и те немногие годы, что осталось. Вон сам Гриша — один как перст. А не горюет. И не зря говорит ему, Николаю Ильичу, что ни друзей, ни близких, кроме него, нет. Но такие мысли приходили и уходили, а осталась одна жгучая боль под сердцем. Да зрела злость на того, кто встал на пути к сыну.

В полдень, когда до приезда Мокригина оставались считанные часы, Николай Ильич вдруг понял, что Гришка не отступит от задуманного. Он вспоминал долгие годы своего знакомства с ним, мелкие, на первый взгляд ничего не значащие случаи из их житухи в колонии, всю их последующую вольную жизнь, и чувство беззащитности перед Мокригиным охватило все его существо. Нет, Гришка никогда не отступался от задуманного. Что-то в нем было такое, что заставляло людей подчиняться ему. Николай Ильич считал, что только ему повезло на дружбу с этим суровым, может быть, даже жестоким человеком, но сейчас ему показалось, что и его дружба с Мокригиным была лишь цепочкой уступок, уступок его воле, его желаниям. Он опять вспомнил историю с собакой, и ему стало страшно, оттого что не послушался, поступил, может быть, в первый раз по-своему. Да ведь как иначе-то поступить? Сын же, сын родной отыскался!

...Николай Ильич посмотрел на часы. Половина второго. Мок-

ригин приедет трехчасовым поездом. Он всегда был верен своему слову.

Николай Ильич надел телогрейку, вышел в сарай. Там, в ловко выдолбленном трухлявом бревне, он прятал старенький трофейный карабин. Он даже и не купил его, а поменял на десяток добрых бревен. Изредка, лишь в самых крайних случаях, он доставал карабин, чтобы завалить лося. Да и то когда был уверен, что егерь в отъезде. Вот только с патронами последнее время было плохо. Негде достать. Николай Ильич проверил обойму — оставалась последняя.

Начиналась метель. Низкие белесые тучи медленно разворачивались над лесом, а за ними темнели другие. На небе не было видно ни одного просвета. Холодный ветер пронизывал насквозь, и Николай Ильич почувствовал, что его начинает бить мелкая дрожь. Он прибавил шагу, но лыжи утопали глубоко, и идти было трудно. Зато он скоро согрелся. Николай Ильич не беспокоился сейчас о том, что будет. Ему казалось, что теперь все образуется. И Мокригина ему было не жаль, совсем не жаль. И хорошо, что метель. Небось к ночи такая разыграется, что никаких следов не останется. Но он не пошел напрямик к той тропе, что вела со станции к Владычкину и по которой всегда ходил Мокригин. Время еще имелось в запасе, и от кордона он уклонился в сторону, старался идти по открытым местам: быстрее занесет следы. Делал он это не задумываясь, как будто даже неумеренно. Шел и шел, останавливаясь передохнуть, и минута от минуты росла в нем злость на Мокригина, из-за которого приходится вот тащиться по глубокому снегу, вместо того чтобы ждать письма от сына, сидя в тепло натопленном доме...

Впереди, метрах в пятистах, чуть заметной серой полоской выбегала из лесу тропинка, ведущая со станции во Владычкино. Ходили по ней редко. Да и кому ходить-то? В деревне осталось всего несколько домов, и только две-три владычкинские бабы торили тропинку к станции. Да и то не всегда. Когда повезет, предпочитали добраться с попутной машиной, что приезжала то за сеном, то еще по каким делам.

Времени было без пятнадцати четыре. Мокригин ходил быстро, Николай Ильич со своей короткой ногой с трудом поспевал за ним, когда они ходили вместе.

Он стал за маленькой елкой, осторожно отвел затвор, загнал патрон в патронник. Он был уверен в себе — стрелял всегда без промаха. А там пусть думают-гадают. Мало ли по лесу охотников шастает. Пуля — дура.

Николай Ильич почувствовал, сердцем почувствовал, что Мокригин вот-вот появится из бора. Перехватило дыхание, и чуть дрогнула рука, когда он поднял карабин примериться. Но справился с охватившим его ознобом, глубоко вздохнул и тут же увидел идущего, Гришину мохнатую рыжую шапку. Еловый подрост почти скрывал фигуру Мокригина. Николай Ильич видел только голову да успел разглядеть вещевой мешок за спиной.

«Небось продуктов несет своему дружку Коле», — мелькнула злорадная мысль, и он нажал на курок.

...Он пришел из лесу в потемках, совсем обессиленный. Спрятал карабин. Но на душе у него было спокойно. Словно стрелял не сам, а кто-то другой: понял его страдания и горе и сжалился над стариком, открыл ему дорогу к сыну. И он, спаситель, и грех па душу взял.

Николай Ильич не сомневался в том, что Гриша Мокригин мертв. Ну и что ж, что он не видел его мертвым. Случись это, ему, может быть, и тошно стало, и совесть его начала бы мучить. А так — был Гриша, и нету. Только выстрел отдался эхом по перелескам. А что Тельман еще не написал, так это не страшно. Еще напишет. Да и сам он, Николай Ильич, съездит к сыну. Непременно съездит. Завтра же. У него теперь время есть. Уж они-то вдвоем разберутся во всем, уж они-то найдут дорожку друг к другу. А Гриша теперь не помешает.

Впервые за несколько дней Николай Ильич хорошо спал.

На следующее утро он зашел в Пехенец на почту. Письма опять не было, и Николай Ильич отправился на Мшинскую, на электричку. О Грише он и не вспоминал, только когда проезжал Гатчину, кольнуло сердце тревогой. Но он успокоил себя. Вот и в Пехенце никто ничего пока не знает: где-где, а на почте-то уж наверняка знали бы.

Он ехал к сыну с твердой уверенностью, что все у него устроится. Нет, хватит терзаться в одиночестве. Что он за размазня такая? Надо же решиться! Не может такого произойти, чтобы не признал его сын. Не может.

15

...Тельмана дома не оказалось. Сколько ни звонил Николай Ильич, за дверью было тихо. Он решил где-нибудь перекусить и зайти позже. «В крайнем случае с последней электричкой уеду. К ночи-то небось вернется, — успокаивал он себя. — Мало ли какие дела! На службе задержался».

Он долго ходил по городу, останавливаясь у красивых витрин магазинов. Нарочно оттягивал время, чтобы прийти уж наверняка, обязательно застать сына. На Неве, у Петропавловской крепости, Николай Ильич приметил художника с мольбертом и долго стоял поодаль, разглядывая, чего он там рисует. Город был затянут сырым, противным туманом, и на холсте у художника слоился туман, а в просветах намечались зыбкие контуры Зимнего дворца.

Уже совсем стемнело, когда художник сложил мольберт и краски и, искоса взглянув на Николая Ильича, пошел прочь. Николай Ильич тоже пошагал по Кировскому проспекту. Он продрог и, найдя маленькое кафе, где не надо было раздеваться, взял чай с пирожками и сидел там до самого закрытия.

К дому он подошел около десяти часов. И опять много раз

звонил, но опять никто не отзывался. Из квартиры напротив высунулся какой-то всклокоченный старик и подозрительно поглядел на Николая Ильича. Николай Ильич хотел спросить старика, не знает ли тот, где его сын, но не успел — старик быстро захлопнул дверь и долго гремел запорами. Николай Ильич сел на ступеньки. Ему стало до слез жаль себя, так обидно было, что не сбылась надежда сегодня же увидеть сына. Надо было возвращаться к себе на кордон, ждать следующего дня и опять волноваться. Николай Ильич устал, ему даже двигаться не хотелось. «Вот если бы в Гатчине остановиться!» — подумал он по привычке и вдруг вздрогнул от внезапной мысли, что Гришу Мокригина он больше уже не увидит.

Электричка была почти пустая. Николай Ильич, усталый, намерзшийся, всю дорогу продремал. Когда, сойдя с перрона на Мшинской и поеживаясь от ночного мороза, он свернул на лесную тропу, его окликнули.

— Ильич, нешто ты? Погодь, догоню.

Он оглянулся и разглядел, несмотря на темноту, что его догоняет женщина.

Это была молодая баба из Владычкина, Верка Усольцева.

— Вот подвезло-то мне, вот подвезло, — весело затараторила она. — А я смотрю, наших-то никогошеньки. Одной боязно. Дай, думаю, ленинградскую электричку подожду. Может, кто приедет.

— Дождалась, значит. Тебе бы кого помоложе, — с усмешкой сказал Николай Ильич.

— Скажешь тоже, старый черт! — хохотнула Усольцева. — Не до жиру... Тут у нас такие страсти! Хоть на Мшинской ночуй. Мужика-то вчерась убили. Прямо перед деревней.

Николай Ильич насторожился. Сказал, стараясь быть равнодушным:

— Небось опять сбрехнул кто!

— Слово тебе даю! — горячась, ответила Верка. — Убили, убили. Настя Акимова и еще ктой-то из наших баб утром наткнулись. Да и снегом уже замело. Милиции понаехало! Сашку Иванова забрали. Клавкиного хахаля. Да он вовсе и не Ивановым оказался, а еще какой-то. Не запомнила фамилию. Только Клавка говорит: Сашка-то ни при чем. Ей так и в милиции сказали. Его по другому какому-то делу. — Усольцева передохнула и, все время оборачиваясь к Николаю Ильичу, шедшему следом, сказала: — Милиция всех спрашивает, интересуется. Я вот у егеря была, долг отдавала, так сама слышала, милиционер обо всем расспрашивал. И про тебя, дядя Коля, интересовался. Ружье у тебя какое-то там навроде есть.

Николай Ильич похолодел.

— Да не путайся ты под ногами, Верка! — прикрикнул он на Усольцеву. — И так все слышно.

Некоторое время они шли молча. «Как же так, как же так, — лихорадочно думал Зотов. — Почему они про меня расспрашивали? Оно конечно, знают в деревне, что Гриша ко мне заезжи-

вал. Да ведь он и в Пехенце бывал по делам. Мало ли? Но при чем тут ружье? Неужели егерь знал, что у меня винтовка?»

Верка не выдержала и снова стала рассказывать:

— А убитый-то не наш, чужой. Его никто и не признал. Настюха говорит — симпатичный, светленький. Молодой мужик...

— Симпатичный? Светленький? — тревожно переспросил Николай Ильич.

И вдруг понял, что вовсе и не Гришу Мокригина застрелил он вчера, а какого-то случайного прохожего. Не Гришу, не Гришу! Он шел будто во сне, не понимая, о чем еще толкует ему Верка Усольцева, и только повторял про себя: «Не Гришу, не Гришу!..»

В конце леса, уже на подходе к владычкинскому полю, он нашел свои лыжи, спрятанные в елках, и, буркнув Усольцевой «до свидания», медленно пошел через перелески в сторону кордона. Выглянула неяркая луна с бледным, чуть заметным венцом. Тени от елей легли на белые снежные поля.

«Вот так, значит, все обернулось, — шептал Николай Ильич, — жив мой дружок, живехонек, а человека я зазря положил, убивец».

Странно, но его совсем не мучила совесть, пока он считал, что убил Григория, своего давнего друга. И только узнав, что застрелил чужого человека, почувствовал себя убийцей.

К прошлому, к сыну, пути теперь не было. Занесло, занесло этот путь метелями и невзгодами, ни пройти ни проехать.

Залаял пес, услышав хозяина, и вдруг издалека, от Вялья озера, послышался протяжный волчий вой. Но Николай Ильич не обратил на вой внимания. Не услышал.

16

Корнилов шел на работу, отчетливо сознавая, что в деле об убийстве художника Тельмана Алексеева есть обстоятельства, которые во что бы то ни стало следует выяснить. Прежде всего мотивы, извечный вопрос: зачем? Старуха Кашина говорила, со слов некой тети Поли, что у отца с сыном была давным-давно ссора. Отношений друг с другом, судя по всему, не поддерживают. Местные жители никогда не слышали от Зотова, что у него есть сын.

А самоубийство лесника? Разве нет в нем ничего странного? Почему, например, повесился он лишь на третий день после убийства?

А сами обстоятельства убийства? Кто-то ведь шел по тропинке от станции следом за Алексеевым, кто-то потоптался вокруг него. В то время, когда Алексеев, может быть, был еще жив... Кто?

«Нет, нет, не так все просто. В архив дело еще рано отправлять!»

Все утро Корнилову хотелось хоть на час остаться одному и еще раз обдумать события вчерашнего дня, но, как назло, надо было проводить совещание, выслушивать сотрудников, принимать

решения. А без пятнадцати одиннадцать словно что-то кольнуло его — он вспомнил про обещание быть на репетиции. Подосадовав, что опрометчиво пообещал Грановскому обязательно приехать, он вызвал машину.

...Впервые в жизни он шел по пустому театру, по сумрачному холодному фойе. Два-три бра отбрасывали тусклые блики на портреты актеров, развешанные по стенам. Было совсем тихо, только откуда-то издалека неслось приглушенное гудение пылесоса. Корнилов в нерешительности остановился, не зная, куда идти, потом решил заглянуть в зрительный зал. В зале тоже стоял полумрак, лишь сцена была ярко освещена. В первых рядах сидело несколько человек. Среди них — Грановский. Он оглянулся на скрип двери, узнал Корнилова.

— А вот и товарищ Пинкертон! — радостно закричал он. — Давайте сюда, дорогой!

Сидевшие рядом с режиссером люди тоже обернулись и бесцеремонно рассматривали приближавшегося Корнилова. Ему было неловко от этого.

Грановский познакомил его со всеми, но Корнилов даже не запомнил фамилий. Кроме одной. Фамилию актрисы Разумовой он знал еще раньше: недавно у нее была украдена «Волга», и работники уголовного розыска довольно быстро отыскали ее в Прибалтике.

— Продолжим, мальчики, — сказал Грановский. — Танцульки в квартире Аллочки... Все занятые — на сцену!

Корнилов следил за всем, что происходило и на сцене и в зале. Ему было интересно не то, как разворачивались действия по ходу пьесы, а поведение режиссера, его реплики актерам, бурная реакция по какому-то незначительному поводу. Некоторые сцены Грановский заставлял повторять по два, по три раза.

Внимательно приглядываясь ко всему, что происходило вокруг него, Корнилов подсознательно, помимо своего желания, все время возвращался и возвращался ко вчерашнему дню. Каких только преступлений не приходилось ему раскрывать за время работы в угрозыске! Но убийство художника Тельмана задело его очень сильно. Прежде всего потому, что он не мог его объяснить. Он не верил — сердцем не мог принять! — что убийцей был отец. А ведь всего несколько дней назад он, именно он, Корнилов, вывел работников лужского уголовного розыска на лесника Зотова!

Еще в мастерской Алексеева, когда подполковник рассматривал картины художника, у него появилось смутное ощущение того, что между старым отшельником, коротавшим свои дни в глухих мшинских лесах, и ленинградским художником существует какая-то связь. Почему возникло это ощущение, Корнилов не смог бы объяснить. Может быть, потому, что пейзажи, развешанные на стенах мастерской, чем-то напомнили ему окрестности

Владычкина? Но они, эти пейзажи, были так типичны для юга Ленинградской области!

...На сцене произошла заминка. Актер Борис Стрельников, игравший молодого парня со смешной кличкой Варежка, слишком взволнованно, с некоторым надрывом объяснялся со своей подружкой Леной, которую играла Разумова. А всего час или два назад этот же Варежка всадил нож в живот другой своей приятельнице. Таясь и заметая следы, Варежка прибежал в квартиру Лены, надеясь отсидеться у нее, а заодно и «закрутить любовь».

Метания Стрельникова прервал Грановский, громко захлопав в ладоши.

— Нет, нет! Что вы делаете, Боря? — Грановский сорвался с места, легко взбежал на сцену. — Ну что вы делаете, миленький? — плачущим голосом сказал он. — Вы же не рефлектирующий Раскольников, а тупой убийца... Откуда такой разумный взгляд? Ваша совесть глуха, никаких сожалений, никаких раскаяний. Ткнуть человека ножичком для вас — раз плюнуть!

Грановский сморщился, словно вспомнил что-то очень неприятное.

— Сначала, повторим эту сцену сначала.

Актеры медленно, словно нехотя, занимали свои места.

Борис Стрельников взял со столика рюмку и подошел к дивану, на котором полулежала Леночка. Лицо у него было сумрачным, растерянным.

— Начали! — сказал Грановский.

Стало тихо. Только из фойе доносилось приглушенное бархатными шторами гудение пылесоса. Уборщицы готовили театр к вечернему спектаклю.

— Нет, не могу, — сказал Сальников и поставил рюмку на столик. — Андрей Илларионович, мне нужен еще день... Я не готов играть равнодушного убийцу.

Грановский смешно надул губы, совсем как обиженный мальчик, и минуту стоял в нерешительности.

— Андрей Илларионович, — тихо сказала Разумова. — Ну дайте ему денек, он с ножичком порепетирует.

Все засмеялись, а Стрельников зло посмотрел на актрису.

— Ладно, ладно, — Грановский поднял успокаивающим жестом руки к груди. — Я тебя понимаю, Боря. Отложим эту сцену. Нечего смеяться, Разумова! Я буду рад, если ты станешь так же серьезно думать о своих ролях. На сегодня все кончено.

Он сделал несколько шагов, но внезапно круто развернулся и быстро подошел к Стрельникову.

— Ты, Боря, в суд сходил бы, что ли. На убийцу поглядеть... — начал он энергично, но вдруг замолчал, словно какая-то новая мысль, несогласная с высказанной, пришла ему в голову. Досадливо сморщившись, Грановский махнул рукой и оглянулся по сторонам. Увидев Корнилова, он спустился со сцены, подхватил его под руку и провел к себе.

В кабинете главного режиссера было тепло и уютно. Большая

бронзовая нимфа грациозно держала над головой светильник. На стенах висели потускневшие от времени афиши.

— По рюмке коньячку? — спросил Грановский, открывая старинный, красного дерева бар.

— Спасибо. Я должен в управление ехать, — отказался Корнилов.

— А я выпью с вашего разрешения. Что-то разволновался сегодня. — Он налил себе в маленькую хрустальную рюмочку, сел напротив подполковника. — Ну что вы скажете, дружок? Недовольны? У вас такой хмурый вид...

Корнилов улыбнулся:

— Не обращайте внимания. Дела заели. Да и человек я скучный. Улыбаюсь редко.

— А ваше мнение о пьесе, об актерах, товарищ скучный человек?

— О пьесе мы с вами уже говорили, Андрей Илларионович,— ответил Корнилов. — С точки зрения уголовного розыска — все в ажуре.

— Ох и хитрец же вы, товарищ подполковник! — Грановский выпил коньяк и поставил рюмку на стол. — А если серьезно?

— Если серьезно, то пока говорить еще рано. — Корнилов виновато улыбнулся. — Мне время на раздумья требуется. Театрал-то я аховский.

— Ну а все же? — настаивал Грановский.

Корнилов молчал, внимательно разглядывая афиши.

Андрей Илларионович ждал, нервно сцепляя и расцепляя ладони.

— Пьеса неплохая, — неторопливо начал подполковник. — Сюжет лихо закручен. Публика у нас такое любит. Аншлаг на год обеспечен...

Грановский хотел что-то возразить, но Корнилов предостерегающе поднял руку. Режиссер улыбнулся и промолчал.

— Неплохая пьеса, Андрей Илларионович, — продолжал Корнилов. — Идея нужная: сколь веревочка ни вьется... Но таких пьес можно сотни состряпать. Сотни! И сюжеты еще закрученнее придумать. Да вы к нам в уголовный розыск приходите — мы вам такого порасскажем.

— Так за чем дело стало? — весело сказал Грановский.

— Ну а дальше-то что? — как-то вяло отозвался Корнилов.

— То есть как это: дальше что? — удивился режиссер.

— А так... Посмотрел я эту пьесу — ничего нового. С чем пришел, с тем и ушел.

— Да чего вы хотите от театра, от пьесы? Какого нового? — В голосе Грановского чувствовалось легкое раздражение. Корнилов уловил это и засмеялся.

— Вы, Андрей Илларионович, не обращайте внимания на мои умствования. Я предупреждал о своей некомпетентности. Но знаете, когда идешь в театр или книжку раскрываешь, всегда хочется что-то новенькое о себе узнать... А в общем-то пьеса

нормальиая. Мне показалось только, что герои в ией слишком одноцветные...

— Ну давайте, давайте! Топчите, — уже незлобиво проворчал Грановский. — Сам напросился.

— Правда, одноцветные. А ведь в каждом человеке и доброе и злое уживается.

— Это уж достоевщина пошла.

— А достоевщина — это плохо или хорошо? Молчите? Я вам, Андрей Илларионович, хочу засвидетельствовать: мой опыт общения с людьми подтверждает, что в одном человеке могут соседствовать и доброе и недоброе...

— Перед вашим опытом я снимаю шляпу, — сказал Грановский. — Вы бы рассказали про свои дела.

— Наши дела как сажа бела.

— Да уж это-то воистину так! С такими подонками небось приходится дело иметь! Я одного не понимаю, — горячо заговорил Грановский. — Ну что мы нянчимся с ними? Читаешь в газете: человек убийство совершил, а ему восемь лет. Что же это такое, дружок? Где же карающая рука закона?

Корнилов молчал.

— Ну что вы молчите? Сказать нечего? Вот то-то же! — словно бы обрадовался режиссер. — По глазам вижу: согласны со мной.

— Согласен, согласен, — поднял руки Игорь Васильевич. — Законы наши нуждаются в совершенствовании. Не всегда, правда, в сторону ужесточения наказаний...

— Вы мне скажите, Игорь Васильевич, как на духу скажите, — спросил вдруг режиссер, внимательно заглядывая в глаза Корнилову, — какое преступление вам лично, вам как человеку, наиболее омерзительно?

— Взяточничество, — твердо сказал Корнилов. — Лихоимство всех мастей...

— Взяточничество? — разочарованно переспросил Грановский. — Но есть же более мерзкие вещи.

— Самое мерзкое — лихоимство, — горячо запротестовал Игорь Васильевич. — Вот — чудище обло, огромно... Это чудище может прикинуться самой невинностью, а заражает все вокруг. Ученые провели недавно такое исследование: предложили большой группе людей оценить по степени тяжести десять преступлений. И знаете, какой результат? У всех опрошенных групп дача взятки оказалась на последнем месте... А ведь это порождает двойную мораль...

— Так! — Грановский сделал энергичный жест рукой, нацелив длинный палец на Корнилова.

— Но если говорить вообще, то меня больше пугает не само преступление, — сказал Игорь Васильевич, — а готовность некоторых людей совершить его... — Заметив недоуменный взгляд Грановского, Корнилов добавил извиняющимся тоном: — Может быть, это я слишком упрощенно? — Он прищурился, будто пытался разглядеть что-то далекое. — Да нет, пожалуй,

именно это я и хотел сказать. Меня пугает, что некоторые люди больше боятся карающего меча закона, чем голоса собственной совести, собственного разума. — Он заговорил с необыкновенной горячностью: — Вот представляете себе — иное существо может прожить долгую жизнь, не совершив ни разу не то что преступления — проступка не совершив. Всю свою долгую жизнь такое существо аккуратно покупало в трамвае билет, не брало чужого. А почему? Только из-за страха быть пойманным! Человечишка этот не украл ни разу только потому, что боялся — посадят! И не убил поэтому! Понимаете?

Грановский протестующе поднял руку, но Корнилов опять остановил его:

— Понимаете, понимаете! Только согласиться не можете, потому что привыкли думать по-другому. Привычка вам мешает. И вот живет такой человечишка, вечно готовый к подлости, к преступлению. Ждет своего часа. И час этот может прийти. Такой час, когда наконец он увидит, почувствует: бери, никто никогда не увидит, убей — не дознаются! И украдет, и убьет, и предаст! Вот кого я боюсь больше всего. С таким человечишкой я, может быть, годы бок о бок живу, и он меня в любое время предаст, совершит какую-нибудь пакость. Когда почувствует, что остается безнаказанным.

— Вы это все всерьез? — удивленно спросил Грановский. — Или на вас полемический стих нашел?

— Всерьез, — Корнилов сел в кресло, устало откинулся на спинку. — А вы, конечно, со мной не согласны?

— Нет, я не могу утверждать, что не согласен, — растерялся режиссер и развел руками. — Все, что вы говорите, очень занятно.

— Занятно?

— Простите, ради бога. Словцо не к случаю, — Грановский улыбнулся смущенно. — А как же «души прекрасные порывы»? Ум, сердце, чувство долга, наконец! Уж не считаете ли вы, что чувство долга — подневольное чувство? Продиктовано страхом перед ответственностью.

— Что за привычка укоренилась в нашей жизни! — раздражаясь, сказал Корнилов. — Все толкуется, как говорит наш брат юрист, расширительно! Андрей Илларионович, я лишь одно хочу сказать... Нет, нет, я просто утверждаю: существуют в нашей жизни человеки, не совершившие преступления только из страха расплаты. Даже нет! Они не столько боятся расплаты, сколько быть узнанными. С преступниками мы справимся. Рано или поздно мы их вылавливаем всех. Но как распознать человечишку с ограниченной совестью? Молчите? А я так думаю, что в некоторых случаях не распознать! — Он замолчал и несколько секунд сидел задумавшись. Грановский тоже молчал. Неторопливо набивал трубку, уминая табак большим пальцем.

— Расскажу вам один страшный случай, — снова заговорил Корнилов. — Страшный не самим преступлением, а тем, какой

человек это преступление совершил. Представьте себе: март сорок второго года. Ленинград только-только начал оправляться от страшной зимы. Очищают улицы. Добровольцы-сандружинницы ходят по квартирам — помогают больным, увозят мертвых. И одна из этих немолодых женщин, пока подруги уносят мертвую старушку, раскрывает стоявшую на столике металлическую коробку из-под чая и находит в ней драгоценности. И кладет их в карман. Кладет, потому что никто не видит, кладет, потому что знает: из всех обитателей квартиры в живых никого не осталось — старушка была последней...

А эта женщина слыла добропорядочной, ее уважали друзья и сослуживцы, почитали ученики... У нее были ученики! И она их, наверное, добрым делам учила.

— Вот что делает с людьми жадность, — подал голос Грановский.

— Жадность-то жадность. Но не все жадные — воры. И не все злые — хулиганы. И не все лгуны — лжесвидетели. Правда?

Режиссер промолчал.

— Если человека с раннего детства воспитали так, что честность и неприятие всякого зла стали главными чертами его натуры, никакие соблазны ему не страшны, — продолжал Корнилов. — Поступки этого человека продиктованы его пониманием добра и зла, а не боязнью наказания. Такие люди умирают, ни разу в жизни не взяв в руки Уголовный кодекс. А эта женщина... Ну что ж, вот вам пример человека с двойной моралью. Не подвернись ей тогда случай, жила бы честно. До следующего. Но искушений-то в жизни много!

— А как же ее поймали? — удивился Грановский.

— Это уже дело десятое... Через пятнадцать лет пришла продавать золотой браслет. А браслет уникальный, еще до войны был взят на учет государством. Его старушка завещала музею.

— Судили?

— Нет. Срок давности истек. Да разве только в этом дело? Кем она к старости пришла? Воровкой... Я на каждом углу кричу: профилактика, профилактика! Но не такая, как ее понимают некоторые: имеет подросток пять приводов в милицию — закрепляют за ним шефа с завода, и на этом все кончается. Нет, братцы! Профилактика начинается с родителей. У них еще и ребенок не родился, а мы должны знать: смогут ли они правильно свое дитя воспитать? И научить их этому искусству. И вмешаться, когда увидим, что не смогут родители настоящего гражданина вырастить. И вмешаться не тогда, когда парень попробует чужие велосипеды угонять, а раньше, когда он в ползунковом возрасте каждый день пьяного отца или мать будет видеть.

— А у вас дети есть? — улыбаясь, поинтересовался Грановский.

— Нету, — помрачнев, ответил Корнилов. — Я вдовец. Вот женюсь снова — обязательно заведу. Вы не смотрите, что я старый. Еще и пятидесяти нет. — Он помолчал немного. — Ну

что вы на меня так смотрите? Я кажусь вам скептиком? Наверное, даже мизантропом? Нет, «дружочек», — Корнилов досадливо махнул рукой. — Ваш лексикон!

Он закурил сигарету. Грановский, зажав в зубах свою потухшую трубку, задумался.

— Это страшно. То, о чем вы сейчас говорили, — сказал он после некоторого молчания. — Но я чувствую, что вы правы. Среди честных, великодушных, чистых душой живут и подлецы...

— Нет, не о подлецах я, — перебил Корнилов.

— Да, да. Я понимаю. Вы говорите о людях, которые способны совершать подлость. Это не одно и то же. Да. Но оттого, что именно они рядом, особенно страшно.

Они помолчали.

— Андрей Илларионович, — лениво-ласково сказал Корнилов. — А ведь ваш Боря Стрельников никогда не сыграет бандита Варежку.

— Что? Не сыграет? — удивился Грановский. — Почему это не сыграет? — повторил он недовольно.

— Он человек, видно, очень чистый. Наивный чуть-чуть. Ему просто характер этого персонажа, с позволения сказать, будет не понять.

— Но ведь он актер! Вы упрощенно мыслите, дружочек! Для того чтобы сыграть леди Макбет, совсем не надо быть чудовищем.

— Но Стрельников все-таки не сыграет. Хорошо не сыграет. Он еще слишком молод и неопытен, чтобы понять характер Варежки, а чтобы интуитивно почувствовать, у него консистенция другая. А про леди Макбет — это вы зря...

Грановский стал сердито раскуривать трубку. Спички у него ломались, и он ожесточенно бросал их на пушистый ковер. Раскурив наконец, режиссер ворчливо сказал:

— Ну и подсунули мне консультанта. Не приведи господи. Спектакль сорвет. — Он налил в свою рюмку коньяка, о котором за разговором совсем забыл, и подмигнул Корнилову: — Ну уж дудки. Я из Бори Стрельникова сделаю этого бандюгу. — Грановский выпил и тихо добавил: — А потом посмотрим...

Когда Корнилов уходил, Грановский задержал его руку в своей и спросил строго:

— Значит, заветный ключик — дети?

— Да, дети, — сказал Корнилов. — Надо с раннего детства воспитывать в человеке отвращение к разной мерзости. А вы разве с этим не согласны?

Корнилов ушел, а Грановский долго ходил по кабинету, попыхивая трубкой. «Хм, как это я так легко согласился с этим ершистым подполковником, — думал он. — Странный человек, немолодой, угрюмоват, и вдруг такой задор! Мыслит он интересно, но спорно, спорно... Целая философская система. Нет, нет! Уж, во всяком случае, спорно его утверждение, что не со-

вершивший преступления, но способный его совершить опаснее, чем настоящий преступник... Нет, дружочек!» И вдруг почему-то подумал об одном своем бывшем приятеле... «Тьфу, черт! — выругался Андрей Илларионович. — Так можно далеко зайти!»

17

— Послушай, Игорь Васильевич, ну что ты маешься? — спросил Белянчиков, глядя в упор на Корнилова своими черными немигающими глазами. Разговаривали они в кабинете Корнилова после того, как из Луги позвонил Белозеров и сообщил, что следователь дело об убийстве Алексеева и самоубийстве лесника Зотова собирается закрывать.

— А мне непонятно, Юра, почему ты не маешься, — ответил тот. Он встал, прошелся по кабинету, глядя себе под ноги, хмурый, сутулый больше, чем всегда, словно его придавила эта история на станции Мшинская.

Белянчиков молчал, сосредоточенно барабаня пальцами по столу. Он в общем-то чувствовал, почему мается шеф. Слава богу, за четырнадцать лет он изучил его характер! Но ему было досадно, что Игорь Васильевич не может успокоиться из-за этого дела. Уж здесь-то все точки расставлены... Художника Тельмана Алексеева убил его родной отец, старик Зотов. Зачем? Кто теперь сможет ответить на этот праздный вопрос? Нет, не праздный, конечно... Но ответить-то на него некому! Отец убил сына и повесился сам. Страшно. Господи, каких только не бывает на свете трагедий! Но они-то, они, работники розыска, что еще могут сделать? Заняться поисками мотивов? Ах-ах, мы не простые сыщики, мы глубокие психологи! Смотрите, мы не только нашли преступника, но докопались еще, почему он стал убийцей да еще и сам повесился! Мы и до этого докопались. Месяц потратили, но докопались. А кто будет в это время Витю Паршина, по кличке Кочан, искать? Взломщика и бандита. А участников ограбления в Приморском парке?

— Ты, Игорь Васильевич, лучше меня знаешь, что мы сделали все, что положено по закону нам сделать, — твердо сказал Белянчиков. — Был бы Зотов жив, суд выяснил бы мотивы убийства. А так... Следователь дело собирается прекратить. Прокурор, думаю, утвердит его решение.

— Утвердит, утвердит, — говорил недовольно Корнилов. Он подошел к Белянчикову и спросил: — А ты можешь мне ответить, кто шел вместе с художником со станции? Кто топтался возле его тела? Участковый-то видел следы?! И почему этот кто-то не попытался оказать ему помощь? Ведь Алексеев не сразу умер? И тебя не грызли сомнения, когда ты узнал, что отец убил сына, которого не видел почти тридцать лет?

— Откуда нам знать, виделись они или нет? Может, и встречались?

— Ну, во-первых, мы кое-что все-таки знаем, — начиная раа-

дражаться, сказал Корнилов. — Участковый инспектор не зря пороги обивал по всем окрестным деревням. А обыск у отца и сына тебя ни в чем не убедил? Ни одного письма, ни одной строки переписки... — Он вдруг заметил, как Белянчиков подтянул брюки на коленях и осторожно расправил складку. Белянчиков всегда так делал. Но сейчас этот машинальный жест капитана вывел Корнилова из равновесия. С трудом сдерживаясь, чтобы не вспылить, он сказал: — Да и вообще, Юра, голова и сердце на то и даны человеку, чтобы сомневаться. Хотя бы время от времени. Хотя бы в таких трагических случаях.

— У тебя есть сомнения в том, что Алексеева убил отец? — с вызовом спросил Белянчиков, уловив раздражение и укор в словах Корнилова.

— Известные нам факты говорят, что лесник Зотов убил Алексеева,—сказал Корнилов, упирая на слово «известные».— Но прежде чем подвести черту под этим делом, я должен найти ответы на некоторые известные и тебе вопросы. Ты не допускаешь, что произошла какая-то трагическая случайность?

— Даже если ты ответишь на все свои вопросы, ничего не изменится! Убийцей как был лесник, так он и останется, сообщников ты не выявишь — их нет. Во имя чего же затевать новые поиски? Виновный на свободе не гуляет.

— Истина гуляет где-то, — почти крикнул Игорь Васильевич. «Ну чего я горячусь? Белянчикова все равно не переубедишь. Сомнения не в его характере», — подумал он и добавил устало: — Сухой ты человек, Юра!

— Ну-ну, — обиженно протянул Белянчиков и встал. — Я, пожалуй, пойду. Нам с Семеном Бугаевым надо на Острова ехать. Там третье ограбление подряд. Что-то райуправление медленно раскачивается.

Он подошел к двери, но не открыл ее, а обернулся к Корнилову:

— Знаешь, Игорь, даже если ты узнаешь что-то новое, какую-то новую истину установишь, она бесплодной будет. Ты ее практически никак не сможешь использовать. Не в каждом колодце воду найдешь, как глубоко ни копай. Это, между прочим, народная мудрость. — И вышел, осторожно прикрыв дверь.

«А не напрасно я маюсь? — оставшись один, с горечью подумал Корнилов. — Вечно пытаюсь все точки расставить. «Не в каждом колодце воду найдешь...» Эх, Белянчиков, и поговорки по своему размеру подбираешь! Теоретик. «Бесплодная истина». Что за чушь! Не может быть истина бесплодной».

Корнилов закурил. Неприятный осадок от разговора с Юрием Евгеньевичем мешал сосредоточиться. «Ладно, потом обдумаю слова Белянчикова. Сейчас не время собственными комплексами заниматься. Даже если не выясню ничего нового, найду подтверждение тому, что известно. А этого разве мало? Ошибка следствия очевидна — они отнеслись к этому делу как к рядовому убийству. А произошла трагедия из ряда вон выходящая!»

Он подошел к столу, снял телефонную трубку: хотел позвонить матери, сказать, что едет. Но передумал. Машинально крутанул ручку сейфа: закрыт ли. Оделся. Погода выдалась промозглая. Прошлой ночью подул южный ветер, распустил снег, и люди шагали по жидкой снежной кашице, шарахаясь от автомашин, из-под которых веером разлетался снег с водой. Над городом висел туман, и свет от фонарей был тусклым и безжизненным. Корнилов вышел на Кутузовскую набережную и зашагал к Кировскому мосту. Этот путь был чуть длиннее, но он специально выбрал его: хотел до прихода домой успокоиться, привести в порядок мысли. У него сразу же промокли хваленые финские ботинки, и он пошел не разбирая дороги.

Стоял конец января, а Корнилову вдруг почудился в воздухе легкий запах корюшки, маленькой невской рыбешки, которую так любят ленинградцы, и которой в конце апреля пахнет на улицах, когда ее продают на каждом углу. Ее запах нельзя спутать с запахом другой рыбы. Ленинградская весна всегда пахнет корюшкой.

«Ну откуда корюшка, просто от воды пахнуло свежестью, — подумал Корнилов. — Но все равно весной пахнет. Весной». Он стал думать о весне, о том, как поедет отдыхать в Крым. Он решил ехать в отпуск в апреле. И обязательно в Крым, когда все там цветет. Думать об этом было приятно, и Корнилов пришел домой повеселевший.

Но утром он проснулся очень рано — еще шести не было. И проснулся с мыслью об этой проклятой бесплодной истине. Он долго лежал и думал о Белянчикове. Сначала думал о нем с некоторой даже завистью. Позавидовал его умению быстро переключаться на новые дела, не выматывать себе душу сожалениями о чем-то ускользнувшем, не выясненном до конца. Потом вдруг вспомнил, что Белянчиков никогда не брался за дела о самоубийствах. Говорил неприязненно: пустая трата времени. Живыми надо заниматься. Корнилов вспомнил об этом и осудил Белянчикова. Выяснить, что привело человека к трагедии, — ведь это так важно! Для будущего важно. А значит, и для живых. И не всегда предсмертная записка, даже если она и была, правильно объясняла мотивы. Ну разве мог человек, находясь в таком состоянии, логично оценить поступок, который готовился совершить? А сколько раз бывало, что причина самоубийства — живые, здравствующие люди, заниматься которыми и призывал Белянчиков. Нет, не все так просто!

Корнилов знал, что Белянчиков, его старый сослуживец и друг, — честный и умный человек. И добросовестный. Он никогда не позволял себе верхоглядства. И умел быстро отключаться от прошедших дел и отдавать все свои силы новым. А Корнилов не умел. Прошлое всегда цепко сидело в нем.

...Придя на работу, он провел ежедневную оперативку — начальник управления уголовного розыска был в командировке, а в его отсутствие оперативки всегда вел Корнилов. Сводка была

неспокойной: несколько краж в новостройках, изнасилование в Парголове.

— Семен, через полчаса зайди ко мне. Расскажешь, что вы там собирались делать в Невском районе, — сказал Корнилов Бугаеву, заканчивая оперативку.

— Я бы хотел доложить тебе по вчерашнему ограблению, — попросил Белянчиков. — Есть кое-что новое... Преступников взяли.

— Я к тебе загляну сам... Попозже, — Корнилов нетерпеливо постучал по столу пальцами.

Когда все разошлись, он снял трубку прямого телефона к начальнику Главного управления. Тот не отвечал. «Вроде бы с утра был на месте», — подумал Корнилов. Положил трубку, поднялся и нервно заходил по кабинету. В это время загудел зуммер телефона.

— Вы звонили, товарищ Корнилов? — спросил Владимир Степанович. — Я по смольнинскому телефону разговаривал.

— Да, товарищ генерал. Разрешите зайти? По одному делу...

— Заходите.

Когда Корнилов открыл дверь в кабинет, генерал опять разговаривал по телефону. Игорь Васильевич хотел было подождать, но генерал увидел его, махнул рукой, показав на кресло.

— Ну что, товарищ Корнилов? — спросил Владимир Степанович, закончив разговор и положив трубку. — Как поживают сыщики? Уж не хотите ли вы сказать о том, что задержаны вчерашние грабители?

— Задержаны. Мне только что доложил капитан Белянчиков, сегодня их взяли.

— Этот ваш Белянчиков опытный работник. Быстро умеет закрутить розыск, — уважительно сказал генерал.

— Да, способный сыщик. Очень организованный человек.

Генерал согласно покивал головой, сказал уже буднично:

— Так что ж, какие дела?

— Товарищ генерал, — Корнилов на мгновение замялся, подумав: «А не зря ли все-таки я затеваю?» — Владимир Степанович, дело об убийстве на станции Мшинской прокуратура собирается прекратить из-за смерти убийцы... Я вам докладывал, помните, отец и сын?

Генерал кивнул. Он слушал внимательно, давно уже привыкнув к тому, что подполковник, один из лучших специалистов уголовного розыска, по пустякам не тревожит.

— Но есть в этом деле несколько «белых пятен», — продолжал Корнилов. — Ну, как бы сказать поточнее? — Он помедлил секунду. — Дополнительный розыск может и не оказать никакого влияния на конечный результат уже проведенного расследования. Все останется по-прежнему... Я очень путано говорю? — Корнилов виновато улыбнулся.

Генерал улыбнулся тоже:

— Не путано, Игорь Васильевич. Мне только непонятно пока, к чему вы клоните.

— Владимир Степанович, из-за того, что лесник Зотов покончил с собой, сложилась необычная ситуация. — Корнилов вдруг нашел нужные слова. — Знаете, как у экспериментаторов иногда бывает: открытие сделали, конечный результат есть. Но ведь надо еще обосновать это открытие, исследовательскую работу провести, которая дала бы ключ к пониманию первопричин открытия...

— Причинно-следственные связи не выявлены?

Корнилов кивнул:

— Вот именно. Причинно-следственные связи! Они ведь в первую очередь для нас важны. И я только тогда окончательно поверю в то, что Зотов сына убил, когда эти самые причинно-следственные связи выясню...

— Вы что же, не уверены в том, что Алексеева убил отец? — спросил Владимир Степанович. В его словах чувствовались нотки недоумения.

Корнилов непроизвольно поморщился. Словно услышал, как по стеклу ножом поскребли.

— Я знаю, что лесник Зотов застрелил художника Алексеева, — ответил он. — И следствие располагает серьезными доказательствами. Они так и посчитали: главное, дескать, сделано, убийца найден, он на свободе не гуляет. Но ведь мы ничего не знаем о причинах...

— Эх, кабы нам всегда причины знать! — задумчиво проговорил генерал.

— Случай, Владимир Степанович, уж больно серьезный. Надо попытаться ясность внести. Правда, один мой товарищ сказал: даже если до истины ты докопаешься, она будет бесплодной, твоя истина. Ты ее никуда не приложишь. Только собственное любопытство удовлетворишь. Но я с этим не согласен.

— Ну и что же, хотите собственное любопытство удовлетворить? — спросил генерал, и Корнилов не понял, то ли он пошутил, то ли осудил его.

— Нет, я хочу только, чтобы в каждом деле была полная ясность, — твердо сказал Корнилов. — Нельзя считать дело расследованным, если есть вопросы без ответов...

— Так зачем же вы ко мне пришли? Обсудить теоретические вопросы? Судя по всему, вы для себя их давно решили. Значит, хотите получить от меня разрешение самому заняться этим делом?

Корнилов кивнул.

— А вы, подполковник, сегодняшнюю сводку видели?

— Я уже проводил в своем управлении оперативку.

— Ленинградцев хвалят и хвалят на всех совещаниях... И за то, что преступность среди подростков снижается, и за связь со школой, и за опорные пункты. А в те минуты, когда вы сводку читаете, у вас не создается впечатление, что нас перехваливают?

— Нет, Владимир Степанович.

Генерал покачал головой:

— Однако с самокритнкой в уголовиом розыске явио не все в порядке. — Потом подумал и оказал: — Игорь Васнльевич, я разрешаю лично вам заняться мшннскнм делом. Трн дия. Но не скрою, у меия уже не первый раз появляются сомнения: а не слишком ли часто вы берете на себя конкретиые операции, вместо того чтобы решать вопросы общего руководства? Вы ведь заместнтель иачальника управления розыска. Ваш опыт и знання надо более рационально использовать...

Корнилов вспыхнул. Сказал тнхо:

— Я обдумаю ваше замечание, товарищ геиерал. Разрешите идти?

Придя к себе в кабинет, он позвоннл в Лугу, попросил иачальника уголовного розыска Белозерова срочно прислать в управление подробиую справку по делу об убийстве Тельмана Алексеева. Потом зашел к Белянчикову.

Тот сндел и читал какие-то бумагн. На столе у него лежал новенький стартовый пистолет и небольшой нзящный наган с ручкой, отделаниой перламутром.

— Ого! — удивнлся Корнилов. — Целый арсенал. Откуда?

— Вчерашние грабнтели. Я тебе н хотел рассказать после оператнвки...

— Я ходнл по начальству.

— У Владимира Степановича был? Ну что? Разрешил заняться мшннскнм делом?

— Разрешил. Дал трн дия. — Корнилов вздохнул. Лицо его сделалось замкнутым. — Короче говоря, это дело я доведу до конца, — сказал он. — Или, как ты считаешь, до середины.

Белянчиков пожал плечами. Несколько мгновений сидел молча, сосредоточенно разглядывая бумагн, разложенные на столе. Потом сказал:

— Я к обеду закончу оформление. Могу подключиться.

— Не-е-ет! — покачал головой Корнилов. — Когда берешься за дело, надо нметь представление, ради чего. А для тебя уже все ясно. Ты считаешь, что дело пора в архив. — И добавил: — Бесплодиыми-то, Юра, истииы от людского равиодушия становятся.

Коринлов произнес это зло н тут же пожалел о резкости. Беляичиков вскочил со стула, глаза его недобро сузнлись. Стало заметно, как краска проступила на его смуглом лице.

— Ты снди, сиди, Юрий Евгеиьевнч! Не скачи. Закончишь свои дела, займнсь наконец подготовкой совещания по профилактнке. Тебе поручнли готовнть, а ты пока палец о палец не ударил...

— Слушаюсь, — тихо ответил Белянчиков, глядя в сторону.

18

Первое, с чего начал Игорь Васильевич, — съездил иа улицу Герцеиа, в Союз художников, расспроснл об Алексееве. Здесь о личной жизни Тельмана Николаевнча не знали почти ничего.

— Кажется, женат, — сказал секретарь правления. — Да ведь к нам уже приезжали от вас. — И, пожав плечами, словно извиняясь за свою неосведомленность, грустно добавил: — А про отца ничего не знаю. Алексеев работягой был — в союзе редко появлялся. Не то что некоторые, — он неопределенно кивнул на дверь и пренебрежительно усмехнулся: — Пробивальщики. — Он замолчал и некоторое время сидел задумавшись, хмурясь. Будто вспомнил о чем-то неприятном и неизбежном. Потом сказал строго: — Тельман вкалывал... Несколько лет на Севере пропадал. С весны до поздней осени. Да вы, наверное, знаете — мы в прошлом году его персональную выставку устраивали. В газетах о ней много писали.

Потом Корнилов зашел в отдел кадров, полистал личное дело Алексеева. Кроме пожелтевшего листка по учету кадров да старой характеристики, выданной для поездки в Италию, там ничего не было. И в анкете, и в характеристике значилось, что отец Тельмана Николаевича Алексеева — Николай Ильич Зотов — пропал без вести в годы оккупации...

«Неужели Алексеев только сейчас узнал о том, что отец жив?» — подумал Игорь Васильевич. Это было похоже на правду. Судя по свидетельству жителей Владычкина, сын никогда к леснику не приезжал. Никто даже не знал о его существовании! Никто, кроме Надежды Григорьевны. Да и она слышала лишь о том, что когда-то у Зотова был сын... Был!

А тринадцатого января 1971 года Тельман Алексеев, писавший в листке по учету кадров, что его отец пропал без вести, поспешно собрался, схватил лыжи и сел в поезд, отправившись на свидание к отцу! «И был убит!» — сверлила навязчивая мысль, но Корнилов сказал себе: «Не торопись! Разберись по порядку... Кто кого разыскал? Сын отца или отец сына? Это важно? Наверное, важно».

Прямо из отдела кадров союза он позвонил в городское справочное бюро. Попросил выяснить, не разыскивал ли кто-нибудь за последний месяц Алексеева Тельмана Николаевича.

Ему ответили через пятнадцать минут. Да, адрес Алексеева запрашивали в начале января.

Корнилов попросил у прокурора разрешение еще раз осмотреть квартиру Алексеева. Он уже уверился в том, что найдет там письмо или телеграмму от отца. Ведь в карманах убитого ничего подобного не обнаружили.

Прежде всего Корнилов не торопясь, дотошно осмотрел костюмы и пальто. Ничего интересного он там не нашел, кроме небольшого блокнота с беглыми зарисовками. Игорь Васильевич перелистал его страницу за страницей — никаких записей: головы девушек, ребят, контуры каких-то причудливых пейзажей...

Книги. Теперь следовало внимательно перелистать книги. Художник мог сунуть письмо в книгу. Книг было много, и Игорь Васильевич начал с тех, что лежали на письменном столе. Его поразило обилие богато иллюстрированных книг по

нсторни средневековья. Все они былн часто переложены закладками, но пнсем среди этих закладок не было. Но зато уже в первой из кннг, взятых с дивана, Корннлов нашел свернутый вдвое тетрадный лнсток в косую лннейку. Это было письмо.

«Здравствуйте, Тельман Николаевич. Пишет Вам отец Николай Ильич Зотов. Сколькие годы прошли, а мы не свнделнсь, не судьба. Я уже старик, скоро время мое придет. Хотел бы повндать Вас, просить прощення, колн вниовен в чем. Живу я на кордоне Замостье за деревней Владычкино, от Мшинской двенадцать верст. Лесннкую. Хоть н возраст мой вышел, а пенснн нет, ие заработал. Но жнву исправно. Грибы, ягоды. И места у нас, краснвше не найти. Хотел бы только повидать тебя, сынок, слов нет, как хотел. Может, напишите старнку?

Ваш отец Нnколай Зотов».

Игорь Васнльевнч спрятал пнсьмо в кармач н рассеянно посмотрел на кннгу, в которой оно лежало. Это были письма Ван-Гога.

Когда он приехал в Лужскую прокуратуру, чтобы рассказать о своих сомнениях следователю, то застал Калнкова в растерянности: прокурор возвратнл дело иа доследованне. Не заезжая в райотдел, Кориилов отправился в Зайцово, к «зайцовской Поле», которая, по рассказам Надежды Григорьевны Кашиной, знала про какую-то давнюю ссору лесника Зотова с сыном. Отыскать зту женщнну было делом совсем нетрудным. В Зайцове жнла всего одна Поля — Полнна Степановна Аверьянова, и в правленни колхоза Игоря Васильевича отправилн в школу: Аверьянова работала там иянечкой. Она оказалась высокой костнстой женщнной с крупными чертамн лица, с большими руками. В школе была перемена, и Аверьянова расхаживала по корндору, наполненному бегающнмн, кричащими, дерущимся ребятишкамн, то и дело кого-то останавливала, заправляла мальчишкам рубахн, выехавшне из штанов.

Корнилов стал в сторонке, облокотившись о подоконник большого окна, ждал, когда закончнтся перемена. «А у этой Поли добрый характер. Ребятншки ее любят», — подумал он, наблюдая за Аверьяновой.

Нянечка посмотрела на часы и пошла по коридору, назваинвая в колокольчнк, больше похожий, правда, на коровье ботало. И звук у него был глухой. Ребята нехотя разошлнсь по классам. Полина Степановна, ворча что-то под нос, с трудом наклоняясь, начала собирать оставшнеся в коридоре после ребятни бумажки, огрызкн яблок.

Корнилов подошел к ней:

— Полина Степановна, мне бы надо поговорить с вами...

Женщина медленно распрямилась, посмотрела на него внимательно.

— Я нз мнлнцнн...

— Идемте в учительскую. Там сейчас никого.

Онн уселись за маленький письменный стол, на котором ле-

жали груды тетрадок, и Корнилов спросил без всяких предисловий:

— Полина Степановна, что вы мне можете рассказать о Зотове?

— О Николке Зотове? — В голосе Аверьяновой он уловил заинтересованность.

— О нем, Полина Степановна.

— Ай, бедолага! Опять небось что-то приключилось. Вот уж невезучая судьба у мужика.

— Невезучая?

Нянечка скорбно поджала губы:

— А как еще назвать-то? Женка рано умерла. Чахоточная, упокой господи рабу божию. — Она перекрестилась. — Приятели подвернулись пропивущие. А он и так от рождения малахольный какой-то. Убитый горем... Кто громче позовет, к тому и побежит. Покойница-то держала его в порядке, а тут — покатился.— Аверьянова тяжело вздохнула. — Прнзнали и у него чахотку. А может, доктор только пристращал. Только перестал пить Николка. Перестал.

— А с сыном что у них приключилось? Почему рассорились?

Полина Степановна задумалась. Большая костистая рука ее машинально перебирала кисточки черной косынки, завязанной на груди узлом.

— С сыном-то? — повторила она, собираясь с мыслями. — Что-то такое случилось. Имя у него немцам не понравилось. А уж почему — и не помню. Хотелн они мальчонку перекрестить. А ведь он упрямый рос — не приведи господи. Уперся — и ии тпру ни ну. Отец его н порол, сказывали... А сын стрекача дал — уж как Николку фрицы мордовали, как мордовали! Да вы к Тельманову дружку, к Алехе Маричеву, зайдите. На чугунке путевым обходчиком работает. Там и живет. Тоже бузила был, не приведи господи. Его и нынче Алеха Буйная Головушка кличут. Они были дружки с Тельманом.

— Николай Ильич почему из деревни уехал?

— Нужда заставила. Не по своей воле. Связался с какой-то бабой. С города на сенокос ее прислали. Молодая. Пустил Коля денежки колхозные на гулянку. Мало ему своих зайцовских баб? Ведь какие бабы вдовыми остались! Ну а как отсидел — носа не кажет.

— Полина Степановна, а как вы думаете, если бы Зотов с сыном сейчас встретился да поссорились они снова, мог бы Николай Ильич, иу, к примеру, выстрелить в Тельмана?

— Ну что ты, хороший человек! Зотов, он на такое зло неспособный, — она покачала головой. — Нет, неспособный он на это...

Он попросил Аверьянову рассказать, как найти Алексея Маричева. Полина Степановна вызвалась показать ему дорогу.

— До переменки еще успею, — сказала, взглянув на часы.

Корнилов чувствовал, что ей очень хочется узнать, отчего это

он все выспрашивал про Зотова, но спросить, видать, стеснялась. «Судя по всему, в деревне еще не знают о смерти Зотова», — подумал он.

19

Машину пришлось оставить в деревне: к домику путевого обходчика вела лишь узенькая тропинка — двоим не разминуться. Полина Степановна вывела Корнилова на деревенские задворки, к длинному, под черепичной крышей зданию скотного двора.

— По этой вот тропке пойдете, не заблудитесь. Как раз к чугунке приведет, к Лехиному домику. Это он и протоптал. В лавку часто бегает.

Поблагодарив Полину Степановну, Корнилов пошел по тропе, петлявшей среди стылых кустов по краю глубокого оврага.

Спокойный, тихий день, безмолвные поля, какая-то умиротворенность, словно пропитавшая морозный воздух, вдруг напомнили ему детство. Светлые и наивные мечты о будущем.

...Яростный лай собаки вывел Корнилова из задумчивости. Большой черный пес метался на снегу около дома. «Ну и псина, — подумал он. — Хорошо еще, что на цепи». Из комнаты сквозь подмороженное окошко глянул мужчина. Через минуту он уже стоял на крыльце и, прикрикнув на собаку, с интересом поглядывал на приближавшегося Корнилова. Был он крепкого сложения, круглолиц. На голове непокорный вихор рыжеватых волос.

«Вот он какой, Алеха Буйная Головушка», — вспомнив, как назвала Алексея Маричева Полина Степановна, усмехнулся Корнилов. Алеха был в одной тельняшке.

— Здравствуйте, хозяин, — поприветствовал его Игорь Васильевич, остановившись у крыльца.

— И вам здравствуйте, — весело отозвался Маричев. — Вы ко мне? Заходьте, гостем будете.

Он провел его через крошечные сени в комнату, предложил раздеться.

Корнилов сел на большую лавку около печки, огляделся. Комната была просторной, светлой, но совсем неубранной, неухоженной. На столе ералаш из грязной посуды, закопченная кастрюля.

Перехватив взгляд Корнилова, Маричев засмеялся:

— Ох, извиняйте! Приборочку не успел сделать. Не догадался, что гость из города пожалует. Своих-то не робею...

Продолжая похохатывать, Леха достал из шкафа новенький пиджак, надел его прямо на тельняшку. Посмотрев на себя в зеркало, поплевал на ладонь и дурашливо пригладил вихры. Потом сел на стул напротив Корнилова и, нагнав на лицо сосредоточенность и строгость, сказал:

— Ну что, товарищ хороший, дело есть?

— Я из Ленинграда к вам, из уголовного розыска, — начал Игорь Васильевич.

— Во! Была охота ездить! — неожиданно завопил Марнчев и, вскочив со стула, забегал по комнате. — Ну дура баба! Совсем спятила, старая карга! Такую дорогу человека заставила проехать!

— Алексей Павлович! — сказал Корнилов, удивленио глядя иа всполошившегося хозяииа. — Чего вы разбегались! Никто меия не заставлял к вам ехать, иикто не жаловался на вас.

Леха момеитальио смолк и остановился около Корнилова.

— Не жаловались? А Лампадка Маричева, тетка моя, не жаловалась?

— Да не зиаю я иикакой Лампадки! — пожал плечами Корнилов. — Успокойтесь вы, ради бога. Алексей Павлович, вы Тельмана Зотова знали?

— Ну а как же! Знал. Корешили с ним в детстве. Не разлей вода были.

— А когда вы его видели в последнний раз?

— И-и! В последний-то раз? — Алексей задумался. — Да, пожалуй, сразу после войны. В коице сорок пятого.

— Говорнли с ним?

— Да так... «Жив, здоров Иван Петров!» Все на ходу. Встретиться сговорнлнсь. Ну н концы в воду... Ведь он теперь художиик нзвестный. Знаменит! В деревню нашу не заглядывает. Чего ж я набиваться буду? Приедет — приму как родного.

«Значит, и он не знает, что пронзошло, — подумал Корннлов. — Может быть, это и хорошо, расскажет все беспрнстрастио».

— Алексей Павлович, я вас очень прошу подробио рассказать мне все, что вы зиаете о Тельмане и о его отце. О том, что произошло между иимн в первые месяцы войны. Это очень важно...

Маричев пожал плечами:

— Столько времеии прошло... — Потом вдруг забеспоконлся: — А что случилось? Не секрет? Мужнк-то он добрый. Мухи ие обидит, не то что я...

Игорь Васильевич положил ему руку на колено н тихо, но настойчиво попросил:

— Расскажнте, Алексей Павлович. По порядку... Я вам все объясию.

— Какой уж там порядок, — Леха как-то странно улыбнулся. — Прямо не знаю, с чего н начать. — Он встал со стула н заходил по комнате.

Корннлов не торопил. Сндел, прнглядывался к Марнчеву. Ему, наверное, уже немало лет — много за сорок, а он подвнжный, словно ртуть, энергичный. Удаль чувствуется во всех его движениях, в неспокойных глазах.

Леха вытащил нз шкафа чекушку водки, два стакаиа. Поставил на стол. Виновато посмотрел на Корнилова:

— Эх, товарнщ начальннк, как вспомню то время, аж вот тут жжет. — Он стукиул себя кулаком в грудь. — Не откажйтесь! У меня такие огурчики...

Корнилов нерешительно пожал плечами.

Леха вихрем метнулся в кухню. Там загремели кастрюли, что-то упало, а через минуту он уже ставил на стол тарелку с огурцами, хлебом, толсто нарезанным салом.

— Вы мне только самую малость, — попросил Корнилов, увидев, как решительно взялся за чекушку Маричев.

— Понятно! — весело сказал Алексей. — Это мы понимаем. И что ломаться не стали, за то уважаем. Все в общем-то из-за его имени тогда началось, — сказал Маричев после того, как они выпили. — Назвали Тельманом. Отец и назвал-то. В честь Эрнста Тельмана. Ну, мы, мальчишки, его все Телем звали. Тель да Тель. Я ведь с Телем в одном классе учился. Корешки, Тель без матери рос. Умерла его матка еще до войны от какой-то болезни. Вот такие дела... А фрицы пришли, едри их в корень, тут и началось. — Леха сморщился, будто от зубной боли, и начал со злостью тереть себе затылок. — Да ведь мы и не ждали их так рано! Все думали — пока сквозь наши леса продерутся! А они туточки. Да еще не с той стороны, откуда должны были, — от Сиверской приплыли. Я с Телем как раз на прогоне, на бревнах сидел: все советовались, куда податься. Мой батя служил, а Николка Зотов, Тельмана отец, — хромоножка, его в армию не взяли. Так он никуда уходить из деревни не хотел. Все баял: не задержатся фрицы до зимы. Ну а мы с Телем хотели в Питер рвануть. Одни...

Сидим. Вдруг на прогон мотоцикл с коляской вылетает. Как дал на тормоза, аж занесло, только пыль столбом. Я гляжу: какие-то странные солдаты, головы будто пришлепнутые, ну прямо вровень с плечами. Ничего понять не могу, а Тель мне как саданет в бок: «Немцы, — говорит, — тикаем».

К вечеру потихоньку огородами пришли в дом к Телю, а там немцы. Ну, угодили! Дядя Коля в кухне стоял, а рядом офицер. Как сейчас помню, держал он в одной руке бутылку. С вином, наверное, а в другой — тарелку с горячей картошкой. Пар от нее шел. Мы, как немца увидели, с порога назад. А отец возьми и крикни: «Тельман, сынок!» — Маричев закурил папиросу, глубоко затянулся. — Мы бы удрали, да наткнулись в сенях на солдата.

Привел он нас в горницу, поставил посередке. А офицер расхаживает по горенке. За половики чепляет. Лицом-то добрый, улыбается. И шпарит по-русски: «Вы, — говорит, — мальчики или зайчики?» Шкура! «Зачем, — говорит, — так быстро бегаете, боитесь немецкого офицера?»

Дядя Коля тут же стоит. Бледнющий — лица на нем нет. А немец говорит: «Кого это из вас Тельманом зовут? Или мне послышалось?» Дядя Коля тихо отвечает: «Послышалось, господин офицер. Сынка моего Тишей звать». Быстро он, однако, его в господа произвел.

Офицер как захохочет! Чего уж ему смешно стало? Пальцем показал на Теля: «Этот? — И спрашивает: — Как зовут тебя, мальчик? Тишей?» А Тель как зыркнул на отца, ровно волчо-

нок, и отрезал: «Тельман!» — Маричев вздохнул тяжело и задумчиво сказал: — Нас ведь, товарищ начальник, весной в комсомол приняли!

Ну и понесло офицера. Чего он только не говорил! И о том, что Тельман — имя плохое, не русское и не немецкое. Что это и не имя совсем. Да все с улыбочкой. Я стою, смотрю на стол, где картошка дымится, — жрать охота! Думаю, черт лысый, картошка остынет, отпустил бы поскорей. Шиша с два! Спрашивает он дядю Колю: «Поп у вас в деревне есть?» Тот кивает, есть, мол. Отец Никифор. «Вот, — говорит, — по русскому обычаю мы и перекрестим вашего сынка в Тишу. Нельзя, чтобы с таким именем мальчишка жил». Так, дескать, зовут врага всех немцев и русских.

А Тель возьми да брякни: «Я в церкви не крестился».

А я-то знаю, что в церкви крестили его родители. Нас, деревенских, почти всех в те годы крестили. Мне мать рассказывала. Офицер смеется пуще прежнего: «Ну вот и хорошо. Будешь крещеным». А Тель знай твердит: не буду да не буду, Тельман я.

Офицер посмотрел на свою остывшую картошку и уже зло говорит дяде Коле: «Не должно быть мальчика с таким именем. Это непорядок. Вас я накажу особо за то, что его так назвали, но вдвойне накажу, если вы сынка не перекрестите в Тишу, — и повторил, скосорылившись: — Мальчика с таким именем быть не должно! — Отчеканил и посмотрел на дядю Колю так, что у того руки затряслись. — Забирайте его и порите, пока не скажет: «Я — Тиша».

Ох, что было потом! Вспоминать неохота, — виновато улыбнувшись, сказал Маричев. — Завел дядя Коля в кладовку Теля. Сначала уговаривал: «Застрелит ведь немец тебя и меня. Хорошо, — говорит, — этот еще добрый попался. Другой бы и чикаться не стал». Но Тель уперся. Ревет. Тогда дядя Коля сказал ему. «Сейчас пороть буду. Ты, сынок, кричи погромче». А меня вытурил. Ну да я все равно никуда не ушел. Во дворе на сеновал залез. Слышал возню в кладовке. Отец ему, видать, крепко поддал, а Тельман не пикнул.

— Ну а потом-то что? — спросил Игорь Васильевич. — Чем все кончилось? — Рассказ Маричева потряс его.

— Потом мы все-таки драпанули, — с удовлетворением ответил Маричев. — Тель ночью, а я утром...

— Алексей Павлович, не угостите ли чайком? — попросил Корнилов. — Вы никуда не торопитесь?

— Не, у меня «отгулы за прогулы». Выходной я. Сей момент чайку сваргани.

Корнилов посмотрел на часы и спохватился: он сидел у Маричева уже около трех часов и даже не заметил, как потемнело на улице.

— Алексей Павлович, — сказал он. — Еще несколько вопросов, да бежать надо. Время подгоняет. А что ж Зотов-то? Отец? Ему немцы ничего не сделали?

— Сделали, — ворчливо ответил Алексей. — Двое суток мутузили. И мне малехонький отлуп по утряике дали. За дружбу, наверное. Еле выкарабкался.

— А потом?

— Потом? — рассеяиио отозвался Маричев. — Потом, когда фрицев тураиули, оии полдеревии за собой угиали. И дядю Колю. Ои, пожалуй, самый последний и вернулся в конце сорок шестого. Думали, уж совсем сгинул. Кто-то из зайцовских его в Германии чуть не прн смерти вндал.

— Алексей Павлович, а с сыном Зотов ие встречался?

— Не зиаю. Когда Тель в Зайцово после войны прнезжал, иичего не нзвестно было об отце. Все считали, что погиб в Германии дядя Коля. Тельман и уехал. Да и жить было негде. Дом-то сгорел...

— А если бы Тельмаи с ним встретнлся?

— Ну и что? — удивился Алексей.

— Не мог он ему грознть? Ударить, иапример?

— Кто? Тельман! Ну что вы! — отмахиулся Маричев. — Простить, может, и не простил бы, ио чтоб руку поднять? Нет! — И, чуть подумав, добавил: — Да, иавериое, и простил бы... Я бы простнл. Отец все-таки.

— А почему Тельмаи потом отца не разыскал?

— Откуда я зиаю? Наверное, думал, что погиб. А может, уже и разыскал.

— Ну а Зотов?

— А ои-то что? Не-ет. Когда со миой говорил, плакал. «Нет, — говорит, — мие прощеиия». Еще бы. А почему вы всё про зто спрашиваете?

— Да потому, что Тельмаиа иашли убитым иедалеко от того места, где жил старик.

Маричев вскочил, бледиея:

— Тельмаиа убили? Какая же падла?

«Нет, не буду говорить, что отец. Всей правды ведь ие объяснишь», — подумал Кориилов.

— Вот хочу докопаться, как это все произошло.

— Такое выдюжил парень, а тут... — Маричев замолк, растерянно глядя на Корнилова.

20

С тревожным чувством отправился на следующий деиь Корнилов в дирекцию лесхоза, чтобы повидать бухгалтера Мокригина. Он уже не сомневался в том, что имеиио Мокригии шел вслед за художником в день убийства. Дежурный иа станции Мшинская опознал на одиой нз предъявленных ему Белозеровым фотографий человека, приехавшего пятиадцатичасовой электричкой. Этим человеком был Григорий Мокригии. Но иет, ие призиается бухгалтер, что ездил на Мшиискую, ие захочет отвечать на опасный вопрос, почему убежал из леса, оставив иа проязвол судьбы нстекающего кровью Алексеева. Ведь ие об-

молвился он ни словом об этой поездке, когда беседовал с работниками уголовного розыска, узнавшими о его дружбе с лесником.

Но, несмотря на свои сомнения, Корнилов шел в лесхоз и надеялся на успех. Он специально не стал приглашать Мокригина в райотдел — ему хотелось застать бухгалтера врасплох, неподготовленным. Поставлениый перед необходимостью отвечать сразу же, немедленно, он может допустить промах, неточность, может растеряться.

«Почему этот Мокригин не пошел за помощью в деревню? — думал Корнилов. — Испугался, что могут и его убить? Вздор! Тогда бы он прибежал хоть в милицию. Побоялся, что могут заподозрить в убийстве его самого? Нет, честный человек сначала окажет помощь раненому, а уж потом подумает о себе. Честный человек... Но ведь бухгалтер в прошлом уголовник. Мог подумать: «Первое подозрение на меня. Попробуй потом отмойся». И повернул домой, даже к дружку своему не пошел в тот день. А почему же не был потом? Почему не пришел на похороны лесника? Они же были друзьями. Об этом и в лесхозе знают, и во Владычкине. Что-то за всем этим кроется более серьезное... Знал ли Мокригин, кто идет вместе с ним по лесной тропе? Нет, скорее всего не знал. Ведь и лесник не встречался с сыном тридцать лет...»

Дирекция размещалась недалеко от вокзала в старом, когда-то купеческом доме. Первый этаж у него был каменный, обшарпанный, с обвалившейся кое-где штукатуркой, второй — деревянный, из темных, тронутых трухлявинкой мощных бревен.

Корнилов вошел в дом. В коридоре, стены которого были густо заклеены объявлениями, приказами, сводками, курили двое мужчин. У обоих поверх пиджаков были надеты меховые безрукавки.

— Где мне найти бухгалтера? — спросил Корнилов. — Григория Ивановича Мокригина.

Один из мужчин молча показал на лестницу в конце коридора. Корнилов поднялся на второй этаж и отыскал дверь с надписью: «Бухгалтерия». «Если там будут посетители, я подожду», — решил он. Вообще-то в бухгалтерии работали двое: старший бухгалтер Мокригин и еще одна женщина. Еще накануне Корнилов уговорился с работниками ОБХСС, и они вызвали ее в это время на беседу.

Корнилов приоткрыл дверь и сразу увидел Мокригина. Бухгалтер сидел за большим столом и сосредоточенно считал на арифмометре. На вошедшего не обратил никакого внимания, даже лысой головы не поднял. Корнилов подошел к его столу и сел, положив на колени шапку. Мокригин продолжал крутить ручку, беззвучно шевеля губами. Верхняя губа у него была тонкая, злая, а нижняя — пухлая и отвислая. Закончив считать, он записал на бумажке какие-то цифры и только тогда поднял голову.

— Вы ко мне?

Бровей у него почти совсем не было, и оттого лицо казалось каким-то бесцветным, блеклым.

— Да, я к вам, Григорий Иванович. — Корнилов достал удостоверение, представился.

Мокригин хотел что-то сказать, но только облизнул вдруг свою толстую нижнюю губу. В лице у него ничего не изменилось, не дрогнуло. Он замер.

— Григорий Иванович, я пришел к вам поговорить о леснике Зотове. Мне сказали, что вы были с ним друзьями.

Бухгалтер по-прежнему был спокоен. Никаких признаков паники. Только сузились глаза, стали маленькими точками зрачки. «Он давно ждал, что к нему придут, — подумал Корнилов. — Успел приготовить себя».

— А что бы вы хотели узнать о Зотове? — Мокригин явно не собирался распространяться о своей дружбе с лесником.

— Вы, наверное, знаете, Григорий Иванович, что Зотов убил сына и сам повесился, — Корнилов сказал это нарочно спокойно, буднично. — Мне хотелось бы знать об их отношениях.

Мокригин неопределенно пожал плечами:

— Что ж рассказывать? Я не знаю. — Он посмотрел на Корнилова, чуть-чуть прищурившись. — Вы лучше задавайте вопросы. Я отвечу.

«Ого, да он тертый калач, — подумал Корнилов. — Школа видна. Такого голыми руками не возьмешь», — и спросил:

— С Зотовым вы давно знакомы?

— Давно.

— А вы неразговорчивы, Григорий Иванович. С вами трудно, — улыбнулся Корнилов. Бухгалтер пожал плечами, машинально крутанул ручку арифмометра.

«Так мы будем разговаривать неделю, — подумал Корнилов. — Интересно, надолго ли ему хватит выдержки?»

— Вы были знакомы с Тельманом Алексеевым, сыном Зотова?

— Нет.

«Отвечает не задумываясь. На лице ни один мускул не дрогнет».

— А знали о его существовании?

— Знал.

— Они были в ссоре?

Мокригин усмехнулся:

— Так... расплевались однажды. Сын-то тогда от горшка два вершка был! Они же с войны не виделись. О покойниках плохо не говорят, но сынок его свинья свиньей оказался. Даже не подумал разыскать старика, помочь ему... — Лицо бухгалтера стало злым.

— А Зотов просил его о помощи?

— С какой стати? Он и не искал сына. Случайно узнал о нем, — неожиданно выкрикнул Мокригин. — Чего ему унижаться перед «чистеньким» сыном! Я, я только и помогал старику, — сказал он с необычной горячностью. — И деньгами, и

по хозяйству. Да мало ли! — Он с какой-то безнадежностью махнул рукой и замолк, словно испугался своего порыва.

— А как узнал старик о сыне?

— В журиале портрет увидел. В «Огоньке».

— И решил его разыскать?

— Откуда я знаю? — проворчал бухгалтер. — Он мне не докладывал.

«Наверняка зиает, что старик разыскивал сына, — решил Кориилов. — Только зачем скрывает?»

— А где вы познакомились с Зотовым, Григорий Иванович?

Бухгалтер вдруг посмотрел иа Корнилова с откровеииой ненавистью.

— Там и познакомился. Будто не справились... — И сказал с вызовом: — Кто еще у бывшего зека другом может быть? Такой же зек, как и он. Вот мы со стариком и держались друг друга.

— Вы правы. Я наводил справки: в одной колонии отбывали наказание.

«Старый друг лучше новых двух,— вдруг вспомнилась Корнилову поговорка. — Старый друг лучше новых двух...» И какая-то совсем смутная догадка мелькиула у него, скорее не догадка, а предчувствие того, что за этой неожиданной горячностью бухгалтера, за его словами о старой дружбе отверженных обществом людей и кроется разгадка трагедии.

— Вы, Григорий Иванович, не женаты? — спросил Корнилов. Он всегда так вел беседы, перескакивал с одного вопроса иа другой, лишая своего собеседника возможности понять, что же интересует подполковника больше всего.

— Нет, — отчужденно ответил Мокригин.

— А у вас есть родные?

— Какое это имеет значение? Вы ведь хотели узнать о Зотове, а не обо мне?

— Простите, если задал неприятный вопрос, — дружелюбно сказал Игорь Васильевич. — Я ие хотел вас обидеть.

Бухгалтер смотрел на Корнилова с иенавистью.

— Да, да! Нет у меня родных! Не зиал иикогда о них и знать не хочу!

— А друзья?

— Что вы ко мне в душу лезете?

«Одиночество, одиночество его мучает!» — подумал Корнилов.

— А зачем Зотов убил сына?

— Откуда я знаю? — закричал бухгалтер. Веко иа правом глазу у него задергалось. От его несокрушимого спокойствия не осталось и следа. — Что вы не даете покоя старику? Он умер! Умер! И никто ие узнает, зачем он убил сына.

Кориилов подождал, пока бухгалтер успокоится, и примирительио сказал:

— Ладно, оставим в покое Зотова, начнем с другой стороны...

Ои достал из папки стопку бумаги, авторучку. И вдруг почувствовал, как напрягся Мокригин.

— Григорий Иванович, — сказал Корнилов. — У меня есть

поручение следователя допросить вас по делу об убийстве Тельмана Алексеева. По вновь открывшимся обстоятельствам...

Мокригин молчал.

— Когда вы виделись с Зотовым в последний раз?

— Пятого января... На деиь рождения он ко мие приезжал.

— А вы?

— Что я? — не понял бухгалтер.

— Вы когда у него были? У Зотова.

— Сразу после Нового года. Съездил, по хозяйству помог.

— Как вы праздновали деиь рождения? Много было гостей?

— Нет, никого не было, кроме Коли. Посидели в ресторане — и домой.

— В каком ресторане?

Мокригин осклабился:

— И этим интересуетесь? В «Радуге».

— Где вы были тридцатого января с часу дня и до двенадцати?

— Ездил в Лениград, — иехотя процедил Мокригин. — На электричке в тринадцать тридцать.

— Расскажите мне последовательно, где вы были в Ленинграде?

Бухгалтер недобро усмехнулся:

— Если это так иеобходимо... Попробую вспомнить. — И начал перечислять магазины. Ои врал умно, с оглядкой. Корнилов мысленно проследил его путь по городу — все магазины выстраивались по маршруту третьего трамвая.

— Ни одии из этих магазинов не был закрыт на переучет? — Корнилов заметил, как на скулах Мокригииа вздулись желваки.

— Нет, на переучет закрыты не были, — медленно ответил он. — Правда, в каком-то из них отдел ие работал... Только не помию в каком.

«Интересно, почему Мокригин не спрашивает меня, для чего этот допрос и в чем он провинился? — подумал Корнилов. — Хочет показать свое безразличие».

— Вы что-нибудь купили себе?

— Нет. Искал пальто на меховой подкладке, да не повезло...

«Еще бы! Такое пальто и летом по большому блату ие достанешь. А уж то, что его зимой в магазинах не бывает, в этом-то, голубчик, ты уверен. Беспроигрышно играешь».

— Значит, ничего не купили?

— Ничего.

— Когда вы приехали в Ленинград, какая там была погода?

— Пасмурно. Снежок шел, — сказал Мокригин, и Корнилов вдруг увидел, как его лоб внезапно покрылся мелкими капельками пота. Бухгалтер заерзал, стал вдруг перекладывать с места на место бумаги, лежавшие перед ним на столе.

Корнилов помнил, что по сводке метеобюро пасмурная погода со снегом была на Мшинской, а в Ленинграде днем было ясно. Светило солнце. Ои почувствовал резкий запах мужского пота и поморщился.

— Григорий Иванович, а когда вы уезжали из Ленинграда? Время? Погода?

— Не помню, — отрывисто бросил Мокригин. Похоже, что нервы у него совсем сдали.

— Когда пришли домой?

— В двенадцать.

— Это вы на фото? — Корнилов вынул из кармана фотографию Мокригина, которую по его просьбе сделали гатчинские оперативники.

— А вы что, не видите? — огрызнулся бухгалтер. — И что это за допрос?! Я в чем-то виноват? Вы даже не потрудились мне объяснить!

— Служащие станции Мшинская, Григорий Иванович, опознали в этом мужчине пассажира, который сошел с трехчасового поезда и направился по лесной тропе в сторону деревни Владычкино...

— Я был в Ленинграде, — упрямо сказал бухгалтер.

— С этого же поезда сошел и Алексеев, — продолжал Корнилов. — У него были лыжи. Он ушел вперед, но на одной сломалось крепление. — Мокригин уже не мог справиться с собой, лицо его перекосила какая-то странная гримаса. Он весь подался к Корнилову, впился в него взглядом. — Да, забыл одну деталь — у Тельмана Алексеева была такая же шапка, как у вас. — Он повернулся к вешалке, на которой висели пальто и рыжая мохнатая шапка бухгалтера. И тут его обожгла шальная мысль: «А не бухгалтеру ли предназначалась пуля? Ведь у него и у художника не только шапки похожие. И фигуры тоже одинаковые. Оба широкоплечие, высокие...»

Мокригин молчал.

Тогда Корнилов наклонился к нему и сказал, положив свою руку на руку бухгалтера:

— А ведь это вам приготовил старик пулю, Григорий Иванович. За что?

Мокригин резко вскочил, уронил стул. Несколько секунд он молча смотрел на Корнилова, словно не зная, что предпринять, а потом вдруг громко, горячечно зашептал:

— Не докажете, не докажете! Не мог он в меня. У него и был-то один друг на свете — Гриша Мокригин! Один! Все от него отвернулись, все! И Тельман этот тридцать лет не знался, а тут нате, поперся к папочке. Кому он нужен, Павлик Морозов! Говорил я деду: доживай свой век без чистеньких. Не послушал — умереть ему прощеным захотелось! Тьфу! — Мокригин плюнул и, будто опомнившись, спросил, пристально глядя в глаза Корнилову: — А я-то, я в чем виноват, товарищ хороший? Мне-то вы зачем о прошлом напоминаете? Мало ли в кого стрелял старик. Он и расчелся. Не я ведь стрелял! — И снова закричал: — Что вы мне душу терзаете, все старых грехов забыть не можете? Вам дай волю — клеймо бы на лбу выжгли!

Дверь в комнату приоткрылась, и заглянула испуганная жен-

щина. Мокригин посмотрел на нее со злостью, и женщина моментально исчезла.

— Вы садитесь, — спокойно, но настойчиво попросил Корнилов. Так мучивший его все последние дни вопрос, зачем убил старый лесник своего сына, перестал быть вопросом. — Я не о старом пришел напоминать. — Мокригин сел. Веко у него все дергалось, а руки не находили покоя. Он хватался то за лицо, то за шею. — Дело ведь вот в чем, Григорий Иванович: бросили вы Тельмана Алексеева в беспомощном состоянии. Умирать в лесу. А его спасти можно было, если бы вы сходили за помощью.

— Мертвый он был, мертвый, — упавшим голосом пробормотал бухгалтер. — Старик без промаха бил. — Мокригина передернуло, словно от холода.

— Экспертиза свидетельствует — несколько часов жил. Вот за это преступление вам отвечать придется. Оно доказуемо...

— Мертвый он был, — опять сказал Мокригин. Вид у него был затравленный.

«Опытный дядя, — думал Корнилов, разглядывая бухгалтера, — а нервишки подводят. Эк он распсиховался, когда я сказал, что пуля ему предназначалась!» И быстро спросил еще раз:

— Григорий Иванович, а за что все-таки хотел убить вас лесник? Неужели не догадываетесь?

Мокригин шумно набрал в легкие воздуха, лицо его сделалось таким багровым, что Корнилов испугался, не хватит ли бухгалтера удар.

— А если и догадываюсь, — наконец выдохнул он, — вам-то какая с этого корысть? К делу не пришьете! — Мокригин неожиданно улыбнулся, улыбнулся дико и зловеще.

— Боялся меня Николка, — сказал бухгалтер. — Своего прошлого боялся. Сыну хотел чистеньким представиться. А меня, значит, побоку?! Рылом в чистенькие не вышел? Курва! — Он так же внезапно погасил свою жуткую улыбку и замолк.

Остальная часть допроса пошла спокойно. На все вопросы Мокригин отвечал безучастно и односложно: «да», «нет». Он подтвердил, что услышал выстрел перед тем, как выйти из леса на поляну, и через несколько минут наткнулся на тело лыжника. Думал якобы сначала, что выстрел случайный, что поблизости охотники. Боясь, что могут выстрелить еще, он спрятался за ель и только тогда увидел справа на горке спину удалявшегося человека. Это был Зотов.

О лыжнике Мокригин все время твердил: «Он был мертвый, лыжник-то. Мертвый. Я ничем не мог помочь». О том, что это был Тельман Алексеев, сын лесника, Мокригин узнал только вчера от директора лесхоза.

Но когда Корнилов снова спросил бухгалтера, за что все-таки хотел его убить лесник, он заложил руки за спину и молчал, стиснув зубы. Корнилов понял: на этот вопрос ответа не получить.

Он сел за соседний столик, где стояла большая пишущая ма-

шинка, и начал печатать протокол допроса. Бухгалтер сидел понурый, время от времени исподлобья поглядывая на него. Когда протокол был готов, Корнилов мельком перечитал его и дал Мокригину. Ознакомиться и подписать. Бухгалтер спокойно взял листки и, глядя прямо в глаза Корнилову, разорвал протокол на мелкие кусочки. В лице у него ничего не дрогнуло, ни один мускул.

— Ничего не докажете. Можете хоть сто опознаний делать. — И бросил бумажки на пол.

Корнилову стоило большого труда, чтобы не показать бешенства, которое им овладело. «Ох какой подонок, какой зрелый подонок», — подумал он, ощущая нестерпимое желание ударить.

— Вы можете сколько угодно рвать бумажки, но от ответа вам не уйти, Мокригин!

Возвращаясь в райотдел, Корнилов думал о том, что же могло связывать этого злобного бухгалтера и лесника Зотова? Бухгалтера и лесника. Сидели вместе. Верно, сидели. Но раскаявшиеся-то преступники на свободе избегают друг друга. А уж если объединяются, то закоренелые. На дурное. Наперекор пословице «В счастье — вместе, в горе — врозь».

Бухгалтер и лесник. Правил без исключений нет, но необязательно ведь эта пара — исключение. Нет, недаром держались они вместе столько лет. Лесник и бухгалтер лесхоза. Что же их связывало? Лес? Воровали лес? Слишком на поверхности...

В райотделе Игорь Васильевич рассказал обо всем начальнику уголовного розыска Финогенову.

— Берите дело в свои руки. Свяжитесь с Лужской прокуратурой. У них делом об убийстве следователь Калинков занимается. Но стерегите бухгалтера. Сбежать может. Сердцем чую. Попросите обэхэсэсовцев — пусть займутся лесхозом. Что-то тут нечисто. Бухгалтер и лесник — улавливаете? Сидели вместе. Я вам свою точку зрения не навязываю, но посмотрите, разберитесь. Я так думаю, что если человек мог одну подлость совершить, он и на другую способен. У подленького за душой не один грешок найдется.

...Дня через два после всех этих событий Корнилова остановил в коридоре управления Белянчиков:

— Все забываю тебя спросить, Игорь. Когда ты понял, что лесник не в сына стрелял? — Белянчиков немножко слукавил — они с Корниловым встречались постоянно, на дню по нескольку раз. И давно бы он мог спросить, да просто дулся за тот разговор. Белянчиков обиды долго помнил.

— На репетиции в театре.

— При чем здесь театр? — удивился Белянчиков.

— Да как тебе сказать, — задумчиво начал Корнилов. — В двух словах не расскажешь.

Они подошли к окну, Корнилов закурил.

— Пригласили меня консультировать одну пьесу. На нашу тему. Там в третьем действии молодой человек убивает свою знакомую. Бежит к другой подружке и в любви ей объясняется,

пьют вместе вино как ни в чем не бывало. А на репетиции заминка произошла: не получается эта сцена у молодого актера, и все тут. «Дайте, — говорит, — мне еще время в образ вжиться».

Я сначала решил — не под силу актеру роль. А потом, когда подумал всерьез да всю пьесу вспомнил, другое понял. Это не актера вина. Он-то молодчина. Фальшь уловил. Интуитивно почувствовал, что его герой не мог совершить это предумышленное убийство, да еще тут же с новой милашкой объясняться!

— Что значит «не мог»? — спросил Белянчиков.

— Ну, конечно, в жизни все бывает: случай, пьянка, вспышка гнева. А чтобы преднамеренно — нет! Этот герой не мог, понимаешь? Логика характера не позволяет. Уж таким сотворил его автор. А потом ссамовольничал.

Белянчиков засмеялся:

— Ну ты чудишь, Игорь! Это уж дело автора, как повернуть...

— Ничего смешного не вижу. Я с тобой как с другом... — Корнилов сердито поглядел на Белянчикова. — Не могу я тебе объяснить, что уж там автор думал...

— Ну а к чему ты мне всю эту историю рассказал? Я ж тебя о другом спросил.

— С логикой у тебя слабовато, Юра. Логикой тебе подзаняться не мешало бы. Да, наверное, поздно. Чему Ваня не выучился, тому Ивана не обучишь... И если говорить серьезно, то слишком уж страшное это преступление — сыноубийство. Да особенно если совершено оно так расчетливо, обдуманно. Для этого ох какие основания иметь надо! А Зотов полжизни врозь с сыном прожил, даже не встречался.

— Ну и довод у тебя, — тихо сказал Белянчиков. — Не слишком профессиональный.

— Логичный довод, — сказал Корнилов. — Простой, человеческий. Да ведь еще и шапки у Мокригина и у Тельмана Алексеева одинаковые были. Мне это сразу в глаза бросилось. Вот так-то, товарищ капитан. А все-таки признайся, Юра, бесплодных истин не бывает!

ОБ АВТОРАХ

Открытие дорог

Писательская судьба, путь писателя — с чего они начинаются? Что лежит в основе творчества, этого таинственного, порой неуправляемого и порой непонятного самому писателю процесса, который постоянно держит его в напряжении, заставляет вскакивать по ночам с постели и записывать на первом попавшемся под руку клочке бумаги слова и фразы?

Вряд ли можно ответить на эти вопросы с исчерпывающей полнотой. Однако определить отправной момент всякого творчества мы в состоянии. Он, этот момент, есть стремление человека понять мир, его сложнейшие причинно-следственные связи, его временные координаты, определяющие единство прошлого, настоящего и будущего и рисующие картину мира такой, какова она есть на самом деле — целостной. Этот момент есть, в конце концов, наше стремление через мир понять самих себя.

Творческая биография Валерия Осипова лучшим образом подтверждает наши слова. Откройте любую книгу писателя, будь то книга очерков, рассказывающая об освоении богатств Сибирской платформы, или повесть «Неотправленное письмо», или книга публицистики «Ускорение», вчитайтесь в них, и вам станет ясен круг вопросов, волнующих Валерия Осипова, его подход к решению этих вопросов, манера его письма. Он ничего не описывает, он размышляет — постоянно, углубленно, интересно.

Но что такое размышление, а тем более размышление писателя? Это не просто способность мыслить,

присущая каждому из нас, но способность мыслить аналитически; это умение комбинировать вопросы и понятия так, чтобы из их великого множества безошибочно отобрать те, решение которых приведет к решению проблемы в целом; это, если хотите, способность к экстраполяции, когда по результатам наблюдений над одним явлением выводят общие закономерности для явлений множественных. Но конкретные результаты не получишь умозрительным путем. Только практика, только опыт определяют правильность всего — теории, гипотезы, концепции. Именно такой опыт, опыт жизненной лаборатории, соединенный с обширными и глубокими знаниями, позволяет Валерию Осипову с одинаковой степенью талантливости работать в разнообразных литературных жанрах, начиная от репортажа и кончая историческими романами.

Дебют Валерия Осипова как писателя состоялся в 1957 году, когда ему было двадцать семь лет. А до этого были годы учебы в МГУ на факультете журналистики и работа специальным корреспондентом в «Правде», «Комсомолке» и «Юности», которая по времени совпала с крупнейшим достижением советской геологии — открытием якутских алмазов. Его свидетелем, как и свидетелем открытия первой тюменской нефти, был журналист Валерий Осипов. Он ходил в маршруты вместе с геологами и работал на буровых вместе с буровиками. А вечерами при свете костра или керосиновой лампы писал об увиденном и пережитом. И здесь молодой журналист столкнулся с явлением, которое можно назвать временным парадоксом: один только день, проведенный в шурфе или у бурильной установки, вмещал, оказывается, в себя бездну событий, целую жизнь! Число исписанных блокнотов росло, они, как земля копит нефть и алмазы, копили в себе опыт десятков и сотен людей, хранили сведения, которые невозможно отыскать ни в одном научном справочнике.

Эти записи и составили костяк таких книг, как «Тайна Сибирской платформы», «Алмазы Якутии», «Солнце поднимается на востоке».

Но время шло, пласты опыта обогащались все новыми прирастаниями, и практическая разработка их на качественно ином, более совершенном уровне становилась насущной потребностью — хранить такое богатство втуне было нельзя. И когда журнал «Юность» опубликовал повесть Валерия Осипова «Неотправленное письмо», этот факт был расценен читателями и литературной общественностью однозначно: в нашей литературе появилось новое имя, появился писатель самобытный, со своим почерком и прекрасным знанием натуры.

Повесть буквально поражала своей правдой. И объяснялось это отнюдь не фактурой материала, который имелся у Валерия Осипова, — в литературе известны случаи, когда даже первоклассный материал, но полученный из вторых рук, превращался в бледное подобие правды, — а тем, что повесть была выстрадана. Ее герои не придуманы Осиповым, он знал их. Более того — делил с ними все тяготы, о чем рассказал с такой страстностью и мужской суровостью. Не волюнтаризм, не надуманность, а достоверность деталей, знание предмета — вот что определило успех повести. А успех был не сиюминутным, не таким, что рождает мода или так называемая злоба дня, а таким, что достигается муками и кровью, и живет в памяти не одного поколения.

Дорога в литературе, казалось, была найдена, тема творчества определена. И вдруг — неожиданный поворот. Неожиданный ли?

В 1970 году в журнале «Дружба народов» Валерий Осипов напечатал роман «Апрель». Обращение писателя к теме русской революции озадачило тогда многих. А повода для озадачивания не было, потому что всякий мыслящий человек, а писатель в первую очередь, рано или поздно обращается к своей национальной истории.

Прошлое — настоящее — будущее. Отделенные друг от друга тысячелетиями и веками, они неразрывны, ибо одно рождает другое, и понять механизм социальных и нравственных трансформаций целой нации (а значит, и самого себя) есть задача первостепенной важности. Вот почему резкий поворот в смене тематики творчества не был для Валерия Осипова неожиданным. Этот поворот назревал в нем давно, но требовалось время, чтобы он стал осознанной необходимостью.

В мировой истории не отыщется более яркой страницы, чем история революционного движения в России. Сколько исканий и великих прозрений! Сколько беспримерных поступков самоотвержения во имя общечеловеческих идеалов! Труднейший путь, завершившийся Октябрем 1917 года. Кто они, эти люди, шедшие на плахи и виселицы, в тюрьмы и ссылки ради будущей жизни, ради свободы, равенства и братства?

Одним из них был Александр Ульянов, старший брат Ленина. Блестящий ум, которому сам Менделеев пророчил высокое научное будущее, он стал народником и в двадцать один год был казнен за участие в покушении на царя Александра Второго. О короткой, но прекрасной жизни Александра Ульянова и рассказывается в романе Валерия Осипова «Апрель», и, читая его, мы воочию видим эту поистине исполинскую фигуру, разделяем идеалы и взгляды этого человека и горько переживаем его ошибки и заблуждения. Так же, как переживал их младший брат, впервые задумавшийся над вопросом: а прав ли был Саша? Пройдет немало времени, прежде чем он бесповоротно ответит: не прав. Революцию делают не герои-одиночки, ее делает народ. Вооруженный революционной теорией и руководимый организацией нового типа. Партией. Созданию этой партии и подготовке революции и посвятит себя в дальнейшем Владимир Ульянов.

И вот новое обращение Валерия Осипова к революционной теме. Роман «Подснежник», публикуемый в этом томе приложения, — первая в нашей литературе попытка художественного осмысления личности Георгия Валентиновича Плеханова, выдающегося пропагандиста марксистских идей в России, руководителя группы «Освобождение труда», борца за научное, материалистическое мировоззрение, сыгравшего важную роль в духовном пробуждении России.

Трудность задачи, взятой на себя Валерием Осиповым, очевидна. Жизнь Плеханова — это целая эпоха в развитии и становлении русской революционной мысли. Это падения и взлеты, борение взглядов и страстей, поистине пророческие предвосхищения и роковые заблуждения и ошибки. И описать такую жизнь пером умным, но холодным нельзя. Не рассудком, но чувством увлекают людей, и Валерий Осипов увлек нас именно им, создав образ не пророка, но человека, искреннего во всех своих проявлениях.

Сложный путь прошел Плеханов в революции. Сын отставиого воеиного, мелкопоместного дворянина Тамбовской губернии, он после окончания военной гимназии поступает в Горный иистиитут в Петербурге.

Время неспокойное, по всей стране участились стихийные выступлення иарода, организуются различные нелегальные группировки. Еще не осознавая смысла революционной борьбы, ио понимая иеобходимость облегчения жизни закрепощениого иарода, Плеханов начинает иитересоваться революциоииым движением. Чтение политических брошюр, изучеиие основ политической экономии укрепляют этот его интерес. Ои знакомится с некоторыми передовыми рабочими, в частности, с Халтуриным и Моисеенко, присутствует иа собраниях рабочих кружков. И скоро становится их идейным руководителем. Одиако ои четко сознает: разрозненные группы, сколько бы их нн было, не помогут трудящемуся люду освободиться от эксплуатации, свергнуть власть имущего меньшинства. Развивающемуся революционному движению нужен мозг. Пока его нет. Но есть народники, есть народническая организация «Земля и воля». Не принимая и осуждая террор иародников, Плеханов разделяет их экономическую платформу и связывает с «Землей и волей» свои чаяния.

Если бы он знал, чем обернется это в недалеком будущем!

Показывая становление Плеханова как революционера, Валерий Осипов со знаниями профессионального историка анализирует программу народничества, ибо их ошибки и заблуждения дадут начало той трагедии, какой явится вся последующая жизнь Плеханова.

Считая Россию страной крестьянской, народники (и вместе с ними Плеханов) верят в силу крестьянской общины, в ее способность преобразовать экономику и политическую жизнь громадной империи. Призрачность этих надежд Плеханов так и не поймет и надолго свяжет себя с «Землей и волей». Но это будет позднее. А пока его интересуют только рабочие кружки. Если бы организовать рабочих и выступить с политическими требованиями! И судьба идет ему иавстречу.

6 декабря 1876 года Плеханов организует в Петербурге первую в истории России социально-революционную демонстрацию. Не сделай он больше ничего в жизни — его имя все равно сохранили бы потомки, как сохранили они имена Разина и Пугачева.

Выступление произошло на площади у Казанского собора и имело громадный резонанс. Власти приняли все меры к разгону демонстрации, десятки ее участников были схвачены и преданы суду. С большим трудом Плеханову удалось скрыться от шпиков, но конспиративная квартира, где он поселился, была ненадежным убежищем. Рано или поздно полицейские сыщики отыскали бы местопребывание руководителя демонстрации. Выход был один — эмиграция.

Уезжая из России, Плеханов, конечно, не думал, что вернется на родину лишь незадолго до своей смерти. Он ехал в чужие палестины с твердым намерением возвратиться и продолжать борьбу.

И вот Швейцария, страна, которая на целых три десятилетия станет пристанищем для русского революционера. Страна, где начнется его трагедия. Страна, где им были написаны важ-

нейшие труды, сделавшие имя Плеханова бессмертным для последующих поколений революционеров.

Жизнь эмигранта. Скорее не жизнь, а существование. Работы нет — местные власти косо смотрят на политически неблагонадежных русских. Нет работы — нет денег. Не на что жить, кормить семью. А у него уже двое детей. Слава богу, помогают соратники — Вера Засулич, Михаил Лавров и другие. Иногда удается печатать статьи в журналах и получать за них хоть какие-то деньги. Семью в основном тянет жена — дает уроки сынкам и дочкам богатых буржуа. Стыдно. Впору бросить все и тоже приняться за уроки.

Но это лишь минуты слабости. Самоотверженная работа на революцию продолжается. Георгий Плеханов создает первую русскую марксистскую социал-демократическую группу — «Освобождение труда» — и пишет. Переводит на русский язык «Коммунистический манифест» (предисловие к переводу написал сам Карл Маркс), беседует с Фридрихом Энгельсом, Лафаргом. Одна за другой выходят его книги — «Социализм и политическая борьба», «Наши разногласия», «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», «О материалистическом понимании истории». Он — признанный теоретик марксизма.

Но годы летят. В далекой России нарождаются новые революционные силы. Владимир Ульянов создал русскую марксистскую партию. А он, Плеханов, живет старыми категориями. Он ничего не знает о действительной жизни России, о ее пролетариате, который растет как на дрожжах и становится объективной реальностью. Это он после Декабрьского вооруженного восстания, не поняв его уроков, скажет сакраментальную фразу: «Не надо было браться за оружие».

Он одинок, и это одиночество он сотворил сам. Ленин как никто понимает значение Плеханова, верит в него и борется за него с самим же Плехановым. Но тот не принимает дружескую и надежную руку.

Ленин, характеризуя повороты в политической биографии Плеханова за один только 1903 год, отозвался о нем, как всегда, образно и энергично:

«1903, август — большевик;
1903, ноябрь — за мир с оппортунистами — меньшевиками;
1903, декабрь — меньшевик, и ярый...»

Да, в конце концов Плеханов пришел к меньшевизму. И не случайно именно к Плеханову после Октябрьской революции обращаются оголтелые контрреволюционеры Савинков и генерал Алексеев с предложением выступить на их стороне. Он отказался. Но и к большевикам не примкнул. Он по-прежнему уверен в своей непогрешимости, хотя уже давно утратил представление о реальности...

Изучив и осмыслив громадный документальный материал, Валерий Осипов создал широкое обобщающее полотно русской революционной жизни конца девятнадцатого и начала двадцатого столетия. Трагическая фигура Георгия Валентиновича Плеханова, человека выдающегося, но оторвавшегося от родной почвы, написана рукой подлинного художника.

«Подснежник.

Галантус нивалис.

Травянистое растение из семейства нарциссовых с поникшим колокольчнком.

Раннй весенний лесной цветок...» — этими словами Валерий Осипов заканчивает свой роман.

Подсиежник, предвестник весны, нового...

Борис **ВОРОБЬЕВ**

Путь к мастерству

Спустя четверть века собрались на встречу выпускники Ленинградского высшего военного инжеиерного училища, закончившие его в 1947 году. Из семидесяти человек девять уже былн адмиралами, двадцать пять — капитанамн первого ранга, миогие имели звания доктора или кандидата наук. Присутствовал на встрече и одии писатель — Борис Аидреевич Можаев.

— Вот видишь, — сказал Борис Аидреевич кому-то из сокурсников, — писателем стать в десять раз труднее, чем адмиралом.

Шутка? Конечно. Но со значительной долей правды. Стать профессиональиым писателем очень трудно, а уж тем более столь известным и читаемым, как Борис Можаев.

Как становятся писателямн, и вообще, что для этого иужио? Обычно в качестве слагаемых в первую очередь называют талант и трудолюбие. Это, конечио, правнльно, только вот вопрос: в чем должны состоять талант и трудолюбие писателя? Самое распространенное миение, что талант заключается в умении правильио подобрать и расставить необходимые слова, а трудолюбие — в умении ежедневно и подолгу сидеть за письменным столом и записывать эти самые слова.

И опять-таки трудно спорить. Без умения облекать свои мысли и образы в письменный ряд бессмысленно садиться за чистый лнст бумаги, а уж без трудолюбия тем более.

Однажды я присутствовал при любопытном разговоре молодого автора с бухгалтером издательства.

— За что вам такие деньгн платят, за какие-то тридцать страничек текста? — недовольно заметила бухгалтер.

— А вы сами попробуйте, — ответил ей автор. — Давайте проведем экспериеит. Возьмите тридцать чистых листов бумаги и просто испишите их всего одним словом. Тогда увидите, много это или мало. А я ведь к тому же еще и сочиняю!

Бухгалтер молча похлопала глазами, виднмо, ярко представила себе нарисованную картину, и, больше не споря, выпнсала деньги автору.

Но только ли талант в подборе слов и терпеливое выкладываиие их на бумагу необходимы профессиоиальному писателю? Нет, коиечно. Хотя сколько мы читаем пронзведений авторов, обладающнх, увы, только этими двумя качествами!

— Опять сплошная пустота и самокопанне! — досадливо скажет читатель и навсегда отбрасывает прочитанную вещь в сторону.

Зиакомая картина, не правда ли? Выходит, те два качества не главные. Нужен еще и жизненный опыт, и умение извлечь из этого опыта такое, что волнует всех, то есть найти и суметь

поднять до художественного осмысления проблемы, которыми живет страна, весь народ.

У Борнса Можаева именно такой талант.

Его становление как писателя началось не тогда, когда он создал свои первые рассказы и повести в середине пятидесятых годов, а значительно раньше, когда он только начинал накапливать жизненный опыт, учась в средней школе в Потапьеве Рязанской области, где по окончании ее с полгода учительствовал сам. С начала войны — служба в армии иа Дальнем Востоке, затем училище и работа военным инженером, сооружающим фортификационные укрепления.

Приобретение литературного опыта началось во время службы в Ленинграде, где Можаев заочио учится на филологическом факультете, постигая историю литературы, фольклористику и многое другое, что потом так пригодилось ему в совершенствованнн пнсательского мастерства.

В 1954 году Можаев демобилизуется, чтобы стать профессиональным журналистом, а затем и писателем. Первая повесть, «Саня», была написана в 1957 году, когда Можаеву было тридцать четыре года. В литературу прншел зрелый человек, обладающий большим багажом жизненных наблюдений, имеющий свою четкую гражданственную позицию, хорошо знающий как теорию, так и практику литературного мастерства. Именно эти компоненты обеспечили успех среди читателей первых же произведений, созданных Можаевым.

Сегодня он признанный представитель так называемой «деревенской прозы», хотя сам Можаев в одной из своих критических статей выступил против деления произведений на «деревенские» и «городские», справедливо полагая, что есть хорошая литература и плохая.

Тем не менее действие многих произведеиий Можаева происходит в деревне в различиые периоды — от иачала коллективизации н до сегодняшних дией. Наиболее значительным произведением, носящим поистине эпический характер, является роман «Мужики и бабы», стоящий, на мой взгляд, в одном ряду с шолоховскими романами, с лучшими произведениями Ф. Абрамова, В. Белова, И. Акулова, М. Алексеева, А. Иваиова и других нашнх мастеров прозы.

Роман «Мужики и бабы» повествует о сложиом и даже порой трагическом переломе в устоях деревии, переходящей от частнособствеинического уклада к коллективной форме хозяйствования. Действие происходит на Рязанщине, там, где родился и вырос писатель, где все персонажи ему хорошо зиакомы с детства. Отсюда удивительиая объемность и достоверность всех образов, жизненность происходящих коифликтов.

В повестях «Живой» и «История села Брехово, писанная Петром Афанасьевичем Булкииым» писатель проявил великолепное чувство юмора, позволившее ему беспощадно разоблачать бюрократов, дураков, лодырей, приспособлеицев, людей, добывающих жизненые блага нечестиым путем.

Не случайно главного героя повести «Живой» Федора Кузькина критики сравиивают с роллановским Кола Брюньоном. Федор Кузькин — рядовой колхозиик, участник войны, отличный труженнк. Однако его люто ненавидит и всячески преследует предколхоза Гузеиков только за то, что Кузькии не желает унижаться перед ним, сохраняет чувство собствеииого до-

стоинства. Кузькин постоянно носит маску деревенского шута, что позволяет ему открыто издеваться над чинодралами, людьми косными и бесхозяйственными.

Прямо связана с персонажами повести «Живой» вторая повесть «История села Брехово...». Булкин — антипод Кузькина; в то же время для тех, кто преследует Кузькина, верноподданный Петр Афанасьевич опаснее врага: он выдает их с головой, шантажирует и разоблачает в своих «историях».

Став известным писателем, Б. Можаев по-прежнему является неутомимым газетчиком, автором статей и очерков, посвященных самым актуальным проблемам развития современного села. Его книга «Запах мяты и хлеб насущный», вышедшая недавно в издательстве «Московский рабочий», является не просто сборником статей по проблемам сельского хозяйства, но, по существу, писательским дневником за прошедшие четверть века. Это и рассказ о замечательных людях деревни, это и гневное разоблачение тех ученых, которые, руководствуясь конъюнктурными соображениями, а вовсе не данными науки, рекомендовали распахивать заливные луга и поймы рек, а затем так же легко от своих рекомендаций отказывались, это и раздумья о литературных произведениях, посвященных современному селу.

Борис Можаев — враг приблизительности описаний, присутствующей в некоторых произведениях. Он требует высокого, профессионального знания предмета, о котором пишет автор. И сам подает в этом пример. Если он пишет о плотогонах, то знает об этом древнем ремесле все, до мельчайших подробностей. Если о работниках прокуратуры или милиции, то так, как будто сам много лет работал в милиции.

Можаев — автор ряда остросюжетных повестей и киносценариев. Представляемая в этом томе «Подвига» повесть «Власть тайги» является первой частью трилогии «Хозяин тайги», объединенной одним героем — участковым милиционером Сережкиным. В повести Можаева есть все, что характерно для традиционного детектива, — и ложный след, и поиск улики, и погоня. И все-таки традиционно детективной «Власть тайги» не назовешь, ибо главное для Можаева — не хитросплетение событий и не тонкая игра ума, а показ будничной, порой неблагодарной работы следователя, для которого успех в раскрытии преступления в первую очередь определяется хорошим знанием людей и деревенской обстановки. Для милиционера Сережкина важно не только найти и задержать преступника, но и по мере сил наставить на путь истинный тех, кто стоит на грани преступления. Образ самого Сережкина — безусловная удача автора. Он удивительно привлекателен своей добротой, самоотверженным служением долгу, бесхитростностью в отношениях с людьми, любовью к своей земле. Не случайно местные жители назвали его — «Власть тайги».

Борис Андреевич Можаев — в расцвете творческих сил. Он закончил вторую часть романа «Мужики и бабы», сценарий фильма о современном нечерноземном селе. Нет сомнений в том, что читатели с тем же искренним интересом, как и прежде, встретят его новые книги.

Дмитрий ЕВДОКИМОВ

Момент истины

Теперь уж и не вспомнить, с чьей руки пошла гулять по страницам газет и журналов броская фраза: «Я родом из детства». Красивая фраза, звонкая и, как мне кажется, довольно бессмысленная. Никому ведь не дано родиться взрослым — из детства выходят все.

Но вот если это было ленинградское блокадное детство, то тогда та фраза обретает великий символический смысл приобщенности человека к священному для нашего народа лику героев и мучеников города-героя на Неве.

Детские воспоминания самые яркие, самые глубокие. Они — на всю жизнь. Большинству людей они потом до старости, как цветные сны, радуют и согревают душу воспоминаниями самых счастливых лет. Для тех же, кто родом из блокадного детства, эти воспоминания — постоянная, неутолимая боль души. Как хотелось бы им зачеркнуть, выключить эту память, которая заставляет взрослых людей по-детски вскрикивать от ужаса по ночам и отчаянно, безудержно плакать во сне.

Сны их памяти черны — свирепый голод и ледяная стужа, артиллерийские обстрелы и бомбежки, кровь и смерть.

Смерть почти физически ощутимо жила в каждом блокадном доме, в каждой семье. Измученные голодом, холодом, постоянными артобстрелами, люди уже не боялись смерти. К ней тогда привыкли все, даже дети, как привыкли они к покойникам, застывшим в подъездах домов и вмерзшим в снег вдоль мученического санного пути за водой к проруби на Неве.

Писатель Сергей Высоцкий родом из этого страшного детства. Он не был на фронте — не вышли года. Но когда позже, уже в пятидесятых, молодым писателям его поколения, не успевшего повоевать, старшие говорили, что, прежде чем садиться писать, надо бы поучиться жизни, к Высоцкому это не относилось. Ведь он, хоть и был потом вывезен через Ладогу в тыловой детский дом, почти два года жил в блокадном Ленинграде, потерял там отца и мать. Даже если бы в багаже его памяти не было ничего, кроме тех дней блокадного детства, ему уже было что сказать людям.

Но после детства у него была трудовая комсомольская юность и молодость, прожитые, как уж потом выяснилось, именно так, как советуют ныне метры молодым писателям мостить свой путь в литературу.

А советуют они после окончания школы не стремиться в литинститут, а приобрести какую-то серьезную неписательскую профессию и поработать по этой специальности, стараясь как можно больше соприкасаться с самыми разными людьми, чтобы узнать их заботы, радости и беды. И все это у Сергея Высоцкого было.

Закончив гидрометеорологическое отделение Ленинградского арктического училища, он работал в Главсевморпути, а затем на комсомольской работе в Ленинградском областном комитете ВЛКСМ.

Общеизвестно, что лучшее начало для молодого литератора — работа журналиста, и Сергей Высоцкий поступает на отделение журналистики Ленинградской высшей партийной школы. После ее окончания он становится заместителем редакто-

ра, а затем и главным редактором ленинградской молодежной газеты «Смена».

В 1958 году в газете «Лесная промышленность» публикуется его первый рассказ, а в 1964 году уже молодым литератором Высоцкий переезжает в Москву, где работает сначала ответственным секретарем журнала «Молодая гвардия», затем заместителем главного редактора «Комсомольской правды» и редактор отдела литературы и искусства газеты «Социалистическая индустрия».

С 1969 по 1975 год Сергей Высоцкий — главный редактор журнала «Человек и закон». В первый же год работы на этом посту выходит из печати его первая книга «Спроси зарю». Через год вторая — «В стране непокоренных», написанная после длительной журналистской поездки во Вьетнам, сражавшийся в те годы против американских агрессоров.

За двенадцать последовавших лет вышло двенадцать книг Сергея Высоцкого. И хотя он уже давно москвич, в большинстве тех книг присутствует, живет, действует Ленинград, живет память трудных, страшных и героических дней блокады.

Даже тогда, когда ни о Ленинграде, ни о войне, ни о блокаде в рассказах или повестях Сергея Высоцкого прямо не сказано, мы все равно ощущаем тот город и то время в том, как живут, действуют, думают ленинградцы, которые в произведениях писателя присутствуют всегда.

«Арбатство, растворенное в крови, неистребимо, как сама природа», — сказал в одной из своих песен Булат Окуджава о коренных москвичах. В крови ленинградцев на несколько поколений вперед растворено теперь «блокадство». Именно так назвал бы я их испытанность тем состоянием, которое называют «моментом истины», когда экстремальность ситуации обострена настолько, что наступает состояние психологической невесомости, в котором теряют свою извечную значимость жизнь и смерть и вес имеет лишь истинно человеческое, что есть в человеке. Именно так испытывала людей блокада.

Действие повести Сергея Высоцкого «Выстрел в Орельей Гриве» происходит в деревне Владычкино, что под Новгородом, куда приезжает сотрудник ленинградского уголовного розыска подполковник Корнилов. Его задача — арестовать скрывшегося там рецидивиста по кличке Саппан. Сделать это оказывается совсем нетрудно: Саппан в запое, и казалось, Корнилов тут же вернется домой, но вдруг — убийство, преступление, для тихих деревенских мест чрезвычайное. И подполковник остается, помогает местным коллегам раскрыть преступление и обнаружить убийцу.

Детектив окончен, дело можно закрывать, ибо бесспорный убийца тоже мертв. Все ясно, кроме мотивов преступления, выяснение которых в данном случае в задачу следствия уже не входит. Но Корнилов по-прежнему не хочет, не может уехать, не найдя ответ на вопрос: почему убил своего сына повесившийся потом лесник Зотов?

В Ленинграде его ждет ворох отложенных дел и, быть может, выговор начальства, недовольного его задержкой во Владычкине для выяснения обстоятельств, которые уж не могут изменить ничего. Не говоря уже о том, что Корнилова ждут дома. А он все не едет, все «копает», все ищет ответ на последний вопрос.

— Даже если ты ответишь на все свои вопросы, ничего не

изменится! — не понимает Корнилова его коллега Белянчиков. — Во имя чего затевать новые поиски? Убийцей как был лесник, так он им и останется, сообщников ты не выявишь — их нет. Виновный на свободе не гуляет.

— Истина гуляет где-то! — почти крикнул Корнилов...»

Он не может согласиться с прагматизмом Белянчикова и ему подобных, убежденных в том, что истину нужно искать и бороться за нее лишь в том случае, если это может принести какую-то практическую пользу.

«Бесплодная истина? — вспоминает Корнилов слова Белянчикова. — Что за чушь! Истина не может быть бесплодной!..»

Человек, прочитавший лишь «Выстрел в Орельей Гриве», вероятно, не соотнесет этот спор, как, впрочем, и все действия Корнилова в наши дни, с «моментом истины» ленинградской блокады, когда справедливость, порядочность, честность не напоказ для людей, а перед самим собой были для настоящего человека важнее жизни и смерти. Новый читатель, быть может, даже и не обратит внимания на то, что Корнилов ленинградец — следователь, мол, и все. Но тому, кто прочтет несколько вещей Сергея Высоцкого, «блокадство, растворенное в крови» его героев, совершенно очевидно.

В повести «Увольнение на сутки» есть эпизод, когда измученные голодом и стужей жители одной из квартир блокадного Ленинграда собираются на кухне делить нежданно-негаданно выпавшее им счастье — дрова, привезенные соседом Василием Ивановичем. Ему их выдали на заводе в качестве премии, и он мог бы оставить все себе и несколько дней пожить в теплой комнате. Мог бы, но не мог. И он собирает на кухне всех, чтобы разделить дрова по справедливости. Специально посылает соседского мальчика Петю позвать и Егупина. Петя не хочет идти за ним, потому что знает: Егупин плохой человек. Он работает на продовольственном складе и не только не голодает, как все, а выменивает на ворованные продукты антиквариат, картины и драгоценности у умирающих от голода людей.

За несколько дней до того, как Василий Иванович принес дрова, все вот так же уже собирались на кухне, но по причине трагической: соседка Ольга Ивановна потеряла хлебную карточку, и они думали, что делать, чтобы не дать ей умереть от голода. Все чем-то поделились с несчастной женщиной, отдали последнее, но спасти ее не смогли — она повесилась. Егупин тогда от своих запасов не дал ни крошки.

И вот теперь умиравшие от голода и стужи люди звали сытого мародера на дележ дров. Петя не хотел его звать, но Василий Иванович велел, и он позвал. Мальчик тогда еще не знал, что такое момент истины. Запомнил лишь, что в тот вечер он впервые за долгое время лег в постель раздевшись.

Позже Петя Гаврилов узнал, что хлебную карточку соседка Ольга Ивановна не потеряла, ее у нее украл Егупин. И мальчик поклялся отомстить. После войны уже взрослым с пистолетом в кармане он идет в дом своего детства, чтобы привести в исполнение приговор блокадной совести. Идет, зная, что его за это ждет трибунал.. «Наказание не страшило Гаврилова. Он просто считал, что должен выполнить свой долг. Должен сделать то, что, кроме него, сделать было уже некому, ибо все, кто знал глубину падения гадины Егупина, погибли, а остальным до него нет дела...»

С этого начинается повесть «Увольнение на сутки». Но образ блокадного мародера, увиденного глазами мальчишки, мы встречаем и в одном из лучших рассказов Высоцкого «Неизвестный голландский мастер». Повтор этот, вероятно, объясняется тем, что образ тот не выдуман автором, не услышан в чьем-то пересказе, а увиден в жизни, это неутолимая боль его памяти.

В Пете Гаврилове, герое повести «Увольнение на сутки», нам явно видится ленинградский мальчик Сережа Высоцкий. Особенно в том его разговоре с соседкой Анастасией Михайловной, когда она пригласила мальчика погреться у ее печки, в которой, чтобы не замерзнуть, была вынуждена сжечь святую для нее книгу — Библию.

«...Гаврилов долго собирался с духом, чтобы спросить у Анастасии Михайловны. Наконец осмелился:

— Бабушка Настя, а что, если люди все книги сожгут? Так же, как мы? Что тогда будет? Ведь плохо это — книги жечь, да? Я сам читал — фашисты книги жгут. Но ведь они фашисты.

— Плохо, Петруша, книги жечь, плохо, — кивнула старуха. — Но умирать сложа руки еще больший грех. Мы с тобой книжками топим ради тепла. Человек без тепла-то не проживет. А с теплом выживет, новые книжки напишет. И ты, Петруша, напишешь...

Анастасия Михайловна протянула к Гаврилову руку, наверное, хотела погладить, но дотянуться не смогла — рука бессильно упала на колени...»

Наутро Анастасию Михайловну нашли мертвой в кресле перед холодной «буржуйкой». В столе у нее обнаружили два пакетика с надписями: «Петруше», «Зоечке». Двум соседским детям она оставила великую по тем временам ценность — по плитке шоколада «Мокко». А сама умерла от холода и истощения.

И мать Пети Гаврилова умерла. И мать героя рассказа «Неизвестный голландский мастер» умерла тоже, возвращаясь домой от скупщика ценностей «дяди Коли», который выжил. Так же, как выжил и Егупин. Выжил потому, что мог обирать людей в страшные блокадные дни, когда за кусок хлеба, за банку сгущенки для ребенка те были готовы отдать все.

Нормальному человеку трудно себе представить, как мог Егупин хладнокровно обречь на смерть Ольгу Ивановну, сначала украв у нее хлебную карточку, а затем спокойно сказав «нет» соседям, собравшимся, чтобы хоть чем-то помочь несчастной. А вот они, его соседи, не смогли разделить без Егупина случайно выпавшие им дрова, хотя имели на это полное и юридическое и моральное право.

И повзрослевший, ставший матросом Петр Гаврилов, пришедший свершить от имени погибших суд памяти над Егупиным, не смог выстрелить в пусть гадкого, но старого, жалкого, беззащитного в настоящий момент человека.

«Нет, не мог я в лежачего, не мог, — пытался он оправдаться перед собой. — Я шел к сильному и наглому, шел к убийце...» Не смог и выбросил пистолет в Неву. А в одиночку, безоружным, рискуя жизнью, схватиться с тремя бандитами Гаврилов смог!

И дочери «дяди Коли», уверенной в том, что ее отец — уважаемый коллекционер, любитель и знаток искусства, герой рассказа «Неизвестный голландский мастер» не смог сказать страш-

ную правду о том, как были добыты в дни блокады красивые и дорогие вещи, наполняющие теперь ее квартиру.

«При чем здесь она? — думал он. — Ведь дети не отвечают за грехи отцов. Прошлого не изменить, и не вернуть умерших...» И он ушел, уехал из Ленинграда, оставив Софью Николаевну Черкезову — наконец-то он узнал фамилию «дяди Коли»! — спокойно жить средь дорогих красивых вещей, с бесценной картиной, отвозя которую в эту квартиру в уплату за буханку хлеба упала в дни блокады на улице и умерла его мать.

Откуда в нашей стране егупины и «дяди коли»? Как могут люди делать такое, что делать нельзя — нельзя не потому, что за это судят, а потому, что так не может поступать человек? Этими вопросами блокадного детства Сергея Высоцкого мучается в наши дни следователь ленинградского уголовного розыска подполковник Игорь Васильевич Корнилов — «сквозной» герой трех повестей: «Выстрел в Орельей Гриве», «Пропавший среди живых» и «Крутой поворот».

В предисловии к одному из сборников произведений Сергея Высоцкого эти повести названы «наиболее приближающимися к детективному жанру». Тем самым критик дал нам понять, что они чем-то от произведений того жанра разнятся, что это не настоящий детектив.

Конечно, если считать «настоящим» лишь изложение цепи событий розыска, начиная с момента обнаружения трупа или взлома и кончая задержанием преступника, то в «приближающихся к детективу» вещах Высоцкого действительно много лишнего — того, что ни в обнаружении, ни в задержании, ни в дальнейшем осуждении преступника существенной роли не играет. Много раздумий следователя о причинах, вызвавших преступление, и бессмысленных с точки зрения белянчиковых действий Корнилова в поисках «бесплодной истины», которую «к делу не подошьешь».

Но является ли именно «чистый детектив» настоящим, если понимать под настоящим произведение художественной литературы?

Может, конечно, быть и такое — в том случае, если детали следовательской работы выписаны мастером. Но в общем-то опыт изучения остросюжетной прозы подсказывает, что на этот вопрос следует ответить отрицательно: нет, не является. И поэтому так называемые «копания» следователя Корнилова и автора трех повестей о нем в психологии героев, в мотивах данного конкретного преступления и в причинных связях преступности вообще — это вовсе не лишнее, что есть у Высоцкого, а скорее как раз то, чего недостает авторам многочисленных, к сожалению, «милицейских» повестей, ограничивающим свое творчество лишь простым пересказом томов уголовных дел.

Не называя всем известных великих имен, напомним, что подобные психологические и морально-нравственные «копания» с проникновением аналитического писательского ума в тайники человеческой души извечно были одним из главных дел настоящей литературы.

Вернувшись к «Выстрелу в Орельей Гриве», вспомним разговор Корнилова с режиссером Грановским, пригласившим подполковника милиции в качестве консультанта театральной постановки детективно-сюжетной пьесы.

«...Если говорить вообще, то меня больше пугает не само пре-

ступление, — сказал Игорь Васильевич, — а готовность некоторых людей совершить его... Может быть, это я слишком упрощенно? Да нет, пожалуй, именно это я и хотел сказать. Меня пугает, что некоторые люди больше боятся карающего меча закона, чем голоса собственной совести, собственного разума. — Он заговорил с необыкновенной горячностью: — Вот представляете себе — иное существо может прожить долгую жизнь, не совершив ни разу не то что преступления — проступка не совершив. Всю свою долгую жизнь такое существо аккуратно покупало в трамвае билет, не брало чужого. А почему? Только из-за страха быть пойманным! Человечишка этот не украл ни разу только потому, что боялся — посадят! И не убил поэтому! Понимаете?..

И вот живет такой человечишка, вечно готовый к подлости, к преступлению. Ждет своего часа. И час этот может прийти. Такой час, когда он, наконец, увидит, почувствует: бери, никто никогда не увидит, убей — не дознаются! И украдет, и убьет, и предаст! Вот кого я боюсь больше всего. С таким человечишкой я, может быть, годы бок о бок живу, и он меня в любое время предаст, совершит какую-нибудь пакость. Когда почувствует, что останется безнаказанным...»

В «Выстреле в Орельей Гриве» не сказано, что было с Корниловым в прошлом. Но, зная другие произведения Сергея Высоцкого и биографию автора, мы понимаем, что эти человечишки — егупины и «дяди коли» — из блокадного детства писателя и его героев. Память детства и совесть зрелости не могут примириться с тем, что они живы и сегодня живут среди нас. И что самое страшное — они не только доживают свой век с душой, испорченной когда-то в прошлом, но и порождают молодых, себе подобных.

«С преступниками мы справимся, — говорит Корнилов. — Рано или поздно вылавливаем всех. Но как распознать человечишку с ограниченной совестью..»

Строго говоря, это не дело сыщика. Уголовный розыск начинает свою главную работу с момента, когда человек совершил преступление. Пока этого не произошло, человеком должны заниматься другие — семья, школа, трудовой коллектив. И милиция в порядке профилактики тоже. Но, к сожалению, «должны» — это еще не значит, что все они и всегда занимаются. Подчас забывают или не хотят, а порой и не могут, не умеют должным образом воспитывать человека и помогать ему в трудный час выбрать правильный путь. Именно поэтому постоянно вроде бы «лезет не в свое дело» подполковник уголовного розыска Корнилов, а в действительности же являет образец высокого профессионализма и гражданственности.

«Надо с раннего детства воспитывать в человеке отвращение к разной мерзости, — говорит он. — ...Я на каждом углу кричу: профилактика, профилактика! Но не такая, как ее понимают некоторые: имеет подросток пять приводов в милицию — закрепляют за ним шефа с завода и на том все кончается. Нет, братцы! Профилактика начинается с родителей. У них еще ребенок не родился, а мы должны знать: смогут ли они правильно свое дитя воспитать? И научить их этому искусству. И вмешаться, когда увидим, что не смогут родители настоящего гражданина вырастить. Вмешаться не тогда, когда парень попробует чу-

жие велосипеды угонять, а раньше, когда он в ползунковом возрасте каждый день пьяного отца или мать будет видеть...

...Если человека с раннего детства воспитали так, что честность и неприятие всякого зла стали главными чертами его натуры, никакие соблазны ему не страшны. Поступки этого человека продиктованы его пониманием добра и зла, а не боязнью наказания...»

Понимание добра и зла, а не успех, не премии и выговоры начальства определяют поведение и самого Корнилова. «Нельзя считать дело расследованным, если есть вопросы без ответов», — твердо говорит он генералу, собираясь вернуться в Орелью Гриву.

В отличие от всесильных, всезнающих, самоуверенных сыщиков-героев многих детективных повестей Корнилов постоянно сомневается. «— Голова и сердце даны человеку, чтобы сомневаться, — говорит он капитану Белянчикову. — Хотя бы время от времени. Хотя бы в таких трагических ситуациях... Даже если я не выясню ничего нового, найду подтверждение тому, что известно». «А это разве мало! — продолжает он уже мысленно свой заочный спор с коллегой. — Выяснить, что привело человека к трагедии — ведь это так важно! Для будущего важно!..»

Пониманию добра и зла учат и книги Сергея Высоцкого.

Острый сюжет в них и экстремальные обстоятельства неизбежной в жизни борьбы добра и зла служат писателю для того, чтобы, как в момент истины, все человеческое — и нечеловеческое тоже — выявилось в людях в чистом виде, чтобы ошибки прошлого не омрачили будущее.

И поэтому, пожалуй, правильно, что даже трилогию о следователе уголовного розыска Корнилове литературные критики не называют детективом. Это просто книги. Книги о жизни.

Юрий МАШИН

СОДЕРЖАНИЕ

Под редакцией
О. ПОПЦОВА, Б. ГУРНОВА

В. Осипов — «Подснежник». Роман Валерия Осипова рассказывает о трудной и последовательной борьбе марксистов-ленинцев за создание и укрепление партии нового типа. В центре повествования — образы В. И. Ленина и Г. В. Плеханова.

Б. Можаев — «Власть тайги». Повесть Бориса Можаева посвящена людям, проявляющим в решительный момент жизни стойкость характера, высокую и чистую совестливость.

С. Высоцкий — «Выстрел в Орельей Гриве». В центре повести Сергея Высоцкого — образ следователя Корнилова, человека увлеченного и мужественного, доказывающего своим нелегким трудом несостоятельность жизненной концепции правонарушителя.

Редактор Б. Гурнов
Главный художник Н. Михайлов
Обложка К. Фадина
Рисунки К. Фадина, А. Кривенко, В. Ступина
Оформление А. Шипова
Художественный редактор А. Ким
Технический редактор Л. Коноплева

Сдано в набор 18.05.84. Подписано к печати 20.07.84. А00756. Формат $84\times108^1/_{32}$. Гарнитура «Школьная». Бумага типографская № 2. Печать высокая. Усл. печ. л. 20,16. Усл. кр.-отт. 20,79. Уч.-изд. л. 27,6. Тираж 355 000 экз. Цена 1 р. 60 к. Заказ 854.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.